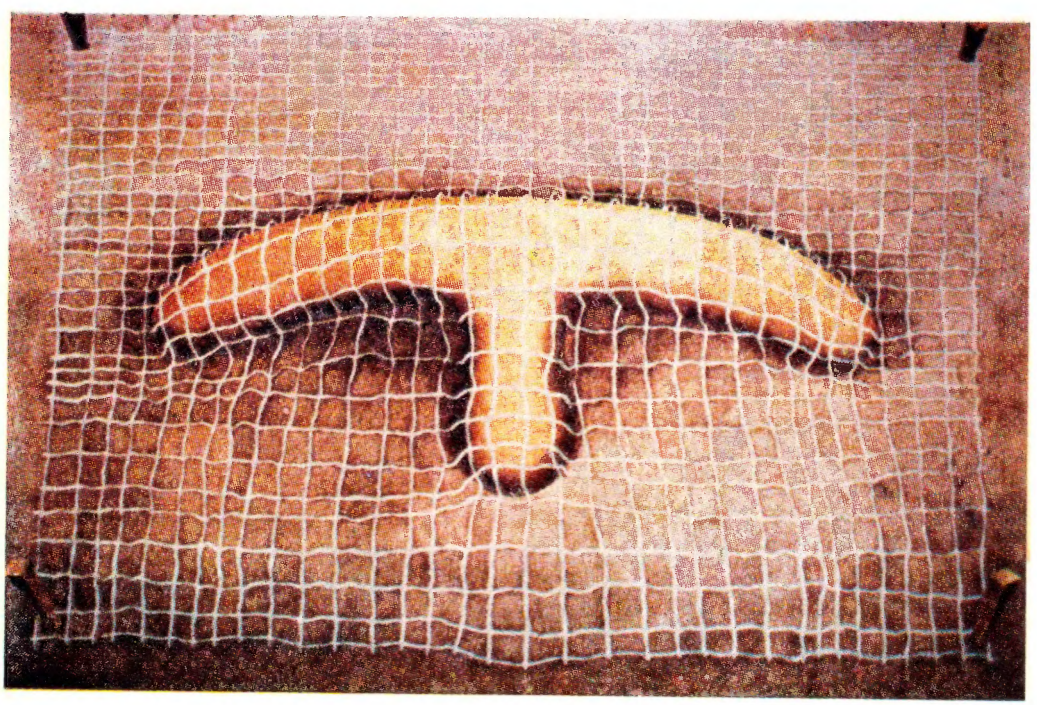
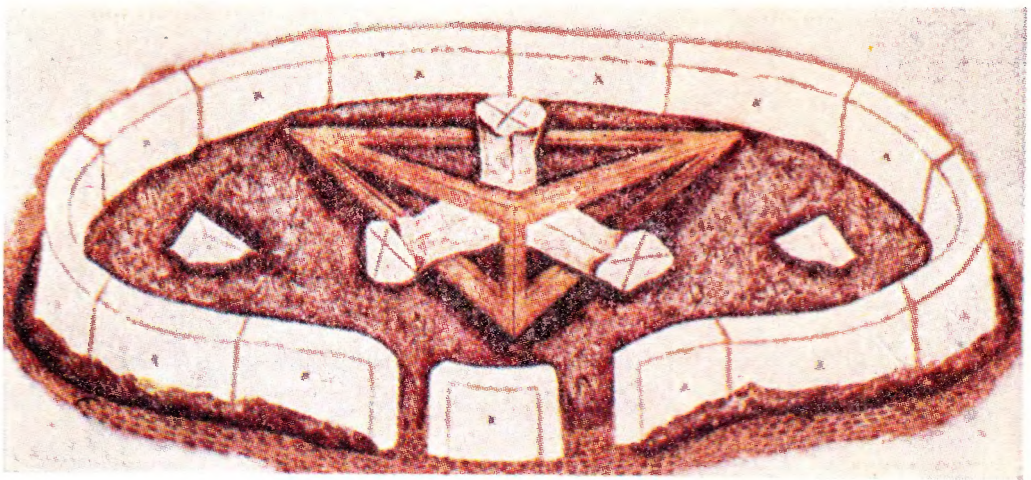
ISSN 0130 – 6545

7.1990

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА





Место: 6 альвеол в пространстве

На 1-й и 4-й страницах обложки — Невод. 3 проекта архетипа.

Цветные иллюстрации номера — работы румынского художника Сорина Думитреску

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного редактора
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

7 ИЮЛЬ 1990

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕНРИ МИЛЛЕР — Тропик Рака *(Роман. Перевод с английского Г. Егорова. Предисловие Нормана Мейлера)* 5

ВАЦЛАВ ГАВЕЛ — Протест *(Одноактная пьеса. Перевод с чешского Т. Николаевой. Послесловие С. Никольского)* 86

РИКАРД ФУХС — Рассказы *(Перевод со шведского Н. Френкель)* 103

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ — Русский отдел *(Роман. Окончание. Перевод с английского И. Гуровой и Е. Рождественской)* 110

АРТЮР ОЛО — Из книги «Противостояния» *(Стихи. Вступление и перевод с французского Натальи Стрижевской).* К читателям «ИЛ». Блеск и нищета поэзии *(Перевод И. Истратовой)* 179

Из классики XX века

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ — О фонтанах *(Вглубь одного стихотворения. Переводы с немецкого К. Богатырева, М. Л. Гаспарова, Г. Раттауза, И. Белавина, Вл. Летучего. Вступление А. Карельского)* 187

Критика

Писатель и массовая культура

ТОМАС ИНДЖ — Фолкнеровский фольклор: литературные сплетни, анекдоты и откровенная ложь *(Перевод с английского Г. Лапиной)* 197

А. Долинин —Причуды гения 201

Публицистика

Эмиграция: «Капля крови, взятая на анализ»?

Беседа в редакции с авторами и издателями журналов русского зарубежья. Участники: А. Глезер, Ю. Карабчиевский, А. Латынина, Г. Померанц, М. Розанова, Б. Сарнов, Л. Тимофеев. Ведущий — Н. Анастасьев 205

ГОРДОН БРУК-ШЕПЕРД — Судьба советских перебежчиков *(Продолжение. Перевод с английского Иосифа Косинского и Людмилы Скорописцевой)* 232

К нашим иллюстрациям

Дан Хэуликэ — Сорин Думитреску *(Перевод с румынского И. Павловской)* 246

Курьер «ИЛ» 248

Авторы этого номера 252

К сведению читателей и подписчиков 254

© «Иностранная литература», 1990

Главный художник **С. И. Мухин**

Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая, д. 41. Телефон: 233-51-47.

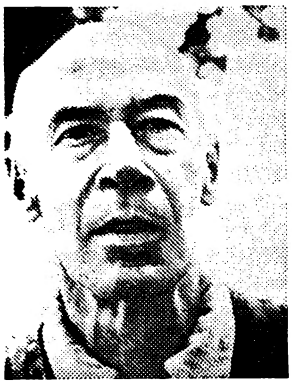
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 07.05.90. Подписано в печать 17.09.90. Формат 70×108 1/16. Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 27,06.

Тираж 350 000 экз. (1-й завод: 1—280 000 экз.). Зак. 1951. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.



ГЕНРИ МИЛЛЕР

Тропик Рака

РОМАН

Перевод с английского Г. ЕГОРОВА

Несколько мыслей об авторе этой книги

Писатели, чье творчество постижимо как образ, созданный кинозвездами, легче всего становятся легендой. Хемингуэй и Фицджеральд оставляют в нашем сознании отпечаток столь же ясный, как Богарт или Кэгни. Мы понимаем их сразу. Генри Миллер, однако, соотносится с легендой примерно так же, как антиматерия с материей. Его жизнь противоположна самой идее легенды. Если бы он остался тем человеком, которым впервые представил себя в «Тропике Рака» — человеком со стальным фаллосом, едким умом и несравненно, неукротимо свободным сердцем, остро испытывающим счастье от самого факта бытия и переносящим без нытья тоску, если бы он остался тем же знатоком запахов сточных канав, различающим все их нюансы, той же благородной, неистребимой крысой, гложущей жизнь,— тогда он и в самом деле мог бы стать легендой, своего рода парижским Богартом или американским Бельмондо.

Но на самом деле Миллер, по всей вероятности, никогда не был слишком похож на того персонажа, которым изобразил себя в «Тропике Рака». Что-то здесь не сходится, несмотря на определенную автобиографичность. Совершенно очевидно, что в нем было больше очарования, чем он о том рассказывает,— иначе, как объяснить все эти обеды на дармовщинку, всех этих людей, на чей счет он живет, всех этих шлюх, которые его обожают? Чем-то он, должно быть, подкупал их. Возможно, его друзья даже видели в нем нечто ангельское и — Боже упаси! — уязвимое. Описывая квартиру в Клиши, которую Миллер снимал с Альфредом Перлесом, Анаис Нин замечает, что Миллер поддерживал в доме образцовый порядок. «Генри ведет хозяйство, как голландская экономка. Он чистоплотен и аккуратен. Никакой грязной посуды. Прямо-таки монашеская квартира, ни намека на роскошь или изнеженность»[1].

Даже по этим немногим фактам можно догадаться, что в «Тропике Рака» больше вымысла, чем реальности. Это, конечно, ни на йоту не уменьшает ценности романа — может быть, напротив, делает его еще ценнее. В конце концов, мы пишем не для того, чтобы точно воспроизвести пережитое, а для того, чтобы по возможности ближе подойти к истине. Иногда как будто мы подходим к ней не очень близко, но, как это ни парадоксально, повествование получается правдивее, чем было бы, подойди мы к ней вплотную. Те, кто знал людей, ставших прототипами героев Миллера, вечно обвиняют его в карикатурности их изображения. Да и любой хороший читатель достаточно знает о человеческой натуре, чтобы почувствовать, как неполны его портреты. Но из этих портретов, вместе взятых, создается Париж более реальный, чем камни его мостовых, и поневоле с изумлением приходится признать, что ни у одного, даже самого великого французского писателя — будь то Рабле, Пруст, Мопассан, Гюго, Гюисманс, Золя, или даже Бальзак, или даже Селин,— ни у одного из них нет такого живого Парижа. Кто и когда до Миллера описал чужую страну лучше, чем ее собственные писатели? В «Тропике Рака» Генри Миллер достиг вершины художественного творчества: он уловил дух эпохи и дух места. И не важно, если героя «Тропика Рака» по имени Генри Миллер не существовало на самом деле. В нем сосредоточен дух его времени. А понять историческую правду лучше, чем через дух литературы, вряд ли возможно.

Если уж на то пошло, то авторы величайших литературных исповедей всегда несколько отдалены от героя исповеди. Взять хотя бы «Фиесту» как чистейший образец книги, чьи стилистические новшества стали неотделимы от чистейшего духа времени и места,— даже в этом случае до нас постепенно дойдет, что Хемингуэй — это не то же самое, что Джейк Барнс: в Джейке писатель создал судью более мудрого, сухого и чистого, более классического и искушенного, чем был сам. В Джейке не было той наивности в постижении своего времени, которая была в самом Хемингуэе.

© by Liberty Publishing House, Inc. and Silver Age Publ. 1988.

[1] The Diary of Anaïs Nin (vol. I) (New York: The Swallow Press and Harcourt, Brace & World, Inc., 1966), p. 62.

Разница между Хемингуэем и Миллером в том, что Хемингуэй поставил себе целью дорасти до Джейка Барнса и втиснул себя в рамки этого персонажа, воплощавшего дух времени,— что и хорошо и плохо, потому что это принесло Хемингуэю колоссальную славу, но в конце концов и погубило его. А Миллер, будучи на восемь лет старше Хемингуэя и опубликовавший «Тропик Рака» на восемь лет позже «Фиесты» и, таким образом, оказавшийся в 1934 году на шестнадцать лет старше Хемингуэя в 1926-м, избрал противоположный путь. Он не захотел уподобиться вымышленному Генри Миллеру. Он был не персонажем, а личностью — он менялся. И в этом отношении Миллер пошел дальше Хемингуэя.

Мир Хемингуэя был обречен, как только индустриальный прогресс загнал жизнь в туннель технологии. У Хемингуэя настроение — это царственная благодать, для которой убийственны скрежет рычагов и гудение электромоторов. Миллер начал там, где остановился Хемингуэй. В «Тропике Рака» — и в этом сила романа — Миллер говорит: «Я вынужден жить в месте, где настроение пропускают через мясорубку, поэтому я лучше знаю, что это такое. Я знаю все градации между хорошим настроением и плохим и могу вам сказать, что лучше самое дрянное настроение, чем вообще никакого настроения. Да и сама жизнь так устроена, что не чурается дряни и зловония».

Мы читаем «Тропик Рака», эту книгу грязи, и нам становится радостно. Потому что в грязи есть слава и в мерзости — метафора. Каким образом — сказать невозможно. Может быть, дело в том, что настроение — вещь неизмеримо более разнообразная, самовозрождающаяся, жизнеспособная и изворотливая, чем мог себе представить Хемингуэй. Может быть, настроение — это не кисейная барышня, а девка из кабака, от которой несет прогорклым пивом и райскими видениями: а звук рвоты старого пьяницы — трубный клич, обращенный к каким-то космическим мутантам, как раз сейчас выползающим из-за угла. Похоже, Миллер, оказавшись на дне, лишенный отваги, воинской доблести, стоицизма, вкуса и чутья к изяществу жизни, похоже, что этот Миллер и не помышлявший о силе духа, все-таки живет ближе к смерти, чем Хемингуэй, — несомненно ближе, если смерть наша соотносится скорее с выгребной ямой, чем с полем боя.

История оказалась на стороне Миллера. Двадцатый век уходил из мира индивидуалистических подвигов, спиртного и трагических ран на городскую свалку ушибов, головной боли, технологии, наркотиков, амнезии, нелепых сношений и рака. А Миллер блудил, пил и развлекался внизу, в выгребных ямах жизни, где вызревал рак, и при этом без конца повторял: «Смотрите, не обязательно умирать от всей этой гадости. Ее можно вдыхать, есть, лизать, е..., а на следующий день вскакивать живым и здоровым. В нас есть что-то неоценимое, если мы можем вынести эту вонь».

Если вспомнить, куда направлялся мир в то время, когда писался «Тропик Рака»,— а направлялся он в выгребную яму концлагерей,— то произведения Миллера несли в себе идею более жизнеутверждающую, чем произведения Хемингуэя. «Я потому уделяю так много внимания аморальному, порочному, безобразному, жестокому,— говорил Миллер Джонатану Котту,— что хочу, чтобы другие знали, что и в этом есть ценность, знали, что все это так же — если не более — важно, как и хорошее... Мне нужно было очистить свой организм от яда. Я выплеснул его в свои книги и, как это ни странно, оказал оздоровляющее воздействие на читателей, точно сделал им прививку, и у них выработалось что-то вроде иммунитета».

Миллер родился в Бруклине в Нью-Йорке. Он вышел из той среды, где за честность нечего было ждать наград. Семейная жизнь его родителей была ужасной, а окружение — чуждо самой идее литературы.

Его отец, мужской портной, был, однако, не менее джентльмен, чем те, на кого он шил,— элегантный немецкий мастер. С возрастом он все более предавался мечтаниям, которые одолевают в часы сумерек. Выйдя в обеденный перерыв с деловыми приятелями в бар, он засиживался там допоздна. Ресторан, куда ходят выпить приличные люди, — это Валгалла для человека среднего достатка, не ладящего с женой.

Мать Миллера, тоже немка, была настоящим юнкером рядом с отцом, который казался истинным венцем. Волевая, угрюмая, нетерпимая, она была бережлива и безнадежно враждебна любой идее, услышанной в последние сорок лет. Единственное, что у нее было общего с мужем, — это глубокий антисемитизм. Во всех произведениях Миллера нет ни намека на то, что от нее исходили хоть какие-нибудь флюиды чувственности.

«Домашние мои,— пишет он в «Тропике Козерога»,— были людьми совершенно нордического склада, иными словами — идиоты. Нет на свете такой ложной идеи, которой они бы не исповедовали. В том числе — идея чистоплотности, не говоря уж о добродетели. Они были болезненно чистоплотны. Но зловоние было у них внутри. Они никогда не открывали дверей своей души, никогда не мечтали о прыжке в неизвестное. После обеда посуду немедленно мыли и составляли в буфет; прочтя газету, ее аккуратно складывали и клали на полку; постирав белье, его сразу гладили и прятали в комод. Жизнь оставляли на завтра, но это «завтра» так никогда и не наступало. Настоящее было лишь мостом к жизни. Так они до сих пор

и стонут на этом мосту, как стонет весь мир, — и ни одному идиоту не придет в голову его взорвать».

В тридцать пять лет, когда Миллер был женат уже второй раз, но так нищ, что ему и жене пришлось разойтись, чтобы вернуться к родителям и таким образом жить, не платя за квартиру, он вынужден был выслушивать от матери такое: «Если кто-нибудь придет — соседи или знакомые,— убери машинку и спрячься в стенном шкафу. Не надо, чтобы они знали, что ты здесь». Мать стыдилась сына! «Иногда,— пишет Миллер, — мне приходилось по часу и дольше стоять в стенном шкафу, задыхаясь от нафталина... Она так и не могла примириться с мыслью, что я — писатель».

У Миллера была умственно отсталая сестра. В детстве соседские ребята прозвали ее «полоумная Лоретта». Восьмидесятилетний Миллер так вспоминает мать и сестру: «Моя сестра была настолько умственно отсталой, что не могла ходить в школу. И моя мать решила учить ее сама. Она совершенно не годилась в учительницы. Это было ужасно. Выходя из себя, мать кричала на сестру, била ее. «Сколько будет дважды два?» — спрашивала она. И моя сестра, понятия не имевшая об ответе, говорила: «Пять... нет, семь... нет, три». Просто так, лишь бы что-то ответить. Бац! Раздавался шлепок. Потом, обернувшись ко мне, мать говорила: «За что мне такой крест? Чем я заслужила такое наказание?» Это она меня, маленького мальчика, спрашивала: «За что мне Бог послал такое наказание?» Сами видите, что она была за женщина. Дура? Гораздо хуже... Я никогда не видел от нее материнского тепла. Она никогда не поцеловала меня, не обняла. Я не помню, чтобы и я подошел ее обнять. Я даже не знал, что это принято, пока не побывал однажды у своего школьного приятеля. Нам было по двенадцать лет. Мы вместе пришли к нему после школы, и я услышал слова его матери: «Джеки, Джеки, дорогой, ну как твои дела?» — и увидел, как она обняла и поцеловала его. Никогда не слыхал я таких слов, даже такой интонации. Для меня это было ново. Конечно, все эти тупые немцы в нашем районе знали только железную дисциплину» («Моя жизнь и времена»).

Какой при подобной жизни может быть первая любовь? Подростком Миллер был «безумно, страстно влюблен в девочку из школы». Она — голубоглазая блондинка. «Я никогда не был ее кавалером»,— вспоминает он в восемьдесят лет. Потом она снова и снова будет появляться в его романах. Однако она даже не знала о его существовании. «Все это продолжалось три года! И это было потрясающе. Каждый вечер после обеда я ходил к ее дому. Ходьбы было почти час, а целью моей было всего-навсего пройти мимо ее дома и посмотреть — не окажется ли она случайно у окна»,— так описывал Генри Миллер свою первую любовь в книге «Моя жизнь и времена».

В девятнадцать лет Миллер познакомился с «привлекательной вдовой», по возрасту годившейся ему в матери. Это и был его первый роман. Некоторое время они даже жили вместе: Миллер, вдова и ее ребенок. В это же время Миллер поступает в Сити-колледж, но через два месяца бросает занятия. Следующие семь лет он усердно, по-германски закаляет свой организм. В это нетрудно поверить, когда начинаются его сексуальные подвиги: после целой ночи возлияний и трех-четырех оргазмов он, вернувшись домой, будет исполнять свои супружеские обязанности, урвав на сон лишь часок — ведь он должен утром идти на работу; он служит начальником курьеров в телеграфной компании «Вестерн юнион».

1920 год. Миллеру уже под тридцать. Этот третий десяток своей жизни он странствовал по американскому Западу, работал батраком на ранчо, работал в ателье у отца, женился, произвел на свет дочь, десять раз устраивался на работу, потому еще десять раз, что мечтал писать и не решался,— вместо этого проводил время в попойках и бессчетных изменах жене.

Умри он, не дожив до тридцати, его бы помнили только соседи — как местного остроумца, хорошего пианиста, ненадежного должника, неунывающего жеребца, бывшего «трамвайного кондуктора, мусорщика, библиотекаря, страхового агента, книготорговца» и помощника редактора в маленьком издательстве, выпускавшем каталоги товаров различных фирм. Жизнь Миллера в то время не имела никакого конкретного направления. Он был блестящим собеседником, но в сущности ему не с кем было беседовать. Как он пишет сам, «поскольку я произошел от бруклинских родителей, не имевших дела с людьми искусства, то я таких людей и не встречал. Я изо всех сил старался познакомиться с кем-нибудь, кто обладал бы хоть какой-то культурой. В то время для меня сказать, что я хочу быть писателем, было все равно, что сказать: «Я хочу быть святым, мучеником, Богом. Это было столь же великим, столь же отдаленным и столь же недоступным».

Ему почти тридцать. Через несколько лет Хемингуэй напишет «Фиесту», а Фицджеральд «Великого Гэтсби» — оба писателя так много уже сделали к тридцати годам. А Миллеру к тридцати удалось добиться лишь того, что его взяли на телеграф одним из управляющих.

Тем не менее именно тут по-настоящему начинается его литературный путь. И его сексуальный путь тоже. Никогда еще литература не знала подобного симбиоза. Миллер, может быть, единственный писатель во всей истории литературы, о котором можно с большой долей уверенности сказать, что, если бы не его сексуальные чудеса, не было бы, пожалуй, и его литературных чудес. И с другой стороны, если бы не его успех как писателя, неизвестно, сохранил бы он так надолго свою жизнеспособность как мужчина.

На долю Миллера досталось немало похвал, в том числе от таких магараджей литературы, как Томас Элиот, Эзра Паунд, Эдмунд Уилсон. Паунд ограничился замечанием, шедшим в самый корень: «Вот неприличная книжка, заслуживающая того, чтобы ее читали». Элиот, который даже у Шелли видел сатанинское начало, стал, однако, горячим поклонником Миллера и даже послал автору письмо (хотя и не выступил все же публично). Уилсон был автором одной из первых хвалебных (и, разумеется, накрахмаленных) рецензий на «Тропик Рака». Джордж Оруэлл написал в своем прекрасном очерке: «Это роман человека, который счастлив»,— а для Оруэлла счастье было едва ли не первой добродетелью. И далее: «Это единственный оригинальный прозаик из всех появившихся за последние годы в англоязычных странах, который представляет собой определенную ценность».

Так писали в тридцатые годы. С тех пор Миллеру было не занимать почитателей. Небольшая, но весьма престижная часть литературного мира в последние сорок лет рассматривает его как величайшего из современных американских писателей. Не будет преувеличением сказать, что Генри Миллер оказал влияние на стиль половины хороших американских поэтов и писателей нашего времени. Стоит задаться вопросом: были бы столь различные книги, как «Голый завтрак» Уильяма Берроуза, «Жалоба портного» Филипа Рота, «Боязнь полета» Эрики Йонг и «Почему мы во Вьетнаме» автора этого предисловия,— были бы эти книги приняты так же хорошо (или написаны так же свободно), если бы не орошение, произведенное Генри Миллером в американской литературе? Даже писатель, столь далекий от Миллера по своим задачам, как Сол Беллоу, показывает в романе «Приключения Оги Марча», что многим обязан Миллеру. Влияние Миллера велико. Тридцать лет назад молодые писатели учились своему ремеслу по его книгам наравне с книгами Хемингуэя и Фолкнера, Вулфа и Фицджеральда. Может быть, ни один американский писатель двадцатого века, за исключением Хемингуэя, не оказал такого влияния на американскую, да и не только американскую литературу.

НОРМАН МЕЙЛЕР

Эти романы постепенно уступят место дневникам и автобиографиям, которые могут стать пленительными книгами, если только человек знает, как выбрать из того, что он называет своим опытом, то, что действительно есть его опыт, и как записать эту правду собственной жизни правдиво.

Ральф Уолдо Эмерсон

1

Я живу на вилле Боргезе. Кругом — ни соринки, все стулья на местах. Мы здесь одни, и мы — мертвецы.

Вчера вечером Борис обнаружил вшей. Пришлось побрить ему подмышки, но даже после этого чесотка не прекратилась. Как это можно так завшиветь в таком чистом месте? Но не суть. Без этих вшей мы не сошлись бы с Борисом так коротко.

Борис только что изложил мне свою точку зрения. Он — предсказатель погоды. Непогода будет продолжаться, говорит он. Нас ждут неслыханные потрясения, неслыханные убийства, неслыханное отчаяние. Ни малейшего улучшения погоды нигде не предвидится. Рак времени продолжает разъедать нас. Все наши герои или уже прикончили себя, или занимаются этим сейчас. Следовательно, настоящий герой — это вовсе не Время, это Отсутствие времени. Нам надо идти в ногу, равняя шаг, по дороге в тюрьму смерти. Побег невозможен. Погода не переменится.

Это уже моя вторая осень в Париже. Я никогда не мог понять, зачем меня сюда принесло.

У меня ни работы, ни сбережений, ни надежд. Я — счастливейший человек в мире. Год назад, даже полгода, я думал, что я писатель. Сейчас я об этом уже не думаю, просто я писатель. Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава Богу, писать книг больше не надо.

В таком случае как же рассматривать это произведение? Это не книга. Это — клевета, издевательство, пасквиль. Это не книга в привычном смысле слова. Нет! Это затяжное оскорбление, плевок в морду Искусству, пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте... всему чему хотите. Я буду для вас петь слегка не в тоне, но все же петь. Я буду петь, пока вы подыхаете; я буду танцевать над вашим грязным трупом...

Но чтобы петь, нужно открыть рот. Нужно иметь пару здоровых легких и некоторое знание музыки. Не существенно, есть ли у тебя при этом аккордеон или гитара. Важно желание петь. В таком случае это произведение — Песнь. Я пою.

Я пою для тебя, Таня. Мне хотелось бы петь лучше, мелодичнее, но тогда ты, скорее всего, не стала бы меня слушать вовсе. Ты слыхала, как пели другие, но это тебя не тронуло. Они пели или слишком хорошо, или недостаточно хорошо.

Сегодня двадцать какое-то октября. Я перестал следить за календарем. Может быть, ты назовешь это моим сном, продолжающимся с четырнадцатого ноября прошлого года. В нем есть пробелы, но это пробелы между снами, и сознание скользит мимо них. Мир вокруг меня растворяется, оставляя тут и там островки времени. Мир — это сам себя пожирающий рак... Я думаю, что, когда на все и вся снизойдет великая тишина, музыка наконец восторжествует. Когда все снова всосется в матку времени, хаос вернется на землю, а хаос — это партитура действительности. Ты, Таня,— мой хаос. Поэтому-то я и пою. Собственно, это даже и не я, а умирающий мир, с которого сползает кожура времени. Но я сам еще жив и барахтаюсь в твоей матке, и это моя действительность.

Дремлю... Физиология любви. Отдыхающий кит со своим двухметровым пенисом. Летучая мышь — penis libre. Животные с костью в пенисе. Следовательно, «костостой»... «К счастью,— говорит Гурмон,— костяная структура утрачена человеком». К счастью? Конечно, к счастью. Представьте себе человечество, ходящее с костостоем. У кенгуру два пениса — один для будней, другой для праздников. Дремлю... Письмо от женщины, спрашивающей меня, нашел ли я название для моей книги. Название? Конечно: «Прекрасные лесбиянки».

Ваша анекдотическая жизнь. Это фраза господина Боровского. Я завтракал с ним в среду. Его жена — высохшая корова — во главе стола. Она учит сейчас английский. И ее любимое слово — «filthy», что значит «грязный», «отвратительный», «мерзкий». Вам не понадобится много времени, чтоб разобраться, что это за язвы на заднице, эти Боровские. Но подождите...

Боровский носит плисовые костюмы и играет на аккордеоне. Неотразимое сочетание, особенно если учесть, что он неплохой художник. Он уверяет, что он поляк, но это, конечно, неправда. Он — еврей, этот Боровский, и его отец был филателистом. Вообще весь Монпарнас — сплошные евреи. Или полуевреи, что даже хуже. И Карл, и Пола, и Кронстадт, и Борис, и Таня, и Сильвестр, и Молдорф, и Люсиль. Все, кроме Филмора. Генри Джордан Освальд тоже оказался евреем. Луи Николс — еврей. Даже ван Норден и Шери — евреи. Фрэнсис Блейк — еврей или еврейка. Титус — еврей. Я засыпан евреями, как снегом. Я пишу это для своего приятеля Карла, отец которого тоже еврей. Это все необходимо понять.

Из всех этих евреев самая очаровательная — Таня, и ради нее я бы сам стал евреем. А почему нет? Я уже говорю, как еврей. Я безобразен, как еврей. Кроме того, кто может ненавидеть евреев так, как еврей?

Предвечерний час. Индиго, стеклянная вода, блестящие, расплывчатые деревья. Возле авеню Жорес рельсы сливаются с каналом. Длин-

ная гусеница с лакированными боками извивается, как «американские горы» луна-парка. Это не Париж. Это не Кони-Айленд. Это — сумеречная смесь всех городов Европы и Центральной Америки. Подо мной — железнодорожные депо, черная клетчатка рельсов, как будто не спланированная инженерами, а раскинутая причудливым узором, вроде тех тонких трещин на полярном льду, которые запечатлеваются на фотографиях во всех градациях черного цвета.

Жратва — вот единственное, что доставляет мне ни с чем не сравнимое удовольствие. А на нашей великолепной вилле Боргезе не найдешь даже завалящей корочки. Временами это положительно ужасно. Я много раз просил Бориса заказывать хлеб к завтраку, но он всегда забывает. Он, очевидно, завтракает не дома. Возвращаясь, он ковыряет в зубах, и в его эспаньолке — остатки яйца. Оказывается, он ходит в ресторан из деликатности — ему, видите ли, тяжело уписывать сытный завтрак на моих глазах.

Мне нравится ван Норден, но я не разделяю его мнения о самом себе. Я не считаю, например, что он мыслитель или философ. Он просто человек, помешанный на манде. И из него никогда не выйдет писателя. Сильвестр тоже никогда не будет писателем, даже если бы его имя сияло огромными красными, в пятьдесят тысяч свечей, электрическими буквами. Как писателей я признаю только Карла и Бориса. Они одержимые. Их пожирает жгучее белое пламя. Они сумасшедшие, но у них нет слуха. Они — мученики.

С другой стороны, Молдорф — тоже мученик, но он далеко не сумасшедший. У Молдорфа просто словесный понос. У него нет ни кровеносных сосудов, ни сердца, ни почек. Это какой-то письменный стол, бюро с бесконечными ящичками, а на ящичках — ярлыки, надписанные белыми, черными, лиловыми, коричневыми и синими чернилами, шафраном, лазурью, бирюзой, кораллом, бисером, киноварью, ярью-медянкой, охрой, ониксом, сиеной, канителью, селедкой, сыром горгонзолой, анжуйским вином...

Взяв машинку, я перешел в другую комнату. Здесь я могу видеть себя в зеркале, когда пишу.

Таня похожа на Ирен. Ей нужны толстые письма. Но есть и другая Таня. Таня — огромный плод, рассыпающий вокруг свои семена, или, скажем, фрагмент Толстого, сцена в конюшне, где закапывают младенца. Таня — это лихорадка, стоки для мочи, кафе «Де ла Либерте», площадь Вогезов, яркие галстуки на бульваре Монпарнас, мрак уборных, сухой портвейн, сигареты «Абдулла», Патетическая соната, звукоусилители, вечера анекдотов, груди, подкрашенные сиеной, широкие подвязки, «который час?», золотые фазаны, фаршированные каштанами, дамские пальчики, туманные, сползающие в ночь сумраки, слоновая болезнь, рак и бред, теплые покрывала, покерные фишки, кровавые ковры и мягкие бедра... Таня говорит так, чтобы ее все слышали: «Я люблю его!» И пока Борис сжигает свои внутренности виски, она произносит целую речь, обращенную к нему: «Садитесь здесь... О Борис... Россия... Что я могу поделать?! Я полна ею!»

Ночью, глядя на эспаньолку Бориса, лежащую на подушке, я начинаю хохотать... О Таня, где сейчас твоя теплая п....нка, твои широкие подвязки, твои мягкие полные ляжки? В моей палице кость длиной шесть дюймов. Я разглажу все складки и складочки между твоих ног, моя разбухшая от семени Таня... Я пошлю тебя домой к твоему Сильвестру с болью в низу живота и с вывернутой наизнанку маткой... Твой Сильвестр! Он знает, как развести огонь, а я знаю, как заставить его гореть. Я вливаю в тебя горячие струи, Таня, я заряжаю твои яичники белым огнем. Твой Сильвестр немного ревнует тебя? Он что-то заподозрил? Что-то чувствует? Он чувствует в тебе, Таня, следы моего большого члена. Я разутюжил твои бедра, разгладил все мор-

шинки между ногами. После меня ты можешь свободно совокупляться с жеребцами, быками, баранами, селезнями, сенбернарами. Ты можешь засовывать лягушек, летучих мышей и ящериц в задний проход. Ты можешь срать, точно играть арпеджио, а на пупок натягивать струны цитры. Когда я е.. тебя, Таня, я делаю это всерьез и надолго. И если ты стесняешься публики, то мы опустим занавес. Но несколько волосков с твоей п....нки я наклею на подбородок Бориса. И я вгрызусь в твой секель и буду сплевывать двухфранковые монеты...

Темно-синее небо с начисто выметенными барашками облаков. Тощие деревья, уходящие в бесконечность, их голые черные ветви, жестикулирующие, точно пьяные актеры... Серьезные и призрачные, со стволами бледными, как сигарный пепел. Величавая тишина. Европейская тишина. Закрытые ставни и лавки. И везде короткие красные сигаретные вспышки — любовные свидания. Но фасады домов слепы, девственно строги, если б не тень, брошенная на них деревьями... Проходя мимо Оранжери, я вспоминаю другой Париж. Париж Моэма и Гогена, Париж Джорджа Мура. Я думаю об ужасном испанце, который поражал мир своими акробатическими прыжками из одного стиля в другой. Я думаю о Шпенглере с его пугающими изречениями, и мне кажется, что «стиль», «великая школа» — фактически кончились. Я говорю «я думаю» — но это неточно. Я позволяю себе думать об этом, лишь перейдя через Сену и оставив позади карнавал электрических огней. Сейчас же, напротив, я не думаю ни о чем. Я — абсолютное чувство, человек, подавленный чудом этих вод, отражающих в себе забытый мир. Склонившиеся деревья смотрятся в мутное зеркало реки. Набегает ветер и наполняет их тихим шепотом, и они роняют слезы в струящуюся воду. Я задыхаюсь от этой красоты. И нет никого в мире, кому бы я мог передать хоть частичку своих чувств...

Проблема в том, что у Ирен не обыкновенное влагалище, а саквояж, и его надо набивать толстыми письмами. Чем толще и длиннее, тем лучше: avec des choses inouïes[1]. Вот Илона — это просто воплощенная манда. Я знаю это, потому что она прислала нам несколько волосков с нее. Илона — дикая ослица, вынюхивающая наслаждения. На каждом холме она разыгрывала блудницу, а иногда и в телефонных будках и в клозетах. Она купила кровать для короля Карола и кружку для бритья с его инициалами. Она лежала в Лондоне на Тоттнем-роуд и, задрав юбку, дрочила. В ход шло все — свечи, шутихи, дверные ручки. Во всей стране не было ни одного фаллоса, который подошел бы ей по размерам... Ни одного. Мужчины влезали в нее целиком и сворачивались калачиком. Ей нужны были раздвижные фаллосы — не фаллосы, а самовзрывающиеся ракеты, кипящее масло с сургучом и креозотом. Она бы отрезала вам член и оставила его в себе навсегда, если б вы ей только позволили. Это была одна п.... из миллиона, эта Илона! Лабораторный экземпляр — и вряд ли на свете найдется лакмусовая бумага, с помощью которой можно было бы воспроизвести ее цвет. К тому же она была врунья. Она никогда не покупала кровать своему королю Каролу. Она короновала его бутылкой из-под виски по голове, и ее глотка была полна лжи и фальшивых обещаний. Бедный Карол... он мог только свернуться калачиком внутри нее и помереть там. Она вздохнула — и он выпал оттуда, как дохлый моллюск.

Огромные толстые письма, avec des choses inouïes. Саквояж без ручек. Скважина без ключа. У нее был немецкий рот, французские уши и русская задница. П.... — интернациональная. Когда поднимался ваш флаг, она краснела до макушки. Вы входили в нее на бульваре

[1] Неслыханных размеров *(франц.)*.

Жюля Ферри, а выходили у Порт-де-Вилле. Вы набрасывали свои потроха на гильотинную повозку — красную повозку и, конечно, с двумя колесами. Есть одно место, где сливаются реки Марна и Урк, где вода, сползши с плотины, застывает под мостами точно стекло. Там сейчас лежит Илона, и канал забит стеклом и щепками; плачут мимозы, и окна запотели туманным бздежем. Илона — единственная из миллиона! П.... и стеклянная задница, в которой вы можете прочесть всю историю Средних веков.

На первый взгляд Молдорф — карикатура на человека. Глазки — щитовидные железы. Губы — шины «Мишлен». Голос — гороховый суп. Под жилетом у него маленькая груша вместо сердца. С какой бы стороны вы на него ни посмотрели, вид одинаковый — вычурная табакерка, набалдашник слоновой кости, шахматная фигурка, барельеф старого храма, веер. Он до такой степени перебродил внутри, что потерял всякую форму и значение. Он — дрожжи без дрожжевого грибка, горшок без фикуса.

За всю историю человечества женщины по-настоящему оплодотворялись дважды — в девятом столетии и еще раз в Ренессанс. В эпохи великого переселения народов Молдорфа носили в желтых и белых животах. Задолго до Исхода в его кровь плюнул еще и татарин.

Дилемма, перед которой оказывается Молдорф,— это дилемма каждого карлика. Своими выпученными глазками он видит собственный силуэт, спроецированный на огромный экран. Голос Молдорфа, вполне соответствующий его ублюдочным размерам, опьяняет его. Он слышит рев, когда все слышат писк.

А его ум? Это — театр, где искусный актер играет сразу все роли. Молдорф разнообразно и точно играет клоуна, жонглера, акробата, священника, сладострастника, жулика. Театр для него слишком мал. Он взрывает его динамитом. Публика наэлектризована. Он добивает ее.

Я много раз пытался приблизиться к Молдорфу, но это — как приблизиться к Богу. Молдорф — это Бог, и он никогда не был ничем другим. Я просто пишу пустые слова...

Свои прежние суждения о нем я отбросил. Сейчас я думаю иначе, но всякий раз по-другому. Когда я насадил его на булавку, я понял только одно — это не навозный жук, а стрекоза. Он часто оскорбляет меня своей грубостью, а потом уничтожает вежливостью. Он может болтать, пока вы не начнете задыхаться, а потом сделаться тихим, как Иордан

Когда он трусит ко мне, распростерши свои лапки и мигая своими потными глазами, мне кажется, что навстречу идет... Нет, все это не так надо описывать!

«Comme une œuf dansant sur un jet d'eau» [1].

У него всего лишь одна тросточка. В кармане — рецепты Weltschmerz [2]. Он уже вылечился, и маленькая немецкая девочка, мывшая ему ноги, ходит теперь с разбитым сердцем. Он как господин Ничтожество, который таскал повсюду словарь языка гуджарати: «Неизбежно для каждого», что, разумеется, означало «необходимо». Боровский не понял бы всего этого. У Боровского специальная тросточка для каждого дня недели и еще одна для Пасхи.

Вместе с тем у нас так много общего, что, когда я смотрю на него, мне кажется, что это мое отражение в треснувшем зеркале.

Я просмотрел свои рукописи — страницы, испещренные помарками. Страницы литературы. Это меня немного пугает, уж слишком похоже на Молдорфа. Только я гой, а у гоев особый способ страдать.

---

[1] Как яйцо, подпрыгивающее в струе воды *(франц.)*.

[2] Мировая скорбь *(нем.)*.

Гои страдают без неврозов. А если верить Сильвестру, человек без неврозов не может понять, что такое настоящее страдание.

Я помню, какое удовольствие доставляли мне страдания. Это как уложить с собой в постель звереныша. Иной раз он цапнет вас когтями — и вы испугаетесь. Но настоящего страха нет. Вы всегда знаете, что в любой момент его можно выкинуть вон или отрубить ему голову.

Есть люди, которые не могут сопротивляться страстному желанию влезть в клетку дикого зверя и при этом быть покалеченными. Они влезают туда даже без револьвера или хлыста. Страх делает их бесстрашными... Для еврея мир — это клетка с дикими зверями. Дверь заперта, а он внутри — без револьвера или хлыста. Его отвага настолько велика, что он даже не чувствует запаха дерьма, лежащего в углу. И не слышит аплодисментов зрителей. Он думает, что драма разворачивается внутри клетки, что клетка — это весь мир. Стоя в ней, одинокий и беззащитный, он обнаруживает, что львы не понимают его языка. Ни один лев никогда не слыхал о Спинозе. Спиноза? Да какой в нем толк? В него даже нельзя вонзить зубы! «Мяса! Мяса!» — рычат львы, а еврей, окаменев, стоит в клетке. Его Weltanschauung[1] недостижима. Один удар звериной лапы — и от его космогонии остается лишь пшик.

Львы тоже разочарованы. Они жаждали мяса, костей, крови, сухожилий. Они жуют и жуют, но все это — слова, непереваримая жвачка. Жвачка — это только основа, в нее надо добавить сахар, чебрец, лакрицу. Она еще на что-то годится, когда ее собирают южноамериканские «чиклерос», которые пришли из-за хребта затонувшего материка. Они принесли с собой свой собственный алгебраический язык. В Аризонской пустыне они встретились с монголами, похожими на печеные баклажаны. Это произошло вскоре после того, как Земля изменила свою геофизическую ось и Гольфстрим распрощался с Японским течением. В недрах земли они нашли мягкий камень, сделали из него краску и потом расписались на кишках планеты своими каракулями. Они пожирали внутренности друг друга, но в конце концов лес задушил их вместе с их черепами и костями. Их язык канул в вечность. Кое-где все же можно найти остатки этого зверинца — черепные коробки, покрытые диковинными надписями.

Какое отношение все это имеет к тебе, Молдорф? Слово в твоих устах — это анархия. Скажи его, Молдорф, я жду. Никто не знает, что за потные реки протекают, когда мы пожимаем друг другу руки. Пока Молдорф, открыв рот и клокоча слюной, формулирует свои мысли, я переношусь через Азию. Если бы я, взяв его тросточку, проткнул ему бок, то у меня хватило бы экспонатов для Британского музея. Мы стоим пять минут и за это время сжираем столетия одно за другим. Молдорф — сито, через которое я просеиваю анархию, превращая ее в слова. За словом — хаос. Каждое слово точно веревка, но нет и никогда не будет столько слов, чтобы сплести сеть.

Пока меня не было дома, повесили новые шторы. Они похожи на тирольские скатерти, смоченные лизолом. Комната сверкает. В растерянности я сажусь на кровать, думая о человеке, каким он был до рождения. Внезапно начинают бить колокола — странная, неземная музыка, и мне кажется, что я где-то в степях Центральной Азии. Некоторые колокола звучат протяжно, другие пьяно и сентиментально. Потом все снова умолкает, и только последняя нота, слегка царапающая тишину ночи — точно умирающий вздох гонга, точно потушенный огонь,— едва звучит.

---

[1] Мировоззренческая позиция *(нем.)*.

Я условился сам с собой: не менять ни строчки из того, что пишу. Я не хочу приглаживать свои мысли или свои поступки. Рядом с совершенством Тургенева я ставлю совершенство Достоевского. (Есть ли что-нибудь более совершенное, чем «Вечный муж»?) Значит, существуют два рода совершенства в одном искусстве. Но в письмах Ван Гога совершенство еще более высокое. Это — победа личности над искусством.

Меня сжигает сейчас только одно желание: записать все, что было опущено в других книгах. Никто, насколько мне известно, не пытался уловить те «элементы», носящиеся в самом воздухе, которые придают нашей жизни направление и смысл. Лишь убийцы получают некоторое удовлетворение от жизни. Нашей эпохе нужны мощные взрывы, а то, что мы имеем,— не более чем попукивание. Революции удушаются в зародыше или слишком быстро побеждают. Энтузиазм быстро выдыхается. Все возвращается на круги своя. В жизни нет ничего, что могло бы заинтересовать человечество хотя бы на двадцать четыре часа. Мы проживаем миллионы жизней в каждом поколении, но получаем наслаждение от чего угодно — от энтомологии, от изучения океанов, от исследования строения клетки,— только не от самой жизни...

Телефонный звонок прерывает мои размышления, которые я все равно не довел бы до конца. Звонит некто, желающий снять квартиру...

Кажется, моя жизнь на вилле Боргезе подходит к концу. Ну что ж, я возьму эти листки и пойду дальше. Жизнь будет продолжаться всегда и повсюду. Куда бы я ни пришел, везде будут люди со своими драмами. Люди как вши — они забираются под кожу и остаются там. Вы чешетесь и чешетесь — до крови, но вам никогда не избавиться от этих вшей. Куда бы я ни сунулся, везде люди, делающие ералаш из своей жизни. Несчастье, тоска, грусть, мысли о самоубийстве — это сейчас у всех в крови. Катастрофы, бессмыслица, неудовлетворенность носятся в воздухе. Чешись сколько хочешь, пока не сдерешь кожу. На меня это производит бодрящее впечатление. Ни подавленности, ни разочарования — напротив, даже некоторое удовольствие. Я жажду новых аварий, новых потрясающих несчастий и чудовищных неудач. Пусть мир катится в тартарары. Пусть человечество зачешется до смерти.

Я живу сейчас в таком бурном темпе, что мне даже трудно делать эти отрывочные заметки. После телефонного звонка явился какой-то господин с женой. Пока велись переговоры, я поднялся наверх и прилег. Вытянувшись на кровати, я думал о том, что мне делать. Не идти же назад в постель к этому педерасту и всю ночь выковыривать хлебные крошки, попавшие между пальцами ног. Какой тошнотворный маленький сукин сын! Если в мире есть кто-нибудь хуже педераста, то это только скряга. Запуганный жалкий ублюдок, постоянно живущий под страхом остаться без денег — может быть, к восемнадцатому марта и уж наверняка к двадцать пятому мая. Кофе без молока и без сахара. Хлеб без масла. Мясо без соуса или вообще без мяса. И без того и без этого! Грязный, паршивый выжига. Я однажды открыл его шкаф и нашел там деньги, запрятанные в носок. Больше двух тысяч франков плюс еше чеки. Я бы простил даже это, если бы не кофейная гуща на моем берете, отбросы на полу, не говоря уже о банках с кольдкремом. сальных полотенцах и вечно засоренной раковине. Уверяю вас, что от этого маленького подлеца шел смрад, пока он не обливался одеколоном. У него были грязные уши, грязные глаза, грязная задница. Это был расхлябанный, астматичный, завшивевший мелкий пакостник. Но я бы ему все простил за приличный

завтрак! Однако чего можно ждать от человека, у которого запрятаны две тысячи франков в грязном носке и который отказывается носить чистую рубашку и мазать хлеб маслом. Такой человек не только педераст и скряга, но к тому же и слабоумный.

Впрочем, хватит о педерасте. Я должен держать ухо востро и знать, что происходит внизу. Там — некий мистер Рен с супругой. Они пришли посмотреть квартиру. Они говорят, что хотели бы ее снять; слава Богу, пока только говорят. У миссис Рен разболтанный смех. Это обычно предвещает затруднения. Сейчас говорит мистер Рен. Его голос — скрипучий, нудный, но громкий — тупое оружие, которое он тычет в ваше тело, в ваши кости, в ваши хрящи.

Борис зовет меня вниз, чтобы представить. Он потирает руки, точно ростовщик. Они обсуждают рассказ мистера Рена, рассказ о хромой лошади.

— А я думал, что мистер Рен — художник...

— Совершенно верно,— говорит Борис, подмигивая мне.— Но зимой он пишет, и пишет удивительно неплохо.

Я стараюсь втянуть мистера Рена в разговор — все равно о чем, пусть даже о хромых лошадях. Но мистер Рен почти косноязычен. Когда он говорит о времени, проведенном с пером в руке, его трудно понять. Он говорит, что, прежде чем коснуться бумаги, проводит целые месяцы в раздумьях. (А зима длится всего три месяца!) О чем он думает столько времени? Хоть убей, я не верю, что он писатель. Однако миссис Рен утверждает, что, когда мистер Рен наконец начинает писать, он просто не может остановиться.

Разговор не клеится. За мистером Реном трудно следить — он ничего толком не говорит. Он, видите ли, «думает во время разговора», как уверяет миссис Рен. Миссис Рен говорит о мистере Рене с благоговением: «Он думает во время разговора...» Очень, очень мило, как сказал бы Боровский, но также и затруднительно. Особенно если учесть, что этот великий мыслитель сам подобен хромой лошади.

Борис сует мне деньги, чтоб я сходил за выпивкой. Я пьянею, уже пока иду за ней. И я точно знаю, что скажу, когда вернусь. Я иду по улице, и во мне бульбулькает приготовленная речь вроде разболтанного смеха миссис Рен. Мне кажется, что она в легком подпитии. В таком состоянии она, вероятно, хороший слушатель. Выходя из винной лавки, я слышу звук текущей мочи. Весь мир — в текучем состоянии. Мне хочется, чтобы миссис Рен меня выслушала...

Борис снова потирает руки. Мистер Рен все еще косноязычит. У меня между ног бутылка, и я ввинчиваю в нее штопор. Рот миссис Рен выжидательно полуоткрыт. Вино течет мне на брюки, солнце струится в фонарное окно, и в моих жилах переливаются и бурлят тысячи диких мыслей. Они начинают выливаться из меня, как из лопнувшей трубы. Я говорю им все, что мне приходит в голову, все, что было закупорено там долгое время и что разболтанный смех миссис Рен неожиданно откупорил. Зажав бутылку между ног и подставив лицо солнцу, плещущему в окно, я снова переживаю прелесть тех первых тяжелых дней, когда я попал в Париж. Растерянный и нищий, я бродил по парижским улицам, как неприкаянное привидение на веселом пиру. Внезапно все подробности того времени всплывают в памяти — неработающие уборные; князь, чистящий мои туфли; кинотеатр «Спленд-дид», где я спал на чужом пальто; решетки на окнах; чувство удушья; жирные тараканы; пьянство и дуракаваляние. Танцы на улицах на пустой желудок, а иногда визиты к странным людям вроде мадам Делорм. Как я попал к мадам Делорм, я сейчас даже не могу себе представить. Но как-то я все-таки проскочил мимо лакея у дверей и горничной в кокетливом белом передничке и вперся прямо во дворец в своих плисовых штанах без единой пуговицы на ширинке и в охотничьей куртке. Даже и сейчас я вижу золото этой комнаты и мадам Делорм в костюме мужского покроя, восседающую на каком-то троне,

золотых рыбок в аквариуме, старинные карты, великолепно переплетенные книги; чувствую ее тяжелую руку на своем плече и помню, как она меня слегка даже испугала своей тяжелой лесбийской ухваткой. Но насколько приятнее было болтаться в человеческой похлебке, льющейся мимо вокзала Сен-Лазар — шлюхи в подворотнях; бутылки с сельтерской на всех столах; густые струи семени, текущие по сточным канавам. Что может быть лучше, чем болтаться в этой толпе между пятью и семью часами вечера, преследуя ножку или крутой бюст или просто плывя по течению и чувствуя легкое головокружение. В те дни я ощущал странную удовлетворенность: ни свиданий, ни приглашений на обед, никаких обязательств и ни гроша в кармане. Золотое время, когда у меня не было ни одного друга. Каждое утро — безнадежная прогулка в банк «Американ экспресс», и каждое утро — неизменный ответ банковского клерка. Я ползал тогда по городу, как клоп, собирая окурки, иногда застенчиво, а иногда и нахально; сидел на садовых скамейках, втягивая живот, чтобы остановить его нытье, или бродил по Тюильри, глядя на безмолвные статуи, вызывавшие у меня эрекцию... По ночам я бродил вдоль Сены, сходя с ума от ее красоты, от деревьев, наклонившихся над водой, и от их разбитых отражений на текущей реке под кроваво-красными фонарями мостов... Женщины, спящие в подворотнях, на старых газетах, под дождем — и повсюду заплесневевшие ступени соборов, и нищие, и вши, и старухи, готовые к пляске святого Вита; тачки, сложенные штабелями, как винные бочки; запах ягод на рыночной площади и старая церковь, окруженная зеленью и синими огнями; сточные канавы с отбросами и шикарные женщины, возвращающиеся после вечеринки и ступающие по скользкой грязи в прюнелевых туфельках... Площадь Сен-Сюльпис, заброшенная и безлюдная, куда около полуночи каждый день приходила женщина со сломанным зонтиком и немыслимой вуалью. Тут, скрючившись, она и спала под своим зонтом, с опавшими ребрами, в платье, позеленевшем от старости, и от ее тела шел запах гнили... Я сидел здесь по утрам, дремля на солнце, мысленно проклиная сволочных голубей, повсюду собирающих крошки... Сен-Сюльпис! Толстые колокольни, кричащие афиши на дверях, мерцающие алтарные свечи... Площадь, которую так любил Анатоль Франс,— бормотание, доносящееся из алтаря, плеск фонтана, воркующие голуби, хлебные крошки, исчезающие словно по волшебству, и глухое урчание в пустых кишках... Здесь я сидел день за днем, думая о Жермен и о маленькой улочке возле Бастилии, где она жила, и слушая бормотание, долетавшее из-за алтаря... Мчащиеся мимо автобусы и солнце, жгущее асфальт — асфальт, вливающийся в меня и Жермен,— асфальт и весь Париж с его большими толстыми колокольнями.

Всего только год назад Мона и я каждый вечер, расставшись с Боровским, бродили по улице Бонапарта. Площадь Сен-Сюльпис, как и все в Париже, ничего тогда для меня не значила. Я отупел от разговоров и от человеческих лиц, меня тошнило от соборов, площадей, зоологических садов и прочей дребедени. Сидя в красной спальне в неудобном плетеном кресле, от которого изнывала моя задница, я поднимал книгу, смотрел на красные обои и слушал беспрерывный говор вокруг... Я помню эту красную спальню и всегда открытый сундук с ее платьями, разбросанными повсюду в кошмарном беспорядке. Красная спальня с моими галошами, тростями, записными книжками, к которым я даже не прикасался, и холодными мертвыми рукописями... Париж! Это был Париж кафе «Селект», кафе «Дом», Блошиного рынка, банка «Американ экспресс»... Париж! Тросточки Боровского, его шляпы, его гуаши, его доисторическая рыба и доисторические же анекдоты. Из всего этого Парижа двадцать восьмого года только один вечер отчетливо вырисовывается в моей памяти — вечер, когда я уезжал в Америку. Удивительная ночь с подвыпившим Боровским, дующимся на меня за то, что я танцую с каждой потаскушкой. Но ведь мы уез-

жаем в Америку завтра утром! Я говорил это каждой встречной бабе — уезжаем завтра утром! Я говорил это блондинке с агатовыми глазами. А пока я это говорил, она взяла мою руку и зажала ее между своими ляжками. В уборной я стою над писсуаром с монументальной эрекцией, и мой фаллос кажется мне одновременно и тяжелым и легким, как кусок свинца с крыльями. И пока я вот так стою, вваливаются две американки. Я вежливо приветствую их с членом в руке. Они подмигивают мне и выходят. Уже в умывальной, застегивая ширинку, я снова вижу одну из них, поджидающую свою подругу, которая все еще в уборной. Музыка долетает сюда из зала, и каждую минуту может появиться Мона, чтобы забрать меня, или Боровский со своей тростью с золотым набалдашником, но я уже в руках этой женщины, она меня держит, и мне все равно, что произойдет дальше. Мы заползаем в клозет, я ставлю ее у стены и пытаюсь вставить ей, но у нас ничего не получается. Мы садимся на стульчак, пытаемся устроиться таким способом,— и опять безуспешно. Как мы ни стараемся, ничего не выходит. Все это время она сжимает мой член в руке, как якорь спасения, но тщетно — мы слишком возбуждены. Музыка продолжает играть, мы вальсируем с ней из клозета в умывальную и танцуем там, и вдруг я спускаю прямо ей на платье, и она приходит от этого в ярость. Пошатываясь, я возвращаюсь к столу, а там сидят румяный Боровский и Мона, которая встречает меня строгим взглядом. Боровский говорит: «Слушайте, едем все завтра в Брюссель!» Мы соглашаемся. Когда я вернулся в отель, у меня началась рвота. Я заблевал все — кровать, умывальник, костюмы и платья, галоши, нетронутые записные книжки и холодные мертвые рукописи.

И вот несколько месяцев спустя — та же гостиница, та же комната. Мы смотрим во двор, где стоят велосипеды, а над ними, под самым чердаком, маленькая комнатка, в которой какой-то молодой идиот целый день заводит граммофон и громко повторяет разные заумные фразы. Я говорю «мы», но я забегаю вперед, так как Моны еще нет и я встречаю ее сегодня на вокзале Сен-Лазар. Вечером я стою там, мое лицо зажато решетками, но Моны в толпе нет. Я перечитываю телеграмму, но это ничего не меняет. Возвратившись в Латинский квартал, я как ни в чем не бывало съедаю плотный обед. Уже позднее, проходя мимо кафе «Дом», я внезапно вижу серьезное лицо, горящие глаза и бархатный костюмчик, который я обожаю, потому что под ним всегда ее теплые груди и мраморные ноги — прохладные, гладкие, сильные. Она поднимается из моря лиц и обнимает меня, обнимает страстно. Тысячи глаз, носов, пальцев, ног, бутылок, ридикюлей и блюдечек глазеют на нас, а мы — в объятиях друг друга, забыв все на свете. Я сажусь рядом с ней, и она начинает говорить. Это не речь — это поток слов. Дикие, чахоточные нотки истерики, извращения, проказы. Но я не слышу ни слова, потому что она прекрасна, потому что я люблю ее, потому что теперь я счастлив и готов умереть.

Мы идем по улице Шато в поисках Евгения. Проходим железнодорожным мостом. Здесь я когда-то стоял и смотрел с тоской на уходящие поезда, пытаясь представить себе, где она может сейчас быть. Все чарует меня... Дым, ползущий через мост и пробивающийся меж нашими ногами, лязг стрелок внизу и семафоры — все это у нас в крови. Я чувствую ее тело, такое родное, сейчас оно все мое...Я останавливаюсь и глажу теплый бархат. Все, что было вокруг нас, перестает быть, и только теплое тело под бархатом рвется ко мне...

Я опять в той же комнате и, спасибо Евгению, с пятьюдесятью франками в кармане. Я смотрю во двор, но граммофон умолк. Сундук открыт, и вещи Моны разбросаны, как и раньше. Она ложится на кровать, не раздеваясь. Один, два, три, четыре... Я боюсь, что она сойдет с ума... Как хорошо опять чувствовать в постели под одеялом ее тело. Но надолго ли? Будет ли это навсегда? У меня предчувствие, что не будет.

Она говорит так лихорадочно и быстро, словно не верит, что завтра опять будет день. «Успокойся, Мона. Просто смотри на меня и молчи». В конце концов она засыпает, и я вытаскиваю из-под нее свою руку. Мои глаза слипаются... Ее тело — рядом со мной, и оно будет тут... во всяком случае до утра... Это было в феврале, в порту; метель слепила мне глаза; мы расставались. В последний раз я увидел ее уже в иллюминатор каюты; она махала мне на прощанье рукой... На углу на другой стороне улицы стоял человек в шляпе, надвинутой на глаза. Его жирные щеки лежали на отворотах пальто. Мерзкий недоносок, тоже провожавший меня, недоносок с сигарой во рту. Мона, машущая мне рукой... Бледное печальное лицо, непокорные волосы на ветру. Но сейчас — эта печальная комната и она, ее ровное дыхание, влага, все еще сочащаяся у нее между ног, теплый кошачий запах, и ее волосы у меня во рту. Мои глаза закрыты. Мы ровно дышим в лицо друг другу. Мы так близко, и мы — вместе. Америка за три тысячи миль от нас. Это просто чудо, что она здесь, в моей постели, дышит на меня и что ее волосы у меня во рту. До утра ничего уже не может случиться.

Я просыпаюсь после глубокого сна и смотрю на нее. Тусклый свет пробивается в окно. Я смотрю на ее чудесные непокорные волосы и чувствую, как что-то ползет у меня по шее. Я смотрю на нее опять. Ее волосы — живые. Я отворачиваю простыню — здесь их еще больше. Они расползлись по всей подушке.

На заре мы быстро собираемся и выскальзываем из гостиницы. Все кафе еще закрыты. Мы идем по улице и чешемся. День поднимается в молочной белизне, коралловые полосы в небе, как улитки, выползающие из своих ракушек. Париж. Париж. Все может случиться здесь. Старые замшелые стены и уютное бульканье воды в писсуарах. Мужчины, слизывающие с усов пивную пену. С грохотом поднимаются ставни, и тонкие струйки стекают в сточные канавы. Огромные красные буквы «Амер Пикон», «Зигзаг». В какую сторону идти нам, куда и зачем?

Мона голодна. На ней тонкое платье. Ничего у нее нет, кроме вечерних накидок, флакончиков с духами, варварских сережек, браслетов и помад. Мы садимся в бильярдной на авеню Мэн и заказываем кофе. Уборная не работает. Пока мы найдем другую гостиницу, пройдет какое-то время. Мы сидим и вытаскиваем клопов из волос друг у друга. Мона нервничает. У нее лопается терпение. Ей нужна ванна. Ей нужно то, нужно это. Нужно, нужно, нужно...

— Сколько у тебя денег?

Деньги! Я совершенно забыл о них.

Отель «Соединенные Штаты». Лифт. Когда мы ложимся спать, еще совсем светло. Встаем в темноте, и первое, что мне надо сделать сейчас,— это найти деньги на телеграмму в Америку. Телеграмму недоноску с мокрой сигарой во рту. Но как бы то ни было, а на бульваре Распай есть испанка, которая никогда не откажет в горячей еде. К утру что-нибудь да случится. По крайней мере мы опять будем спать вместе. Без клопов. Грядет дождливый сезон. Простыни — без единого пятнышка...

2

Новая жизнь начинается для меня на вилле Боргезе. Сейчас только десять часов, а мы уже позавтракали и даже прогулялись. Теперь у нас в доме живет некая особа по имени Эльза. «Не валяй дурака, хотя бы несколько дней»,— предупредил меня Борис.

День начался великолепно: яркое небо, свежий ветер, чисто вымытые дома. По пути на почту мы с Борисом обсуждаем книгу. «Последнюю книгу». Она будет написана анонимно.

То, что это начало новой жизни, я почувствовал сегодня утром,

пока мы стояли перед глянцевым полотном Дюфрена — своего рода «маленьким завтраком» в тринадцатом столетии, без вина. Здоровая, крепкая, мясистая голая баба, розовая, как ноготь, с глянцевыми волнами тела; все вторичные признаки налицо и первичные отчасти тоже. Тело, которое возбуждает, росистое, как заря. Все в движении, ничего мертвого, застывшего. Стол ломится от еды и просто вываливается из рамы. Трапеза тринадцатого столетия с небольшой примесью джунглей, которые он так удачно запечатлел. Семья газелей и зебр, мирно общипывающих пальмовые листья.

Так вот, у нас появилась Эльза. Она играла для нас сегодня утром, пока мы были в постели. «Не валяй дурака, хотя бы несколько дней». Я согласен. Эльза — горничная, я — гость. Борис — важная персона. Начинается новая эпопея. Я смеюсь, пока все это пишу. Борис, эта лиса, знает, что должно случиться. У него нюх на такие вещи. «Не валяй дурака...»

Борис как на иголках. В любой момент может появиться его жена. Она весит больше восьмидесяти килограммов, эта дама. Борис весь умещается у нее на ладони. Такова ситуация. Он объясняет мне все это, когда мы возвращаемся вечером домой. Все, что он говорит, трагично, но и смешно, и я не могу сдержаться и смеюсь ему в лицо. «Почему ты смеешься?» — спрашивает Борис серьезно, но тут же начинает смеяться сам; он смеется со всхлипами, истерическими взвизгами, смеется, как беспомощный мальчик, который понимает, что, сколько бы он ни напялил на себя сюртуков, из него никогда не получится настоящий мужчина. Борис мечтает сбежать и изменить имя. «Пусть эта корова забирает все,— хнычет он,— только пусть оставит меня в покое». Но прежде ему надо сдать квартиру, подписать документы и выполнить тысячи формальностей, для чего он и держит сюртук. Размеры этой женщины грандиозны. Они-то и пугают его более всего прочего. Если бы он вдруг увидел ее сейчас стоящей на ступенях, то, вероятно, упал бы в обморок. Вот как он ее уважает!

Итак, не надо валять дурака с Эльзой. Она тут для того, чтобы готовить завтрак и показывать квартиру будущим постояльцам.

Но Эльза деморализует меня. Немецкая кровь. Меланхолические песни. Сходя по лестнице сегодня утром, с запахом кофе в ноздрях, я уже напевал: «Es wär so schön gewesen» [1]. Это к завтраку-то! И потом этот молодой человек наверху со своим Бахом. Эльза говорит: «Ему нужна женщина». Эльзе тоже кое-что нужно. Я это чувствую. Я не сказал Борису, но сегодня утром, пока он чистил зубы, она рассказывала мне про Берлин и тамошних женщин, которые очень аппетитны сзади, а повернутся — и пожалуйте, сифилис!

Мне кажется, что Эльза посматривает на меня с тоской, как на остатки от завтрака. Сегодня, после обеда, мы оба пошли в студию, чтобы кое-что написать. Мы сидели спина к спине за нашими пишущими машинками. Она начала письмо своему любовнику в Италии, но у нее заело машинку. Бориса не было дома — он ушел на поиски дешевой комнаты, куда тут же переберется, когда сдаст квартиру. Ничего не оставалось делать, как подъехать к Эльзе. Она этого хотела, но все-таки мне было ее немного жалко. Она написала только одну строчку своему любовнику — я прочел ее, когда нагибался к ней сзади. Но ничего не поделаешь. Это все проклятая немецкая музыка, сентиментальная и грустная. Она расслабляет меня. А потом — эти ее бисерные глазки, такие горячие и печальные одновременно.

Когда все было кончено, я попросил Эльзу сыграть что-нибудь для меня. Она музыкантша, эта Эльза, хотя ее музыка и звучит так, точно кто-то бьет горшки. Играя, она плакала. Что ж, я ее понимаю. Она говорит, что везде с ней случается одно и то же. Везде ее подстерегает мужчина, в результате ей приходится бросать место; потом аборт; по-

[1] Это было бы так прекрасно *(нем.)*.

том новое место и новый мужчина, и всем насрать на нее с высокого дерева, все хотят только пользоваться ею. Все это она говорит мне, сыграв Шумана — Шумана, этого плаксивого сентиментального немецкого нытика! Мне жалко Эльзу, но в то же время и наплевать на нее — баба, которая играет Шумана, должна уметь не попадаться на каждый встречный поц. Но этот Шуман... он хватает меня за душу, отвлекает от скулящей Эльзы, и мои мысли уносятся в прошлое. Я думаю о Тане, о своей жизни и о том, что безвозвратно кануло в Лету. Я вспоминаю летний день в Гринпойнте, когда немцы громили Бельгию, а мы, американцы, еще были достаточно богаты, чтоб не думать о судьбе какой-то нейтральной Бельгии. Мы были еще настолько наивны, что слушали поэтов и сидели вокруг спиритических столов, «выстукивая» духов. Воздух был напоен немецкой музыкой — ведь все это происходило в немецком районе Нью-Йорка, более немецком, чем сама Германия. Мы выросли там на Шумане, на Гуго Вольфе, на кислой капусте, кюммеле и картофельных клецках... Я помню, в тот же вечер был устроен очередной спиритический сеанс, и мы сидели за большим столом. Занавески были опущены, и какая-то дура пыталась вызвать дух Иисуса Христа. Мы держались за руки под столом, и моя соседка запустила два пальца в ширинку моих брюк. Потом я помню, как мы лежали на полу за пианино, пока кто-то пел унылую песню... Я помню давящий воздух комнаты и сивушное дыхание моей партнерши. Я смотрел на педаль, двигавшуюся вниз и вверх с механической точностью — дикое, ненужное движение. Потом я посадил свою партнершу на себя и уперся ухом в резонатор пианино. В комнате было темно, и ковер был липким от пролитого кюммеля... Дальше все уже было в каком-то тумане... Мне казалось, что светает, что вода переливается через синий лед, над которым висит туманная дымка, что глетчеры ползут в изумрудную синеву, что серны и антилопы проносятся мимо, золотые сомы щиплют водоросли и моржи прыгают через Полярный круг...

Эльза сидит у меня на коленях. Ее глаза — как пупки. Я смотрю на ее влажный блестящий рот и покрываю его своим. Она мурлычет: «Es wär so schön gewesen...» Ах, Эльза, ты еще не знаешь, что все это для меня значит, ваш «Trompeter von Säckingen». Немецкие хоровые общества, Швабен Халле, Turnverein... links um, rechts um...[1], а затем удар веревкой по заднице.

Ах, эти немцы! Они подбирают всех вас, как омнибус. От них у вас несварение желудка. Как можно в один и тот же вечер объять и морг, и клинику, и зоологический сад, и знаки зодиака, и пещеры философии, и подворотни письмоведения, и колдовское варево Фрейда и Штекеля? С немцами можно пройти от Веги до Лопе де Веги, все в один вечер, и уйти глупым, как Парсифаль.

Я уже говорил, что день начался божественно. Только этим утром после нескольких недель пустоты я снова физически ощутил Париж. Может, это потому, что во мне начала расти Книга. Я повсюду ношу ее с собой. Я хожу по городу беременный, и полицейские переводят меня через дорогу. Женщины встают и уступают мне место. Никто больше не толкает меня. Я беременный. Я ковыляю, как утка, и мой огромный живот упирается в мир.

Сегодня утром, по пути на почту, мы с Борисом поставили окончательную печать одобрения на нашу книгу. Мы с Борисом изобрели новую космогонию литературы. Это будет новая Библия — Последняя Книга. Все, у кого есть что сказать, скажут свое слово здесь — анонимно. Мы выдоим наш век, как корову. После нас не будет новых книг, по крайней мере целое поколение. До сих пор мы копошились в темноте и двигались инстинктивно. Теперь у нас будет сосуд, в который

[1] Трубач из Зекингена... Союз физкультурников... налево кругом, направо кругом... *(нем.)*

мы вольем живительную влагу, бомба, которая взорвет мир, когда мы ее бросим. Мы запихаем в нее столько начинки, чтоб хватило на все фабулы, драмы, поэмы, мифы и фантазии для всех будущих писателей. Они будут питаться ею тысячу лет. В этой идее — колоссальный потенциал. Одна мысль о ней сотрясает нас.

Уже сотни лет мир, наш мир, умирает. И никто за эти сотни лет не додумался засунуть бомбу ему в задницу и поджечь фитиль. Мир гниет, разваливается на куски. Но ему нужен последний удар, последний взрыв, чтоб он разлетелся вдребезги. Никто из нас не целен сам по себе, но каждый носит в себе материки, и моря между материками, и птиц в небе. Мы это все опишем — эволюцию этого сдохшего мира, который позабыли похоронить. Мы плаваем на поверхности, но мир уже утонул, тонет сейчас или утонет скоро. Наша Книга будет настоящим кафедральным собором, строить который будут все, кто потерял себя. Будут тут и панихиды, и молитвы, и исповеди, и вздохи, и рыданья, и бесшабашность; будут окна-розетки, и химеры, и служки, и гробокопатели. В этот собор можно будет въезжать на лошадях и гарцевать в проходах. О его стены можно будет биться головой — они не пострадают; молиться — на любом языке, а тот, кто не захочет молиться, может свернуться калачиком на ступенях и заснуть. Наш кафедральный собор простоит тысячу лет, и ничего равного ему не будет, потому что, когда исчезнут его строители, вместе с ними исчезнут и чертежи. Мы построим вокруг нашего собора город и заложим основы свободной коммуны. Нам не нужны гении — гении мертвы. Вместо немочи и бесплотных призраков нам нужны сильные руки с мясом на костях...

День идет бодрым шагом. Я стою на галерее у Тани. Внизу, в гостиной, разыгрывается драма. Главный драматург болен, и отсюда, сверху, его череп выглядит еще более опаршивевшим, чем всегда. Его волосы — солома. Его мысли — солома. Его жена — тоже солома, но немного еще влажная. Я стою на балконе и жду Бориса. Проблема с завтраком разрешена. Я упростил все. Если появятся новые проблемы, я буду носить их в своем рюкзаке вместе с грязным бельем. Я вытряхиваю мелочь из карманов. Зачем мне деньги? Я — пишущая машина. Последняя деталь в ней подогнана. Перебоев в работе нет. Между мной и машиной нет ничего. Я и есть эта машина...

Мне еще никто не сказал, в чем, собственно, заключается драма, происходящая внизу. Но я догадываюсь. Они стараются отделаться от меня. А я все-таки здесь, в ожидании обеда, и даже раньше, чем обыкновенно. Я советую им, где им сесть и что делать. Я вежливо осведомляюсь, не помешаю ли я им, но имею в виду, не помешают ли они мне, и они это хорошо понимают. Нет, милые тараканы, вы мне не мешаете. Вы меня питаете. Я смотрю, как вы сидите рядом, и я знаю, что между вами — пропасть. Ваша близость — это близость планет. Безвоздушное пространство между вами — это я. Если я уйду, исчезнет и пространство, и тогда вам негде будет больше плавать.

Таня настроена враждебно. Ее раздражает, если я замечаю еще что-то, кроме нее. По калибру моего возбуждения она понимает, что сейчас ничего для меня не значит. Она знает, что сегодня я не собираюсь ее удобрять. Она знает, что во мне что-то зреет и это «что-то» превратит ее в ноль. Она не слишком сообразительна, но тут она все хорошо сообразила...

У Сильвестра вид более удовлетворенный. Он будет обнимать Таню за обедом. Даже сейчас он не прерывает чтения моей рукописи, готовясь воспламенить мое «я» и использовать его против Таниного.

Любопытное сборище будет здесь сегодня. Сцена уже почти готова. Я слышу позвякивание стаканов. Приносят вино. Когда опустеют стаканы, Сильвестр вылезет наконец из своей болезни.

Вчера вечером у Кронстадтов мы разработали сегодняшнюю программу. Мы решили, что женщины должны страдать, а за кулисами должны происходить ужасы, бедствия, насилие, горе и слезы — как можно больше.

Это не случайность, что люди, подобные нам, собираются в Париже. Париж — это эстрада, вертящаяся сцена. И зритель может видеть спектакль из любого угла. Но Париж не пишет и не создает драм. Они начинаются в других местах. Париж подобен щипцам, которыми извлекают эмбрион из матки и помещают в инкубатор. Париж — колыбель для искусственно рожденных. Качаясь в парижской люльке, каждый может мечтать о своем Берлине, Нью-Йорке, Чикаго, Вене, Минске. Вена нигде так не Вена, как в Париже. Все достигает здесь своего апогея. Одни обитатели колыбели сменяются другими. На стенах парижских домов вы можете прочесть, что здесь жили Золя, Бальзак, Данте, Стриндберг — любой, кто хоть что-нибудь собой представлял. Все когда-то жили здесь. Никто не умирал в Париже...

Снизу доносится разговор на символическом языке. Несколько раз всплывает слово «борьба». Сильвестр, больной драматург, говорит: «Я сейчас читаю «Манифест». Таня спрашивает: «Чей?» Да, да, Таня, я ясно это слышал! Я пишу сейчас о тебе, и ты это чувствуешь. Говори, говори, чтоб я мог все это записать. Когда мы пойдем к столу, я уже не смогу делать свои заметки... Вдруг Таня говорит: «Здесь нет настоящего зала». Что это значит? Наверное, ничего.

Сейчас они вешают внизу картины. Это тоже чтобы произвести на меня впечатление. Они хотят мне сказать: смотри, мы у себя дома. Мы живем здесь по-семейному. Мы украшаем наш дом. Мы даже поспорим слегка о картинах — для тебя. Таня говорит опять: «Как обманчив человеческий глаз!» Ах, Таня, что ты такое говоришь! Но все равно, продолжайте комедию. Я здесь, чтобы съесть свой обед, который ты обещала; мне твой фарс очень нравится. Теперь уже Сильвестр перехватывает инициативу. Он старается объяснить одну из гуашей Боровского: «А ну-ка, подойди сюда, Таня. Посмотри. Ты видишь — вот этот играет на гитаре, а этот держит на коленях девушку». Правильно, Сильвестр. Совершенно справедливо. Уж этот мне Боровский со своими гитарами! Беда в том, что никто не может сказать, что́ именно он держит на коленях и кто играет на гитаре...

Скоро вкатится на четвереньках Молдорф и Борис со своим беспомощным смехом. На обед будет золотистый фазан, анжуйское и коротенькие толстые сигары. И Кронстадт, когда услышит последние новости, загорится на несколько минут, а потом погрязнет опять в навозе своей идеологии, и, может быть, родится новая поэма, большой золотой колокол без языка.

На час или около того пришлось прервать работу. Еще один явился смотреть квартиру. Наверху проклятый англичанин безостановочно играет Баха. Теперь, когда кто-нибудь хочет посмотреть квартиру, надо бежать наверх и просить пианиста на некоторое время умолкнуть.

Эльза звонит в овощную лавку. Водопроводчик ставит новый стульчак на унитаз. Когда раздается звонок, бедный Борис совершенно теряется. В волнении он уронил очки и сейчас ползает на четвереньках, подметая фалдами сюртука паркет. Это слегка напоминает театр ужасов «Гран Гиньоль» — голодный поэт приходит давать уроки дочери мясника. Каждый раз, когда в лавке раздается звонок, поэт пускает слюну. Малларме звучит как бифштекс, Виктор Гюго — как телячья печенка. Эльза заказывает легкий завтрак для Бориса: «Небольшую сочную свиную отбивную». Перед моим мысленным взором проплывают на холодном мраморном прилавке целые груды розовых окороков, отороченных белым салом. Я голоден как собака, хотя мы выпили наш утренний кофе всего несколько минут назад. Только по

средам у меня бывает второй завтрак — спасибо Боровскому. Эльза все еще звонит — она забыла заказать кусочек копченой грудинки. «Тоненький кусочек, не очень жирный...» Боже! Навалите горы сладкого мяса, тысячи устриц и моллюсков. Подкиньте еще жареной ливерной колбасы. Я могу сожрать тысячу пятьсот пьес Лопе де Веги в один присест!

На этот раз квартиру смотрит хорошенькая женщина. Конечно, американка. Я стою у окна, спиной к ней, и гляжу на воробья, расклевывающего свежее дерьмо. Удивительно, как легко достается воробьям хлеб насущный. Дождит. С неба падают огромные редкие капли. Я всегда думал, что птицы не могут летать с мокрыми крыльями. Удивительно, как все эти богатые затирухи, приехав в Париж, всегда находят самые лучшие ателье. Тощий талант, но толстый кошелек. В дождливую погоду они могут показывать свои новые модные дождевики. Жратва для них ничто: иногда они так заняты ерундой, что у них нет времени на завтрак. Какой-нибудь бутербродик в кафе «Де ла Пэ» или в баре «Рич». «Для девушек из благородных семейств» — так гласит объявление на старом ателье Пюви де Шаванна; я увидел его случайно, проходя мимо дня два назад. Богатые американские курвы с ящиками для красок через плечо. Тощий талант с толстым кошельком.

Воробей перепрыгивает с булыжника на булыжник. Если разобраться, так он настоящий Геркулес. Вот для кого жратвы всегда навалом — в любой канаве. Хорошенькая американка спрашивает, где туалет. Туалет! Дай я покажу тебе, газель с бархатным носом. Ты говоришь, туалет? Пожалуйте сюда, мадам. Но имейте в виду, что нумерованные места — только для инвалидов войны!

Борис потирает руки — он обсуждает детали договора. Во дворе лают собаки, не собаки, а волки какие-то. Наверху миссис Мелвернес двигает мебель. Целый день ей нечем заняться, и она скучает. Стоит ей найти соринку, и она начинает мыть весь дом. На столе — виноград и бутылка десятиградусного «vin de choix». «Конечно, конечно,— говорит Борис,— я могу поставить для вас здесь умывальник... проходите, пожалуйста. Это — туалет. Наверху, естественно, есть другой. Вам не очень нравится Утрилло? Нет, это тут... Надо заменить прокладку, и все будет в порядке...»

Она уйдет через несколько минут. На этот раз Борис даже не представил меня. Сукин сын! Так всегда, когда появляется богатая баба. Скоро я смогу опять сесть за машинку. Но почему-то у меня пропала охота. Хорошее настроение пошло к черту. Через час эта американка может вернуться и вытащить стул из-под моей задницы. Как тут работать, когда не знаешь, где ты будешь сидеть через полчаса. Если эта богатая шлюха снимет квартиру, мне негде будет даже спать. Когда попадаешь в такой переплет, трудно сказать, что хуже — не иметь ночлега или не иметь рабочего места. Положим, спать можно где угодно, но для работы нужно определенное место. Даже если то, что ты пишешь, и не шедевр. Даже для плохого романа требуется стул и некоторое уединение. Этим богатым курвам не приходится ломать голову над такими вопросами. Для их мягких задниц всегда готов стул...

Вчера мы оставили Сильвестра и его бога сидящими у очага. Сильвестр — в пижаме, Молдорф — с сигарой во рту. Сильвестр чистит апельсин. Он кладет кожуру прямо на диван. Молдорф подсаживается поближе. Он просит разрешения прочесть опять свою блестящую пародию «Врата рая». Мы с Борисом собираемся уходить. У нас слишком хорошее настроение, чтобы сидеть в этой больничной обстановке. Таня идет с нами. Ей весело, потому что она намерена сбежать. Борису весело, потому что Бог в Молдорфе умер. Мне весело, потому что это новый акт комедии.

В голосе Молдорфа — почтительность. «Сильвестр, могу я побыть с вами, пока вы не ляжете спать?» Он ошивается здесь уже шесть дней, бегая за лекарствами, выполняя разные Танины поручения, утешая, советуя и охраняя двери от злых духов вроде Бориса и его приятелей-лоботрясов. Молдорф похож на дикаря, который обнаружил, что кто-то ночью обезобразил его идола. Вот он сидит сейчас у его ног с магическим цветком в руках и шепчет заклинания. Голос его мертвеет. Тело уже сковано параличом.

Он говорит с Таней как со жрицей, которая нарушила свой священный обет. «Вы должны быть достойны его. Сильвестр — это ваш бог». И пока бог страдает наверху (у него легкие хрипы в груди), жрец и жрица жрут. «Мы оскверняем себя...» — бормочет он измазанными соусом губами. У него способность жрать и страдать одновременно. Охраняя своего кумира от злых духов, он иногда поглаживает Танины волосы своей толстенькой лапкой. «Я начинаю влюбляться в вас. Вы совсем как моя Фанни...»

Во всех других отношениях это был счастливый день для Молдорфа. Из Америки пришло письмо. Мо получает пятерки. Марри учится кататься на велосипеде. Граммофон починили. По выражению его лица можно видеть, что в письме есть и другие новости, кроме отметок и велосипедов. Это ясно из того, что сегодня он накупил побрякушек для Фанни на триста двадцать пять франков. Вдобавок он написал ей письмо на двадцати страницах. Гарсон в кафе таскал ему лист за листом, заправлял его самописку чернилами, приносил сигары и кофе, слегка обмахивал, когда Молдорф потел, сметал крошки со стола, давал прикурить, когда сигара гасла, бегал за марками, танцевал, делал пируэты и кланялся до земли, рискуя сломать спину. Он получил большие чаевые. Даже более жирные, чем гаванская сигара «Корона-Корона». Молдорф, вероятно, записал это в своем дневнике. Он ведет его для Фанни. Все — для Фанни. И браслеты, и сережки. Он говорит, что Фанни стоит каждого истраченного на нее су. Лучше тратить деньги на Фанни, чем на шлюх вроде Жермен и Одетт. Да, это буквально то, что он сказал Тане. Он показал ей битком набитый подарками сундук. Все — для Фанни, и для Мо, и для Марри.

«Моя Фанни — самая умная женщина в мире. Я старался найти в ней хотя бы один недостаток, но это невозможно».

«Фанни — совершенство. Я вам скажу, что такое Фанни. Она играет в бридж как никто; она интересуется сионизмом, а если вы дадите ей старую шляпку, например, вы удивитесь, что она из нее сделает. Бантик здесь, ленточка тут — красота! Вы знаете, в чем заключается наивысшее наслаждение? Нет? Наивысшее наслаждение — это когда ты сидишь вечером рядом с Фанни и слушаешь радио. Мо и Марри уже уснули. Фанни сидит так спокойно. Я чувствую, что вознагражден за все неприятности, за все тяготы, когда вот так сижу с Фанни. О, как умно и внимательно она слушает! Когда я думаю о вашем вонючем Монпарнасе, а потом вспоминаю наши вечера с Фанни в Бэй-Ридже в Нью-Йорке — это несопоставимые вещи. Ценности жизни всегда просты — хорошая еда, дети, притушенные лампы и Фанни, сидящая рядом, немного усталая, но веселая, довольная и сытая... Мы сидим так часами, не говоря ни слова. Вот что такое настоящее счастье».

«Сегодня я получил письмо от Фанни. Это не какое-нибудь обыкновенное письмо. Она пишет с чувством, с толком и языком, который может понять даже мой маленький Марри. Она такая тактичная, моя Фанни. Она пишет мне, что дети должны продолжать образование, но ее пугают расходы. Школа для Марри будет стоить тысячу долларов. Мо, конечно, получит стипендию. Но Марри — это настоящий маленький гений. Что поделаешь? Я написал Фанни, чтобы она не беспокоилась. Пошли его в школу — так я и написал. Что значит тысяча долларов? В этом году я заработаю больше, чем всегда. Мне ничего не жалко для Марри — ведь он настоящий гений, этот малыш».

Я бы хотел быть там у них, когда Фанни откроет сундук. «Посмотри, Фанни,— скажет Молдорф,— это я купил у старого еврея в Будапеште... Это носят в Болгарии... чистая шерсть. Это принадлежало какому-то великому князю; нет, нет, не сворачивай, это надо подержать на солнце... А это, Фанни, ты наденешь, когда мы пойдем в оперу,— вместе с гребнем, который я тебе показывал... Его выбирала Таня... У нее тот же тип лица, что и у тебя...»

А Фанни сидит на диване точно так, как она сидит на олеографии. С одной стороны — Мо, с другой — «маленький гений» Марри. Ее толстые ноги не дотягиваются до пола. В глазах — тусклый блеск марганцовки. Груди — спелые кочаны красной капусты, они колышутся, когда она наклоняется. А жизни в ней все-таки нет! Она как севшая батарейка; ее лицо пусто; оно никакое; чтоб оно ожило, его необходимо спрыснуть живой водой. Молдорф прыгает перед ней, как толстая жаба. Его телеса дрожат. Он поскальзывается, и ему трудно перевернуться на живот. Фанни слегка пихает его своей толстой ногой. Его глаза выпучиваются еще больше. «Пни меня, Фанни, это приятно». Она дает ему хороший пинок, и след ее ноги остается вмятиной на его брюхе. Его лицо — на ковре, и узоры под ним морщатся. Молдорф немного оживает, встает и начинает прыгать с места на место. «Фанни, ты душка!» Он почти сидит у нее на плече. Он кусает ей ухо, только самую мочку, там, где не больно. Но она мертва, эта севшая батарейка. Он скатывается ей на колени и содрогается там, как зубная боль, теплый и беспомощный. Его брюшко поблескивает, как кожа лакированного ботинка. В глазницах — две вычурные жилетные пуговицы. «Расстегни мне глаза, Фанни, я хочу лучше видеть тебя». Фанни несет его на кровать и заливает ему глаза горячим сургучом. Она кладет кольца вокруг его пупка и засовывает ему градусник в задний проход. Она укладывает его, и он снова содрогается. Вдруг он уменьшается и вовсе исчезает. Она ищет его повсюду, даже в собственных кишках. Повсюду. Что-то щекочет ее, но она не может понять, где именно. Кровать полна жаб и жилетных пуговиц. «Фанни, где ты?» Опять что-то щекочет ее, но она не знает где. Пуговицы сыплются с кровати. Жабы ползут вверх по стенам. Фанни щекотно. «Фанни, сорви сургуч с моих глаз. Мне хочется посмотреть на тебя!» Но Фанни смеется, корчится от смеха. Что-то сидит внутри нее и щекочет. Она умрет со смеху, если не узнает, что это такое. «Фанни, сундук набит чудесными вещами. Фанни, ты слышишь?» Фанни смеется, как толстый червяк. Ее живот раздувается от смеха. Ноги синеют. «О Боже, Моррис, мне щекотно... Я не могу остановиться!»

3

Воскресенье! Я ушел из виллы Боргезе перед завтраком, как раз когда Борис садился за стол. Ушел из чувства деликатности. Борису действительно неприятно есть и смотреть на меня, сидящего в ателье с пустым желудком. Не знаю, почему он не приглашает меня. Он говорит, что у него нет денег, чтоб кормить меня, но это не оправдание. Как бы то ни было, я стараюсь быть тактичным. Если ему тяжело есть в моем присутствии, ему, вероятно, будет еще тяжелее поделиться со мной. Я не хочу вникать в его душевные муки.

Зашел к Кронстадтам; они тоже ели. Цыпленка с диким рисом. Я сделал вид, что уже завтракал, хотя готов был вырвать кусок из рук их малыша. С моей стороны это не застенчивость, а скорее какой-то мазохизм. Они дважды предлагали мне сесть за стол, но я отказался. Нет, нет и нет! Я даже отказался от чашечки кофе. Я, видите ли, деликатен. Уходя, я кинул взгляд на тарелку их младенца; на куриных костях еще оставалось мясо.

Бесцельно брожу по городу. Чудесный день. Улица Бюси живет,

вибрирует. Двери баров — настежь, вдоль тротуаров выстроились велосипеды. Все овощные и мясные рынки открыты, и торговля идет полным ходом. Руки, нагруженные овощами, завернутыми в газеты. Настоящее католическое воскресенье, по крайней мере с утра.

В полдень я стою с пустым брюхом на перекрестке узеньких кривых улочек, от которых прямо-таки разит жратвой. Напротив — отель «Луизиана». Угрюмая старая гостиница, хорошо знакомая разным сомнительным личностям с улицы Бюси в доброе старое время. Отели и жратва... я брожу как прокаженный, и крабы копошатся в моем желудке. По воскресеньям здесь настоящая лихорадка. Нигде в мире нет ничего подобного, разве что в Нью-Йорке, на Ист-Сайде или на Чатам-сквер. Рю де л'Эшоде кипит. За каждым поворотом извилистых улиц новая толчея. Длинные хвосты людей с овощами под мышкой и великолепным аппетитом в глазах. Кругом — ничего, кроме жратвы, жратвы и жратвы. Можно сойти с ума.

Перехожу сквер Фюрстенберг. Сейчас, в полдень, она другая, не такая, как ночью, несколько дней назад. Тогда она была пуста, печальна, точно кладбище. Посреди площади — четыре дерева, но почки еще не распустились. Это интеллектуальные деревья, взращенные булыжниками. Вроде стихов Т. С. Элиота. Если бы Мари Лорансен привела сюда своих лесбиянок, это было бы для них самым подходящим местом. Бесплодное, бесполое место, засохшее, как сердце Бориса.

Возле церкви Сен-Жермен на земле в маленьком палисаднике валяется несколько снятых сверху горгулий. Когда кажется, что эти чудовища вот-вот бросятся на тебя, становится жутковато. На скамейках тоже чудовища — старики, старухи, идиоты, калеки, эпилептики. Они спокойно дремлют в ожидании звонка на обед. Возле галереи Зак какой-то ублюдок нарисовал на тротуаре космос. Типичный космос художника, с какими-то ненужными подробностями, мелочами, завитушками — словом, со всякой чушью. В левом нижнем углу, однако, нарисованы якорь и колокольчик, в который звонят, созывая на обед. Да здравствует космос! Салют!

Продолжаю слоняться. Послеполуденное время. Живот сводит от голода. Начинает накрапывать. Нотр-Дам поднимается из воды, как надгробный памятник, горгульи высовываются над кружевным фасадом. Они висят там, точно навязчивая идея в голове маньяка. Старик с пожелтевшими бакенбардами подходит ко мне. В его руках какой-то вздор Яворского. Голова запрокинута, и грязно-золотистые струи дождя текут по лицу. Книжная лавка с рисунками Рауля Дюфи в витрине: поломойки с розами между ног. Книжонка о философии Жоана Миро. Философия, ни больше ни меньше!

В том же окне: «Человек, разрезанный на куски!» Глава первая: «Человек, как его видит его семья». Глава вторая: «Он же глазами своей любовницы». Третьей главы не видно. Надо прийти завтра за третьей и четвертой главами — букинист каждый день переворачивает страницу. «Человек, разрезанный на куски»... Я прихожу в ярость — мог бы и сам додуматься до такого названия. Где этот малый, который пишет: «Он же глазами своей любовницы... он же глазами... он же...»? Кто он? Где он? Я хотел бы обнять его. Ах, как я бы хотел быть человеком, который придумал такое заглавие, а не те, что сочинил я,— «Сумасшедший петух» и прочая белиберда. Не важно, мать его растак! Все равно я его поздравляю.

Я желаю тебе успеха, парень, с твоим прекрасным заголовком. И могу подарить тебе еще кусок для твоей следующей книги. Позвони мне. Я живу на вилле Боргезе. Мы там все умерли, умираем или скоро умрем. Нам нужны хорошие заглавия. Нам нужны бифштексы, отбивные, вырезка, почки, устрицы, потроха. Когда-нибудь, стоя на углу Сорок второй улицы и Бродвея, я вспомню твое заглавие. И я запишу все, что придет мне в голову,— икру, капли дождя, мазут, вермишель, ливерную колбасу, нарезанную ломтиками. И я не скажу никому, по-

чему я, после того как все это было написано, пошел домой и разрезал младенца на кусочки.

Можно ли болтаться весь день по улицам с пустым желудком, а иногда и с эрекцией? Это одна из тех тайн, которые легко объясняют так называемые «анатомы души». В послеполуденный час, в воскресенье, когда пролетариат в состоянии тупого безразличия захватывает улицы, некоторые из них напоминают вам продольно рассеченные детородные органы, пораженные шанкром. И как раз эти улицы особенно притягивают к себе. Например, Сен-Дени или Фобур дю Тампль. Помню, в прежние времена в Нью-Йорке около Юнион-сквер или в районе босяцкой Бауэри меня всегда привлекали десятицентовые кунсткамеры, где в окнах были выставлены гипсовые слепки различных органов, изъеденных венерическими болезнями. Город — точно огромный заразный больной, разбросавшийся на постели. Красивые же улицы выглядят не так отвратительно только потому, что из них выкачали гной.

В Сите Нортье, около площади Комба, я останавливаюсь и несколько минут смотрю на это потрясающее убожество. Прямоугольный двор, какие можно часто видеть сквозь подворотни старого Парижа. Посреди двора — жалкие постройки, прогнившие настолько, что заваливаются друг на друга, точно в утробном объятии. Земля горбится, плитняк покрыт какой-то слизью. Свалка человеческих отбросов. Закат меркнет, а с ним меркнут и цвета. Они переходят из пурпурного в цвет кровяной муки, из перламутра в темно-коричневый, из мертвых серых тонов в цвет голубиного помета. Тут и там в окнах кривобокие уроды, хлопающие глазами, как совы. Визжат бледные маленькие рахитики со следами родовспомогательных щипцов. Кислый запах струится от стен — запах заплесневевшего матраса. Европа — средневековая, уродливая, разложившаяся; си-минорная симфония. Напротив через улицу в «Сине-Комба» для постоянных зрителей крутят «Метрополис».

Возвращаясь, я припомнил книгу, которую читал всего лишь несколько дней назад: «Город похож на бойню. Трупы, изрезанные мясниками и обобранные ворами, навалены повсюду на улицах... Волки пробрались в город и пожирают их, меж тем как чума и другие болезни вползают следом составить им компанию... Англичане приближаются к городу, все кладбища которого охвачены пляской смерти...» Это списание Парижа времен Карла Безумного. Прелестная книга! Обнадеживающая, аппетитная. Я все еще под впечатлением. Я плохо знаком с бытовыми подробностями Ренессанса, но мадам Пимпернель, прелестная булочница, и мэтр Жеан Крапотт, золотых дел мастер, часто занимают мое воображение. Не надо забывать также и Родена, злого гения «Вечного жида», который занимался своими темными делами, «пока не воспылал страстью к мулатке Сесили и не стал жертвой ее хитрости». Часто, сидя на площади Тампль и думая о проделках живодеров под командой Жана Кабоша, я вспоминал печальную судьбу Карла Безумного. Полуидиот, который бродил по залам своего дворца Сен-Поль, одетый в отвратительнейшие отрепья, сжираемый язвами и вшами и грызущий обглоданную кость, когда ему ее бросали как паршивой собаке. На рю де Льон я искал остатки зверинца где Карл кормил своих любимцев. Это было его единственное развлечение да еще игра в карты со своей «невысокородной подругой» Одетт де Шанливер... Бедный дурак!

В такой же воскресный день, как сегодня, я встретился с Жермен. Я прогуливался по бульвару Бомарше, и в кармане у меня лежало сто франков, которые моя жена злобно перевела мне из Америки. Запах весны был уже в воздухе; ядовитой, зловонной весны которая словно поднималась из выгребных ям. Каждый вечер я приходил сюда — меня влекли прокаженные улочки, раскрывавшие свое мрачное великолепие только тогда, когда начинал угасать свет дня и проститутки за-

нимали свои места. Мне особенно запомнился перекресток улицы Пастер-Вагнер и улицы Амело, которая прячется за бульваром, как спящая ящерица. Здесь, в этом горлышке бутылки, ты всегда мог найти стайку стервятниц, горланящих и бьющих своими грязными крыльями. Они норовили вонзить в тебя острые когти и затянуть в подворотню. Веселая хищница даже не давала тебе времени застегнуть штаны, когда ты кончал свое дело. Она вталкивала тебя в комнатушку прямо с улицы — обычно в этой комнате не было окон,— подобрав юбки, садилась на кровать, делала тебе беглый медицинский осмотр, потом плевала тебе на член и заправляла его куда полагается. Пока ты мылся, другая ночная красотка уже стояла в дверях, держа за руку клиента и спокойно наблюдая, как ты заканчиваешь свой туалет.

Жермен не была такой, хотя с виду ничем не отличалась от других шлюх, которые собирались по вечерам в кафе «Де л'Элефан». Как я уже говорил, пахло весной, и несколько франков, которые наскребла для меня жена, жгли мне карман. У меня было предчувствие, что, не дойдя до площади Бастилии, я попаду в лапы одной из этих красоток. Фланируя вдоль бульвара, я заметил Жермен, направляющуюся ко мне обычным шагом профессиональной проститутки. Я заметил ее стоптанные каблуки, дешевые побрякушки и ту особую бледность, которая еще больше подчеркивается румянами. Договориться с ней было нетрудно. Мы сели за дальний столик маленькой пивной и быстро сошлись в цене. Через пять минут мы уже были на улице Амело в пятифранковой комнатушке со спущенными шторами и отвернутым одеялом. Жермен не торопилась. Она сидела на биде, подмываясь с мылом, и болтала со мной на разные приятные темы. Ей очень нравились мои штаны для гольфа. «Очень шикарно»,— повторяла она. Когда-то штаны действительно были шикарными, но износились сзади до дыр; к счастью, фалды пиджака прикрывали мой зад. Жермен встала, чтобы вытереться, все еще болтая, но внезапно отбросила полотенце и, подойдя ко мне, начала ласково гладить себя между ног обеими руками, точно это была драгоценная парча, которой она нежно касалась. Было что-то незабываемое в ее красноречивых движениях, когда она приблизила свой розовый куст к моему носу. Она говорила о нем как о чем-то прекрасном и постороннем, о чем-то, что она приобрела за большую цену, что возросло в цене с тех пор во много раз и что сейчас для нее дороже всего на свете. Эти слова придавали ее действиям особый аромат, и казалось, это уже не просто то, что есть у всех женщин, а какое-то сокровище, созданное волшебным образом или данное Богом — и ничуть не обесцененное тем, что она продавала его каждый день много раз за несколько сребреников. Как только она легла на кровать, руки ее немедленно оказались между широко раздвинутыми ногами; лаская и гладя себя, она все время приговаривала своим надтреснутым хриплым голосом, какая это прелестная вещь, настоящее маленькое сокровище. И оказалась права. В этот послеполуденный воскресный час все шло как по маслу. Когда мы вышли на улицу и я взглянул на нее при резком солнечном свете, то увидел, что это обыкновенная проститутка — золотые зубы, герань на шляпке, стоптанные каблуки и т. д. и т. п. Но почему-то меня не возмутило, что она вытянула из меня обед, сигареты и деньги на такси; я даже поощрял все это. Она мне так понравилась, что после обеда мы опять пошли в ту же гостиницу и попробовали еще раз. Теперь уже — «по любви». И опять этот большой пушистый куст произвел на меня магическое впечатление. Для меня он тоже стал вдруг чем-то самостоятельным. Тут была Жермен, и тут был ее розовый куст. Мне они нравились по отдельности. И мне они нравились вместе.

Как я сказал уже, Жермен не была похожа на других. Когда позже она узнала о моих стесненных обстоятельствах, она повела себя самым благородным образом — покупала мне выпивку, открыла кредит, закладывала мои вещи, знакомила со своими подругами и так да-

лее. Она даже извинялась за то, что не могла давать мне деньги, и я понял почему, когда мне показали ее сутенера. Каждый вечер я приходил в маленькую пивную, где собирались проститутки, и ждал там, когда придет Жермен и уделит мне несколько минут своего рабочего времени.

Когда потом, спустя несколько месяцев, я писал о Клод, я думал не о Клод, а о Жермен... «Все мужчины, которые были с тобой до меня, а сейчас — я, только — я... Баржи, плывущие мимо, их корпуса и мачты, и весь поток человеческой жизни, текущей через тебя, и через меня, и через всех, кто был здесь до меня и будет после меня, и цветы, и птицы в воздухе, и солнце, и аромат, который душит, уничтожает меня...» Это написано о Жермен. Клод была иной, хотя я и был к ней привязан и даже думал некоторое время, что люблю ее. У Клод были сердце и совесть; был и внешний лоск, что для шлюхи плохо. Клод приносила с собой чувство грусти, она давала вам понять, не желая того, что вы один из тех, кто послан ей на погибель. Я повторяю, она делала это невольно, она никогда бы не позволила себе сознательно вызвать в вас подобное ощущение. Она была слишком утонченной, слишком чуткой для этого. Это не мешало ей быть обыкновенной французской девушкой, наделенной обычным умом и получившей обычное воспитание. Просто жизнь сыграла с ней злую шутку. Она не была внутренне достаточно черствой, чтобы успешно противостоять ударам повседневной жизни. Это о ней были сказаны страшные слова Луи-Филиппа: «И наступает ночь, когда все кончено, когда уже столько челюстей работало над нами, что мы не можем больше стоять на ногах и тело наше висит на костях, как бы изжеванное всеми зубами мира». Жермен же, напротив, была шлюхой с пеленок. Эта роль ее вполне устраивала, она ей даже нравилась, хотя случалось, что от голода сводило кишки или не хватало денег на починку туфель. Впрочем, это были лишь маленькие неприятности, которые не затрагивали ее души. Страшнее всего для нее была скука. Бывали дни, когда наступало пресыщение,— но всего лишь дни! Обычно же она делала свое дело с удовольствием, во всяком случае такое создавалось впечатление. Разумеется, ей не было безразлично, с кем она шла в постель. Но главным для нее был самец как таковой. Мужчина! Она стремилась к нему. К мужчине, у которого между ногами было что-то, что могло ее щекотать, что заставляло ее стонать в экстазе, а в промежутках радостно, с какой-то хвастливой гордостью запускать обе руки между ногами и чувствовать себя принадлежащей живому потоку бытия. В том месте, куда она запускала обе руки, и была сосредоточена ее жизнь.

Жермен была шлюхой до кончиков ногтей, даже ее доброе сердце было сердцем настоящей шлюхи — скорее оно было не столько добрым, сколько ленивым и безразличным; веселое сердце, которое можно затронуть на минуту, не нарушив его безразличия; большое и вялое сердце шлюхи, способное быть добрым, не привязываясь. Однако, как бы ни был безрадостен, безобразен и ограничен тот мир, в котором она жила, Жермен чувствовала себя в нем прекрасно. И это было приятно видеть. Когда мы познакомились поближе, ее товарки подтрунивали надо мной, говоря, что я влюблен в нее (ситуация, казавшаяся им невероятной), и я отвечал: «Конечно, я влюблен в нее и буду ей всегда верен». Это была ложь. Для меня любить Жермен было бы так же нелепо, как любить паука. И если я и был верен, то не ей, а той пушистой штуковине у нее между ногами. Всякий раз, глядя на женщину, я вспоминал Жермен и ее розовый куст, неизгладимо врезавшийся в мою память. Мне доставляло удовольствие сидеть на террасе маленькой пивной и наблюдать, как она работает. Все было так же, как со мной,— те же гримасы и те же трюки. Наблюдая за ней, я одобрительно думал: «Вот это работа!» Уже позднее, когда я связался с Клод и видел ее каждый вечер чинно сидящей за стойкой бара, в юбочке, пи-

кантно облегавшей ее круглый задик, во мне просыпалось чувство протеста — мне казалось, что шлюха не имеет права сидеть, как приличная дама в ожидании господина, который будет медленно потягивать вместе с ней шоколад. Жермен делала не так. Она не ждала, пока к ней подойдут, а бежала за мужчинами, хватая их. Я хорошо помню ее дырявые чулки и стоптанные туфли; помню, как она влетала в пивную, быстрыми, точными движениями забрасывала в себя стаканчик чего-нибудь покрепче и тут же выбегала обратно на улицу. Настоящая труженица! Конечно, ощущать ее дыхание, эту смесь слабого кофе, коньяка, аперитивов, перно и других зелий, которые она поглощала в перерывах, чтобы согреться и набраться храбрости, было не слишком приятно. Но, выпив, она зажигалась, и огонь горел у нее между ног — там, где и должен он гореть у женщин. И этот огонь помогал вам снова обрести почву под ногами. Если она, лежа на кровати с раздвинутыми ногами, и стонала от страсти с каждым, то она была права. Именно это от нее и требовалось. Она не смотрела в потолок и не считала клопов на обоях; она честно делала свое дело и говорила только то, что хочет слышать мужчина, когда взбирается на женщину. А Клод? Нет, Клод была совсем другой. В ней всегда чувствовалась какая-то застенчивость, даже когда она залезала с тобой под простыню. И эта застенчивость обижала. Кому нужна застенчивая шлюха? Клод даже просила отвернуться, когда садилась на биде. Абсолютный бред! Мужчина, задыхающийся от желания, хочет видеть все, даже как женщина мочится. Может быть, и приятно знать, что женщина умна, но литература вместо горячего тела шлюхи — это не то блюдо, которое следует подавать в постели. Жермен понимала все правильно. Она была невежественна и похотлива и отдавалась своему делу с душой и сердцем. Жермен была шлюхой до мозга костей, и в этом была ее добродетель!

4

Пасха пришла с заморозками, но в постели было довольно тепло. Сегодня опять чудесно, и Елисейские поля в сумерках — как гарем с темноокими гуриями под открытым небом. Деревья в полном цвету, и их зелень так свежа и чиста, что кажется, они все еще влажны от росы. Пространство между Лувром и Триумфальной аркой — точно вариации для фортепиано. Вот уже пятый день, как я не прикасался к машинке и не брал в руки книги, а в голове у меня не было ни одной мысли, кроме мысли о том, что мне надо зайти в «Американ экспресс». Сегодня я был там уже в девять утра, когда только отпирали двери, и еще раз — в час дня. Ничего нет. В половине пятого я бросился из гостиницы, решив сделать последнюю попытку. Едва я завернул за угол, как увидел Уолтера Пача. Он не узнал меня, а мне нечего было ему сказать, и я не остановил его. Позже, когда я сидел на скамейке в Тюильри, его немного сгорбившаяся фигура и блуждавшая на губах задумчивая, блаженная и вместе с тем серьезная улыбка всплыли в моей памяти. Глядя на нежную эмаль неба, бледно окрашенное и не отяжеленное дождевыми тучами небо, подобное улыбке старого фарфора, я думал о том, что происходит в голове этого человека, сумевшего перевести четыре толстых тома «Истории искусств», когда он смотрит на мир из-под своих полуопущенных век?

На Елисейских полях мысли катятся с меня, как пот. Жаль, что я недостаточно богат и не могу нанять секретаршу, которой бы я диктовал во время прогулок, потому что лучшие мысли приходят мне в голову не тогда, когда я сижу за машинкой.

Гуляя по Елисейским полям сейчас, я думаю о своем действительно замечательном здоровье. Когда я говорю «здоровье», по правде сказать, я имею в виду оптимизм. Неизлечимый оптимизм; видимо, одной ногой я все еще в девятнадцатом столетии — как большинство амери-

канцев, я немного отстал. Карл находит мой оптимизм отвратительным. «Стоит мне заговорить об обеде,— говорит он,— как ты уже сияешь». Это правда. Одна только мысль об обеде омолаживает меня. Обед! Это означает, что у меня появится топливо на несколько часов работы, а может быть, хватит даже и на эрекцию. Я этого не отрицаю. Я здоров как бык. Единственное, что омрачает мое будущее,— это голод. Если б можно было пожрать, а потом еще раз и еще.

Так вот, о Карле. Он последнее время сам не свой. Нервы у него никуда не годятся. Он говорит, что болен, и я верю ему, но это меня не трогает.

Я не умею расстраиваться. Мне это даже смешно. И это его, конечно, обижает. Вообще все во мне его обижает: мой смех, мой голод, моя настойчивость, моя беззаботность — решительно все. Карл то готов пустить себе пулю в лоб, потому что не может больше вынести этой «поганой дыры», именуемой Европой, то говорит, что хочет вернуться в Аризону, «где люди смотрят тебе прямо в глаза».

«Чудно! — говорю я.— Делай что хочешь, но только не затуманивай мои здоровые глаза своим меланхолическим дыханием!»

Но в том-то и горе — в Европе привыкаешь ничего не делать. Сидишь целыми днями и ноешь. Разлагаешься. Гниешь.

Если посмотреть правде в глаза, Карл — просто маленький мудак, сноб, аристократ, который живет в своем собственном безумном мире. «Я ненавижу Париж...— ноет он.— Все эти кретины, играющие целыми днями в карты... ты только посмотри на них! А писать?! Скажи, какой смысл цеплять одно слово за другое? Я ведь могу быть писателем и не писать, правда? Что я докажу, если напишу книгу? На кой черт нам книги — в мире уже и так слишком много книг...»

Боже ты мой, я сам прошел все это давным-давно. От моей юношеской меланхолии не осталось и следа. Мне глубоко наплевать и на мое прошлое, и на мое будущее. Я здоров. Неизлечимо здоров. Ни печалей, ни сожалений. Ни прошлого, ни будущего. Для меня довольно и настоящего. День за днем. Сегодня! Le bel aujourd'hui![1]

У Карла только один выходной в неделю, и в этот день, хотя это трудно себе представить, он еще несчастнее, чем всегда. Он уверяет, что презирает еду, но единственное, от чего он по-настоящему получает удовольствие в свой выходной,— это хороший обед. Может быть, он заказывает его для меня, я не знаю и не спрашиваю. Если к реестру своих недостатков он хочет присовокупить еще и мученичество — это его дело. В прошлый вторник, например, он потратил все, что у него было, на шикарный обед. Он повел меня в кафе «Дом» — последнее место в мире, куда бы я пошел в свой выходной. Но здесь ты становишься не только покорным, но и безразличным.

В кафе «Дом» у бара стоит Марлоу, в стельку пьяный. Он «в загуле», как он сам это называет, уже пять дней. Его «загул» означает беспробудное круглосуточное пьянство и непрерывное кружение по барам, которое заканчивается обычно в Американской больнице. Изможденное и костлявое лицо Марлоу — это, собственно, и не лицо вовсе, а голый череп с двумя глубоко пробитыми дырами, в которых похоронены две дохлые улитки. К спине прилипли опилки — он только что вздремнул в сортире. В кармане — корректура последнего номера его журнала; очевидно, он нес ее в типографию, но по дороге кто-то соблазнил его выпить стаканчик. Рассказывает он об этом так, словно прошло уже месяцев пять. Он вынимает заплеванную корректуру и раскладывает на стойке бара. Он пытается прочесть свои стихи, написанные по-гречески, но в корректуре ничего нельзя разобрать. Тогда он решает произнести речь по-французски, но метрдотель быстро

[1] Прекрасное сегодня! *(франц.)*

кладет этому конец. Марлоу обижен — он мечтает говорить по-французски так, чтобы его понимал каждый лакей. Он настоящий специалист по старофранцузскому, он великолепно переводит сюрреалистов, но сказать простую фразу вроде «пошел вон, старый мудак» не в силах. Никто не понимает Марлоу, когда он говорит по-французски, даже проститутки. Правда, когда он в таком состоянии, его трудно понять и по-английски. Он что-то кричит, брызгает слюной... никакой связи между словами. Единственное, что Марлоу произносит абсолютно четко, это: «Вам платить».

Даже когда он мертвецки пьян, врожденный инстинкт самосохранения не изменяет ему. Если у Марлоу есть хоть малейшее сомнение насчет того, кто будет платить, он начинает выкидывать номера. Обычно он притворяется, что слепнет. Теперь Карл уже знает все его фокусы, и, когда Марлоу вдруг сжимает виски и принимается стонать, Карл дает ему пинок под зад и говорит: «Брось валять дурака, болван! Со мной это не пройдет!»

Не знаю, может быть, это хитро задуманная месть, но так или иначе Марлоу в долгу перед Карлом не остается. Доверительно склонившись к нам, он хриплым каркающим голосом пересказывает сплетню, которую слышал где-то во время своих кружений по барам. Карл смотрит на него с удивлением. Он явно испуган. Марлоу повторяет сплетню с различными вариациями. С каждым разом Карл увядает все больше. В конце концов он не выдерживает. «Этого не может быть!» — «Очень даже может...— хрипит Марлоу.— Тебя скоро выгонят с работы... я это узнал из верных источников...» Карл смотрит на меня в отчаянии. «Ты думаешь, старый сукин сын п..дит? — шепчет он мне на ухо и уже в полный голос вопит: — Что же я буду делать? Я целый год добивался этой работы... Где я найду другую?!»

По-видимому, именно это Марлоу и хотел услышать. Наконец-то он нашел человека, положение которого еще хуже, чем его собственное. «Да, туговато придется...» — хрипит он, и его костлявый череп начинает светиться холодным электрическим светом.

Когда мы уходим из кафе «Дом», Марлоу, беспрерывно икая, силится объяснить нам, что ему необходимо вернуться в Сан-Франциско. Его, видимо, не на шутку беспокоит положение Карла. Он предлагает нам с Карлом заняться его журналом, пока сам он будет в отъезде. «Я могу положиться на тебя, Карл...» — говорит он и вдруг чуть не падает в канаву. У него начинается самый настоящий припадок. Мы затаскиваем его в бистро на бульваре Эдгар Кинэ и усаживаем на стул. На этот раз его действительно шарахнуло — дикая головная боль, от которой он визжит, мычит и качается из стороны в сторону, как скотина, которую хватили по башке кувалдой. Мы вливаем ему в глотку две рюмки «Фернет-Бранка», укладываем на скамье и закрываем лицо шарфом. Марлоу лежит и стонет. Через несколько минут он начинает храпеть.

— Что ты думаешь о его предложении? — спрашивает Карл.— Стоит браться? Он говорит, что даст мне тысячу франков, когда вернется. Я знаю, что он врет, но все-таки как ты думаешь?

Карл смотрит на лежащего Марлоу, приподымает шарф с его лица и опять опускает. Внезапно на лице Карла появляется лукавая улыбка, и он подзывает меня поближе.

— Послушай, Джо,— говорит он.— Мы возьмемся за это. Мы возьмем его паршивый журнал и вы..ем старика Марлоу как следует!

— Каким это образом?

— Разгоним всех сотрудников и завалим журнал собственным дерьмом. Понял?

— Понял... но каким?

— Каким угодно. Он ничего не сможет сделать. Мы его у..ем. Один хороший выпуск, а потом журналу конец. По рукам, Джо?

Улыбаясь и хихикая, мы поднимаем Марлоу, тащим его к Карлу

домой и, включив свет, обнаруживаем в постели Карла женщину. «Я совсем забыл о ней»,— говорит Карл. Мы выкидываем писюху вон и укладываем Марлоу. Через несколько минут — стук в дверь. Это — ван Норден. Возбужден до невероятности. Оказывается, он потерял свою вставную челюсть в кафе-шантане «Баль негр» — так он по крайней мере думает.

В результате все вчетвером мы заваливаемся на одну кровать. От Марлоу воняет, точно от сгнившей копченой воблы.

Утром он и ван Норден уходят искать челюсть ван Нордена. Марлоу громко ревет. Он думает, что это он потерял челюсть.

5

Это мой последний обед в доме драматурга. Они только что взяли напрокат новый рояль, концертный. Я встретил Сильвестра, когда он выходил из цветочной лавки с фикусом в руках. Он попросил меня подержать горшок, а сам пошел за сигаретами. Одно за другим я испоганил все места, где меня кормили, места, которые я так старательно выискивал. Один за другим против меня восстали мужья — впрочем, иногда и жены. Прохаживаясь с фикусом в руках, я вспоминаю, как всего несколько месяцев назад эта идея явилась мне в первый раз. Я сидел на скамейке возле кафе «Куполь», вертя в руках обручальное кольцо, которое пытался всучить гарсону из кафе «Дом». Он предлагал за него только шесть франков, и это привело меня в ярость. Но голод не тетка. С тех пор как Мона уехала, я всегда носил это кольцо на мизинце. Оно стало до такой степени частью меня самого, что мне не приходила в голову мысль его продать. Это было обычное дешевенькое колечко из белого золота. Может быть, оно стоило когда-то полтора доллара, может, больше. Три года мы не думали об обручальных кольцах, пока однажды, идя на пристань встречать Мону, я не увидел на нью-йоркской Мэйден-лейн ювелирный магазин. Вся витрина была завалена обручальными кольцами. На пристани Моны не оказалось. Дождавшись, когда сойдет последний пассажир, я попросил показать мне список прибывших. Имени Моны в нем не было. Я надел кольцо на мизинец и с тех пор с ним не расставался. Как-то я забыл его в бане, но мне его возвратили. Одна из завитушек обломилась. И вот теперь я сидел перед кафе, опустив голову и крутя кольцо на пальце, как вдруг точно кто-то хлопнул меня по плечу. Я сразу нашел и еду и карманные деньги. Ведь никто не откажется накормить человека, если у него достанет храбрости потребовать этого. Я немедленно отправился в кафе и написал дюжину писем: «Не разрешите ли вы мне обедать у вас раз в неделю? Пожалуйста, сообщите, какой день вам удобнее». Результат превзошел все ожидания. Меня не просто кормили, мне закатывали пиры. Каждый вечер я возвращался домой навеселе. Они расшибались в лепешку, эти мои еженедельные кормильцы. Что я ел в другие дни, их не касалось. Иногда более внимательные подкидывали мне мелочь на сигареты и прочие карманные расходы. И все чувствовали огромное облегчение, едва до них доходило, что отныне они будут видеть меня лишь раз в неделю. Но настоящее счастье наступало, когда я говорил: «Сегодня мой последний обед у вас». Они не спрашивали, в чем дело. Только поздравляли. Часто я отказывался потому, что находил более приятных хозяев и мог позволить себе вычеркнуть из списка тех, кто надоел мне хуже горькой редьки. Об этом они, конечно, не подозревали. Вскоре у меня уже составилось твердое, окончательно установленное расписание. Я знал, что во вторник я буду есть это, а в пятницу — то. Я знал, что у Кронстадтов меня ждет шампанское и домашний яблочный пирог. А Карл будет каждую неделю кормить меня в новом ресторане и заказывать редкие вина, а после обеда водить в театр или в цирк «Медрано». Мои кормильцы

сгорали от любопытства, стремясь узнать, кто же еще меня кормит. Они спрашивали, где мне больше всего нравится, кто лучше всех готовит и т. д. Пожалуй, больше всего мне нравилось у Кронстадтов, может быть потому, что Кронстадт записывал на стене стоимость каждого обеда. Это не отягощало моей совести, я не намеревался ему платить, да он и не надеялся на возмещение расходов. Меня просто интриговали странные цифры. Он высчитывал все до последнего гроша, и если бы я когда-нибудь собрался ему заплатить, мне пришлось бы разменять мои купюры на мелочь. Его жена великолепно готовила, и ей было наплевать с высокого дерева на все его записи. Она взимала с меня дань копировальной бумагой. Честное слово! Когда я приходил без свежей копирки, она расстраивалась. За это я должен был на следующий день вести их маленькую дочку в Люксембургский сад и играть там с ней часа два-три. Это приводило меня в бешенство, потому что она говорила только по-венгерски и по-французски. Вообще все мои кормильцы были довольно странной публикой...

В доме у Тани я стою на галерее и смотрю вниз. Молдорф сидит около своего идола. Он греет ноги у камина, и во взгляде его водянистых глаз — невыразимая благодарность. Таня наигрывает адажио. Адажио говорит очень внятно: больше не будет слов любви! Теперь, снова стоя у фонтана, я смотрю на черепах, которые мочатся зеленым молоком. Сильвестр только что вернулся с Бродвея, и его сердце преисполнено любви. Всю ночь я лежал на скамейке в саду, а рядом мочились черепахи и разъяренные кони летели по воздуху в приапическом галопе, не касаясь ногами земли. Всю ночь я чувствовал запах сирени — той сирени, которая была в темной комнатке, где она распускала волосы, той сирени, которую я принес ей перед тем, как она пошла встречать Сильвестра. Он вернулся, по ее словам, преисполненный любви... А моя сирень — все еще в волосах, во рту, под мышками. Комната, напоенная запахом сирени, черепашьей мочи, любви и бешено скачущих коней. А утром — грязные зубы и запотевшие окна. Маленькие ворота, ведущие в сад, закрыты; народ спешит на работу, и железные жалюзи скрежещут так, точно это не жалюзи, а рыцарские доспехи. В книжном магазине против фонтана выставлена история озера Чад — молчаливые ящерицы, великолепные краски. Все эти письма, которые я писал ей, пьяные письма, написанные огрызками карандаша; сумасшедшие письма, намаранные углем, пока я слонялся от скамейки к скамейке; они будут теперь читать их вместе, и когда-нибудь Сильвестр отпустит мне комплимент. Он скажет, стряхивая пепел с сигареты: «А знаете, вы пишете совсем недурно... Постойте, вы же, кажется, сюрреалист?» Сухой, ломкий голос, налет на зубах, золотуха вместо золота и пепел вместо огня.

Я — на галерее с фикусом, а адажио внизу. Клавиши, черные и белые, сначала черные, потом белые и черные. Ты спрашиваешь, не сыграть ли что-нибудь для меня. Да, сыграй что-нибудь двумя пальцами. Сыграй адажио — это единственное, что ты знаешь. Сыграй, Таня, а потом отруби себе эти два пальца.

Не понимаю, почему ей так хочется все время играть это адажио! Старое пианино она забраковала: ей надо было взять напрокат концертный рояль — для ее адажио! Когда я вижу ее большие указательные пальцы, нажимающие на клавиши, а потом этот дурацкий фикус, я чувствую себя как тот сумасшедший на севере, который выбросил одежду и, сидя на суку нагишом, кидал орехи в замерзшую селедочную Атлантику. Есть что-то изводящее в этой музыке, что-то слегка печальное, точно она была написана на куске лавы молочно-свинцового цвета. И Сильвестр, наклонив голову, как аукционист, говорит Тане: «Сыграй ту, другую пьесу, которую ты разучивала сегодня». Как замечательно иметь смокинг, хорошую сигару и жену, которая играет на рояле. Очень приятно, успокаивает нервы. В антракте можно покурить и подышать свежим воздухом. Да, у нее гибкие пальцы, не-

обыкновенно гибкие. Она также рисует по шелку. Не хотите ли попробовать болгарскую сигаретку? Послушай, голубушка, что ты играла и что мне так нравилось? Скерцо! О да, конечно, скерцо! Это замечательно — скерцо! Так говорит князь Вальдемар фон Швиссенайнцуг. Холодные глаза, будто запорошенные перхотью. Дурной запах изо рта. Кричащие носки. Гороховый суп с гренками, не угодно ли. «Мы всегда едим гороховый суп по пятницам. Не хотите ли попробовать красного вина? Красное вино хорошо к мясу». Сухой отрывистый голос: «Не угодно ли сигарету? Да, я люблю свою работу, но я не придаю ей большого значения. Моя следующая пьеса будет построена на многосторонней концепции мироздания. Вращающиеся барабаны с кальциевыми лампами. О'Нил как драматург — мертв. Мне кажется, дорогая, тебе надо чаще отпускать педаль. Да это место прелестно... прелестно, не правда ли? Действующие лица в моей пьесе будут снабжены микрофонами. Мы их прикрепим к брюкам. Действие происходит в Азии, потому что там более благоприятные в акустическом отношении атмосферные условия. Не хотите ли попробовать анжуйского? Мы купили его специально для вас...»

Так он говорит в течение всего обеда. Это какое-то недержание речи. Похоже, что он просто вынул свой обрезанный пенис и мочится прямо на нас. Таня еле сдерживается. С тех пор как он вернулся домой, преисполненный любви, этот монолог не прекращается. Таня рассказывает, что он не перестает говорить, даже когда раздевается — непрерывный поток теплой мочи, точно кто-то проткнул ему мочевой пузырь. Когда я думаю о Тане, вползающей в кровать к этому раздрызганному мочевому пузырю, меня душит злоба. Подумать только, что этот иссохший мозгляк с его дешевенькими бродвейскими пьесками мочится на женщину, которую я люблю! Он требует красного вина, вращающихся барабанов и горохового супа с гренками! Какое нахальство! И вот это ничтожество лежит сейчас рядом с печкой, которую я без него так хорошо топил,— и просто мочится! Боже мой, да стань же на колени и благодари меня! Неужели ты не видишь, что сейчас у тебя в доме — женщина? Неужели ты не чувствуешь, что она готова взорваться. А ты мямлишь, придушенный аденоидами: «Да-с... я вам скажу... на это можно смотреть с двух точек зрения...» Е..л я твои две точки зрения! Е..л я твое многостороннее мироздание и твою азиатскую акустику! Не суй мне в нос свое красное вино и свое анжуйское... дай мне ее... она моя! Иди сядь у фонтана и дай мне нюхать сирень. Протри глаза... забирай это паршивое адажио, заверни его в свои фланелевые штаны! И ту, другую пьесу и всю прочую музыку, на которую способен твой дряблый мочевой пузырь. Ты улыбаешься мне так самодовольно, с таким чувством превосходства. Я льщу тебе, неужели ты не понимаешь? Пока я слушаю твою дребедень, ее рука на моем колене, но ты этого не видишь. Думаешь, мне приятно страдать? Ах, это моя роль в жизни. Ты так считаешь. Очень хорошо. Спроси ее! Она скажет тебе, как я страдаю. «Ты рак и бред» — вот что она сказала мне на днях по телефону. У нее сейчас и рак, и бред, и скоро тебе придется сдирать струпья. У нее надуваются жилы, а твой разговор — одни опилки. Сколько бы ты ни мочился, ты не наполнишь чашу. Как это сказал мистер Рен? Слова — это одиночество. Я оставил пару слов для тебя на скатерти вчера вечером, но ты закрывал их своими локтями.

Он построил вокруг нее изгородь, как будто она — вонючие кости какого-то святого. Если бы у него хватило великодушия сказать: «Бери ее!» — может быть, и случилось бы чудо. Это так просто: «Бери ее». Клянусь, все обошлось бы благополучно. Кроме того, тебе не приходит в голову, что, возможно, я ее и не взял бы. Или взял на время и возвратил бы тебе улучшенной. Но строить забор вокруг нее — это тебе не поможет. Нельзя держать человека за загородкой — так больше не делается... Ты думаешь, жалкий, высохший недоносок, что я

недостаточно хорош для нее, что могу замарать и испортить ее. Ты не знаешь, как вкусна иногда испорченная женщина, как перемена семени помогает ей расцвести. Ты думаешь, все, что нужно,— это сердце, полное любви; быть может, так оно и есть, если нашел подходящую женщину, но у тебя не осталось больше сердца... ты — огромный и пустой мочевой пузырь. Ты точишь свои зубы и пытаешься рычать. Ты бегаешь за ней по пятам, как сторожевой пес, и повсюду мочишься. Она не нанимала тебя в сторожевые псы... она взяла тебя как поэта. Она говорит, что ты был когда-то поэтом. Но что с тобой стало сейчас? Не робей, Сильвестр! Вынь микрофон из штанов. Опусти заднюю ногу и перестань мочиться. Не робей, говорю я, потому что она уже тебя бросила. Она осквернена уже, и ты вполне можешь сломать свою загородку. Незачем вежливо осведомляться у меня, не пахнет ли кофе карболкой. Это меня не отпугнет. Можешь положить в кофе крысиного яду и насыпать битого стекла. Вскипятить чайник мочи и добавить туда мускатных орехов...

Последние недели я веду общинный образ жизни. Я вынужден делить себя. В основном с несколькими сумасшедшими русскими, пьяницей-голландцем и толстой болгаркой по имени Ольга. Из русских главным образом — с Евгением и Анатолием.

Ольга всего несколько дней назад вышла из больницы. Ей выжгли опухоль, и она слегка потеряла в весе. Однако не скажешь, что она очень страдала. По весу она не уступает небольшому старинному паровозику; она все так же потеет, у нее тот же запах изо рта и та же черкесская папаха, напоминающая парик из упаковочной стружки. На подбородке две бородавки, из которых растут жесткие волосы; вдобавок она отпускает усы.

На следующий день после выхода из больницы Ольга начала снова шить сапоги. В шесть утра она уже за работой — делает две пары в день. Евгений говорит, что Ольга — это обуза, но, по правде сказать, своими сапогами она кормит и Евгения, и его жену. Если Ольга не работает, в доме нечего есть. Потому все озабочены тем, чтобы Ольга вовремя легла спать, чтобы она хорошо питалась и т. д. и т. п.

Каждая трапеза начинается с супа. Какой бы это ни был суп — луковый, помидорный или овощной,— вкус у него всегда один. Вкус такой, как будто в этом супе сварили кухонное полотенце — кисловатое мутное пойло. Я вижу, как после каждого обеда Евгений прячет суп в комод. Он стоит там и киснет до следующего дня. Масло тоже прячется в комод — через три дня оно напоминает по вкусу большой палец на ноге трупа.

Запах прогорклого растопленного масла не слишком-то повышает аппетит, особенно когда вся стряпня происходит в комнате, где нет никакой вентиляции. Едва я вхожу, мне становится дурно. Но Евгений, заслышав мои шаги, кидается к окну, отворяет ставни и отдергивает висящую на окне простыню, назначение которой — не пропускать свет. Бедный Евгений! Он смотрит на жалкую обстановку, на грязные простыни, на грязную воду в раковине и говорит трагически: «Я — раб». Он повторяет это по десять раз в день. Потом снимает со стены гитару и поет.

Кстати о прогорклом масле... запах прогорклого масла вызывает у меня и другие ассоциации... Я вижу себя стоящим в маленьком дворике, вонючем и жалком. Через щели в ставнях на меня уставились странные лица... старые женщины в платках, карлики, сутенеры с крысиными мордочками, сгорбленные евреи, девицы из шляпной мастерской, бородатые идиоты. Они иногда вылезают во двор — набрать воды или вылить помои. Однажды Евгений попросил меня вынести ведро. В углу двора я нашел выгребную яму со скользкими от экскрементов, или, говоря проще,— от дерьма, краями и с набросанными вокруг об-

рывками грязной бумаги. Я опрокинул ведро — раздалось чавканье, а потом неожиданно — еще одно. Когда я вернулся, разливали суп. Во время обеда я думал о своей старой зубной щетке, о том, что из нее вылезают щетинки и застревают в зубах.

Садясь есть, я стараюсь устроиться возле окна. Я боюсь сидеть на другой стороне стола, это слишком близко к кровати, а кровать — живая. Повернувшись, я вижу кровавые пятна на простынях. Но я стараюсь не смотреть туда. Я смотрю во двор, где ополаскивают помойные ведра.

Обед всегда кончается музыкой. Как только подается сыр, Евгений вскакивает и хватает гитару, которая висит над кроватью. Он поет всегда один и тот же романс. По его словам, у него в репертуаре пятнадцать или шестнадцать романсов, но я слышал не больше трех. Его любимый — «Charmant poème d'amour» [1]. В нем много «тоски» и «грусти».

После обеда мы идем в кинотеатр. Здесь Евгений садится за пианино в оркестровой яме, а я — в первом ряду. В зале ни души, но Евгений играет так, словно его слушают все коронованные властители Европы. Дверь в сад открыта, и запах мокрых листьев смешивается с «тоской» и «грустью» Евгения. В полночь, когда воздух пропах потом и зловонным дыханием зрителей, я возвращаюсь сюда спать. Красный фонарь с надписью «Выход», плавающий в табачном дыму, слабо освещает нижний угол асбестового занавеса; каждую ночь я засыпаю, глядя на этот искусственный глаз...

Стою во дворе; один глаз у меня стеклянный; смотрю вокруг и мало что понимаю. Мокрые мшистые булыжники, между которыми сидят черные жабы. Большая дверь ведет в подполье, скользкие ступени загажены летучими мышами. Дверь покосилась и осела, петли отваливаются, но на ней новенькая эмалированная табличка: «Пожалуйста, закрывайте дверь». Зачем закрывать? Странно. Я снова смотрю на табличку, но вдруг она исчезает и вместо нее — оконце из цветного стекла. Я вынимаю свой стеклянный глаз, дышу на него и протираю платком. Вижу женщину, сидящую на возвышении за огромным резным столом; вокруг ее шеи обвилась змея. Вдоль стен — бесчисленные книги и диковинные рыбы в разноцветных стеклянных шарах. На стенах — карты и гравюры, изображающие Париж до эпидемии чумы, карты древнего мира, Кноса и Карфагена, Карфагена до и после разрушения. В углу комнаты железная кровать и на ней — покойник. Женщина лениво встает, подходит к кровати, поднимает покойника и спокойно выбрасывает его из окна. Потом возвращается к резному столу, берет золотую рыбку из аквариума и глотает ее. Комната начинает медленно вращаться, и континенты один за другим сползают в море; остается только женщина, но ее тело — это сплошная географическая масса. Я высовываюсь из окна и вижу Эйфелеву башню, из которой бьет шампанское; она сделана целиком из цифр и покрыта черными кружевами. Канализационные трубы бешено журчат. Вокруг — пустота. Только крыши, разложенные в безупречном геометрическом порядке.

Мир выбросил меня, как стреляную гильзу. Густой туман пал на землю, покрытую замерзшим мазутом. Я чувствую, как вокруг меня бьется город, точно сердце, вырезанное из теплого тела. Окна моей гостиницы гноятся, и в воздухе — тяжелый едкий запах, как будто здесь жгли какую-то химию. Глядя в Сену, я вижу грязь и запустение, тонущие уличные фонари, захлебывающихся мужчин и женщин, дома на мостах — эти скотобойни любви. Возле стены стоит человек с аккордеоном, привязанным к животу; кисти рук у него отрезаны, но несмотря на это аккордеон извивается между его культяпками, точно мешок со змеями. Мир сжался до одного квартала, а дальше он пуст —

[1] Очарование любви *(франц.)*.

ни деревьев, ни звезд, ни рек. Посреди улицы — колесо, в ступице колеса — виселица. Люди — собственно, это уже и не люди, а мертвецы — лихорадочно рвутся на виселицу, но колесо вращается слишком быстро...

Что мне нужно, чтобы оправдаться в собственных глазах? Вчера вечером я нашел ответ: Папини. Мне безразлично, кто он — шовинист, маленький Христосик или просто близорукий педант. Для меня он замечателен как неудачник...

Какие только книги он не прочел к восемнадцати годам! Не только Гомера, Данте и Гете; не только Аристотеля, Платона, Эпиктета; не только Рабле, Сервантеса, Свифта; не только Уолта Уитмена, Эдгара Аллана По, Бодлера, Вийона, Кардуччи, Мандзони, Лопе де Вегу; не только Ницше, Шопенгауэра, Канта, Гегеля, Дарвина, Спенсера, Гексли — не только их, но и всю мелочь между ними. Об этом он повествует на странице восемнадцатой. На двести тридцать второй странице он, увы, раскололся. Он сознается: я ничего не знаю. Только названия. Я составлял библиографии, писал критические эссе, злословил и клеветал... Я могу говорить пять минут или пять дней — какая разница. Все равно я всего лишь пустозвон.

И дальше: «Все хотят видеть меня. Всем позарез надо поговорить со мной. Люди пристают ко мне и к другим с расспросами. Что я делаю? Как поживаю? Выздоровел ли? Люблю ли, как прежде, загородные прогулки? Работаю ли? Закончил ли книгу? Когда начну следующую?..

Тощая немецкая обезьяна просит меня перевести ее труды. Экзальтированная русская девушка хочет получить мое жизнеописание. Знатная американка желает узнать все самые последние новости обо мне. Американский джентльмен приглашает меня на обед для задушевного доверительного разговора. Он пришлет за мной свой экипаж. Мой старый школьный товарищ и сосед по комнате, которого я не видел десять лет, хочет, чтобы я читал ему все мной написанное, как только поставлю точку. Приятель художник жаждет, чтобы я ему позировал. Газетный репортер ищет мой новый адрес. Знакомый мистик справляется о состоянии моей души; другой, более практичный знакомый — о состоянии моего кошелька. Председатель моего клуба просит выступить перед ребятами. Дама, увлекающаяся спиритизмом, надеется, что я приду к ней на чашку чая, и не один раз. Она интересуется моим мнением об Иисусе Христе и о новом медиуме...

Боже мой! во что я превратился? Как смеют все эти люди вторгаться в мою жизнь, красть мое время, рыться в моей душе, высасывать мои мысли и превращать меня в своего компаньона, поверенного, в справочное бюро? За кого эти идиоты меня принимают? За платного увеселителя, который каждый вечер должен разыгрывать интеллектуальный фарс? За купленного со всеми потрохами раба, который должен ползать на брюхе перед этими бездельниками и класть к их ногам свои знания и мысли? Или за проститутку в борделе, которая должна поднимать юбку или снимать рубашку по первому требованию любого мужчины в дорогом костюме?..

Я — человек, который хотел бы прожить героическую жизнь и сделать мир более сносным — с моей точки зрения. И если мне случается иногда в минуту слабости или расслабленности дать выход своим эмоциям,— бывает, что без этого не обойтись! — жгучей ярости, застывшей в словах, страстной мечте, запечатленной в поэтических образах,— что ж, относитесь к этому как хотите... но оставьте меня в покое!..

Я — свободный человек, и мне нужна моя свобода. Мне нужно быть одному. Нужно думать о своем стыде и отчаянии в одиночестве; мне нужны солнце и камни мостовых, но без спутников, без разгово-

ров, я должен остаться лицом к лицу с самим собой и с той музыкой, которая звучит в моем сердце. Чего вы все от меня добиваетесь? Если мне хочется что-нибудь сказать, я это печатаю. Если мне хочется что-нибудь дать, я даю. Ваше любопытство вызывает у меня тошноту! Ваши комплименты оскорбляют меня! Ваш чай для меня отрава! Я никому ничего не должен. Я ответствен только перед Богом — если Он существует!»

Мне кажется, что Папини слегка ошибается, говоря о своей потребности быть одному. Быть одному совсем не трудно, если ты нищий или неудачник. Художник всегда один — если он действительно художник. Нет, единственное, что на самом деле необходимо художнику,— это одиночество.

Я называю себя художником. Прекрасно. Я хорошо вздремнул сегодня после полудня. Теперь между позвонками у меня бархат, а в голове достаточно идей по крайней мере на три дня. Я полон энергии, которую мне некуда тратить. Вот я и решил погулять. Уже на улице передумал и решил пойти в киношку. Не вышло — не хватило нескольких су. Пошел гулять опять, останавливаясь перед всеми кинотеатрами и рассматривая сначала афиши, потом цены. Эти опиокурильни — дешевенькая радость, но опять не хватает нескольких су. Если бы не так поздно, я вернулся бы домой и сдал в магазин пустую бутылку.

Когда я добрел до улицы Амели, я уже забыл про кино. Это одна из моих любимых улиц, одна из тех улиц, которые муниципалитет, по счастливому недосмотру, забыл залить асфальтом. Тут все еще круглые булыжники, выложенные узором от стены к стене. Уличка узенькая и всего в один квартал. На этой улице — отель «Претти». И еще маленькая церковка — точно для президента республики и его семьи. Иногда приятно увидеть скромную церковь среди помпезных парижских соборов.

Мост Александра Третьего. Перед мостом — широкая, продуваемая всеми ветрами площадь. Тощие голые деревья, с математической точностью рассаженные в своих железных гнездах. Мрачность Дворца инвалидов, исходящая от купола и переливающаяся на темные улочки вокруг площади. Могила поэзии. Они положили его куда хотели, великого полководца, последнего большого человека Европы. Он крепко спит в своей гранитной постели. Ему уже не удастся перевернуться в могиле. Спи, Наполеон! Двери — на прочных засовах, и гробовая крышка пригнана точно. Им не нужны были твои идеи — только твой труп!

Река, вздутая и мутная, исполосована огнями. Я не знаю, как назвать то, что поднимается во мне при виде этого темного стремительного потока, но какой-то восторг охватывает меня, и я чувствую жгучее желание никогда не покидать этой страны. Я помню, как проходил здесь всего несколько дней назад по пути в «Американ экспресс», зная заранее, что там ничего для меня нет — ни писем, ни телеграмм, ни денежного перевода, абсолютно ничего. По мосту проезжал фургон из «Галери Лафайетт». Дождь только что кончился, и солнце, пробившееся сквозь мыльные тучи, зажгло гребни крыш своим холодным огнем. Помню, как возница выглянул из фургона и посмотрел на реку в сторону Пасси. Этот простой, здоровый, одобрительный взгляд как бы говорил: «Ну, вот и весна!» А когда в Париж приходит весна, даже самый жалкий из его обитателей должен чувствовать, что он живет в раю. Но тут было больше — во взгляде возницы была фамильярная нежность. Это был его Париж. Чтобы чувствовать себя здесь дома, не надо быть ни богатым, ни даже французом. Парижские нищие — я думаю, в Париже самые грязные и самые гордые нищие в мире — верят, что они здесь дома. Это то, что отличает парижанина от обитателей других больших городов.

Нью-Йорк вызывает у меня иное чувство. Нью-Йорк даже богатому человеку внушает, что он здесь никто. Это холодный, блестя-

щий, злой город. Его дома́ давят. В его сутолоке — нечто безумное; чем быстрее темп, тем меньше духовности. Бесконечное брожение, но с таким же успехом оно могло бы совершаться и в лабораторной колбе. Никто не понимает смысла того, что здесь происходит. Никто не руководит этой энергией. Колоссальный город. Странный. Непостижимый. Столько энергии, столько усилий без малейшей согласованности, без какой бы то ни было координации.

Когда я думаю об этом городе, городе, где я родился и вырос, о Манхэттене, который воспел Уитмен, пламя дикой злобы облизывает мне кишки. Нью-Йорк! Эти белые тюрьмы; эти тротуары с копошащимися на них червями; эти очереди за хлебом; эти опиокурильни, построенные, как дворцы; эти еврейчики, эти прокаженные, эти бандиты, и надо всем этим — тоска, убийственная монотонность лиц, улиц, ног, домов, небоскребов, обедов, афиш, занятий, преступлений, любви... Целый город, возведенный над пропастью пустоты. Над пропастью бессмысленности. Абсолютной бессмысленности. А Сорок вторая улица! Вершина мира — так ее называют ньюйоркцы. Где же тогда его подвал? Вы можете целыми днями ходить по Сорок второй с протянутой рукой, и они будут кидать вам в шапку горячие угольки. Бедные и богатые, они ходят здесь, задрав голову, рискуя сломать шею, и смотрят на свои великолепные белые тюрьмы. Они ходят, точно слепые гуси, и прожекторы серебрят их пустые лица пудрой восторга.

6

Эмерсон говорит: «Жизнь — это мысли, приходящие в течение дня». Если это так, то моя жизнь не что иное, как большая кишка. Я не только целыми днями думаю о еде, но и вижу ее во сне. Однако я не прошусь обратно в Америку, чтобы меня опять сковали узами брака и поставили к конвейеру. Я предпочитаю быть бедным человеком в Европе. Видит Бог — я вполне беден. Так что нужно только оставаться человеком.

На прошлой неделе я думал, что почти разрешил проблему собственного существования, что я на пути к экономической независимости. Дело в том, что я встретил еще одного русского по имени Сергей, или Серж. Он живет в районе Сюрен, в небольшой колонии эмигрантов и обнищавших художников. До революции Серж был капитаном императорской гвардии, в нем шесть футов и три дюйма росту без каблуков, и он пьет водку, как воду. Его отец был адмиралом или кем-то в этом роде на броненосце «Потемкин».

Я познакомился с Сержем при довольно странных обстоятельствах. Вынюхивая, где бы поесть, я однажды около полудня оказался неподалеку от театра «Фоли-Бержер», точнее говоря, от его служебного входа в узком переулке, упиравшемся одним концом в железные ворота. Я болтался там возле артистического подъезда, смутно надеясь на случайную встречу с какой-нибудь закулисной бабочкой, когда у театра остановился грузовик. Шофер — а это был не кто иной, как Серж,— увидел, что я стою, засунув руки в карманы, и спросил, не помогу ли я ему выгрузить железные бочки. Когда он узнал, что я американец, притом без гроша, он чуть не заплакал от радости. Оказалось, что он повсюду искал человека, который мог бы учить его английскому. Я помог ему закатить его бочки с какой-то дезинфекционной жидкостью, а заодно досыта насмотрелся на полуголых стрекоз, порхающих за кулисами. Весь этот эпизод оставил во мне смесь странных впечатлений — пустой театр, кукольные девочки, бочки с бактерицидным средством, броненосец «Потемкин»,— а над всем этим мягкая обходительность Сержа. Это был нежный великан, мужчина с головы до пят, но с женским сердцем.

В соседнем кафе «Артист» Серж предложил мне сделку: я немед-

ленно переезжаю к нему, он положит для меня матрас в коридоре, а за уроки английского я буду получать обед — обильный русский обед. Если же такового почему-либо не будет, тогда — пять франков. Это было прекрасно. Замечательно. Единственно, что меня смущало,— как я буду добираться каждое утро из пригорода в «Американ экспресс»?

Серж хотел, чтобы мы начали заниматься немедленно, и потому дал мне денег на проезд в Сюрен. Я явился перед обедом, с рюкзаком, готовый к первому уроку. В доме уже были гости — они здесь всегда обедают целой толпой, в складчину.

За столом оказалось восемь человек и три собаки. Собаки едят первыми. Они едят овсянку. Потом начинаем есть и мы. Мы тоже едим овсянку, как закуску. «У нас,— подмигивает мне Серж,— американскую овсянку едят только собаки. А здесь она — для джентльменов». После овсянки подают грибной суп с овощами, потом яичницу с грудинкой, фрукты, красное вино, водку, кофе, сигареты. Русский обед — это совсем неплохо. За столом все говорят с набитыми ртами. К концу обеда жена Сержа, ленивая, неряшливая армянка, заваливается на диван и начинает пробовать конфеты. Она роется в коробке своими толстыми, жирными пальцами, надкусывает одну конфету за другой в поисках сладкой начинки, а потом бросает их собакам.

После обеда гости скрываются с такой быстротой, как будто боятся чумы. Мы с Сержем остаемся одни, если не считать собак и его жены, заснувшей на диване. «Я люблю собаки,— говорит Серж на ломаном английском.— Собаки — хорошо. Маленький собака, черви. Он молодой». Серж наклоняется и рассматривает белых глистов, лежащих между собачьими лапами. Он старается объяснить мне что-то о глистах по-английски, но ему не хватает слов. В конце концов он смотрит в словарь. «А-а,— говорит он торжествующе,— глисти!» Моя реакция, очевидно, не особенно умна, потому что Серж теряется. Он становится на колени, чтобы лучше рассмотреть их, берет одного и кладет на стол рядом с фруктами. «Хм, не очень большой...— бормочет Серж.— Следующий урок вы мне будет учить глист, да? Вы — хороший учитель. Я сделает хороший успех с вами...»

Когда я ложусь в коридоре на матрас, запах дезинфекционной жидкости душит меня. Острый, едкий, он, кажется, проникает во все поры моего тела. У меня начинается отрыжка, и я вспоминаю все съеденное — овсянку, грибы, грудинку, печеные яблоки. Я вижу маленького глиста, лежащего рядом с фруктами, и все разновидности червей, которых Серж рисует на скатерти, пытаясь объяснить мне, что происходит с собаками. В моем воображении возникает оркестровая яма «Фоли-Бержер» — везде, во всех щелях тараканы, вши, клопы. Я вижу, как публика в театре чешется и чешется — до крови. Я вижу червей, ползущих по декорациям, как армия красных муравьев, уничтожающих все на своем пути. И хористок, сбрасывающих свои газовые туники и бегущих по проходам нагишом. И зрителей, тоже сдирающих одежду и скребущих друг друга, точно обезьяны.

Я стараюсь успокоиться. В конце концов, ведь я нашел дом и вечером меня ждет обед. И Серж — чудный парень, никакого сомнения. Но я не могу заснуть. Это все равно что пытаться заснуть в морге. Матрас пропитан жидкостью для бальзамирования покойников. Это — морг для вшей, клопов, тараканов, глистов. Я не могу выносить этого. И не буду. Ведь я — человек, а не вошь.

Утром я жду, пока Серж грузит свой грузовик. Я прошу его подвезти меня в Париж. У меня не хватает духу сказать ему, что я уезжаю навсегда. Я даже оставляю в доме рюкзак, хотя в нем все мое имущество. Когда мы проезжаем площадь Перье, я выпрыгиваю из машины. Мне нет особого смысла вылезать именно здесь. Но ведь и вообще особого смысла нет ни в чем. Я свободен — и это главное...

Легкий, как птичка, я порхаю из одного квартала в другой. Я чувствую себя так, словно только что вышел из тюрьмы. Я вижу мир новыми глазами. Все меня живо интересует — даже ерунда. На улице Фобур Пуассоньер я останавливаюсь перед витриной института физической культуры. В окне фотографии представителей сильного пола «до» и «после». Все — «лягушатники». На некоторых нет ничего, кроме пенсне и бороды. Не могу понять, как эти чудаки клюнули на гири и параллельные брусья. «Лягушатнику» положено иметь брюшко à la барон де Шарлю. У него может быть пенсне и бородка, но он не должен сниматься голым. Француз должен носить блестящие лакированные штиблеты, и из нагрудного кармана его чесучового пиджака должен высовываться — но не более чем на три четверти дюйма — аккуратно сложенный платок. На отвороте пиджака желательно носить красную ленточку Почетного Легиона, а ложась спать, надевать пижаму.

Под вечер, приближаясь к площади Клиши, я прохожу мимо маленькой проститутки с деревянной ногой. Она всегда стоит здесь, против «Гомон Палас». На вид ей не больше восемнадцати. Вероятно, у нее постоянная клиентура. После полуночи она, в своем черном платье, стоит тут, будто привинченная. Я беззаботно прохожу мимо нее, и она напоминает мне гуся с раздутой больной печенкой, привязанного к столбу, чтобы мир мог лакомиться страсбургским паштетом. Это, должно быть, странное чувство — деревянная нога в постели. Можно себе представить разные неожиданности — занозы, например, и т. д. Но о вкусах не спорят.

На рю де Дам я сталкиваюсь с Пековером, несчастным малым, который работает в американской газете. Он жалуется, что спит всего по три-четыре часа, потому что в восемь утра уже должен быть на работе в приемной дантиста. По его словам, он делает это для того, чтобы заплатить за свою вставную челюсть. «Трудно читать корректуру, когда валишься с ног от недосыпа,— говорит он.— Моя жена думает, что все это капризы. «Что мы будем делать, если ты потеряешь работу?» — это постоянный ее припев». Но вообще-то Пековеру наплевать на работу, его жалованья все равно не хватает даже на карманные расходы. Вплоть до того, что он вынужден собирать собственные окурки, чтобы потом оставшимся в них табаком набивать трубку. Его костюм держится на французских булавках. У него пахнет изо рта и всегда потные ладони. К тому же и спит он всего три часа в сутки. «Так нельзя обращаться с человеком,— жалуется он.— Старший корректор готов задушить меня за пропущенное двоеточие.— И, вспомнив опять о жене, добавляет: — У этой растыки, на которой я женат, нет ни малейшего чувства благодарности... Уверяю тебя».

В конце концов мне все-таки удается вытянуть из него полтора франка. Я пытаюсь выжать еще пятьдесят сантимов, но безуспешно. Однако, как бы то ни было, мне хватит теперь на кофе с рогаликами. Около вокзала Сен-Лазар я знаю дешевое бистро.

Удача улыбается мне сегодня — в уборной я нашел билет на концерт. Легкий, как перышко, я направляюсь в «Саль Гаво». Капельдинер явно недоволен тем, что я не дал ему на чай. Всякий раз, проходя мимо, он смотрит на меня выжидательно, надеясь, видимо, что я наконец вспомню о чаевых.

Я так давно не был в обществе хорошо одетых людей, что меня охватывает легкая паника. Тут тоже попахивает дезинфекцией — может быть, Серж обслуживает и этот театр. Но, слава Богу, никто не чешется. В воздухе, напротив, стоит легкий, едва уловимый запах духов. Перед самым началом концерта на лицах слушателей появляется выражение тоски. Концерт — изысканная форма самоистязания. Дирижер стучит палочкой по пульту. Миг напряженной сосредоточенности — и почти тут же общее сонное безразличие, которое нагоняет на публику оркестр своей музыкальной изморосью. Моя голова, однако, свежа, и тысячи маленьких зеркал отражают происходящее. Нервы

приятно вибрируют. Звуки прыгают по ним, как стеклянные шарики, подбрасываемые миллионами водяных струй фонтана. Мне никогда еще не приходилось слушать музыку с таким пустым желудком. Возможно, поэтому я не упускаю ни единого звука, даже звука падающей в зале булавки. Мне кажется, что я голый и что каждая пора моего тела — это окно, и все окна открыты, и свет струится в мои потроха. Я чувствую, как звуки забиваются мне под ребра, а сами ребра висят над пустым вибрирующим пространством. Сколько времени это продолжается, я не имею ни малейшего представления, я вообще теряю всякое понятие о времени и месте. Наконец я впадаю в какое-то полубессознательное состояние, уравновешенное чувством покоя. Мне кажется, что во мне — озеро, переливающееся всеми цветами радуги, но холодное, точно желе. Над озером широкой спиралью поднимается вереница птиц с длинными тонкими ногами и блестящим оперением. Стая за стаей взлетают они с озера, холодного и спокойного, проносятся под моими лопатками и исчезают в белом мареве пространства. Потом кто-то медленно, очень медленно, как старая женщина в белом чепце, проходит по моему телу, закрывая окна-поры, и я вновь обретаю себя. Внезапно зажигается свет, и я вижу, что человек в белой ложе, которого я принимал за турецкого офицера, на самом деле — женщина с корзиной цветов на голове.

Зал наполняется гулом голосов, и тот, кому хотелось кашлянуть, может наконец это сделать безнаказанно. Слышно шарканье ног, стук сидений, люди непрерывно шевелятся, встают, снова садятся, просто так, без всякой причины; шелестят программами, делая вид, что читают, потом запихивают их под сиденья, довольные тем, что можно не вспоминать, о чем они думали, слушая музыку,— потому что на самом деле они ни о чем не думали, но если они поймут это, то сойдут с ума. При ярком свете они смотрят друг на друга бессмысленно и напряженно. Но как только дирижер стучит палочкой по пульту, они снова погружаются в каталепсию, потом непроизвольно начинают почесываться, потом перед их мысленным взором внезапно возникает витрина с шарфом и шляпой. Они с изумительной ясностью видят мельчайшие детали, но где находится сама витрина, вспомнить не могут, и это лишает их сна и покоя. Они слушают с удвоенным вниманием, но, как ни прекрасна музыка, проклятая шляпа и шарф все время отвлекают их.

Мучительное состояние публики передается оркестру; он начинает играть с поразительной живостью. Второй номер программы проходит с такой быстротой, что, когда музыка неожиданно обрывается и в зале вспыхивает свет, слушатели застревают, как морковки, в своих креслах, их челюсти конвульсивно двигаются, и, если к ним подойти и внезапно крикнуть прямо в ухо: «Брамс, Бетховен, Менделеев, Герцеговина», они ответят вам без малейшего колебания: «Четыре, девятьсот шестьдесят семь, двести восемьдесят девять».

К началу Дебюсси атмосфера уже отравлена. Я ловлю себя на мыслях: как все-таки должна себя чувствовать женщина при совокуплении? Острее ли наслаждение и т. д.? Пытаюсь представить себе — вот что-то проникает в меня между ляжками, но ничего не чувствую, кроме туповатой боли. Пытаюсь сосредоточиться, но музыка ускользает, и все, что я мысленно вижу,— это ваза с фигурами. Ваза медленно поворачивается, и фигуры уходят в пространство. Потом остается только медленно поворачивающийся свет — и как это свет может поворачиваться? Мой сосед спит сном праведника. Со своим животом и нафабренными усами он похож на маклера, и уже поэтому он мне нравится. Особенно мне нравится этот живот и все, что пошло на его сооружение. Почему бы ему и не спать? Если ему захочется послушать музыку, он всегда найдет деньги на другой билет. Я заметил, что, чем лучше люди одеты, тем спокойнее они спят. У них чиста совесть, у этих богатых. Вот бедный — совсем другое дело: стоит ему задре-

мать хоть на минуту — и он сконфужен, ему кажется, что он нанес композитору величайшее оскорбление.

Испанские мотивы наэлектризовали публику. Все сидят на краешках стульев — их разбудили барабаны. Когда барабаны вступили, я подумал, что это никогда не кончится. Мне казалось, что все должны вываливаться из лож и подбрасывать шляпы в воздух. В этой музыке есть что-то неистовое. Если бы Равель захотел, он мог бы довести аудиторию до полного исступления. Но Равель не таков. Внезапно музыка стала спокойнее, словно композитор вдруг вспомнил, что на нем визитка и что приличному человеку не подобает так буйствовать. На мой скромный взгляд — большая ошибка. Искусство в том и состоит, чтоб не помнить о приличиях. Если вы начинаете с барабанов, надо кончать динамитом или тротилом. Равель пожертвовал чем-то ради формы — ради овощей, которые полезно есть часа за два-три до отхода ко сну.

Мои мысли разбредаются. Барабаны смолкли, и музыка ускользает от меня. Все вокруг тоже приходит в прежнее состояние. Под красным светом пожарного выхода сидит Вертер, погруженный в отчаяние; его подбородок упирается в ладони, глаза остекленели. Возле дверей испанец в небрежно наброшенном плаще, с сомбреро в руках. Он точно позирует Родену для его Бальзака. Лицом он напоминает Буффало Билла. На балконе напротив меня в первом ряду сидит женщина, широко расставив ноги, похоже, что у нее свело скулы; голова ее откинута назад, и шея свернута на сторону. Женщина в красной шляпке спит, свесившись через барьер,— вот если б у нее пошла горлом кровь! Целое ведро крови на все эти крахмальные рубашки внизу. Представляете себе — эти сукины дети идут домой, а их манишки в крови!

В музыке звучит лейтмотив сна. Никто больше не слушает. Нельзя думать и слушать. Невозможно даже мечтать — сама музыка и есть мечта. Женщина в белых перчатках держит на коленях лебедя. Легенда говорит, что, когда лебедь оплодотворил Леду, у нее родилась двойня. Все что-то или кого-то рожают, за исключением лесбиянки во втором ярусе. Ее голова запрокинута, шея открыта — ее щекочут брызги, летящие из оркестра... Юпитер в ее ушах. Киты с большими плавниками, Занзибар, Алькасар. «Когда вдоль Гвадалквивира блистали тысячи мечетей...» Глубоко в айсбергах, в сиреневых днях. Улица Денег с двумя белыми тумбами, чтобы привязывать лошадей. Горгульи... человек со вздором Яворского... огни над рекой... огни... над...

7

В Америке у меня было несколько знакомых индусов; одни были хорошие люди, другие — плохие, третьи — ни то ни се. Обстоятельства сложились так, что, к счастью, я мог быть им полезен; я находил им работу, давал приют и при случае подкармливал. Надо сказать, они были очень благодарны — до такой степени, что своим вниманием портили мне жизнь. Двое из них были праведниками, если я правильно понимаю значение этого слова, особенно Гупта, которого однажды нашли с перерезанным от уха до уха горлом. Это случилось в дешевых меблирашках в Гринвич Виллидж. Он лежал на кровати, совершенно голый, рядом с ним лежала его флейта, а горло его было перерезано, как я сказал, от уха до уха. Так и не удалось выяснить, был ли он убит или покончил с собой. Впрочем, я не о том...

Я просто вспоминаю цепь обстоятельств, которые привели меня в дом Нанантати. Странно, что я совершенно забыл про Нанантати и вспомнил о нем всего несколько дней назад, лежа в поганой комна-

тушке в гостинице на улице Сель. Я лежал на железной койке и думал, до какого же ничтожества я дошел, до какого обнищания, до какого круглого нуля, и вдруг — бац! — в моей голове прозвучало: NONENTITY! Так мы называли Нанантати в Нью-Йорке — Нонентити. Мистер Нонентити, то есть господин Ничтожество.

Я лежу на полу в «великолепной» парижской квартире Нанантати, которой он так хвастался, приезжая в Нью-Йорк. Тогда он разыгрывал доброго самаритянина. Этот самаритянин дал мне два жестких одеяла — не одеяла, а лошадиные попоны, в которые я завертываюсь, лежа на пыльном полу. Каждую минуту он заставляет меня что-нибудь делать — если, конечно, я по глупости остаюсь дома. Он будит меня по утрам самым бесцеремонным образом и требует, чтоб я готовил ему овощи на завтрак — лук, чеснок, бобы и т. п. Его приятель Кепи предупреждал меня, что есть эту дрянь нельзя. Дрянь или не дрянь — какая разница? Все-таки еда. А что еще нужно? Даже за такую кормежку я готов мести его ковры его сломанной щеткой, стирать его одежду и собирать крошки с пола, когда он кончает есть. Дело в том, что, как только я поселился у него, он стал очень аккуратен: пыль должна быть вытерта, стулья — стоять на месте, часы — бить вовремя, а вода в уборной должна спускаться безотказно... Этот Нанантати был скуп, как гороховый стручок. Я знаю, что когда-нибудь, когда я вырвусь из его когтей, я буду над этим смеяться, но сейчас я его пленник, человек вне касты, неприкасаемый...

Если я не ночую дома, завернувшись в лошадиные попоны, то, когда я возвращаюсь утром, он говорит мне: «Так, значит, вы еще живы? А я-то думал, что вы уже умерли». И хотя он знает, что у меня ни гроша, он все время рассказывает мне о дешевых комнатах, которые можно снять поблизости. «Я не могу сейчас ничего снимать»,— напоминаю я ему. Тогда, мигая, точно китаеза, он говорит бархатным голосом: «О, я забыл, что у вас нет денег, Енри... Но когда придет перевод, когда мисс Мона пришлет вам деньги, тогда мы вместе пойдем посмотреть эти комнаты, да?» И тут же добавляет, что я могу оставаться у него сколько хочу — «шесть месяцев, семь, Енри. Мне очень удобно, когда вы здесь».

Нанантати — один из тех индусов, для которых я никогда ничего не делал в Америке. Он рассказывал мне, что он богатый купец, торговец жемчугом, что у него «роскошная квартира» в Париже на улице Лафайетт, вилла в Бомбее и бунгало в Дарджилинге. Я сразу же понял, что он — идиот, но идиоты часто обладают талантом наживать состояния. Я не знал, что он оплатил свой гостиничный счет в Нью-Йорке парой крупных жемчужин. Забавно вспоминать, как эта толстенькая переваливающаяся с боку на бок утка расхаживала с черной тростью в холле шикарного отеля, помыкая прислугой, заказывая завтраки для себя и своих гостей, билеты в театры и такси на целый день; при этом в кармане у него не было ни гроша. Только жемчужное ожерелье на шее, с которого он по мере надобности снимал одну жемчужину за другой. А как он похлопывал меня по плечу, благодаря за помощь молодым индусам, и говорил: «Они умные ребята, Енри... очень умные!» А его утверждения, что какой-то индусский бог наградит меня за мою доброту! Теперь-то я понимаю, почему эти «умные ребята» только посмеивались, когда я советовал им занять пятерку у Нанантати.

Все-таки интересно, как индусский бог наградил меня за мою доброту. Ведь я стал рабом этой маленькой толстенькой утки. Он помыкал мною денно и нощно. Я был ему «удобен» — он говорил это мне прямо в лицо, не смущаясь. Идя в сортир, он кричал: «Енри, принесите, пожалуйста, кувшин воды, мне надо подтереться». Нанантати и в голову не приходило, что можно пользоваться туалетной бумагой. Наверное, из-за религиозных запретов. Нет, ему нужен был кувшин воды и тряпка. Он, видите ли, был очень утонченным, этот толстень-

кий селезень. Иногда, когда я пил жидкий чай, в который он бросал розовый лепесток, он подходил ко мне и громко пукал — прямо мне в нос. И никогда даже не извинялся. Такого слова, как «простите», очевидно, не существовало в его словаре языка гуджарати.

Когда я впервые попал в квартиру Нанантати, он совершал омовение — другими словами, стоял у таза с грязной водой и старался дотянуться своей искалеченной рукой до затылка. Рядом с ним стоял медный кувшин, чтобы менять воду. Он сказал мне, что я должен соблюдать тишину во время ритуала. И я сидел молча, как он просил, пока он пел молитвы и время от времени сплевывал в таз. Так вот она, эта «великолепная квартира в Париже», о которой он говорил мне в Нью-Йорке. Улица Лафайетт! Как впечатляюще это звучало в Нью-Йорке! Я думал, что только миллионеры или торговцы жемчугом могут жить на ней. «Улица Лафайетт» — это звучит шикарно, когда ты на другой стороне океана. Так же, как Пятая авеню звучит шикарно в Европе. Но и там и здесь можно найти невообразимые трущобы. В общем, как бы то ни было, а я сижу в этой «великолепной квартире» на улице Лафайетт и смотрю, как этот полоумный совершает омовение. Стул, на котором я сижу, сломан, кровать разваливается, обои свисают клочьями, а под кроватью — открытый чемодан, набитый грязным бельем. Из окна мне виден заплеванный двор, в котором высшее общество улицы Лафайетт проводит свой досуг, покуривая глиняные трубки. Пока Нанантати бормочет заклинания, я думаю о том, как должно выглядеть его бунгало в Дарджилинге.

Нанантати поет молитвы с перерывами. Он объясняет мне, что должен омываться особым образом. Это предписано его религией. Но по воскресеньям он купается в жестяной ванне; он говорит, что его чудаковатый бог это ему простит. Потом он одевается и подходит к шкафу, где на третьей полке стоит идол. Он становится перед ним на колени и повторяет какую-то абракадабру. По его словам, если так молиться каждый день, с вами ничего плохого не случится. Этот его бог никогда не забывает своих верных слуг. Потом Нанантати показывает мне руку, изуродованную в автомобильной катастрофе, несомненно, в тот день, когда он позабыл проделать свои ритуальные антраша. Рука напоминает сломанный компас, это даже и не рука, а кость с приделанной к ней культяпкой. С тех пор как рука зажила, у него под мышкой распухли железы — маленькие толстенькие железы, совершенно как собачьи яйца. Он скулит о своей несчастной судьбе, но, вспомнив, что доктор рекомендовал ему хорошо питаться, просит меня немедленно сесть за стол и составить меню с обилием мясных и рыбных блюд. «А как насчет устриц, Енри,— для младшего братишки?» Все это он говорит только для того, чтобы произвести на меня впечатление. У него нет ни малейшего намерения покупать ни устрицы, ни мясо, ни рыбу. Во всяком случае, пока я тут. Пока я тут, мы должны есть чечевицу, и рис, и всякую сухую дрянь, которую он держит на чердаке. И масло, купленное на прошлой неделе, тоже не пропадет. Когда он начинает перетапливать это масло, от него идет невыносимая вонь. Вначале я уходил из дома, но сейчас терплю и это. Для Нанантати было бы несказанным удовольствием, если б меня вырвало. Как будто он и эти продукты смог бы запрятать в свой шкаф, где уже хранится черствый хлеб, заплесневевший сыр и маленькие жирные лепешки, которые он готовит на кислом молоке и прогорклом масле.

По словам Нанантати, он в последние пять лет не работал ни дня и потому не заработал ни гроша. Его дело развалилось. Он любит подолгу рассказывать о жемчуге, который вылавливают в Индийском океане, об огромных жемчужинах, на которые можно жить целую жизнь. Он говорит, что арабы испортили промысел. Но он молится каждый день своему богу, и это ему помогает. Вообще у Нанантати прекрасные взаимоотношения с богом: он знает, как его умаслить и

выпросить у него несколько грошей. Это чисто коммерческие взаимоотношения. За причитания перед шкафом Нанантати получает свою ежедневную порцию бобов и чеснока, не говоря уже о разбухших железах под мышкой. Он уверен, что в конце концов все будет хорошо. На жемчуг снова поднимется спрос — может, через пять лет, может, и через двадцать,— когда бог Бумарум ниспошлет ему свою милость. «И когда дело пойдет, вы, Енри, будете получать десять процентов за то, что пишете для меня письма. Но сперва вы должны написать письмо в Индию и узнать, можем ли мы получить там кредит. Мы получим ответ через шесть месяцев, даже через семь — пароходы ходят медленно, а до Индии далеко». У него нет ни малейшего представления о времени. Когда я спрашиваю его, хорошо ли он спал, он отвечает: «Да, Енри, я сплю очень хорошо... Иногда я сплю девяносто два часа в три дня».

По утрам он слишком слаб, чтобы что-нибудь делать. Его рука! Жалкая переломанная культяпка! Когда он заворачивает ее за спину, пытаясь дотянуться до шеи, я не могу понять, как он ее вернет на место. Если бы не его кругленький животик, его можно было бы принять за «человека-змею» из цирка «Медрано». Для этого ему достаточно сломать ногу. Глядя, как я, поднимая пыль, чищу ковер, это ничтожество кудахчет: «Хорошо! Очень хорошо, Енри! А теперь мне придется убирать кучи мусора». Это значит, что я оставил несколько соринок и Нанантати, укоряя меня, пытается сочетать сарказм с вежливостью.

Обыкновенно после обеда к нему заходят приятели, тоже торговцы жемчугом. Это обходительные, изысканно вежливые сволочи с мягкими оленьими глазами. Они сидят за столом и пьют душистый чай, а Нанантати прыгает вокруг них и, показывая на хлебные крошки на полу, говорит своим мерзким голосом: «Енри, пожалуйста, подберите это». Для гостей он достает из шкафа сухой хлеб, который поджарил, может быть, неделю назад и который напоминает на вкус поросшую мхом деревяшку. В этом доме ничего не выбрасывается. Когда корки совсем окаменеют, он несет их вниз, консьержке, которая, по его словам, была к нему очень добра. Из этих корок консьержка делает сухарный пудинг.

Однажды мой приятель Анатоль зашел повидать меня. Нанантати был в восторге. Он уговорил Анатоля остаться на чай. Угощал его сухим хлебом и жирными лепешками. «Вы должны приходить к нам каждый день и учить меня русскому языку... Чудесный язык... как это вы говорите? Борщ? Енри, пожалуйста, запишите это для меня...» И я должен не просто записать, а напечатать на машинке — он любит смотреть, как я это делаю. Машинку Нанантати купил, когда получил страховку за искалеченную руку. Доктор сказал, что печатание на машинке — хорошее упражнение для руки. Однако машинка ему скоро надоела — это ведь была английская машинка.

Когда Нанантати узнал, что Анатоль играет на мандолине, он загорелся: «Прекрасно! Вы должны приходить к нам каждый день и учить меня музыке. Я куплю мандолину, как только мои дела пойдут получше. Это будет очень полезно для моей руки». На следующий день он попросил у консьержки граммофон. «Енри, вы будете учить меня танцевать. У меня слишком большой живот». Я надеюсь, что когда-нибудь он купит отличный бифштекс, и тогда я скажу ему: «Пожалуйста, укусите его за меня, господин Ничтожество. У меня слабые зубы».

Как я уже говорил, с момента моего появления в его доме он сделался необычайно требовательным. «Вчера, Енри, вы допустили три оплошности. Прежде всего, вы забыли закрыть дверь в уборную, и

всю ночь я слышал шум льющейся воды; во-вторых, вы оставили открытым окно в кухне, и оно треснуло сегодня утром. И наконец, вы забыли выставить на улицу молочную бутылку! Пожалуйста, Енри, всегда выставляйте молочную бутылку вечером, а утром, пожалуйста, приносите мне хлеб».

Каждый день его приятель Кепи заходит узнать, не приехал ли кто-нибудь из Индии. Дождавшись, когда Нанантати уйдет из дома, он бежит к заветному шкафу и достает оттуда хлебные палочки, которые Нанантати прячет в стеклянный кувшин. Он поедает их, как крыса, утверждая при этом, что они ужасная дрянь. Этот Кепи — паразит, человекообразный клещ, который впивается даже в самых бедных из своих соотечественников. С точки зрения Кепи, они все — набобы. За манильскую сигарку и кружку пива Кепи будет целовать задницу любому индусу. Но заметьте, индусу, а не англичанину. У него записаны адреса всех парижских борделей, причем с ценами. Он получает свои маленькие комиссионные даже с десятифранковых заведений. Кепи также может указать кратчайшую дорогу в любое место, куда вам надо. Сначала он поинтересуется, не хотите ли вы взять такси. Если вы откажетесь, он предложит автобус, а если вы сочтете, что и это слишком дорого, тогда трамвай или метро. Скорее всего он посоветует вам пойти пешком, чтобы сэкономить пару франков, отлично зная, что по дороге есть табачный магазин и он выклянчит у вас маленькую сигарку.

Кепи — в своем роде интересный тип, потому что у него нет абсолютно никаких потребностей, кроме одной — е...ся каждый вечер. Каждый грош, который он зарабатывает — а их очень мало,— он тратит на танцульках. У него в Бомбее жена и восемь детей, но это не мешает ему свататься к каждой горничной, если она настолько глупа, чтобы ему поверить. Он живет в маленькой комнатке на улице Кондорсе и платит за нее шестьдесят франков в месяц. Он сам обклеил ее обоями и очень этим горд. Авторучку он заправляет фиолетовыми чернилами, потому что они дольше сохраняются. Он сам чистит себе ботинки, утюжит брюки и стирает белье. За манильскую сигарку он пойдет с вами через весь Париж. Если вы остановитесь посмотреть на рубашку или запонку для воротничка, его глаза тут же вспыхнут: «Не покупайте здесь. Здесь очень дорого. Я покажу вам место, где то же самое можно купить дешевле». И не успели вы сказать и слова, как он притаскивает вас к другому магазину с такими же рубашками и запонками,— не исключено, что это тот же самый магазин, но вы этого никогда не узнаете. А все объясняется очень просто. Как только Кепи слышит, что вы хотите что-то купить, душа его наполняется ликованием. Он потащит вас в тысячу мест и будет задавать вам тысячу вопросов, пока вам не захочется пить. И тут, к своему удивлению, вы увидите, что стоите перед бистро, где есть табачный ларек, может быть, вы даже уже были здесь, а Кепи заискивающе говорит: «Не будете ли вы так добры купить мне сигарку?» Что бы вам ни пришло в голову, пусть даже просто прогуляться по кварталу, где вы живете, Кепи, как он уверяет, найдет способ сберечь ваши деньги. Он покажет вам самый короткий путь, самое дешевое бистро, самое сытное блюдо, но при этом вам непременно придется пройти мимо табачной лавки. И конечно, танцульки. Случись революция, забастовка, чума — ничто не помешает Кепи быть в «Мулен Руж», в «Олимпии» или в «Анж Руж» в тот момент, когда оркестр заиграет первый танец.

Недавно Кепи принес мне книгу. Это был отчет о знаменитом процессе между индусским праведником и издателем газеты. Издатель публично обвинил праведника в том, что он ведет развратную жизнь; он даже пошел дальше и заявил, что у праведника венерическая болезнь. Кепи считает ее великим французским сифилисом, но Нанантати утверждает, что это японский триппер. Нанантати любит все немного преувеличивать. Как бы то ни было, он просит: «Пожалуйста

Генри, прочтите и расскажите мне. Я не могу читать сам — у меня больная рука». Потом, чтобы подбодрить меня, он добавляет: «Это хорошая книга, там говорится о разных способах. Кепи принес ее специально для вас. Он ни о чем не думает, этот Кепи, только о девочках. У него их полно — как у Кришны. В это невозможно поверить...»

Потом Нанантати ведет меня на чердак, где сложены банки консервов и всякая дрянь из Индии, завернутая в джутовую мешковину и разноцветную бумагу. «Я привожу сюда девочек...— говорит он и добавляет с грустью: — Я не особенный е..рь, Енри. Я больше не ... женщин. Просто обнимаю их и говорю разные слова... Сейчас мне нравится только говорить слова...» Я знаю, что мне не надо больше его слушать, знаю, что он начнет говорить опять про свою руку. Я вижу ее каждую ночь, вижу, как она свисает с кровати, точно сорванная дверная петля. Но, к моему удивлению, он добавляет: «Я больше уже не годен для этого дела... да я и никогда не был хорошим е...рем. Вот мой брат — это совсем другой коленкор. Каждый день по три раза! И Кепи такой же — прямо как Кришна».

Сейчас мысли Нанантати только этим и заняты. Стоя перед шкафом, где он обычно молится, он рассказывает мне, как жил, когда жена и дети были с ним здесь. По праздникам он водил жену в «Дом народов мира» и снимал на ночь номер. Все номера там были отделаны в разных стилях. Его жене это очень нравилось. «Чудное место для е..., Енри. Я знаю там все номера...»

На стенах маленькой комнаты, в которой мы сидим, развешаны фотографии. На них представлены все ветви семьи Нанантати — это своего рода Индийская империя в разрезе. Но листва этого генеалогического древа почти вся пожухла: женщины — хрупки и запуганы, у мужчин — острые умные лица дрессированных шимпанзе. Тут все они — девяносто человек или больше — со всеми своими белыми волами, навозными кучами, тонкими ногами, старомодными оловянными оправами очков; иногда на заднем плане виден кусок выжженного солнцем поля, разваливающиеся стены или многорукий идол вроде человекообразной сороконожки. В этой галерее есть что-то настолько нереальное, оторванное от жизни, что на ум невольно приходит все разнообразие храмов, раскинувшихся от Гималаев до Цейлона, их архитектура, удивительная по красоте и в то же время устрашающая, потому что плодородие воплощено в ней с такой бьющей через край щедростью, будто оно взято из самой земли и земля Индии теперь мертва. Когда видишь эти переплетенные в экстазе фигуры на фасадах бесчисленных храмов, невольно приходит в голову мысль о невероятной потенции этих маленьких смуглых людей, столь искусных в любви вот уже больше тридцати столетий. Какими хрупкими кажутся мне эти красивые мужчины и женщины, смотрящие с фотографий своими черными пронзительными глазами, какими истощенными тенями рядом с теми мощными сплетающимися фигурами, что украшают их храмы. В этих изображениях точно укор нынешним их потомкам, напоминание о героических мифах, о могучих расах, о праотцах. Глядя всего лишь на осколки этих снов, сохранившихся в камне оседающих, разваливающихся храмов, увлажненных человеческим семенем и покрытых драгоценными камнями, я застываю подавленный и ослепленный роскошью фантазии древних мастеров, которая позволила полумиллиарду людей разного происхождения выразить свои устремления с такой мощью.

Пока я слушаю Нанантати и его рассказ о сестре, умершей во время родов, во мне возникает странная смесь чувств. Вот она на стене — слабенькое, испуганное существо двенадцати-тринадцати лет, держится за руку старика. Ей было десять, когда ее отдали замуж за старого развратника, похоронившего уже пятерых жен. А из ее семи детей только один пережил ее. Ее отдали этой старой горилле, чтобы жемчуг остался в семье. Умирая, она, по словам Нанантати, прошеп-

тала доктору: «Не хочу больше е....ся... Я устала лежать с членом во мне...» Рассказывая это, Нанантати задумчиво почесывает голову своей искалеченной рукой. «Да, с е...й теперь плоховато, Енри... Но я подарю вам слово, которое принесет вам счастье... Вы должны повторять его каждый день, миллион раз, снова и снова... Это лучшее в мире слово, Енри... Повторяйте: «УМАХАРУМУМА!»

— Умарабу...

— Нет, Енри... Слушайте... умахарумума.

— Умамабумба...

— Нет, Енри... вот так...

...Нанантати потратил целый месяц, чтобы выудить это слово из книжонки с расплывшейся печатью, изжеванной бумагой и измызганным переплетом. Он читал ее среди танцующих блох и вшей, при жалком свете. Ему — с его дрянью на языке, слизью в глазах, помоями в глотке, чесоткой в ладонях, рыданием в голосе, тоской в дыхании, туманом в голове, спазмах в совести, зудом в хвосте, нарывами в гортани, крысами на чердаке и мерзостью в ушах, ему, который вообще не мог запомнить больше одного слова в неделю,— это было нелегко.

Я, вероятно, никогда бы не вырвался из лап Нанантати, если бы мне не помогла судьба. Как-то вечером Кепи попросил меня проводить одного из его клиентов в соседний бордель. Парень только что приехал из Индии и сидел на мели. Это был один из последователей Ганди, которые совершили исторический «соляной поход» к морю. Надо сознаться, что это был очень веселый последователь Ганди, несмотря на обет воздержания, который он дал. Воздержание, видимо, длилось уже давно, и я с трудом сдерживал его по пути на улицу Лаферрьер — он, точно охотничья собака, рвался за дичью. Надо сказать, что это была очень тщеславная собака. Экипирован он был на славу: плисовый костюм, берет и галстук «Виндзор», тросточка, две самописки, фотоаппарат «Кодак» и необыкновенные подштанники. Деньги, которые он тратил, собрали бомбейские купцы; на эти деньги он должен был поехать в Англию и распространять там учение Ганди.

Войдя в заведение мисс Гамильтон, он, правда, начал терять самоуверенность. А когда его внезапно окружили голые женщины, он взглянул на меня буквально с отчаянием. «Выбирай,— сказал я ему.— Какая тебе больше нравится?» Но он был так растерян, что не мог даже на них смотреть. «Выбирайте вы...»— прошептал он, покраснев до слез. Я спокойно осмотрел товар и выбрал для него полную молодую девку, как мне показалось, в самом соку. Мы сели в гостиной и стали ждать заказанного вина. Мадам не могла понять, почему я никого не выбрал себе. «Вы тоже возьмите...— сказал мне молодой индус.— Я не хочу быть один». Девицы вернулись, и я остановил свой выбор на высокой, худой, с меланхоличными глазами. Теперь нас было четверо. Через несколько минут последователь Ганди наклоняется ко мне и шепчет что-то на ухо. «Конечно, если она тебе нравится больше, бери ее,— ответил я и в некотором смущении объяснил девушкам, что мы бы хотели произвести обмен. Это, конечно, было нетактично с нашей стороны. Но к этому времени мой индус уже развеселился, и пора было отправляться наверх и заканчивать всю эту музыку.

Мы взяли смежные комнаты, соединенные дверью. Мне казалось, что мой молодой друг будет не прочь произвести вторичный обмен, едва утолит свой острый голод. Как только девушки ушли, чтоб приготовиться, я услышал стук в дверь. «Где здесь уборная?» Думая, что ему нужно помочиться, я посоветовал ему воспользоваться биде. Девушки с полотенцами в руках вернулись, и я слышал, как он хихикал.

Но когда я уже надевал брюки, в соседней комнате начался ка-

кой-то подозрительный шум. Слышу, что девка ругает моего приятеля последними словами, называет его грязной свиньей и проч. Стараясь понять, чем он мог вызвать такое негодование, я стою с одной ногой в штанине и слушаю. Индус старается что-то объяснить по-английски. Начинает кричать и в конце концов срывается на визг.

Хлопает дверь, и через минуту мадам, красная, как свекла, врывается в мою комнату. «Стыдно вам! Стыдно! — кричит она, бешено жестикулируя.— Привести в приличный дом такого человека! Это же варвар... это свинья какая-то... это... это!..» У нее за спиной стоит мой приятель. На его лице — полная растерянность.

— Что ты сделал? — спрашиваю я.

— Что он сделал?! — визжит мадам.— Я вам покажу, что он сделал! Идите сюда! — Она хватает меня за руку и тащит в соседнюю комнату.— Вот, полюбуйтесь! — кричит она, показывая пальцем на биде.

— Пойдем отсюда...— говорит мой индус.

— Нет, подождите! Вы так легко не отделаетесь!

Мадам стоит рядом с биде, задыхаясь от злости. Девочки рядом, с полотенцами в руках. Так мы все стоим и смотрим в биде, где плавают две огромные колбасы. Мадам наклоняется и прикрывает биде полотенцем.

— Ужасно, это просто ужасно! — вопит она.— Никогда в жизни не видела ничего подобного... Свинья!.. Грязная свинья!

Индус смотрит на меня с упреком.

— Вы должны были объяснить мне... Я не знал, что это не пройдет в трубы... Я ведь спросил вас, и вы сказали, что я могу воспользоваться этой штукой...— Он чуть не плачет.

В конце концов мадам отводит меня в сторону. Она успокоилась, она понимает, что это ошибка. Может быть, господа хотят пойти вниз и заказать что-нибудь для девушек? Для них это было большое потрясение. Они не привыкли к таким вещам. Конечно, господа не забудут и горничную... Ведь для горничной все это довольно неприятно. Она передергивает плечами и подмигивает. Прискорбный случай! Но это просто по ошибке. Если господа подождут здесь немного, горничная принесет вина. Может быть, господа хотят шампанского? Да?

— Я хотел бы уйти...— говорит молодой индус слабым голосом.

— О, не смущайтесь так,— пытается его успокоить мадам.— Все уже позади. Иногда можно и ошибиться. В следующий раз вы наверняка спросите уборную.

Она начинает распространяться про уборные — на каждом этаже есть уборная и ванная. У нее много клиентов из англичан. И все они джентльмены. Молодой человек — индус? О, индусы... Это очаровательные люди... такие умные, такие красивые.

Когда наконец мы выходим на улицу, очаровательный молодой джентльмен чуть не плачет. Ему уже жалко, что он купил плисовый костюм, тросточку и авторучки. Он говорит о принятых им восьми обетах — голод и т. д. Во время похода в Данди он не имел права съесть даже мороженого. Он рассказывает мне о прялке и о том, как группа последователей Ганди подражала молитвенной сосредоточенности, с которой прял их учитель. С гордостью он рассказывает о том, как шел рядом с Ганди и разговаривал с ним. «Мне казалось, что это один из двенадцати апостолов».

Несколько дней мы проводим вместе. Интервью в газетах и лекции для индусов в Париже. Все это надо организовать. Интересно наблюдать, как эти бесхарактерные создания помыкают друг другом, как абсолютно беспомощны, когда дело касается каких-нибудь практических вещей. И сколько тут зависти, мелких, грязных интриг! Где собираются десять индусов, там вся Индия со всеми своими дрязгами и склоками, со всеми политическими, социальными и религиозными раздорами. Ганди стал для них временным символом, он подобен чуду,

которое объединило их, но как только его не станет, все развалится, снова наступит хаос, столь характерный для индусов.

Мой молодой индус, конечно, оптимист. Он был в Америке и заразился дешевеньким американским идеализмом, заразился суетой, ванными, пяти- и десятицентовыми магазинами и их побрякушками, практичностью, машинами, высокими заработками рабочих, бесплатными библиотеками и т. п. Его идеал — американизированная Индия. Он совершенно не разделяет патриархальных устремлений Ганди. «Вперед!» — говорит он как типичный член Союза молодых христиан. Когда я слушаю его рассуждения об Америке, я вижу, как нелепо ждать от Ганди чуда, которое изменит ход истории. Враг Индии не Англия, а Америка. Враг Индии — дух времени, рука, которую ничто не может отвести. Ничто не может спасти мир от этого отравляющего вируса. Америка — это воплощение гибели. Она утянет с собой весь мир в бездонную пропасть.

Индус думает, что американцы — публика доверчивая. Он рассказывает мне о чудаках, которые помогали там ему в трудную минуту — о квакерах, унитариях, теософах, сектантах «Новой мысли», адвентистах Седьмого дня и т. д. и т. п. Он знал, куда направлять свой корабль, этот хитрый молодой человек. Он знал, как в нужный момент блеснуть слезой, как собрать подписку, как очаровать жену священника, как спать одновременно с матерью и дочерью. Посмотреть на него — настоящий святой. И если разобраться, он и есть святой, только в современном смысле — слегка подпорченный святой, умеющий говорить разом о любви, братстве, уборных, канализации, механике и т. д.

Свой последний вечер в Париже он оставляет для «е....ных развлечений». На этот день у него разработана полная программа — конференции, телеграммы, интервью, фотожурналисты, трогательные прощания, советы правоверным и т. д. Во время обеда он — воплощенная беспечность. Заказывает шампанское, ловким щелчком пальцев подзывает гарсона, словом, ведет себя как типичный хам, то есть тот, кто он в сущности и есть. Насмотревшись до тошноты на всякие приличные заведения, он просит меня найти ему что-нибудь попроще, повести его туда, где он может взять двух-трех женщин сразу. Я веду его на бульвар Шапель, предупредив, чтоб он был осторожен с кошельком. В районе Обервилье мы заходим в дешевый притон и немедленно оказываемся в целой толпе женщин. Через несколько минут мой приятель танцует с голой бабой — тяжелой блондинкой со складками на шее. В дюжине зеркал отражается ее задница и его темные тонкие пальцы, впивающиеся в нее с липкой жадностью. Стол заставлен пустыми стаканами, механическое пианино хрипит и свистит. Незанятые девушки сидят на кожаных диванах и почесываются, точно семья обезьян. В воздухе — сдерживаемая буря, тишина перед взрывом, который вот-вот должен был прогреметь, но в последнюю минуту совершенно неожиданно выяснилось, что не хватает какой-то мелкой детали, просто крошечной... Эта странная атмосфера позволяет и быть здесь и не быть, и постепенно в моем сознании начинает вырисовываться пропавшая деталь, принимая причудливые формы, точно ледяной узор на окне. И подобно этому узору, как будто произвольно наведенному чьей-то рукой на стекле, а на самом деле возникшему в соответствии со строгими физическими законами, мои чувства тоже, по-видимому, подчинены непреложным законам природы. Всем своим существом я отдаюсь этим ощущениям, не известным мне раньше, и то, что мне казалось моим собственным «я», начинает сжиматься, сгущаясь до точки, покидающей мое тело, границы которого определены только реакциями нервных окончаний.

Чем больше сгущается мое «я», тем хрупче и странней кажется мне эта близкая, осязаемая, реальная жизнь, из которой меня выдавливают. Чем меньше мое «я», тем больше раздувается мир вокруг.

Концентрация настолько велика, что любой малости достаточно для взрыва, способного разбить этот мир вдребезги. На какой-то миг я испытываю чувство абсолютной ясности, как эпилептик во время припадка. Я теряю всякое представление о времени и пространстве: весь мир сосредоточился на меридиане, который не имеет оси. Я ощущаю мимолетность вечности и чувствую, что все в этом мире имеет оправдание; я знаю войны и знаю, что такое поражения; знаю преступления, которые совершаются сегодня, а завтра превратятся в крикливые газетные заголовки; я знаю горе, тупое горе, которое размалывается в ступке времени и стекает по каплям на грязные носовые платки. В меридиане времени нет несправедливости — только поэзия движения, создающая иллюзию правды и драмы. Встреча с абсолютом снимает покров божественности с Гаутамы и Христа; удивительно не то, что они выращивали розы на этом житейском навозе, а то, что по какой-то причине хотели их выращивать. По какой-то причине человек ищет чуда, и чтобы найти его, он способен пройти по трупам. Он измучает себя идеями, он превратится в тень, чтобы хоть на мгновение забыть ужас реальности. Он выдержит все — унижение, издевательства, бедность, войны, преступления и даже тоску, надеясь на внезапное чудо, которое сделает жизнь переносимой. И все время внутри человека щелкает неведомый счетчик, и нет руки, которая могла бы его остановить. Но во всех этих смятенных поисках и мучениях чуда нет; нет даже самого крошечного намека на какую-либо помощь извне. Есть только идеи — бледные, вымученные, изможденные; идеи, которые пьют вашу кровь, идеи, которые разливаются, как желчь, вываливаются, как кишки свиньи со вспоротым брюхом.

И я думаю о том, каким бы это было чудом, если б то чудо, которого человек ждет вечно, оказалось кучей дерьма, наваленной благочестивым «учеником» в биде. Что, если б в последний момент, когда пиршественный стол накрыт и гремят цимбалы, неожиданно кто-то внес бы серебряное блюдо с двумя огромными кусками дерьма, а что это дерьмо, мог бы почувствовать и слепой? Это было бы чудеснее, чем самая невероятная мечта, чем все, чего ждет человек и чего он ищет. Потому что это было бы нечто такое, о чем никто не мечтал и чего никто не ждал.

Почему-то мысль, что в этом мире не на что надеяться, подействовала на меня освежающим образом. Неделями и месяцами, даже годами, да в сущности всю свою жизнь я ждал, что случится какое-то событие, которое в корне изменит всю мою жизнь. И теперь, неожиданно вдохновленный пониманием всей безнадежности человеческого существования, я почувствовал облегчение, точно с меня свалилось огромное бремя.

Утром я расстался со своим индусом, предварительно выудив у него несколько франков, чтоб было чем заплатить за комнату. Идя по направлению к Монпарнасу, я решил отдаться течению жизни и не делать ни малейшей попытки бороться с судьбой, в каком бы обличье она ни явилась ко мне. Всего, что случилось со мной до сих пор, оказалось недостаточно, чтобы меня уничтожить; ничто не погибло во мне, только иллюзии. Я остался невредим. Мир остался невредим. Завтра может произойти революция, чума, землетрясение и не от кого будет ждать помощи, тепла или веры. Мне кажется, что все это уже случилось и что я никогда не был более одинок, чем сейчас. С этой минуты я решаю ни на что не надеяться, ничего не ждать — жить, как животное, как хищный зверь, бродяга или разбойник. Если завтра будет объявлена война и меня призовут в армию, я схвачу штык и всажу его в первое же брюхо. Если надо будет насиловать, я буду насиловать с удовольствием. В этот тихий миг рождения нового дня земля полна преступлений и ужасов. Что изменилось в человеческой природе за все тысячелетия цивилизации? В сущности, человек оказался

обманут тем, что принято называть «лучшей стороной» его натуры. На периферии духа человек гол, точно дикарь. Даже когда он находит так называемого бога, он все равно остается гол. Он — скелет. Надо опять вживаться в жизнь, чтоб нарастить на себе мясо. Слово становится плотью, душа требует питья. Теперь, едва завидев даже крохи, я буду бросаться и сжирать их. Если главное — это жить, я буду жить, пусть даже мне придется стать каннибалом. До сих пор я старался сохранить свою драгоценную шкуру, остатки мяса, которые все еще были на костях. Теперь меня это больше не беспокоит. Мое терпение лопнуло. Я плотно прижат к стене, мне некуда отступать. Исторически я мертв. Если есть что-нибудь в потустороннем мире, я выскочу назад. Я нашел Бога, но мне он не поможет. Мой дух мертв. Но физически я существую. Существую как свободный человек. Мир, из которого я ухожу,— это зверинец. Поднимается заря над новым миром — джунглями, по которым рыщут голодные призраки с острыми когтями. И если я — гиена, то худая и голодная. И я иду в мир, чтобы откормиться.

8

Как мы условились, в половине второго я зашел к ван Нордену. Он предупредил меня, что, если сразу не откликнется, значит, он с кем-то спит, вероятно, со своей шлюхой из Джорджии.

Ван Норден лежал, все еще завернутый в теплое одеяло, но уже, как всегда, усталый. Он просыпается с проклятиями и проклинает все — себя, свою работу, свою жизнь; он открывает глаза с тоской и скукой, и мысль, что он не умер этой ночью, гнетет его.

Я сажусь у окна и стараюсь подбодрить его как могу. Это довольно утомительное занятие. Нужно выманить его из кровати. По утрам (а его утро — от часа до пяти часов вечера) ван Норден погружен в задумчивость. Обычно он думает о прошлом — о своих бабах. Он старается вспомнить, хорошо ли им было, что они говорили в известные критические моменты, где это происходило и т. д. Он лежит, то ухмыляясь, то бормоча проклятья, и забавно шевелит пальцами, как бы стараясь показать этим, что его отвращение к жизни невозможно выразить словами — настолько оно велико. Над постелью на стене висит сумка со спринцовкой, которую он держит для экстренных случаев — для невинных девушек, которых выслеживает, как собака-ищейка. Но даже когда он уже переспал с этими мифическими созданиями, он продолжает называть их девушками и почти никогда не зовет по имени. «Моя целка»,— говорит он; точно так же он говорит и «эта шлюха из Джорджии». Направляясь в уборную, он дает мне указания: «Если позвонит эта шлюха из Джорджии, скажи ей, пусть подождет. Скажи, что я так сказал. Слушай, бери ее себе, если хочешь. Она мне уже надоела».

Он смотрит в окно и глубоко вздыхает. Если идет дождь, он говорит: «Черт бы побрал этот е...ный климат! От него у меня меланхолия». Если на дворе яркое солнце: «Черт бы побрал это е...ное солнце! Я от него только слепну». Начав бриться, он внезапно вспоминает, что нет чистого полотенца. «Черт бы побрал эту е...ную гостиницу!.. Разве могут эти скупердяи каждый день менять полотенца!» Что бы он ни делал, куда бы ни пошел, все будет не по нем. К тому же эта «е...ная страна», эта «е...ная работа» и эта «е...ная шлюха» вконец подорвали его здоровье.

«Все зубы сгнили,— говорит он, полоща горло.— Это от здешнего е...ного хлеба». Ван Норден широко открывает рот и оттягивает нижнюю губу. «Видишь? Вчера выдрал себе шесть зубов. Пора вставлять вторую челюсть. А все от чего? От работы ради куска хлеба. Когда я был босяком, у меня все зубы были на месте, а глаза — светлые и ясные. А теперь? Посмотри на меня! Это чудо, что я еще могу иметь дело с бабами. Господи, чего бы мне хотелось, так это найти богатую

бабу, как у этого хитрюги Карла! Он показывал тебе когда-нибудь ее письма? Ты не знаешь, кто она? Сволочь, он не говорит мне. Боится, что я ее отобью.— Ван Норден полощет горло еще раз, потом долго рассматривает дупла в зубах.— Тебе хорошо,— добавляет он грустно.— У тебя по крайней мере есть друзья... А у меня никого, кроме этого мудака, который действует мне на нервы, рассказывая о своей богатой б....».

«Послушай,— продолжает он,— ты знаешь такую Норму? Она всегда ошивается в кафе «Дом». Мне кажется, что она — и нашим и вашим. Вчера я привел ее сюда, пощекотал ей задницу. Ничего не вышло. Я затащил ее на кровать... даже снял с нее штаны... Но потом мне стало противно. Хватит с меня этих развлечений. Овчинка выделки не стоит. Хочет — хорошо, не хочет — не надо, а время терять глупо. Пока ты возишься с такой стервой, может быть, десять других сидят на террасе в кафе и умирают, чтоб их кто-нибудь отодрал. Это факт. Они затем сюда и приходят. Жалкие дуры... Думают, что здесь какой-то вертеп! Некоторые из этих учительниц с Запада — настоящие целки. Уверяю тебя! Они только об этом и мечтают. Над ними не надо много работать — им самим до смерти хочется... У меня была на днях замужняя баба, которая сказала мне, что ее полгода никто не драл — можешь себе представить! Вошла в такой раж — я уж боялся, х.. мне оторвет. Все время стонала и спрашивала: «А ты? А ты?» — прямо как ненормальная. И знаешь, чего эта сука хотела? Переехать ко мне. Можешь себе представить? Спрашивала, люблю ли я ее. А я даже не знал, как ее зовут. Я ведь никогда не спрашиваю, как их зовут... для чего это мне? А замужние! Боже мой, если б ты только мог видеть всех этих замужних баб, которые приходят сюда, у тебя бы не осталось никаких иллюзий. Они хуже целок — замужние. Даже не ждут, пока ты раскачаешься,— сами лезут тебе в штаны. А потом говорят о любви. Тошно слушать. Знаешь, я просто начинаю ненавидеть баб!»

Он опять смотрит в окно. Моросит. Уже шестой день.

— Пойдем в «Дом», Джо.— Я называю его «Джо», потому что он сам себя так называет. Когда Карл с нами, он тоже Джо. Все у нас Джо, это проще. К тому же приятно не относиться к себе слишком серьезно. Однако Джо не хочет идти в «Дом» — он задолжал там приличную сумму. Он хочет в «Куполь». Но сначала — пройтись.

— Идет дождь, Джо.

— Я знаю, но черт с ним. Мне нужен моцион. Я должен вычистить дерьмо из собственного нутра.— И я живо представляю, как весь мир запутался в его кишках и гниет там.

Одеваясь, ван Норден опять впадает в полусонное состояние. Надев шляпу набекрень и просовывая руку в рукав пальто, он начинает мечтать вслух о Ривьере, о солнце, о том, как было бы хорошо вообще ничего не делать. «Все, чего я хочу в жизни,— говорит он задумчиво,— это читать, мечтать и е.....— и так все время.— Произнося это, он смотрит на меня с мягкой, вкрадчивой улыбкой.— Как тебе нравится моя улыбка? — спрашивает он и добавляет с отвращением: — Господи, где мне найти богатую бабу, которой бы я мог так улыбаться?»

«Теперь только богатая баба может меня спасти...— На лице его появляется выражение усталости.— Это так утомительно — все время гоняться за новой бабой. Есть в этом что-то механическое. Беда в том, что я не могу влюбиться. Я слишком большой эгоист. Женщины только помогают мне мечтать. Я знаю, что это порок — как пьянство или опиум. Каждый день мне нужна новая баба, и если ее нет, я становлюсь мрачным. Я слишком много думаю. Иногда меня и самого удивляет, как я быстро с ними управляюсь и как мало это все для меня значит. Я делаю это автоматически. Иной раз я даже не думаю о них и вдруг вижу, на меня кто-то смотрит, и опять все сначала. Едва я успеваю понять, что происходит, как она уже здесь. Я даже не помню, что я им говорю. Я привожу их сюда, наверх, шлепаю по жопе — и преж-

де чем я пойму, в чем дело, все уже кончено. Это как сон... Ты меня понимаешь?»

Он не любит француженок. Просто не переносит. «Они хотят или денег, или замуж. По существу все они проститутки. Нет, я предпочитаю иметь дело с целками...— говорит он.— Они создают хоть какую-то иллюзию. Они по крайней мере сопротивляются».

Тем не менее, когда мы смотрим на террасу кафе, там нет ни одной проститутки, которую бы он уже не употребил. Стоя в баре, он показывает их мне, описывая их анатомические особенности, плохие и хорошие качества. «Они все фригидны»,— говорит он, но тут же потирает руки и делает движение, точно рисует женскую фигуру в воздухе — он уже весь поглощен мыслями о хорошеньких сочных «целках», которым «до смерти хочется».

Вдруг он замирает, но уже через мгновенье возбужденно хватает меня за руку и указывает на нечто слоноподобное, усаживающееся на стул. «Это моя датчанка,— мычит он.— Видишь эту жопу? Датская. Если б ты знал, как она обожает это дело! Как умоляет меня. Поди сюда... посмотри с этой стороны. Посмотри только на эту сраку. Невероятная! Когда она влезает на меня, я не могу даже обхватить ее. Она заслоняет собой мир. Я чувствую себя каким-то червячком, который ползает у нее внутри. Не знаю, почему она мне так нравится, наверное из-за этой жопы. Бред какой-то. И складки на ней! Нет, такая срака не забывается! Это факт... абсолютный факт. Другие надоедают или создают лишь минутную иллюзию, но эта — нет. Бабу с такой роскошной жопой нельзя забыть. Это как спать с памятником!»

Датчанка возбуждает его. Куда-то пропала прежняя вялость. Глаза лезут на лоб. Одно цепляется за другое. Он говорит, что хочет уехать из этой «е...ной» гостиницы — шум действует ему на нервы. И он хочет написать книгу, но проклятая работа отнимает все его время. Ему хочется занять чем-нибудь свой ум. «Она высасывает меня, эта е...ная работа. Я не хочу писать о Монпарнасе... Я хочу писать о своей жизни, о том, что я думаю... хочу вытрясти все дерьмо из своего нутра. Слушай, бери вон ту! Когда-то давно я имел с ней дело. Она все околачивалась возле кафе «Ла Алль». Забавная сучонка. Она ложится на край кровати и задирает юбки. Ты когда-нибудь пробовал так? Неплохо. Она не торопила меня. Просто лежала и играла со своей шляпой, пока я ее наворачивал. И когда я кончил, спрашивает равнодушно: «Ты уже?» Как будто ей все равно. Да, конечно, все равно, я прекрасно это знал... но чтоб такое безразличие... Мне это даже понравилось... Это было просто очаровательно. Вытираясь, она напевала... И когда уходила из гостиницы — тоже. Даже не сказала «Au revoir!» [1]. Уходит вот так, крутит шляпу и мурлычет под нос. Что значит настоящая шлюха! Но при этом — женщина до мозга костей. Она мне нравилась больше, чем любая целка... Драть бабу, которой на это в высшей степени наплевать,— тут есть что-то порочное. Кровь закипает...— Потом, подумав немного: — Можешь себе представить, что было бы, если б она хоть что-нибудь чувствовала?»

— Послушай,— говорит он чуть погодя.— Пойдем со мной в клуб завтра после обеда... Там будут танцы.

— Завтра не могу, Джо. Я обещал помочь Карлу...

— Плюнь ты на этого мудака! Можешь оказать мне услугу? Дело в том...— Он начинает опять лепить что-то в воздухе.— У меня там приготовлена девчонка. Она обещала переспать со мной в мой выходной... Но я еще не уверен. Понимаешь, ее мать — какая-то говенная художница. Каждый раз заговаривает меня до смерти. Мне кажется, она просто ревнует. Я думаю, она ничего не имела бы против всего этого, если бы я сперва у.. ее. Ну, ты понимаешь... В общем, я подумал, что, может, ты занялся бы мамашей... она совсем недурна...

---

[1] До свидания *(франц.)*.

если б не дочь, я бы и сам не отказался. Но девчонка — прелесть, молодая, свежачок еще... От нее прямо-таки пахнет чистотой.

— Нет, Джо, лучше поищи кого-нибудь другого...

— А-а! Не валяй дурака! Тебе же это ничего не стоит. Сделай мне маленькое одолжение. Я не знаю, как избавиться от старой курицы. Сначала я думал, напою ее и выпровожу, но боюсь, что девчонке это не понравится. Они, понимаешь, чувствительные! Они из Миннесоты или еще откуда-то. Во всяком случае, приходи завтра хоть разбудить меня, а то я просплю. И потом помоги мне найти комнату. Я этого не умею. Найди мне комнату здесь на какой-нибудь тихой улице. Мне надо жить поблизости... Здесь у меня есть кредит. Ну, обещаешь? А я время от времени буду тебя подкармливать. И вообще, заходи ко мне, а то я схожу с ума, разговаривая с этими глупыми бабами... Я хочу поговорить с тобой про Хевлока Эллиса. У меня лежит его книга уже три недели, а я даже не открывал ее. Тут действительно загниваешь. Поверишь ли, я никогда не был ни в Лувре, ни в «Комеди Франсез». Как ты думаешь, стоит идти в эти заведения? Может, это отвлечет меня... Чем ты занят целый день? Не скучно тебе? Что ты делаешь, когда тебе нужна женщина? Поди-ка сюда. Подожди, не убегай... Я так одинок. Знаешь, еще год такой жизни, и я сойду с ума. Я должен выбраться из этой е...ной страны. Здесь мне нечего делать... Я знаю, что в Америке сейчас дела хреновые, но все равно... Тут становишься мудоломом... Все эти засранцы, которые просиживают штаны и хвастаются своей работой, не стоят и плевка. Все они неудачники — потому и едут сюда. Послушай, Джо, неужели ты не тоскуешь по дому? Странный ты тип. По-моему, тебе здесь нравится. Что ты во всем этом находишь?.. Скажи мне. Я хотел бы перестать думать о себе... У меня внутри все скрутило, как будто там узел... Послушай, я знаю, что надоел тебе до чертиков, но ведь нужно же мне с кем-то поговорить. Я не могу говорить с этими типами наверху у нас... ты знаешь, что это за сволочи... у всех материалы подписные. А этот самовлюбленный мудила Карл... Да, я эгоист, но не самовлюбленный. Это разница. Я, наверное, неврастеник. Я не могу перестать думать о себе. И не то что я считаю себя таким уж значительным. Просто не могу думать ни о чем другом. Если б я влюбился, это бы мне, наверное, помогло. Но где найти женщину, которая бы меня заинтересовала? Так что дело дрянь, сам видишь. Что ты мне посоветуешь? Что бы ты сделал на моем месте? Ладно, не буду больше тебя задерживать, только разбуди меня завтра в половине второго, хорошо? А если почистишь мои ботинки, я тебе что-нибудь подброшу. Да, послушай: у тебя нет лишней чистой рубашки? Захвати ее с собой, ладно? Харкаешь кровью на этой х..овой работе, и даже на чистую рубашку не хватает. Они нас тут как негров на плантации... А... к черту! Пойду прогуляюсь... вытрясу дерьмо из нутра. Значит, не забудь — завтра!

Вот уже полгода, а может и больше, Карл переписывается с Ирен, с этой богатой курвой. С некоторых пор я стал заходить к Карлу каждый день, чтобы довести этот роман до логического завершения, потому что, если дать волю Ирен, он будет продолжаться бесконечно долго. В последние несколько дней какой-то поток писем хлынул и в ту и в другую сторону. В заключительном письме было почти сорок страниц, к тому же на трех языках. Это было настоящее попурри — отрывки из старых романов, выдержки из воскресных газет, переделанные старые письма Илоне и Тане, вольные переложения из Рабле и Петрония — короче говоря, мы работали в поте лица и совсем выдохлись. И вот наконец Ирен решила вылезти из своей раковины. Наконец пришло письмо, в котором она назначила Карлу свидание в своем отеле. Со страху Карл намочил штаны. Одно дело переписываться с женщиной, которую ты никогда не видел, и совершенно другое —

идти к ней на любовное свидание. В последний момент он до того разнервничался, что я думал, мне придется его заменить. Вылезая из такси перед отелем, он так дрожал, что я сначала должен был прогуляться с ним по кварталу. Он выпил два перно, но это не произвело на него ни малейшего действия. Один только вид отеля чуть не убил его. Отель, правда, был жутко претенциозный, из тех, где в огромном холле часами сидят англичане и пустыми глазами смотрят в пространство. Чтобы Карл не сбежал, я стоял рядом с ним, пока швейцар звонил по телефону, докладывая о его приходе. Ирен ждала его. У лифта Карл бросил на меня последний отчаянный взгляд, точно собака, на шею которой накинули веревку с камнем. Но я уже выходил через вращающиеся двери, думая о ван Нордене...

Я вернулся в гостиницу и стал ждать телефонного звонка. У Карла был всего час до начала работы, и он обещал позвонить мне и рассказать о результатах свидания. Я просмотрел копии наших писем, стараясь представить, что происходит в отеле, но у меня ничего не вышло. Письма Ирен были много лучше наших. Они были искренни, это несомненно. Карл и Ирен наверняка уже познакомились поближе. Или он все еще писает в штаны?

Звонит телефон. Голос в трубке какой-то странный, писклявый, одновременно испуганный и торжествующий. Карл просит меня заменить его в редакции. «Скажи этим сукиным детям что хочешь... Скажи, что я умираю...»

— Послушай, Карл... Можешь ты мне сказать...

— Алло? Это Генри Миллер?

Женский голос. Голос Ирен. Она здоровается со мной. По телефону ее голос звучит прелестно... просто прелестно. Меня охватывает паника. Я не знаю, что ей ответить. Я хотел бы сказать: «Послушайте, Ирен, вы прелесть... вы очаровательны». Я должен сказать ей хотя бы одно искреннее слово, как бы глупо оно ни звучало, потому что сейчас, когда я слышу наконец ее голос, все переменилось. Но пока я собирался с мыслями, трубку опять взял Карл и запищал:

— Ты нравишься ей, Джо... Я ей все про тебя рассказал...

В редакции я читаю корректуру с ван Норденом. Во время перерыва он отводит меня в сторону. Вид у него мрачный.

— Так он умирает, этот мудила? Послушай, что произошло на самом деле?

— Я думаю, он пошел к своей богатой курве,— говорю я спокойно.

— Что?! Неужели он пошел к ней? — ван Норден вне себя.— Послушай, где она живет? Как ее зовут?

Я делаю вид, что не знаю.

— Послушай,— умоляет он,— ты же свой парень. Ну, помоги мне пристроиться к этому корыту!

Чтобы успокоить его, я обещаю рассказать ему все, как только узнаю от Карла подробности. Впрочем, я и сам умираю от любопытства.

На следующий день в полдень я стучусь к Карлу. Он уже встал и намыливает подбородок. По выражению его лица я ничего не могу определить, не знаю даже, скажет ли он мне правду. Солнце льется через открытое окно, птицы щебечут, но почему-то — и я не могу понять почему — комната кажется мне еще более пустой и бедной, чем обычно. Пол забрызган мыльной пеной, на крючке висят два грязных полотенца, их никто никогда не меняет. Сам Карл тоже не переменился, и это удивляет меня больше всего. Сегодня мир должен был радикально измениться — в лучшую или худшую сторону, но непременно измениться. А между тем все как всегда, и Карл спокойно намыливает лицо.

— Садись... садись на кровать. Я тебе расскажу... только сначала подожди... подожди немножко...

Он снова намыливает лицо, потом точит бритву. Он возмущен, что опять нет горячей воды.

— Послушай, Карл... Я как на иголках. Ты можешь мучить меня сколько хочешь, но сейчас скажи мне одно — это было хорошо или плохо?

Он поворачивается ко мне с помазком в руке и странно улыбается.

— Погоди... скоро узнаешь...

— Значит, все провалилось.

— Нет...— говорит он, растягивая это «нет».— Ничего не провалилось, но ничего особенного и не вышло... Между прочим, что ты сказал в редакции? Как там обошлось?

Я вижу, что из него ничего не вытянешь. Он скажет что-нибудь только тогда, когда сам этого захочет, и ни минутой раньше. Я ложусь на кровать и молчу. Карл продолжает бриться.

Вдруг ни с того ни с сего он начинает говорить — сперва бессвязно, потом яснее, отчетливее и определеннее. Ему приходится делать над собой усилия, но он явно решился рассказать все; он говорит так, точно хочет облегчить совесть покаянием. Он даже вспоминает взгляд, который бросил на меня, садясь в лифт. Он задерживается на этом, как бы намекая, что это был решающий момент и что, если б можно было повторить все сначала, он не вылез бы из лифта.

Когда он вошел, Ирен была в халате. На комоде стояло ведерко с шампанским. В номере — полутьма и приятный звук ее голоса. Карл подробно рассказывает мне о номере, о шампанском, о том, как гарсон его открыл, как хлопнула пробка, как шуршал халат Ирен, когда она подошла к нему поздороваться,— словом, обо всем, кроме того, что меня интересует.

Он пришел к ней около восьми вечера. В половине девятого он начал волноваться, что опоздает на работу.

— Я тебе позвонил часов в девять, да?

— Да, примерно.

— Я здорово нервничал, понимаешь...

— Понимаю. Продолжай...

Я не знаю, верить Карлу или нет, особенно после всех этих писем, которые мы стряпали. Я даже не знаю, верить ли своим ушам, потому что он говорит совершенно невероятные вещи. Но все же, зная его, я думаю, что это правда. И потом я вспоминаю его голос по телефону, эту смесь испуга и торжества. Но почему же тогда нет торжества в его рассказе сейчас? Он улыбается все время, как маленький розовый клоп, который до отвала напился крови.

— Так я позвонил тебе в девять? — снова спрашивает он.

Я устало киваю головой. Да, в девять. Сейчас он уже уверен, что в девять, потому что он помнит, как вынул часы. Во всяком случае, когда он опять посмотрел на часы, было уже десять. В десять Ирен лежит на диване и держит в руках свои груди. Так он мне это рассказывает — в час по чайной ложке. В одиннадцать все было решено: они вместе бегут на Борнео. К чертовой матери мужа, она его никогда не любила. Она никогда не написала бы первого письма, если бы ее муж не был пороховницей без пороха.

— Вдруг она спрашивает меня,— говорит Карл,— «а ты уверен, дорогой, что я тебе не надоем?»

Я начинаю хохотать. Я не могу удержаться — все это звучит так глупо.

— Ну, и что ты сказал ей?

— А что я, по-твоему, должен был сказать? Я сказал: «Как вы можете кому-нибудь надоесть?»

И тут наконец Карл стал рассказывать мне со всеми подробностями, что произошло потом. Он наклонился и поцеловал ее груди, а пос-

ле этих страстных поцелуев он запихнул их обратно в корсаж или как это там называется. И потом — еще бокал шампанского.

Около полуночи приходит гарсон с пивом и бутербродами с икрой. Все это время Карлу, по его словам, до смерти хотелось писать. Один раз у него была эрекция. Но потом пропала. Мочевой пузырь мог лопнуть в любую минуту, но этот мудак Карл решил, что должен быть джентльменом.

В половине второго ночи Ирен хочет заказать экипаж и ехать кататься в Булонский лес. А у него в голове только одна мысль — как бы пописать. «Я люблю вас... обожаю,— говорит он.— Я поеду с вами хоть на край света — в Сингапур, в Стамбул, в Гонолулу, но... сейчас я должен бежать... уже поздно...»

Карл рассказывает мне все это в грязной маленькой комнатке, залитой солнцем. Птицы щебечут так, точно сошли с ума. Но я даже еще не знаю, красивая Ирен или нет. Он сам толком не знает, идиот, но ему кажется, что не очень. Было почти темно, он выпил много шампанского, и нервы у него уже никуда не годились.

— Но ты можешь что-то о ней сказать — или это все гнусная ложь?

— Постой...— говорит он.— Погоди... дай подумать. Нет, она не красивая. В этом я сейчас уверен. Я припоминаю... седой локон на лбу... Но это не беда, я почти забыл... А вот руки... такие худые... такие худые и тонкие...— Он начинает ходить взад и вперед по комнате и вдруг останавливается как вкопанный.— Если б только она была лет на десять моложе! — восклицает он.— Если б она была моложе лет на десять, я б наплевал и на седой локон и на тощие руки. Но она стара, понимаешь, стара. У такой бабы каждый год идет за десять. Через год она будет старше не на год, а на десять лет! Через два — на двадцать. А я еще буду молод по меньшей мере лет пять...

— Но чем же все кончилось? — перебиваю я его.

— В том-то и дело... ничего не кончилось. Я обещал зайти к ней во вторник, около пяти. Вот это уже будет по-настоящему плохо. У нее морщины, а они гораздо заметнее при солнечном свете. Наверное, она хочет, чтоб я употребил ее во вторник. Но пойми, употреблять такую бабу при дневном свете — это просто катастрофа. Особенно в таком отеле... Вечером в выходной еще куда ни шло... Но во вторник я работаю. И потом я обещал написать ей письмо до вторника... Как я могу теперь ей писать? Мне нечего сказать. Вот идиотское положение! Ах, если б она была ну хоть немного моложе... Как ты думаешь, ехать мне с ней... на Борнео или куда она там хочет меня везти? Но что я буду делать с этой богатой курвой на руках? Я не умею стрелять, я боюсь ружей и всяких таких вещей. Кроме того, она захочет, чтобы я наворачивал ее день и ночь... А все время охотиться и наворачивать я тоже не могу!

— Может, это будет не так уж плохо. Она купит тебе галстуки и прочее...

— Может, ты поедешь с нами, а? Я рассказал ей о тебе...

— Ты сказал, что я без гроша? Что у меня ничего нет?

— Я сказал ей все. Господи, все было бы хорошо, если б она хоть на несколько лет была моложе... Она сказала, что ей под сорок. Значит, пятьдесят или даже шестьдесят. Все равно что спать с собственной матерью... я не могу... это невозможно.

— Но ведь что-то в ней есть и привлекательное... ты вот говоришь, что целовал ее груди...

— Ну что ж тут особенного — целовать груди? Кроме того, было темно, я говорил тебе.

Карл начинает натягивать штаны, и от них отлетает пуговица.

— Ты видишь? Разваливается проклятый костюм. Я ношу его уже семь лет... и до сих пор не расплатился. Когда-то это был хороший костюм, а теперь тряпье. Конечно, она накупила бы мне и костюмов, и

всего, что я захочу. Но мне противно, когда женщина за меня платит. Я еще никогда в жизни до этого не опускался. Это по твоей части. Лучше я буду жить один. Черт побери, а ведь неплохая комната. Ну чем она плоха? Куда лучше, чем номер Ирен! И вообще мне не нравится ее замечательный отель. Я такие отели не люблю. Я ей сказал об этом. Она ответила, что ей все равно, где жить... что она переедет ко мне, если я захочу. Представляешь себе, как она вкатывается сюда со всеми своими сундуками, шляпными коробками и прочим дерьмом, которое она таскает за собой? У нее слишком много барахла — платьев, бутылочек, баночек, всякой дребедени. Ее номер — настоящая больница. Она поцарапает палец — уже трагедия. Потом ей нужен массаж, завивка, того ей есть нельзя, этого нельзя. Послушай, Джо, все было бы в порядке, будь она хоть немного моложе. Молодой женщине прощается все! И ума ей не надо. Но со старой шваброй, даже если она умница, даже если она самая обаятельная женщина в мире, ничто не помогает. Молодая баба — это клад. Старая — хомут на шее. Все, за что они годятся, это покупать тебе шмотки. Но это не прибавляет им ни мяса на костях, ни электричества между ног. Нет, она в сущности недурна, эта Ирен. Я даже думаю, что она тебе понравилась бы. Ты — совсем другое дело. Тебе не надо ее драть. Ты можешь быть с ней просто мил. Наверное, тебе тоже не понравятся все эти платья, бутылочки и так далее, но ты уж потерпи. Тебе она не надоест, я в этом уверен. Если хочешь знать, она даже интересная. Но она высохла. Грудь еще туда-сюда, но руки! Я обещал ей привести тебя как-нибудь. Я много говорил о тебе... я не знал, о чем с ней говорить. Может, она тебе понравится, особенно когда одета... я не знаю...

— Послушай, ты говоришь, она богата? В таком случае она мне уже нравится! Мне наплевать, сколько ей лет, лишь бы не оказалась ведьмой...

— Ведьмой? О чем ты говоришь? Это обаятельная женщина. Она хорошо говорит, да и выглядит тоже... если б не эти руки...

— Ну, если только руки, это пустяки. Я буду ее употреблять, если ты не хочешь. Скажи ей об этом. Но только не в лоб. С такой женщиной надо действовать осторожно. Приведи меня к ней, и пусть все идет своим чередом. Расхваливай меня до небес. Прикинься, что ты ревнуешь. Черт подери, может быть, мы будем ее драть вместе, на пару? И поедем вместе, и будем жить вместе... Будем раскатывать на автомобилях, охотиться и прилично одеваться. Если она хочет ехать на Борнео, пусть берет нас обоих. Я не умею стрелять, но это не имеет значения. Ей это и не нужно. Ей нужно одно — чтобы ее драли как следует. Ты беспрерывно говоришь о ее руках. Почему ты должен смотреть на них все время? Смотри на постельное покрывало... смотри на зеркало. Разве это жизнь? Ты хочешь быть деликатным и благородным, но жить, как вошь? Тебе нечем даже оплатить гостиничный счет... а ведь у тебя есть работа. Нет, это не жизнь. Плевать, пусть ей даже семьдесят — все равно лучше, чем такая жизнь...

— Послушай, Джо, займись ею сам... тогда все пойдет как по маслу... Может быть, я тоже употреблю ее... как-нибудь в выходной. Уже четвертый день не могу посрать нормально. Какие-то шишки в заднице, как виноградины...

— Это просто геморрой.

— У меня выпадают волосы... и мне надо к зубному. Я разваливаюсь на части... Я сказал ей, что ты хороший парень... Ну сделай это для меня, а? Тебе же все равно. Поедем вместе на Борнео, и у меня пройдет геморрой. Может быть, я подцеплю там что-нибудь похуже... лихорадку, например... или холеру. Черт подери, лучше умереть от хорошей болезни, чем медленно сдыхать в паршивой газетенке, с виноградником в жопе и с отлетающими от штанов пуговицами. Я бы хотел быть богатым, пускай всего неделю, а потом подцепить хорошую болезнь, может даже смертельную, и лежать в больнице, и что-

бы в палате стояли цветы, а вокруг порхали бы медицинские сестры, а почтальоны приносили бы телеграммы. Если ты богатый, за тобой настоящий уход. Тебя моют, вытирают, причесывают. Я все это знаю. А может, мне повезет, и я даже и не умру... Может, я просто останусь калекой на всю жизнь... Или меня разобьет паралич, и я буду сидеть в инвалидном кресле на колесиках. Но и тогда за мной будут ухаживать... даже если у меня не останется больше денег. Если ты настоящий инвалид, тебе не дадут умереть с голоду. У тебя чистая постель, и тебе меняют ежедневно полотенца... А так — всем начихать на тебя, особенно если у тебя есть работа. Им кажется, если у человека есть работа, он должен быть счастлив. На что ты скорее согласился бы — быть калекой или работать... или жениться на богатой старухе? Ты бы женился — по глазам вижу. Все, о чем ты думаешь,— это как бы пожрать. А если б ты женился, а у тебя бы перестал стоять член — такое ведь бывает. Что бы ты делал тогда? Ты был бы в ее власти. Ты ел бы из ее рук, как пудель. Как бы тебе это понравилось? Или ты не думаешь о таких вещах? Вот я думаю обо всем. О костюмах, которые я выбрал бы, и о том, куда бы я хотел поехать,— но я думаю и о другом. О самом важном. Зачем тебе шикарные галстуки и роскошные костюмы, если у тебя не стоит? Тебе не удалось бы даже обманывать ее — она бы ходила за тобой по пятам. Нет, самое лучшее — жениться на ней и сразу же подцепить какую-нибудь болезнь. Только не сифилис. Холеру, например, или желтую лихорадку. Такую, чтобы ты остался калекой на всю жизнь, если бы вдруг чудом выжил. Тогда тебе не надо было бы беспокоиться ни о том, чем ее драть, ни о том, чем платить за квартиру. Она, наверное, купила бы тебе шикарное кресло на колесах — с резиновыми шинами, разными рычагами и прочим. Может, руки у тебя будут работать настолько, что ты сможешь писать. А нет — заведешь секретаршу. Это то, что нужно — лучший выход из положения для писателя. Зачем вообще человеку руки и ноги? Писать можно и без них. На самом деле нужна лишь уверенность в будущем... покой... защищенность. Все эти герои, которых возят в инвалидных креслах на парадах... почему они не стали писателями! Если б я был уверен, что на войне мне оторвет только ноги... если б я был в этом уверен, тогда пусть война начинается хоть завтра. Мне наплевать на медали... их паршивые медали мне не нужны. Все, что мне нужно,— это хорошее кресло на колесах и еда три раза в день... Тогда я завалил бы этих идиотов чтивом.

На следующий день в половине второго я иду к ван Нордену. Это его выходной день, вернее, вечер. Он передал мне через Карла, что просит помочь ему переехать.

Ван Норден в ужасающем настроении. Он говорит, что не спал всю ночь. Что-то гложет его. О том, что́ его гложет, я скоро узнаю: он ждал меня с нетерпением, чтобы все выложить.

«Этот тип,— начинает он, подразумевая, конечно, Карла,— этот тип — настоящий художник. Он мне описал все в мельчайших подробностях... с такой точностью, что я знаю: каждое его слово — вранье... а забыть все-таки не могу. Ты знаешь, как у меня работает голова!»

Он прерывает себя и осведомляется, рассказал ли мне Карл всю историю. Ван Нордену и в голову не приходит, что Карл мог рассказать мне одно, а ему — другое. Он, кажется, решил, что эта история была сочинена с единственной целью — помучить его. То, что это плод фантазии, ван Нордена не волнует. Но «картинки» (так он их называет), которые застряли в его памяти после рассказа Карла, не дают ему покоя. Эти картинки реальны, даже если вся история выдумана. А кроме того, богатая курва действительно существует, и Карл действительно нанес ей визит — это неопровержимый факт. Что́ действительно было, не так уж существенно; ван Норден считает само собой

разумеющимся, что Карл хорошо ее отделал. Но мучительнее всего ему сознавать, что то, о чем рассказывал Карл, могло быть на самом деле.

«Вполне в его духе,— говорит ван Норден,— хвастаться, что он употребил ее шесть или семь раз. Я знаю, что он врет, но меня это не волнует. Но когда он рассказывает мне, как она наняла машину и повезла его в Булонский лес и как они закрыли ноги меховым пальто ее мужа,— это уже чересчур. Он, наверное, рассказывал тебе, как шофер почтительно ждал их... погоди, а как мотор тихо урчал все это время — тоже рассказывал? Черт подери, действительно здорово. Он умеет найти деталь... такая вот маленькая деталь и делает рассказ психологически достоверным... И ты не можешь выкинуть это из головы. Он рассказывает так просто, так правдиво... не знаю, придумал он все заранее или сочинял на ходу... Он такой ловкий и хитрый врун, что его невозможно не слушать... Это вроде тех писем — не писем, а просто горшков с цветами, которые он стряпает за одну ночь. Я не понимаю, как можно писать такие письма... и что у него за мозги... Похоже на онанизм, ты не находишь?»

Ван Норден не дает мне высказать свое мнение, он не дает мне даже просто расхохотаться ему в лицо, он продолжает:

«Подожди... наверное, он тебе рассказал все это... Говорил он тебе, как стоял на балконе при лунном свете и целовал ее? Это звучит пошло, когда я это повторяю, но он! Как он расписывал это! Вся картина у меня перед глазами. Этот мудак держит женщину в объятьях — и мысленно уже пишет ей новое цветистое письмо о залитых луной крышах и прочей ерунде, которую он ворует у своих французских писателей. Я проверил — этот тип ни разу не сказал ничего оригинального. Его можно поймать, если узнать, что он сейчас читает, но это трудно сделать, потому что он очень скрытный. Если бы я не знал, что ты был с ним в отеле, я вообще не поверил бы, что эта женщина существует. Такой тип может писать письма и себе самому. Но все же он счастливчик... он такой маленький, хрупкий и внешность такая романтичная, что женщины им увлекаются... иногда... может, из материнских чувств или просто жалеют его... А некоторые любят получать эти горшки с цветами, которые он так ловко стряпает... Это придает им значимости в собственных глазах... Но эта баба, ведь он говорит, что она не дура. Ты должен знать, ты ведь читал ее письма. Как ты думаешь, что́ такая женщина могла в нем найти? Я понимаю, можно увлечься его письмами... но как ты думаешь, что она должна была почувствовать, когда его увидела?

Впрочем, все это не столь важно. Главное — его манера рассказывать. Ты знаешь, как он говорит — точно вышивает шелком... После этой сцены на балконе, которую он преподнес мне на закуску, он рассказал, как они вернулись в номер и он расстегнул ей пижаму... Чего ты улыбаешься? Ты думаешь, он мне крутит яйца?»

«Нет, нет! Это — слово в слово то, что он рассказывал мне. Продолжай...»

«После этого,— тут уж ван Норден начинает улыбаться и сам,— после этого, по его словам, она села в кресло и задрала ноги... совершенно голая... а он сел на пол, и смотрел на нее, и говорил ей, как она хороша... он сказал тебе, что она точно сошла с картины Матисса? Погоди... Я хочу вспомнить точно, что он мне сказал. Он ввернул здесь остроумную фразу насчет одалиски... Кстати, что такое одалиска? Он цитировал по-французски, и эта е...ная фраза вылетела у меня из головы... но звучало здорово. Абсолютно в его стиле... и она, наверное, подумала, что он сам это сочинил. Может, она думает, что он поэт или что-нибудь в этом роде. Ладно, все это ерунда... я делаю скидку на его воображение. Но то, что он рассказал мне дальше,— это потрясающе... Я всю ночь вертелся, перебирая картинки, которые остались у меня в памяти. Не мог забыть. Все, что он говорит, звучит так прав-

диво... Если окажется, что он наврал, я задушу этого недоноска. Никто не имеет права выдумывать такие вещи. Или он просто больной...

О чем я говорил?.. Да, о том моменте, когда, по его словам, он стал перед ней на колени и двумя костлявыми пальцами раскрыл ей п..... Помнишь? Он говорит, что она сидела на ручке кресла и болтала ногами, и он ощутил прилив вдохновения. Это уже после того, как он поставил ей пару пистонов... после того, как он упомянул о Матиссе... Он становится на колени — ты послушай! — и двумя пальцами... причем только кончиками, заметь..., открывает лепестки... сквиш-сквиш!.. ты слышишь! Легкий влажный звук, еле слышный... Сквиш-сквиш! Господи, он звучал у меня в ушах всю ночь! А потом — точно мне еще было мало — он говорит, что зарылся головой у нее между ног. И когда он это сделал, будь я проклят, если она не закинула ноги ему на шею и не обняла его. Это добило меня окончательно! Представь только — умная, утонченная женщина закидывает ноги ему на шею. В этом есть что-то ядовитое. Это до того фантастично, что похоже на правду! Если б он рассказал только о шампанском, поездке по Булонскому лесу и даже о сцене на балконе — я бы еще мог думать, что он врет. Но это... это так невероятно, что уже не похоже на вранье. Я не верю, что он вычитал это где-нибудь, и не понимаю, как он мог придумать такое, если только он действительно это придумал. С таким маленьким говнюком все может случиться. Если даже она и не легла под него, она могла позволить ему сделать *это* — никогда не знаешь, что эти богатые курвы придумают...»

Когда ван Норден наконец вылезает из постели и начинает бриться, день уже подходит к концу. После долгих усилий мне удается повернуть его мысли в новое русло, заставить его сосредоточиться на переезде. Приходит горничная посмотреть, готов ли он — он должен был освободить номер к полудню. Ван Норден надевает штаны. Я несколько обескуражен тем, что он даже не извиняется перед горничной и не отворачивается. Видя, как он хладнокровно застегивает ширинку, я начинаю хихикать. «Не обращай на нее внимания.— Ван Норден бросает на горничную взгляд, полный презрения.— Она просто толстая корова. Ущипни ее за жопу, если хочешь. Она ничего не скажет». И, обращаясь к горничной по-английски, говорит: «Эй ты, сука. положи руку сюда!» Теперь уже я не могу сдержаться и разражаюсь громким смехом. Горничная тоже смеется, хотя не имеет ни малейшего представления, о чем идет речь. Она начинает снимать фотографии со стен — большей частью это изображения самого ван Нордена. «Эй, ты! — обращается он к ней, тыча пальцем.— Эй, иди сюда... на, это тебе на память! — Он сдирает одну из фотографий со стены.— Можешь подтереться ею, когда я уеду.— Потом он поворачивается ко мне: — Видишь? Она идиотка. Даже если бы я сказал это по-французски, она бы все равно ничего не поняла». Горничная стоит посреди комнаты с открытым ртом, она уверена, что ван Норден сумасшедший. «Эй! — орет он ей, точно она глухая.— Эй, ты! Да, ты! Вот так! — Он хватает свою фотографию и проводит ею по заднице.— Comme ça! Поняла? Черт ее подери, ей надо рисовать картинки, чтоб до нее что-нибудь дошло...» — добавляет он, выпячивая нижнюю губу.

Он беспомощно смотрит, как горничная бросает в открытый чемодан его вещи. «Эй, положи это тоже»,— говорит он, суя ей в руки зубную щетку и спринцовку. Половина его вещей валяется на полу. Чемодан уже наполнен, и картины, книги, полупустые бутылки складывать некуда. «Присядь на минуту,— говорит он мне.— У нас масса времени... Нам надо подумать обо всем этом... Если бы ты не пришел, я бы никогда отсюда не выбрался... Ты видишь, какой я беспомощный? Напомни мне забрать лампочки... они мои. Ведерко для мусора тоже мое. Они хотят, чтобы ты жил, как свинья, сволочи проклятые...» Горничная ушла за веревкой. «Ты увидишь, она включит в счет и веревку, даже если цена ей грош. Они здесь не пришьют тебе пуговицу...

...танам бесплатно... грязные, паршивые свиньи...» Ван Норден берет с камина бутылку кальвадоса и кивает мне, чтобы я взял другую. «Не стоит перевозить это дерьмо... прикончим его тут. Только не предлагай ей... Паршивая стерва! Я не оставлю ей даже клочка туалетной бумаги. Мне хочется испоганить эту комнату окончательно перед тем, как я уеду... Послушай... если хочешь, помочись на пол... Я бы налил в ящик шкафа, если б мог...» Злость ван Нордена на себя и на весь мир так велика, что он не знает, как ее выразить. Подойдя с бутылкой к кровати, он поднимает одеяло и простыни и льет вино на матрас. Не удовлетворившись этим, начинает ходить по нему в ботинках. К сожалению, на них нет грязи. Тогда ван Норден берет простыню и вытирает ею ботинки. «Пусть у них будет занятие»,— бормочет он с ненавистью. Набрав в рот вина, он закидывает голову и с громким бульканьем полощет горло, а потом выплевывает его на зеркало. «Вот вам, сволочи... Подотрите это после меня!» Он ходит по комнате что-то злобно бормоча себе под нос. Увидев дырявые носки на полу, он поднимает их и раздирает в клочья. Картины тоже приводят его в ярость. Он поднимает одну — это его собственный портрет, нарисованный его приятельницей-лесбиянкой, и ударом ноги рвет. «Проклятая сука... Ты знаешь, у нее хватило нахальства просить меня передавать ей моих б..... после того, как я их уже использовал... Она не заплатила мне ни франка за то, что я написал о ней в газете... Она думает, что я действительно восхищаюсь ее художествами. Мне никогда бы не видать этого портрета, если бы я не подкинул ей ту б.... из Миннесоты... Она сходила с ума по ней... Преследовала нас, точно сука во время течки... мы не знали, как отделаться от этой стервы! Портила мне жизнь как могла... Дошло до того, что я боялся привести к себе бабу, потому что в любой момент она могла сюда заявиться... Я прокрадывался к себе домой, точно вор, и, едва переступив порог, запирался. Она и эта шлюха из Джорджии сводят меня с ума. У одной всегда течка, другая всегда голодная. Ненавижу я это... спать с голодной женщиной — все равно что заталкивать себе обед в рот и тут же вытаскивать его с другого конца... Да, кстати, вспомнил... куда я положил банку с синей мазью? Это очень важно. У тебя когда-нибудь было такое? Это хуже триппера. И я даже не знаю, где подцепил... У меня здесь перебывало столько женщин за последнюю неделю, что я потерял счет. Очень странно... Они все казались такими чистыми. Но ты знаешь, как это бывает...»

Все его вещи горничная свалила на тротуар. Хозяин гостиницы с кислой миной наблюдал за процедурой. В такси нам едва хватило места для этого барахла. Как только мы трогаемся, ван Норден вынимает газету и начинает заворачивать в нее свои кастрюли и сковородки — на новом месте запрещено готовить в комнатах. Когда мы наконец подъехали к гостинице, весь его багаж развязался и лежал в полном беспорядке. Это было бы еще ничего, если б хозяйка гостиницы не высунулась из окна посмотреть, кто приехал. «Боже мой! — ахнула она.— Что все это значит?» Растерянный и испуганный ван Норден только и мог промямлить: «Это я, мадам! — И тут же, повернувшись ко мне, с ненавистью прошептал: — Видал эту сволочь? Заметил, какое у нее лицо? Ох, хлебну я с ней горя!»

Гостиница размещается в конце мрачного пассажа и своей прямоугольной планировкой напоминает новые тюрьмы. Холл — большой, но темный, несмотря на то что свет ярко отражается в кафеле. В окнах клетки с канарейками, а на стенах металлические таблички с вежливыми надписями, просящими «уважаемых клиентов» не делать этого и не делать того. Везде идеальная чистота, но и не менее идеальная бедность, убожество и скудость. Вытертые мягкие кресла, стоящие в холле, скреплены проволокой, что придает им неприятное сходство с электрическим стулом. Номер, предназначенный ван Нордену, находится на пятом этаже. Пока мы карабкаемся по лестнице, он гово-

рит мне, что здесь когда-то жил Мопассан. И тут же прибавляет, что в коридорах — странный запах. На пятом этаже в нескольких окнах выбиты стекла. Мы останавливаемся, чтобы посмотреть на жильцов во дворе. Сейчас обеденное время, и обитатели дома поднимаются к себе с тем усталым и безнадежным видом, который обычно отличает людей, зарабатывающих свой хлеб честным трудом. Почти все окна открыты, и убогие комнаты похожи на зевающие рты. Жильцы в комнатах тоже зевают или чешутся. Они двигаются медленно и, по-видимому, без всякой цели; со стороны их можно принять за помешанных.

Не успеваем мы завернуть к номеру 57, как внезапно распахивается дверь и прямо перед нами оказывается старая ведьма со спутанными волосами и глазами маньячки. От неожиданности мы застываем как вкопанные. За старой ведьмой я вижу кухонный стол, на котором лежит ребенок, совершенно голый и до того маленький и хилый, что напоминает ощипанного цыпленка. Старуха поднимает помойное ведро и идет по направлению к нам. Дверь ее номера захлопывается; слышен пронзительный детский визг. Это — номер 56. Между ним и пятьдесят седьмым — уборная, где старуха и опорожняет свое помойное ведро.

После того как мы добрались до пятого этажа, ван Норден не произнес ни слова. Но выражение его лица говорит больше слов. Когда мы открываем дверь номера 57, мне вдруг кажется, что я сошел с ума. Огромное зеркало, завешенное зеленым газом, висит возле входа под углом в сорок пять градусов над детской коляской со старыми книгами. Ван Норден даже не улыбается — как ни в чем не бывало он подходит к коляске, берет одну из книг и начинает ее листать с рассеянным видом человека, зашедшего в публичную библиотеку. Возможно, это и не произвело бы на меня такого странного впечатления, если б на глаза мне не попались два велосипедных руля, лежащих в углу. Они лежат так мирно и покойно, точно были здесь всегда, и внезапно мне начинает казаться, что и мы здесь уже давно и что все это — сон, в котором мы застыли; сон, который может прервать любая мелочь, даже простое движение век. Но еще более поразительно, что это напоминает мне настоящий сон, виденный всего несколько дней назад. Тогда я видел ван Нордена точно в таком же углу, как сейчас, но вместо велосипедных рулей там была женщина, она сидела, подтянув колени к подбородку. Ван Норден стоял перед ней с напряженным выражением лица, появляющимся у него всегда, когда он чего-нибудь очень хочет. Место действия я вижу точно в тумане, но угол и скрюченную фигуру женщины помню ясно. Во сне я видел, как ван Норден быстро подступал к ней, словно хищное животное, которое не думает о последствиях и для которого важно только одно — немедленно достичь цели. На лице его было написано: «Ты можешь потом убить меня, но сейчас... сейчас я должен воткнуть его в тебя... должен... должен!» Он наклонился над ней, и их головы ударились об стену. Но у него была такая чудовищная эрекция, что близость оказалась невозможной. Тогда с выражением отчаяния, которое так часто появляется на его лице, он встает и застегивает ширинку. Он уже готов уйти, но в этот момент видит, что его пенис лежит на тротуаре. Размерами он с палку от метлы. Ван Норден равнодушно поднимает его и сует под мышку. И тут я замечаю, что на конце этой палки болтаются две огромные луковицы, похожие на тюльпанные, и слышу бормотание ван Нордена: «Горшки с цветами... горшки с цветами...»

Потный и задыхающийся, в комнату входит гарсон. Ван Норден смотрит на него пустыми глазами. За гарсоном появляется и хозяйка. Она подходит к ван Нордену, берет из его рук книгу, бросает ее в детскую коляску и, не говоря ни слова, выкатывает коляску в коридор.

«Это сумасшедший дом...» — говорит ван Норден, страдальчески улыбаясь. У него такая странная, неописуемая улыбка, что сон на миг возвращается; мне кажется, что мы стоим в конце длинного коридора,

...де висит волнистое зеркало. По коридору, неся свое страдание, как ...ающийся фонарь, идет, спотыкаясь, ван Норден. То и дело он ис...езает в комнатах, двери которых непонятным образом открываются ...з них высовываются руки, втягивающие его внутрь. Но через се...куду удар конского копыта выбрасывает ван Нордена вон. И чем ...льше он идет, тем больше его страдание, напоминающее фонарь, ко...рый велосипедисты держат в зубах, катя по мокрой и скользкой мо...товой. Ван Норден мотается из комнаты в комнату, и когда он нако...ец садится, стул под ним проваливается. Он открывает чемодан, но ...м пусто, ничего, кроме зубной щетки. В каждой комнате — зеркало, ...ред которым он останавливается, скрежеща зубами от злобы. От это...о скрежета и злобного бормотания у него сворачивается челюсть, она ...е висит, и когда он касается ее рукой, она отваливается. В ярости ...н Норден прыгает на свою собственную челюсть и начинает крушить ...каблуками.

Между тем гарсон вносит его вещи, и происходящее принимает ...е более ненормальный вид, особенно когда ван Норден, прицепив ...спинке кровати пружину, начинает делать упражнения по системе ...эндоу. «Мне здесь нравится»,— говорит он, улыбаясь гарсону. Он ...нимает пиджак и жилет. Гарсон, у которого в одной руке чемодан, а ...другой — спринцовка, смотрит на него недоумевающе. Я стою в сто...оне, в маленькой прихожей, держа зеркало под зеленым газом. Ни...то в комнате не имеет ни малейшего практического смысла. Сама ...ихожая тоже — зачем прихожая перед сараем? У меня возникает ...вство, которое я испытываю, входя в «Комеди Франсез» или «Пале ...ояль»: это мир бутафории, дверей-ловушек, оружия, бюстов и наво...ненных полов, канделябров и рыцарей в доспехах, статуй без глаз и ...бовных писем в стеклянных ларцах. Все это кому-то нужно, но все ...то не имеет никакого смысла, так же как не имело смысла допивать ...тылку кальвадоса только для того, чтобы ее не перевозить.

Как я уже говорил, ван Норден, поднимаясь по лестнице, упомя...ул о том, что в этой гостинице когда-то жил Мопассан. Это, очевид...о произвело на него сильное впечатление. Ему хочется верить, что ...то та самая комната, где родились странные фантазии Мопассана, ко...орые так упрочили его славу. «Они жили, как свиньи, эти жалкие ...олочи»,— говорит он. Мы оба сидим около круглого стола в двух ...добных старых креслах, подвязанных веревками и проволокой; ря...ом — кровать, так близко, что можно положить на нее ноги. Комод ...ит позади нас, до него тоже можно дотронуться. Ван Норден выва...л грязное белье прямо на стол; мы сидим, положив ноги на его ста...ые носки и грязные рубашки, и мирно покуриваем. Это убожество, ...о-видимому, пришлось ван Нордену по душе, во всяком случае вид ...него вполне довольный. Когда я встаю, чтобы зажечь свет, он пред...агает сыграть в карты, а потом пойти пообедать. Мы садимся возле ...ана, среди разбросанного грязного белья, и играем несколько партий ...безик под свисающей с канделябра пружиной для упражнений по ...истеме Сэндоу. Ван Норден спрятал свою трубку и набил рот жева...ельным табаком. Время от времени он сплевывает коричневую жижу ...окно; она шлепается о тротуар с громким хлюпаньем. Видимо, он ...йствительно доволен.

«В Америке,— говорит он,— и во сне не приснится жить в таком ...зарнике. Даже когда я бродяжничал, и то у меня ночлег был луч...е. Но здесь это кажется нормальным, точно ты об этом просто про...л в книге. Если мне суждено когда-нибудь вернуться домой, я за...ду это как дурной сон. Я, вероятно, начну жизнь сначала, с того мо...ента, как я уехал... если, конечно, мне суждено вернуться... Иногда, ...жа в постели, я думаю о своем прошлом и вижу его так реально, ...то мне нужно ущипнуть себя, чтобы вспомнить, где я. Особенно ког...а рядом женщина. Знаешь, с женщинами я легко забываюсь. Это, ...бственно, все, чего я хочу от них — чтоб помогли мне забыться.

Иногда я так ухожу в себя, что не могу даже вспомнить — как бабу зовут и где я ее подцепил. Смешно, правда? Хорошо, проснувшись утром, почувствовать рядом с собой свежее теплое тело, тогда и сам чувствуешь себя чистым. Это возвышает... пока они не заводят свою обычную песню насчет любви и так далее... Ты можешь мне сказать, почему бабы столько говорят о любви? Что ты хороший е..рь, им недостаточно, они непременно хотят еще и твою душу...»

Слово «душа» часто всплывало в рассуждениях ван Нордена. Сначала оно меня смешило, потом доводило чуть не до истерики; в его устах это слово звучало на редкость фальшиво, особенно потому, что обыкновенно он сопровождал его жирным коричневым плевком, оставлявшим след в углу рта. Я никогда не стеснялся смеяться ему в лицо, и у него даже выработалась привычка делать паузу после этого слова, чтобы я отхохотался, и только потом как ни в чем не бывало продолжать свой монолог, повторяя это слово все чаще и нежнее. Он старался убедить меня, что все женщины хотят добраться до его души. Он объяснял мне это много раз, снова и снова возвращаясь к этой теме, как параноик — к своей навязчивой идее. Я совершенно уверен, что ван Норден слегка помешан. Больше всего на свете он боится оставаться один. Это глубокий и постоянно преследующий его страх, настолько глубокий, что даже в минуту соединения с женщиной он не может сбежать из этой тюрьмы, в которую сам себя заточил.

— Я пробую самые разные способы,— объясняет он мне.— Я даже иногда считаю в уме или думаю на философские темы, но ничто не помогает. Как будто я — это два человека и один все время наблюдает за тем, что делает другой. Я так злюсь на самого себя, что готов себя убить... собственно, именно это и происходит всякий раз, когда у меня оргазм. На какой-то миг я словно исчезаю вообще... От моих обеих личностей ничего не остается... все исчезает... даже п..... Это вроде причащения. Честное слово. Несколько секунд я чувствую духовное просветление... и мне кажется, что оно будет продолжаться вечно — как знать? Но потом я вижу женщину и спринцовку и слышу, как льется вода... эти маленькие детали... и опять становлюсь таким же потерянным и одиноким... И вот за единственный миг свободы приходится выслушивать всю эту чушь о любви... Иногда я просто стервенею... мне хочется выкинуть их вон немедленно... бывает, я так и делаю. Но это их ничему не учит. Им это даже нравится. Чем меньше ты их замечаешь, тем больше они за тобой гоняются. В женщинах есть что-то извращенное... они все мазохистки в душе.

— Что же тогда тебе надо от женщины? — спрашиваю я.

Он разводит руками — это его обычный жест. Нижняя губа отвисает, и весь его вид демонстрирует полную растерянность. Когда наконец он выжимает из себя несколько бессвязных фраз, то говорит их с видом человека, глубоко убежденного, что его слова бесполезны.

— Мне хочется отдаться женщине целиком...— старается он объяснить.— Мне хочется, чтобы она отняла меня у самого себя... Но для этого она должна быть лучше, чем я; иметь голову, а не только п..... Она должна заставить меня поверить, что она нужна мне, что я не могу жить без нее. Найди мне такую бабу, а? Если найдешь, я отдам тебе свою работу. Тогда мне не нужна ни работа, ни друзья, ни книги, ничего. Если она только сумеет убедить меня, что в мире есть что-то более важное, чем я сам. Господи, как я ненавижу себя! Но этих сволочных баб я ненавижу еще больше, потому что ни одна из них не стоит и плевка.

Ты думаешь, что я влюблен в себя,— продолжает он.— Это только показывает, как мало ты меня знаешь... Конечно, я знаю, что я человек необыкновенный... Иначе у меня не было бы всех этих переживаний. Но я никак не могу самовыразиться, и это меня просто убивает. Люди думают, что я просто машина для е.... Что ж, это только говорит о том, как мелко они плавают, эти интеллектуальные сволочи, сидя-

щие на террасах кафе и пережевывающие свою психологическую жвачку... Неплохо сказано, а? Психологическая жвачка. Запиши-ка для меня. Я использую это в своем фельетоне на следующей неделе... кстати, ты читал когда-нибудь Штекеля? Ты думаешь, в нем что-то есть? По-моему, это просто история болезни его пациентов... Господи, как мне хотелось бы набраться храбрости и пойти к психоаналитику... настоящему, конечно. Я не хочу иметь дело с этими маленькими жуликами с эспаньолками и в сюртуках вроде твоего Бориса. Как ты можешь переносить их? Неужели они не изводят тебя? Нет, ты ведь говоришь со всеми, я замечаю. Тебе наплевать. Может быть, ты и прав. Может быть, я просто критикан. Но все эти грязные еврейчики, которые болтаются вокруг кафе «Дом»,— меня от них тошнит. Они повторяют прописи. А знаешь, если бы я мог говорить с тобой каждый день, может, я и выгрузил бы все, что во мне накопилось. Ты умеешь слушать. Я знаю, что тебе на меня наплевать, но у тебя есть терпение. И у тебя нет своих теорий, чтобы засорять мне мозги. Я знаю, что ты все эти разговоры записываешь. Мне, в общем, все равно, что ты обо мне напишешь, но не выставляй меня просто охотником за б..... Это слишком примитивно. Когда-нибудь я напишу о себе книгу, в которой будут собраны все мои мысли. Нет, не просто самовосхваление... Я разложу себя на операционном столе и выверну наружу все свои потроха — до последней кишочки. Делал это кто-нибудь когда-нибудь? Ну, чего ты улыбаешься? Наивно звучит?

Я всегда улыбаюсь, когда мы касаемся в разговоре его будущей книги. Это совершенно фантастическая затея. Стоит ему сказать «моя книга», как мир теряет объемность, сжимаясь до ван Нордена и К°. Его книга должна быть совершенно и абсолютно оригинальной. Вот почему он не может ее даже начать. Едва у него появляется идея, он начинает сомневаться в ней. Он вспоминает, что Достоевский, или Гамсун, или еще кто-то ее уже использовали. «Я не говорю, что я хочу быть лучше их, но я хочу быть самобытным»,— объясняет ван Норден. И вместо того, чтобы писать свою книгу, он читает все новинки; таким образом он может быть уверен, что не собирается воспользоваться чужими идеями. Но чем больше книг он читает, тем больше презирает их авторов. Ни один из них не удовлетворяет его требованиям, ни один не приблизился к тем вершинам совершенства, которых он собирается достичь. Забывая, что он не написал даже одной главы, ван Норден говорит о них с пренебрежением и снисходительностью, точно в библиотеках целые полки заняты его книгами, которые знает весь мир и которые поэтому нет надобности называть. И хотя ван Норден никогда и никого не обманывает сознательно, у случайных слушателей его философски-критических рассуждений и жалоб на жизнь возникает твердая уверенность, что за этими небрежными замечаниями стоит солидный список достижений. Это касается, конечно, дурочек, которых он заманивает к себе якобы для того, чтобы прочесть им свои стихи или еще лучше — услышать их мнение и совет. Без зазрения совести он дает им грязный клочок бумаги с несколькими строчками, «идею новой поэмы», как он это называет, и со всей серьезностью требует от них честно сказать свое мнение. Но у них не может быть никакого мнения об этих бессмысленных строчках, и потому он начинает излагать им экстравагантные взгляды на искусство, которые сочиняет тут же на ходу и которые целиком зависят от сложившихся обстоятельств. В этом он достиг такой виртуозности, что переход от «Cantos», Эзры Паунда к постели происходит так же просто и естественно, как модуляция из одной тональности в другую. В противном случае возникает диссонанс. Такое бывает иногда, но, конечно, при своем характере он не любит говорить об этих осечках. Зато если уж говорит, то становится преувеличенно откровенным, как бы получая какое-то извращенное удовольствие от описания своих неудач. Есть, например, одна женщина, которую он пытается уложить

в постель вот уже почти десять лет — сперва в Америке, а потом тут, в Париже. Это единственная женщина, с которой у него самые сердечные взаимоотношения. Они не только любят, но и понимают друг друга. Вначале я думал, что, если бы он мог достичь своей цели, его проблема была бы разрешена. У них имелось все необходимое для успешного союза, за исключением самого главного. Бесси в своем роде почти такой же необычный человек, как он. Отдаться мужчине для нее все равно, что съесть сладкое после обеда. Обычно, выбрав объект, она сама делает предложение. Она не дурнушка, но и не особенно привлекательна. У нее хорошее тело, что, конечно, главное, и она, как говорится, его любит.

Они с ван Норденом были так дружны, что иногда ван Норден, чтобы удовлетворить ее любопытство (и в тщетной надежде возбудить ее), позволял ей прятаться в шкафу во время своих любовных сеансов. Когда ван Норден оставался один, Бесси вылезала из своего укрытия и они обсуждали все самым подробным образом, обращая особенное внимание на «технику». Это был их конек, во всяком случае «техника» постоянно фигурировала в разговорах, которые они вели в моем присутствии. «Что неправильно в моей технике, по-твоему?» — спрашивал он. И Бесси отвечала: «Ты слишком примитивен. Если ты собираешься меня употребить, тебе надо стать изощреннее».

Как я уже сказал, между ними было поразительное взаимопонимание, и часто я, придя в половине второго к ван Нордену, заставал у него Бесси. Обычно она сидела на кровати, одеяло было откинуто, и ван Норден уговаривал ее погладить ему пенис: «Ну, пожалуйста, всего несколько легких прикосновений... это придаст мне храбрости, чтоб вылезти из постели». В другой раз он просил Бесси подуть на свой пенис, но, получив отказ, быстрым движением хватал его и тряс, как обеденный колокольчик; при этом оба умирали со смеху. «Я никогда не справлюсь с этой стервой...— говорил он.— Она не уважает меня. И все почему? Потому что я открыл ей свою душу». И тут же, обращаясь к Бесси, спрашивал: «Как тебе понравилась вчерашняя блондинка?» Бесси подтрунивала над ним, говоря, что у него нет вкуса. «Что ты несешь! — отмахивался он и добавлял, вероятно, в тысячный раз, потому что это стало звучать как старая шутка: — Послушай, Бесси, как бы перепихнуться чем Бог послал? Хоть бы наскоро, а? — В ответ она смеялась, а он продолжал тем же тоном, указывая на меня: — А как насчет него? Почему ты не даешь ему?»

Все дело было в том, что Бесси не хотела или не могла относиться к этому занятию холодно. Она говорила о «страсти», как будто это было новое слово, которое она сама изобрела. При этом она действительно ко всему относилась со страстью, даже к такому малозначащему для нее явлению, как секс. Она должна была вложить в него душу.

— Я тоже иногда бываю страстным...— говорил ван Норден.

— Ты?! Не валяй дурака. Ты просто потрепанный сатир. Ты даже не знаешь, что такое страсть. Эрекцию ты принимаешь за страсть.

— Хорошо, допустим, эрекция не страсть... Но нельзя быть страстным без эрекции. Это-то ведь факт.

По дороге в ресторан я думаю о Бесси и о других женщинах, которых ван Норден каждый день таскает к себе. Я уже так привык к его монологам, что научился не прерывать ход собственных мыслей, слушая его и только время от времени, когда его голос затихает, подавая автоматически реплики. Собственно, мы представляем собой хорошо слаженный дуэт, и, как во всех дуэтах, один из музыкантов лишь внимательно ждет сигнала, чтобы вступить. Сегодня у ван Нордена свободный вечер, я обещал составить ему компанию и заранее приготовился к его монологам. Я знаю, что к концу вечера буду чувствовать себя как выжатый лимон; но если мне посчастливится, если я смогу вытрясти из него несколько франков, то сбегу, как только он уйдет

в туалет. Но ему хорошо известны мои намерения, и вместо того, чтобы обидеться, он просто держит меня на привязи, зажимая свои гроши. Если я прошу у него деньги на сигареты, он идет покупать их вместе со мной. Он не может оставаться один ни минуты. Даже когда ему удается подцепить женщину, он приходит в ужас от мысли, что останется с ней один. Если бы это было возможно, он бы заставлял меня сидеть в своей комнате, пока они занимаются любовью. В сущности, точно так же он просит меня посидеть с ним, пока он бреется.

На свой свободный вечер ван Норден обыкновенно наскребает франков пятьдесят. Это, однако, вовсе не значит, что он не будет пытаться занять деньги, если найдет подходящую жертву. «Ради Бога, выручите меня, мне до зарезу нужны двадцать франков»,— говорит он. При этом его лицо выражает последнюю степень отчаяния. Если он сталкивается с отказом, то наглеет. «Ну тогда заплатите хоть за выпивку!» Выпив, он смягчается: «Ну хорошо, дайте мне хотя бы пять франков... ну, два...» Вот так мы и таскаемся из бара в бар, собирая новости и перехватывая по пути несколько франков.

В кафе «Куполь» мы встречаем пьяницу-газетчика — одного из сотрудников с верхнего этажа. Он рассказывает нам, что в редакции только что произошел несчастный случай. Корректор свалился в шахту лифта и вряд ли выживет.

Сначала ван Норден потрясен, но, узнав, что это Пековер, англичанин, он успокаивается. «Несчастный идиот,— говорит он.— Такому лучше умереть, чем жить. Между прочим, он только что сделал себе искусственную челюсть...»

Упоминание о вставных зубах доводит газетчика до слез. Всхлипывая, он рассказывает, что Пековер, у которого после удара о дно шахты были сломаны обе ноги и все ребра, каким-то образом встал на карачки и начал искать свою челюсть. В машине «скорой помощи» он бредил о потерянных зубах. Это было трагично и в то же время смешно, и журналист с верхнего этажа сам то плакал, то смеялся. Для нас же наступил ответственный момент, потому что такой пьяница за одно неудачное слово может хрястнуть бутылкой по голове. Но этот тип никогда не питал дружеских чувств к Пековеру и даже редко заходил в корректорскую: между редакционным и техническим отделами была невидимая стена. Но сейчас, когда запахло смертью, он хотел продемонстрировать свое сочувствие и для большей убедительности был даже готов поплакать. Мне и Джо, однако, быстро надоела эта пьяная сентиментальность — мы хорошо знали Пековера, и, по нашему мнению, он не стоил и плевка, не то что слез. Мы бы сказали все это журналисту с верхнего этажа, но с таким типом нельзя быть откровенным. Придется покупать венок, тащиться на похороны и строить постную мину. Да еще придется расхваливать его прочувствованный некролог. Он будет целый месяц таскать этот некролог по всем барам, хвастаясь тем, как он замечательно справился со своей задачей. Мы с Джо понимаем это без слов. Мы просто стоим и слушаем в презрительном молчании. При первой же возможности мы сматываемся, а он остается у стойки бара и что-то бормочет в рюмку с перно.

Убедившись, что он нас не видит, мы начинаем истерически хохотать. Вставные зубы! Что бы мы ни говорили про несчастного Пековера — а кое-что было для него достаточно лестно,— мы все время возвращаемся к вставным зубам. Есть в этом мире люди до того нелепые, что даже смерть делает их смешными. И чем ужасней эта смерть, тем смешнее она выглядит и тем смешнее рассказ о ней. Только врун или лицемер найдет что-нибудь трагичное в смерти этих людей. Но нам не надо было прикидываться, и мы нахохотались досыта. Мы смеялись всю ночь и в промежутках между приступами смеха перемывали косточки этим тупицам с верхнего этажа, которые сейчас, скорее всего, стараются убедить себя, что Пековер был славным малым и

что его смерть — настоящая катастрофа. Мы вспоминали всякие смешные истории о том, как он пропускал точки с запятыми, а его честили последними словами. Из-за этих точек с запятыми и дробей, которые он все время путал, его и без того жалкая жизнь превращалась в сплошной кошмар. Однажды его даже чуть не выгнали с работы за то, что от него несло перегаром. Вся редакция презирала его за жалкий вид, за экзему, за перхоть в волосах. Для них он был абсолютным ничтожеством, но теперь, когда он умер, они сложатся и купят ему огромный венок и пропечатают его имя жирным шрифтом в колонке некрологов. Они сделают все что угодно, чтобы придать себе веса, а Пековера представить важной птицей. Это будет нелегко, ведь Пековер действительно был круглым нулем, и тот факт, что он умер, не делает его единицей.

«Во всем этом есть только один плюс,— говорит Джо.— Ты, может быть, получишь его место. И если тебе повезет, ты тоже свалишься в шахту и сломаешь себе шею. Обещаю, мы купим тебе великолепный венок».

Незадолго до рассвета мы сидели на террасе кафе «Дом». Проведя пару приятных часов в «Баль негр», мы уже давно забыли о Пековере, и мысли Джо снова вернулись к его излюбленному предмету — к бабам. Обычно в это время, когда ночь почти на исходе, постепенно возрастающее возбуждение ван Нордена достигает апогея. Он думает о женщинах, которых упустил в течение вечера, и о тех «постоянных», которым только свистнуть, но ими он уже сыт по горло. Он опять вспоминает свою «шлюху из Джорджии», которая последнее время не дает ему покоя и просит, чтобы он разрешил ей пожить у него в номере — хотя бы до тех пор, пока она не найдет себе работу. «Я ничего не имею против того, чтоб иногда ее подкормить,— говорит он.— Но взять ее на постоянное жительство я не могу... как же тогда я буду приводить других баб?» Что его особенно расстраивает, так это ее худоба. «С ней спать — все равно что со скелетом,— говорит он.— Дня два назад я взял ее к себе — из жалости,— и что, ты думаешь, эта ненормальная сделала? Она побрилась, ты понимаешь... ни волоска между ногами. У тебя когда-нибудь была женщина с бритой п.....? Это безобразно. Ты не согласен? К тому же смешно. Да и дико. Это уже не п...., а ракушка какая-то». Его любопытство было настолько велико, рассказывает ван Норден, что он не поленился и вылез из постели, чтобы найти электрический фонарик. «Я заставил ее раскрыть эту штуку и направил туда луч. Тебе надо было меня видеть... прекомичная была сценка. Я до того увлекся, что даже забыл про бабу. Никогда в жизни я не рассматривал п.... так внимательно. Можно было подумать, что я никогда ее раньше не видел. И чем больше я смотрел, тем менее интересной она мне казалась. Просто видишь, что ничего в ней нет интересного, особенно когда все кругом выбрито. Так хоть какая-то загадочность. Потому-то статуи и оставляют тебя холодными. Только один раз я видел статую с настоящей п..... У Родена. Посмотри как-нибудь... такая, с широко расставленными ногами. Я даже не помню, была ли у нее голова. Только п.... Ужасное зрелище! Дело в том, что все они одинаковы. Когда видишь их в одежде, чего только не воображаешь; наделяешь их индивидуальностью, которой у них, конечно же, нет. Только щель между ногами, но ты заводишься от нее, хотя на самом деле и не очень-то на нее смотришь. Ты просто знаешь, что она там, и только и думаешь, как закинуть туда палку; собственно, это даже и не ты думаешь, а твой пенис. Но все это иллюзия. Ты загораешься от ничего... от щели, с волосами или без волос. Она настолько бессмысленна, что я смотрел как завороженный. Я изучал ее минут десять или даже больше. Когда ты смотришь на нее вот так, совершенно отвлеченно, в голову приходят забавные мыс-

ли. Вся эта тайна пола... а потом ты обнаруживаешь, что это ничто, пустота. Подумай, как было бы забавно найти там губную гармонику... или календарь! Но там ничего нет... ничего. И вот это-то и противно. Я чуть не свихнулся... Угадай, что я после всего этого сделал. Я поставил ей быстрый пистон и повернулся задом... Взял книгу и стал читать... Из книги, даже самой плохой, всегда можно что-нибудь почерпнуть, а п....— это, знаешь ли, пустая трата времени...»

Заканчивая свой монолог, ван Норден замечает проститутку, которая подмигивает нам. Без малейшего перехода или подготовки он говорит мне: «Послушай, а что, если мы переспим с ней? Это не очень дорого... она возьмет нас обоих за те же деньги». И, не дожидаясь ответа, поднимается и идет к ней. «Все в порядке. Допивай пиво. Она голодная. Все равно сейчас мы не найдем ничего другого... Она возьмет нас обоих за пятнадцать франков. Пошли ко мне — так будет дешевле».

По дороге в гостиницу девица так дрожит от холода, что мы останавливаемся и заказываем ей кофе. Она оказалась довольно скромным существом и совсем недурна собой. Вероятно, она знает ван Нордена и знает, что от него ничего, кроме обещанных пятнадцати франков, не получишь. «Помни — у тебя нет денег»,— говорит он мне вполголоса. У меня действительно нет ни сантима, и потому я не совсем его понимаю. Но тут он громко добавляет по-английски: «Ради Бога, прикинься, что мы без гроша. Не размякай, когда мы придем ко мне. Она будет стараться вытянуть из нас прибавку, я знаю эту б....! Ее можно было бы подрядить и за десять франков, если б я захотел. Зачем сорить деньгами?»

— Твой друг, наверное, большой скаред? — спрашивает девица по-французски, очевидно догадываясь о теме нашего разговора.

— Ничего подобного. Он очень щедрый,— говорю я.

Она качает головой и смеется:

— Я хорошо знаю этого типа.

И тут же начинает обычную душераздирающую повесть про больницу, неоплаченную квартиру и ребенка в деревне. Однако она не пересаливает — ей известно, что все равно наши уши крепко запечатаны. Просто она не может отключиться от своих несчастий — это у нее точно камень внутри, который она перекатывает с места на место. Мне она нравится. Только бы она нас не заразила...

Когда мы приходим к ван Нордену, она начинает свои приготовления.

— Слушайте, нет ли у вас хоть сухарика? — спрашивает она, сидя на биде.

Ван Норден смеется.

— Хвати глоточек этого,— говорит он, подавая ей бутылку.

Но она не хочет вина и объясняет, что у нее и так расстроен желудок.

— Ее обычные штучки,— говорит мне по-английски ван Норден.— Не давай ей себя разжалобить. Но все-таки лучше бы она говорила о чем-нибудь другом. Как, к черту, можно распалиться с голодной б.....?

Совершенно верно! Ни у меня, ни у него нет ни малейшего желания, а о ней и говорить нечего. Ждать от нее хотя бы искры страсти можно с таким же успехом, как ждать, что на ней окажется бриллиантовое ожерелье. Но тут замешаны пятнадцать франков, и ни у нее, ни у нас уже нет хода назад. Это как война. Во время войны все мечтают о мире, но ни у кого не хватает мужества сложить оружие и сказать: «Довольно! Хватит с меня!» Нет, тут тоже где-то лежат пятнадцать франков, и хотя всем на них уже наплевать и в конечном счете их все равно никто не получит, они превращаются в какую-то ми

стическую цель, и люди, вместо того чтобы послушаться голоса разума и забыть об этой мистической цели, подчиняются обстоятельствам и продолжают бессмысленную резню. И чем трусливее человек, тем большим геройством окрашены его поступки. Но вот наступает день, когда кругом остаются лишь развалины; тогда замолкают пушки и санитары с носилками начинают подбирать искалеченных, залитых кровью героев и вешать им на грудь медали. У тебя нет ни глаз, ни рук, ни ног, зато остаток жизни ты можешь посвятить мечтам о пятнадцати франках, про которые все давным-давно забыли.

Да, это действительно так, я не могу отключиться от сравнения с войной, наблюдая, как проститутка старается выжать из меня хоть какое-то подобие страсти, и я понимаю, каким никудышным солдатом я был бы, если бы по глупости попал на фронт. Случись такое, я б плюнул на все — на совесть, на честь,— лишь бы выбраться из этого капкана. К тому же у меня попросту нет вкуса к таким вещам, а тут уж ничего не поделаешь. Но проститутка думает только о пятнадцати франках, она не дает мне забыть о них, напротив, она побуждает меня к борьбе за них. Но как можно заставить человека идти в бой, если у него нет ни малейшей охоты воевать? Есть трусы, из которых не сделаешь героев, даже перепугав их насмерть. Не исключено, что у них слишком развитое воображение. Есть люди, которые не живут настоящим, их мысли или отстают, или забегают вперед. Мои мысли постоянно сосредоточены на мирном договоре. Я не могу позабыть, что все эти неприятности начались из-за пятнадцати франков. Пятнадцать франков! Да что мне в этих пятнадцати франках?! Тем более что они даже и не мои.

Ван Норден относится к происходящему более здраво. Ему тоже уже наплевать на пятнадцать франков, но сама ситуация увлекает его. В конце концов на карту поставлено его мужское самолюбие, достоинство самца, а пятнадцать франков все равно потеряны, независимо от того, выйдет у нас что-нибудь или нет. Однако на карту поставлено и еще кое-что — может быть, не только мужское самолюбие, но и сила воли. Я снова вспоминаю солдата в окопе. Солдат не знает, зачем ему теперь жить — ведь если его не прикончат сегодня, до него непременно доберутся завтра, вот он и продолжает свое дело. И даже если он труслив как заяц и сам это понимает — дайте ему ружье и штык или вовсе ничего не давайте, он все равно будет убивать и убивать; он убьет миллион себе подобных, прежде чем остановится и спросит себя, зачем он, собственно, это делает.

Когда я смотрю на ван Нордена, взбирающегося на проститутку, мне кажется, что передо мной буксующая машина. Если чья-то рука не выключит мотор, колеса будут крутиться впустую до бесконечности. Зрелище этих двоих, сношающихся, точно коза с козлом, без малейшей искры страсти, трущихся друг о друга без всякого смысла, кроме смысла, заложенного в пятнадцати франках, заглушает во мне все чувства, кроме одного — какого-то нечеловеческого любопытства. Девица лежит на краю постели, и согнувшийся над ней ван Норден похож на сатира. Я сижу в кресле позади него и с холодным научным интересом наблюдаю за их движениями, и мне все равно, даже если они будут так двигаться бесконечно. Они, в сущности, ничем не отличаются от тех безумных машин, что выбрасывают ежедневно миллионы, биллионы, триллионы газет с кричащими бессмысленными заголовками. Однако работа безумной машины все же разумней и интересней, чем работа этих двоих — работа, в результате которой в мир являются новые люди. Мой интерес к ван Нордену и его партнерше равен нулю; но если бы вот так, усевшись в кресло, я мог наблюдать за всеми парами на земном шаре, занятыми тем же делом, что и они, мне едва ли стало бы интереснее. Я не уловил бы разницы между этим занятием, дождем или извержением вулкана. Все это явления одного порядка, если в этом трении друг о друга нет даже намека на чувст-

во, нет какой-то человеческой осмысленности. Право, машина мне интереснее. Эти двое тоже напоминают машину, но машину, у которой соскочила шестеренка. Только человеческая рука может им помочь. Им необходим механик.

Став на колени за ван Норденом, я проверяю машину более внимательно. Девица поворачивает голову и бросает на меня отчаянный взгляд. «Это бесполезно...— говорит она.— Невыносимо». Слыша эти слова, ван Норден начинает работать с удвоенной энергией, совершенно как старый козел. Упрямый идиот, он скорее сломает рога, чем отпустит свою жертву. К тому же он начинает злиться на меня, потому что я щекочу ему крестец.

— Ради Бога, Джо, остановись. Ты убьешь ее так!

— Оставь меня в покое,— огрызается он.— Я только что почти спустил!

Его решительный тон и поза снова напоминают мне мой сон. Только сейчас мне кажется, что палка от метлы, которую он, уходя, так спокойно подхватил под мышку, потеряна навсегда. То, что я вижу сейчас,— это как бы продолжение сна, его вторая глава: тот же ван Норден, но уже без мистической цели. Он как тот герой, что вернулся с войны, несчастный, искалеченный полуидиот, увидевший в реальности свою мечту. Когда он садится, стул разваливается под ним; когда он входит в комнату, она оказывается пуста; когда он кладет что-нибудь в рот, во рту остается противный привкус. Все как раньше, ничто не изменилось, все элементы те же, и мечта не отличается от реальности. Только пока он спал, кто-то украл его тело. Он как машина, выбрасывающая миллионы и биллионы газет каждый день, газет, заголовки которых кричат о катастрофах, революциях, убийствах, взрывах и авариях. Но он уже ничего не чувствует. Если кто-нибудь не выключит мотор, он никогда не узнает, что такое смерть — нельзя умереть, если твое тело украдено. Ты можешь взгромоздиться на шлюху и продолжать свое дело, как упрямый козел, до бесконечности; все равно искра чувства не появится без вмешательства человеческой руки. Кто-то должен запустить руку в машину и отрегулировать ее, чтобы шестеренки стали на место. Кто-то, кто сделает это, не надеясь на награду и не думая о потерянных пятнадцати франках; кто-то, чья грудь настолько слаба, что, если на нее повесить медали, она прогнется. И кто-то должен накормить умирающую от голода девку, не боясь, что ее придется кормить снова и снова. Иначе вся эта ерунда будет длиться бесконечно. Другого выхода нет...

Я лизал задницу заведующему редакцией целую неделю (это здесь принято) и получил место Пековера. Он-таки умер, бедняга,— через несколько часов после падения в шахту лифта. Как я и предсказывал, были пышные похороны с душераздирающей заупокойной службой, огромными венками и прочим, что полагается в подобных случаях. Tout compris — все включено в стоимость. После похорон верхний этаж отправился в соседнее бистро. Жаль, что сам Пековер не мог уже закусить с этими «персонами с верхнего этажа» и послушать, как они его вспоминают.

Должен предупредить с самого начала — я ни на что не жалуюсь. Но это похоже на сумасшедший дом, где вам разрешили мастурбировать до конца ваших дней. Весь мир приносят вам на подносе, и все, что от вас требуется, это ставить знаки препинания в описаниях несчастий. Ничто не остается без внимания наших профессионалов с верхнего этажа, все мирские радости и горести проходят через их руки. Их дело — сухие факты, или, как они это называют,— действительность. Но, право, их действительность — это болото, а они сами — лягушки, умеющие только квакать. Чем больше они квакают, тем реальнее становится жизнь. Адвокат, священник, врач, политик и жур-

налист — это шарлатаны, держащие руку на пульсе жизни. Воздух здесь постоянно пахнет несчастьем. Замечательно. Это как барометр, который никогда не меняет свои показания, или флаг, который всегда приспущен. Можно легко понять, каким образом мысль о царствии небесном появляется в человеческом сознании даже тогда, когда оно теряет точку опоры. Должен быть какой-то другой мир, кроме этого болота, где все свалено в кучу. Не могу себе представить, что это за царствие небесное, о котором так мечтает все человечество. Лягушачье, наверное. Тухлый воздух, тина, кувшинки, гниющая вода. Сиди себе на листьях кувшинок и квакай спокойно весь день. Я думаю, царствие небесное — это что-то в таком роде.

Все катастрофы, которые я корректирую, оказывают на меня самое благотворное действие. Представьте себе полный иммунитет и стопроцентную безопасность в среде, где полным-полно зловредных бактерий. Ничто не задевает меня — ни землетрясения, ни взрывы, ни бунты, ни голод, ни столкновения, ни войны, ни революции. У меня прививки против всех болезней, всех катастроф, всех горестей, всех несчастий. Это — предел стойкости. Я сижу в своем маленьком закутке, и все миазмы, выделяемые миром каждый день, касаются моих рук. Но они не загрязняют меня. У меня — абсолютный иммунитет. Мне лучше, чем какому-нибудь лаборанту, потому что здесь нет плохих запахов, только запах расплавленного свинца. Мир может взорваться — я буду сидеть здесь и расставлять запятые и двоеточия. Я могу даже получить сверхурочные, если какое-нибудь чрезвычайное событие потребует экстренного выпуска газеты. Когда мир взорвется и последний выпуск пойдет в печать, корректоры спокойно соберут все свои точки, запятые, двоеточия, тире, скобки, вопросительные и восклицательные знаки и проч. и сложат их в коробочку над редакторским креслом. Comme ça tout est réglé... [1]

Никто из моих коллег не может понять, чем это я так доволен. Они непрерывно клянут свою судьбу, у них свои запросы, они то не в меру горды, то не в меру озлоблены. Но у хорошего корректора нет ни запросов, ни гордости, ни злобы. Хороший корректор — это что-то вроде Всемогущего: он — в мире, но не принадлежит ему. Он только для воскресений. Воскресенье — его свободный вечер. В воскресенье он спускается с пьедестала и показывает верующим задницу. Раз в неделю он слушает их жалобы и стенания; этого ему хватает до следующего раза. Всю неделю он сидит в подмерзшем болоте, его полный владыка, и только след от прививки выделяет его в бесконечной пустоте.

Самое страшное для корректора — это угроза остаться без работы. Когда мы собираемся вместе, вопрос: «Что вы будете делать, если потеряете работу?»— повергает нас в ужас. Конюху, убирающему навоз, кажется, что нет ничего страшнее, чем мир без лошади. Любая попытка объяснить ему, как безобразно существование человека, всю жизнь сгребающего горячее дерьмо,— идиотизм. Человек может полюбить навоз, относиться к нему с нежностью, если от этого зависят его благополучие и счастье.

Эту жизнь, которая была бы для меня горчайшим из унижений, будь я человеком с самолюбием, гордостью, запросами и т. д.,— эту жизнь я сейчас приветствую, как калека приветствует смерть, приветствую, как царствие небесное, где нет болезней и нет ужаса перед концом. Все, что от меня требуется в этом нереальном мире,— орфография и пунктуация. Пусть происходит что угодно — главное, чтобы об этом было рассказано без ошибок. Последняя дамская мода и новый линейный корабль, чума и взрывчатое вещество, открытие астрономов и паника на бирже, авария на железной дороге и банковские операции, скачки, смертная казнь и политическое убийство, бандит-

[1] Таким образом, все будет в порядке *(франц.)*.

ский налет — все они равны для корректора. Ничто не пройдет мимо его глаз, но и ничто не пробьет его пулезащитного жилета. Мадам Шеер (бывшая мисс Эстив) пишет благодарственное письмо индусу Ага Миру: «Благодаря вам 6 июня я вышла замуж. Мы очень счастливы, и я надеюсь, что с вашей помощью наше счастье будет продолжаться. Высылаю вам телеграфом ... франков за вашу помощь». Индус Ага Мир предсказывает вашу судьбу и читает ваши мысли необъяснимым образом. Он даст вам совет и поможет преодолеть все житейские невзгоды. Ага Мир принимает по адресу: авеню Мак-Магон, № 20, Париж. Заходите или пишите.

Ага читает все ваши мысли необъяснимым образом. Если я правильно понимаю, это включает все мысли — от самых ничтожных до самых бесстыдных. У него, должно быть, много свободного времени, у этого Ага Мира. Или он ограничивается лишь мыслями людей, приславших ему денежные переводы? В том же номере я вижу заголовок: «Наша вселенная расширяется так стремительно, что это чревато взрывом». Под заголовком фотография человека, страдающего от безумной головной боли. Рядом статейка о жемчуге, подписанная «Текла». Этот Текла сообщает всем и каждому, что жемчуг производится моллюсками и бывает естественный, или восточный, и культивированный. Немцы показывают в кафедральном соборе Трира «рубашку Христа», которую они вынули из нафталина в первый раз за сорок два года. О его штанах или жилетке ничего не говорится. В Зальцбурге женщина родила двух мышат — хотите верьте, хотите нет. Знаменитая кинозвезда, закинув ногу на ногу, отдыхает на скамейке в лондонском Гайд-парке, а ниже заявление очень популярного художника: «Я считаю, что миссис Кулидж при своем шарме и обаянии могла бы стать одной из двенадцати выдающихся американок, если бы ее муж не был президентом». Из интервью с герром Хюмхалем из Вены я узнал следующее: «В заключение,— говорит герр Хюмхаль,— я хочу заметить, что безупречный покрой и подгонка — этого еще мало; достоинства костюма выявляются в носке. Костюм должен облегать тело, но не терять формы, когда человек, носящий его, ходит или садится». А если случается взрыв на угольной шахте — английской шахте,— обратите внимание, что король и королева всегда немедленно посылают свои соболезнования по телеграфу. И они всегда присутствуют на главных скачках, хотя недавно, по словам автора статьи, которую я читаю, «к большому удивлению короля и королевы, пошел сильный дождь». (Кажется, это было в Дерби.) Душераздирающее сообщение из Италии: «Говорят, что преследования не направлены против церкви, но, несмотря на это, они задевают самые чувствительные ее интересы. Говорят, что преследования не направлены против папы, но они ранят папу в самое сердце».

Я должен был объехать вокруг света, чтобы найти такое удобное и приятное место. То, что со мной происходит, кажется почти невероятным. Мог ли я предвидеть в Америке, где вам втыкают в задницу ракеты, чтобы придать бодрости и храбрости, что самое идеальное занятие для человека с моим темпераментом — это охотиться за орфографическими ошибками? В Америке человек думает только о том, как ему стать президентом Соединенных Штатов. Там каждый — потенциальный президент. Здесь каждый — потенциальный нуль, и если вы становитесь чем-нибудь или кем-нибудь, это случайность, чудо. Здесь тысяча шансов против одного, что вы никогда не выберетесь из родной деревни. Тысяча шансов против одного, что вам оторвет ноги или вы останетесь без глаз. Впрочем, может случиться чудо, и тогда вы будете генералом или вице-адмиралом.

Выходит, что все шансы здесь — против вас, но то, что у вас почти нет надежд, делает жизнь особенно приятной. День за днем. Нет ни вчера, ни завтра. Барометр никогда не меняет своих показаний, а флаг на флагштоке всегда приспущен. Вы носите на рукаве кусок черного

крепа, у вас в петлице — ленточка, и если вам посчастливится разжиться деньгами, вы можете купить себе протезы, лучше алюминиевые, но это совершенно не помешает вам получать удовольствие от аперитива, или от созерцания зверей в зоопарке, или от флирта с хищницами, фланирующими взад и вперед по бульварам в поисках свежей падали. Время проходит. Если вы приезжий и документы у вас в порядке, можете свободно касаться всякой заразы без страха заразиться. Однако лучше всего работать корректором. Comme ça, tout s'arrange [1]. Это значит, что если вы возвращаетесь домой в три часа ночи и вас останавливает полицейский, вы можете послать его к черту. Утром, когда идет бойкая торговля, вы можете купить бельгийские яйца по пятьдесят сантимов за штуку. Корректор обыкновенно встает не раньше полудня. Если вы боитесь проспать, найдите себе гостиницу возле кино, и вас будет поднимать звонок, возвещающий о начале первого сеанса. А если не можете найти гостиницу вблизи кино, ищите ее возле кладбища — это то же самое. И главное, не унывайте. Il ne faut jamais désespérer.

Вот это-то я и стараюсь вдолбить в головы Карла и ван Нордена каждую ночь, когда мы идем домой. Мир без надежд, но и без уныния. Это как бы новая религия, в которую я перешел и теперь каждый вечер ставлю свечи перед Мадонной. Не знаю, что бы я выиграл, если б меня сделали редактором этой газеты или даже президентом Соединенных Штатов. Я в безнадежном тупике — и чувствую себя в нем уютно и удобно. Читая гранки, я слушаю музыку вокруг — гул голосов, позвякивание линотипов, похожее на позвякивание тысячи серебряных браслетов; иногда пробежит мимо крыса или спустится по стене таракан, быстро и осторожно двигаясь на своих тонких лапках. События дня тихо и мирно проплывают перед вами, неся на себе там и сям следы человеческого тщеславия и гордыни в виде авторских подписей. Они движутся плавно, как похоронная процессия, въезжающая на кладбище. На полу — толстый слой бумаги, точно мягкий ковер. Под столом ван Нордена она забрызгана коричневой табачной слюной. Около одиннадцати вечера в корректорскую заходит торговец арахисом — полоумный армянин, тоже вполне довольный своей судьбой.

Время от времени я получаю телеграммы от Моны, которая сообщает о своем приезде на очередном пароходе. В конце каждой телеграммы — «Подробности письмом». Это продолжается уже девять месяцев, но я не нахожу ее имени в списках пассажиров, а гарсон ни разу не приносил мне писем на серебряном подносе. Я уже перестал на все это реагировать. Если Мона когда-нибудь приедет, пусть ищет меня на первом этаже, за туалетом. Вероятно, она сразу же скажет, что сидеть рядом с уборной негигиенично. Первое, о чем начинает говорить американка в Европе, это санитарные условия, или, точнее, отсутствие таковых. Они не могут представить себе рая без водопровода. Если они находят клопа, то готовы писать жалобу в Торговую палату. Как я могу объяснить ей, что мне здесь очень нравится? Она скажет, что я становлюсь дегенератом. Я знаю ее наизусть. Она будет искать ателье с садом и, конечно же, с ванной. Ей хочется быть бедной на романтичный лад. Я знаю ее. Но на сей раз я готов ко всему.

Бывают, однако, солнечные дни, когда я схожу с наезженной колеи и начинаю жадно думать о Моне. Бывают дни, когда, несмотря на мою упрямую удовлетворенность собственной жизнью, я начинаю думать об иной жизни, начинаю представлять себе, что было бы, будь рядом со мной беспокойное молодое существо. Беда в том, что я почти забыл, как она выглядит и что я чувствовал, когда держал ее в своих объятьях. Все, что относится к прошлому, словно опустилось на дно морское; у меня есть воспоминания, но образы утратили свою

[1] Таким образом, все устроится *(франц.)*.

живость, стали мертвыми и ненужными, как изъеденные временем мумии, застрявшие в сыпучих песках. Припоминая свою жизнь в Нью-Йорке, я вижу лишь страшные, покрытые плесенью обломки. Мне кажется, что мое собственное существование уже закончилось, но где именно, я не могу установить. Я уже не американец, не ньюйоркец, но еще менее европеец или парижанин. Я ничему не предан, у меня нет ни перед кем ответственности, нет ненависти, нет забот, нет предубеждений и нет страстей. Я — ни «за», ни «против». Я нейтрален.

Случается, что когда мы втроем возвращаемся ночью домой, то после первых приступов отвращения начинаем с энтузиазмом говорить о разных вещах — с энтузиазмом, который бывает только у людей, не принимающих активного участия в жизни. Когда наконец я заползаю в постель, я с удивлением понимаю, что весь наш энтузиазм тратится только на то, чтобы убить время — три четверти часа, которые занимает дорога от редакции до Монпарнаса. У нас множество блестящих и вполне осуществимых идей касательно того или этого, но у нас нет колесницы, к которой мы можем их прицепить. И еще поразительней то, что пропасть между идеями и жизнью совершенно нас не тревожит. Мы до такой степени приспособились, что, если бы завтра нам приказали ходить на руках, мы подчинились бы без малейшего протеста. Конечно, при условии, что газета выйдет как всегда. И что нам исправно будут платить жалованье. Все остальное не имеет значения. Никакого. Мы стали азиатскими рабами. Мы превратились в китайских кули в белых воротничках, и нам затыкают глотки горстью риса в день. Я читал где-то на днях, что характерная особенность черепа индейца — это так называемая вормиева кость, или os incae, в затылке. Наличие этой кости, по словам ученого, объясняется незарастающим поперечным затылочным швом, который обыкновенно зарастает уже у зародыша. Это свидетельствует о замедленном развитии, что является признаком низшей расы. «Средний объем черепа индейца,— говорилось в статье,— меньше, чем у представителей белой расы, но больше, чем у представителей черной расы. Средний — без учета пола — объем черепной коробки современного парижанина — 1449 кубических сантиметров, негра — 1344 и индейца — 1376 сантиметров». Меня это, в сущности, не касается, потому что я — американец, а не индеец. Но забавно объяснять все какой-то костью в затылке. Этого ученого совершенно не смущает, что в отдельных случаях черепа индейцев давали очень высокие показатели, до 1920 кубических сантиметров — объем, не превышенный ни одной другой расой. Но мне особенно нравится, что парижане и парижанки ходят с черепами нормального объема. Они умеют получать удовольствие от аперитива и не волнуются, если их дома стоят некрашеные. Они не озабочены поперечными затылочными швами, и в их черепных показателях нет ничего необыкновенного. Так что их искусство жить, которое они довели до такого совершенства, явно должно объясняться чем-то другим.

В бистро «Мсье Поль», которое находится поблизости от редакции, задняя комната отведена специально для журналистов, и здесь мы можем есть и пить в кредит. Это приятная маленькая комната с опилками на полу и с мухами во все времена года. Когда я говорю, что она предназначена для журналистов, я не хочу сказать, что они едят здесь в уединении; напротив, они имеют удовольствие общаться, притом самым тесным образом, с проститутками и их «котами», которые составляют значительный процент клиентуры мсье Поля. Это обстоятельство вполне устраивает газетчиков, вечно рыщущих в поисках новой юбки, потому что даже те, у кого есть постоянные французские девочки, не прочь переспать иной раз на стороне. Главное, чего они боятся,— как бы не подцепить какую-нибудь венерическую болезнь; иногда в редакции начинается настоящая эпидемия, поскольку все они спят с одной и той же шлюхой. Во всяком случае приятно ви-

деть, как жалко они выглядят рядом с сутенером, который ведет по сравнению с ними роскошную жизнь, несмотря на превратности своей профессии.

Сейчас мои мысли поглощены высоким блондином, доставляющим на велосипеде сообщения агентства «Ава». Он всегда опаздывает и всегда покрыт пóтом и пылью. Он входит с величественным видом, протягивает каждому два пальца и тут же движется к умывальнику, расположенному между кухней и уборной. Вытирая лицо, он быстрым взглядом окидывает съестное. Если он видит на столе свежий бифштекс, то, подняв его, придирчиво обнюхивает, если суп, то, запустив в него черпак, так же придирчиво пробует. Он точно охотничья собака, у которой нос всегда опущен к земле. Закончив все приготовления, помочившись и громко высморкавшись, он подходит к своей девице и смачно ее целует, одновременно похлопывая по заду. Эта девица всегда выглядит как огурчик. Даже в три часа ночи, после многочисленных клиентов, у нее такой вид, как будто она только что вышла из турецкой бани. Приятно видеть этих здоровых животных — их спокойствие, взаимную привязанность и отличный аппетит. После ужина, вернее легкой закуски, девица отправляется на ночной промысел. Вскоре она, покинув своего блондина, пойдет на бульвар и, устроившись где-нибудь в баре за стаканчиком «дижестива», будет ждать клиентов. Ее занятие — в сущности неприятное, трудное и утомительное — никак на ней не отражается. Едва завидев своего голодного как собака возлюбленного, она бросается к нему, заключает в объятия и осыпает жадными поцелуями. Она целует его в глаза, в нос, в щеки, в затылок... Она целовала бы его и в задницу, если бы это можно было сделать на людях. Она благодарна ему, это ясно. Но за что? Она не зависит от него материально. В течение всего ужина она бездумно смеется. Можно подумать, что у нее нет никаких забот. Время от времени в знак любви и симпатии она дает верзиле здоровую пощечину. Такая пощечина оглушила бы любого из моих коллег.

Оба не замечают ничего вокруг; они сосредоточены только друг на друге да еще на еде, которую поглощают как саранча. Какое полное удовлетворение, какая гармония, какое взаимопонимание! Ван Норден просто сходит с ума, глядя на них. Особенно когда она ласково запускает руку верзиле в ширинку, а он в ответ ловит ее сосок и сжимает его с игривой нежностью.

В это же время обычно появляется и другая пара. Эти ведут себя как муж и жена: визгливо ссорятся, трясут свое грязное белье на людях. Испортив криками, угрозами и попреками настроение и себе и окружающим, они начинают ворковать как два голубка. Он называет ее Люсьен. Эта Люсьен — тяжелая крашеная блондинка с жестоким свинцовым лицом. У нее толстая нижняя губа, которую она закусывает, когда ее душит злоба. Взгляд ее голубых бисерных глазок бросает его в пот. Но она все-таки ничего, эта Люсьен, несмотря на язвительный нрав, который обнаруживается, как только она начинает ругаться. Ее кошелек туго набит, и если она дает ему деньги нехотя, то лишь потому, что не желает поощрять его «дурные привычки». По словам Люсьен, у него слабый характер. Он может истратить пятьдесят франков за вечер, ожидая ее возвращения. Когда подходит официантка, чтобы принять заказ, выясняется, что у него нет аппетита.

— Ах, ты опять не голоден! — рычит Люсьен.— Сволочь, ты, наверное, ждал меня на Фобур Монмартр! Надеюсь, ты приятно провел время, пока я на тебя работала. Что ж ты молчишь, идиот?! Отвечай! Где ты был?

Она задыхается от злости. Он смотрит на нее испуганно, но, полагая, что молчание — лучшая защита, опускает голову и теребит в руках салфетку. Этот жалкий жест, который ей так хорошо знаком и которому, конечно, она втайне радуется как неопровержимому доказательству его вины, озлобляет ее еще больше.

— Говори, идиот! — визжит она.

Тихим, дрожащим голосом он объясняет, что, пока ждал ее, проголодался и по дороге съел бутерброд и выпил пива. Это перебило ему аппетит — в его голосе звучит сожаление, хотя совершенно очевидно, что еда — вовсе не то, что его сейчас интересует.

— Но,— он старается говорить как можно убедительнее,— я все время ждал тебя, Люсьен.

— Врешь! — орет Люсьен.— Подло врешь! Но имей в виду, я тоже умею врать, причем хорошо. Меня тошнит от твоего бездарного вранья. Почему ты не можешь соврать как следует?

Он снова опускает голову, рассеянно собирает крошки и кладет их в рот. Она бьет его по руке.

— Не смей этого делать! Как ты мне надоел! Идиот! Врун! Ну подожди! Я тебе еще кое-что скажу. Я тоже врунья, только я не такая идиотка!

Через несколько минут они сидят, прижавшись друг к другу, держатся за руки и она нежно воркует:

— Мой бедный маленький зайчик... Мне так грустно покидать тебя. Поцелуй меня... Что ты будешь делать сегодня вечером? Скажи мне правду, мой маленький... Прости меня... у меня ужасный характер...

Он осторожно целует ее, действительно, как зайчонок с длинными розовыми ушами, касаясь ее губ, точно откусывая листик салата. Но в то же время его беспокойный и острый взгляд падает на ее полуоткрытую сумку. Он с нетерпением ждет минуты, когда наконец сможет удрать и засесть в каком-нибудь тихом баре на Фобур Монмартр.

Я знаю его, этого невинного, тихого чудака с круглыми, испуганными, заячьими глазами. И я знаю, что за чертова улица эта Фобур Монмартр с ее бронзовыми вывесками, любопытным товарцем, бешено мигающими до утра огнями и похотью, истекающей здесь точно из труб. Пройти по Фобур Монмартр от улицы Лафайетт до бульвара — все равно что пройти сквозь строй: проститутки липнут к вам, точно мухи к клейкой бумаге, впиваются в вас, как клещи, они уговаривают вас, упрашивают, умоляют; они пытаются говорить по-немецки, по-английски, по-испански; они обнажают перед вами свои кровоточащие сердца и показывают на свои драные туфли, и даже когда вы вырветесь из их липких щупалец и их визгливые голоса вылетят из ваших ушей, в ваших ноздрях еще долго будет сохраняться едкий аромат уборной — запах духов «Данс», который должен чувствоваться на расстоянии двадцати сантиметров, но не больше. На этом пятачке от бульвара до улицы Лафайетт можно проболтаться без толку целую жизнь. В каждом бистро здесь — водоворот, игральные кости налиты свинцом, и кассиры, точно коршуны, сидят на своих высоких табуретах, а деньги, проходящие через их руки, смердят человеком. Во Французском банке не знают таких страшных денег — они блестят от человеческого пота и перебрасываются из рук в руки, как лесной пожар, оставляя после себя дым и вонь. Человек, который в состоянии пройти по Фобур Монмартр ночью, не задохнувшись и не облившись потом, пройти без молитвы или проклятья,— такой человек либо кастрат, либо его надо кастрировать.

Предположим, что этот испуганный заяц действительно может истратить пятьдесят франков за вечер, поджидая свою Люсьен. Предположим, что он действительно проголодался и заказал себе бутерброд и стакан пива. Или даже остановился, чтобы поболтать с чужой шлюхой. Неужели он должен расплачиваться за это каждый вечер? Выносить все эти попреки, угрозы, оскорбления и унижения? Я надеюсь, вы согласитесь со мной, что сутенер — тоже человек. Не забывайте, что у сутенера свои горести и печали. Может быть, он пред-

почел бы каждый вечер стоять на углу с парой белых собак и спокойно ждать, пока они занимаются своим делом у столба. Может быть, он предпочел бы, вернувшись домой, найти Люсьен на диване с «Пари суар» в руках и с уже слипающимися глазами. Может быть, это не слишком приятно — склоняясь над женщиной, ощущать дыхание другого мужчины? Может быть, если все твое состояние три франка, а все имущество — две белых собаки,— может, это лучше, чем целовать истрепанные губы? Держу пари, что, когда она притягивает его к себе и умоляет о любви, которую только он и может дать ей,— держу пари, что в этот момент он борется, как дьявол, чтобы разгромить полк, прошедший между ее ногами. Может быть, обхватив в темноте ее тело и пытаясь сыграть на нем новую мелодию, он не просто удовлетворяет свою страсть или свое любопытство, но сражается в одиночку с невидимой армией, взявшей приступом ворота, армией, которая прошла по ней, растоптав и оставив ее голодной — настолько, что даже Рудольф Валентино не смог бы утолить подобный голод. Когда о таких женщинах, как Люсьен, говорят с пренебрежением, когда их попрекают и унижают за то, что в них нет огня, но много расчета, что они спят с вами, точно бесчувственные машины, или слишком торопятся кончить свое дело, я говорю себе: подожди и подумай, парень! Вспомни, что ты — в самом конце этой очереди; что уже целый армейский корпус осаждал ее, разграбил ее и опустошил. Я говорю себе: послушай, парень, не жалей тех пятидесяти франков, которые ты ей даешь, зная, что ее кот спустит их на Фобур Монмартр. Это — ее деньги и ее кот. И это кровавые деньги. Но их никогда не изымут из обращения, потому что во Французском банке нет ничего, на что их можно было бы обменять.

Вот о чем я часто думаю, сидя в своем закутке и разбирая сообщения агентства «Ава» или распутывая ленты телеграмм из Чикаго, Лондона или Монреаля. Между ценами на резину и шелк и зерновой биржей в Виннипеге ко мне в закуток просачивается иногда жаркое дыхание Фобур Монмартр. И когда курс ценных бумаг понижается, когда цены на нефть и химикалии подпрыгивают, когда зерновой рынок трясет как в лихорадке, а биржевые акулы щелкают зубами, когда каждое е...ное происшествие, каждое рекламное объявление, каждая спортивная колонка или заметка о последних модах, каждое сообщение о прибытии парохода, каждый путевой очерк, каждая сплетня уже прочитаны, выправлены, сверены, вычищены и пропущены через серебряные браслеты линотипа, когда я слышу, как метранпаж забивает гранки первой страницы в свинцовую раму, а редакционные лягушки пляшут вокруг нее, точно пьяные каракатицы,— вот тогда я думаю о Люсьен, проплывающей над бульваром с развернутыми крыльями, точно огромный серебристый кондор, застывший в воздухе над ленивым потоком автомобилей; я думаю об этой странной птице — обитательнице андских вершин с розовато-белым брюшком и упрямой маленькой головкой. Иногда, возвращаясь домой, я следую за ней по тесным улицам, через двор Лувра, через Мост искусств, через пассажи, через дыры и щели, через сонливость и дурманящую белизну, через храп и бормотание, через треньканье и позвякиванье, через звездные лучи, их всплески и блестки, через синие и белые полосы навесов бистро, которые она обмела крыльями, пролетая мимо.

В синеве электрической зари ореховая скорлупа кажется бледной и раздавленной; на монпарнасском берегу водяные лилии гнутся и ломаются. Когда предутренний отлив уносит все, кроме нескольких сифилитичных русалок, застрявших в тине, кафе «Дом» напоминает ярмарочный тир после урагана. В течение следующего часа стоит мертвая тишина. В этот час смывают блевотину. Потом внезапно деревья начинают кричать. С одного конца бульвара до другого вскипает безумная песнь. Она как звонок на бирже, возвещающий о ее закрытии. Все оставшиеся мечты сметаются прочь. Наступает время

последнего опорожнения мочевого пузыря. В город медленно, как прокаженный, вползает день...

Когда вы работаете по ночам, не следует нарушать установленный распорядок. Если вы не легли спать до утреннего птичьего гама, лучше не ложиться вообще. Все равно уснуть не удастся. Сегодня утром от нечего делать я отправился в Ботанический сад. Удивительные пеликаны из Чапультепека; павлины с разрисованными хвостами-веерами смотрят на вас своими глупыми глазками.

Возвращаясь автобусом на Монпарнас, я заметил хрупкую француженку, сидящую напротив меня в напряженной неподвижности, точно птица, собравшаяся чистить перышки. Она сидела на кончике скамьи, как бы боясь помять свой великолепный хвост. И мне в голову пришла забавная мысль — а что, если бы сзади у нее вдруг раскрылся огромный разрисованный веер из длинных шелковых перьев?

В кафе «Авеню», куда я зашел перекусить, женщина с громадным животом старается завлечь меня своим интересным положением. Она предлагает пойти в гостиницу и провести там часик-другой. Впервые ко мне пристает беременная женщина. Я уже почти согласен. По ее словам, она сразу, как только родит и передаст ребенка полиции, вернется к своей профессии. Заметив, что мой интерес ослабевает, женщина берет мою руку и прикладывает к животу. Я чувствую, как там что-то шевелится, но именно это и отбивает у меня всякую охоту.

Нигде в мире мне не доводилось видеть таких неожиданных уловок, предназначенных для разжигания мужской похоти, как в Париже. Если проститутка потеряла передний зуб, или глаз, или ногу, она все равно продолжает работать. В Америке она бы умерла с голоду. Там никто не соблазнился бы ее уродством. В Париже — наоборот. Здесь отсутствующий зуб, гниющий нос или выпадающая матка, усугубляющие природное уродство женщины, рассматриваются как дополнительная изюминка, могущая возбудить интерес пресыщенного мужчины.

Конечно, я говорю сейчас о мире больших городов, о мире мужчин и женщин, из которых машина времени выжала все соки до последней капли; я говорю о жертвах современного прогресса, о той груде костей и галстучных запонок, которые художнику так трудно облепить мясом.

Только позже, днем, попав в галерею на рю де Сэз и оказавшись среди мужчин и женщин Матисса, я снова обрел нормальный мир человеческих ценностей. На пороге огромного зала я замираю на миг — так ошеломляет торжествующий цвет подлинной жизни. Это торжество непременно выливается в песню или поэму и разрывает в клочья привычную серость нашего мира. Мир Матисса настолько реален, настолько полон, что у меня перехватывает дыхание. Мне кажется, что я погрузился в самый центр жизни и что здесь все — в фокусе, с какой бы стороны ни смотреть. Я чувствую себя таким же потерянным, как тогда, когда под сенью девушек в цвету впервые сел за обильный обед в огромном мире Бальбека, и только теперь понимаю глубочайшее значение этих натюрмортов души, воскрешаемых заклинаниями зрения и осязания. Стоя здесь на пороге мира, созданного Матиссом, я опять переживаю ту силу откровения, которая позволила Прусту так исказить картину жизни, что только те, кто, подобно ему, был восприимчив к алхимии звуков и чувств, могли превратить этот негатив в подлинный и полный смысла абрис искусства. Только тем, кто умеет пропустить свет через себя, дано увидеть, что у них в сердце. Я отчетливо припоминаю, как лучи света, ударяясь в хрустальные люстры, рассыпались кровавыми брызгами, окропляя гребни волн, которые монотонно набегали в тусклом золоте за окном. На набережной, где мачты и трубы домов причудливо переплетались в вышине, я видел закопченную тень фигуры Альбертины, скользившую по воде и соединявшую в себе таинственную нереальность мечты и предчувст-

вие смерти. И тогда наступал вечер, боль поднималась, как дымка от земли, горе набегало, как туман, закрывая собой бесконечность моря и неба. Две восковые руки лежали безжизненно поверх одеяла, и по их синим жилкам пробегал шепот раковины, повторяющей легенду о своем рождении.

В каждой поэме, созданной Матиссом,— рассказ о теле, которое отказалось подчиниться неизбежности смерти. Во всем разбеге тел Матисса, от волос до ногтей, отображение чуда существования, точно какой-то потаенный глаз в поисках наивысшей реальности заменил все поры тела голодными зоркими ртами. И везде, с какого бы угла ни смотреть,— запахи и звуки путешествия. Нельзя увидеть даже краешек мечты Матисса, не почувствовав морскую зыбь под ногами и брызги соленой воды на лице. Матисс стоит у руля, вглядываясь своими спокойными голубыми глазами в панораму времени. В какие только отдаленные уголки не направлял он свой зоркий, проникающий поверхность воды взгляд! Глядя вдоль длинного выступа своего носа, он видит все — и Кордильеры, спадающие в Тихий океан, и историю диаспоры, написанную на пергаменте, и жалюзи, поющие, как флейты, под дыханием морского ветра, и рояль, изогнутый, точно раковина, и венчики цветов, излучающие световые мелодии, и хамелеонов, извивающихся под тяжестью пресс-папье, и гаремы, умирающие в океанах пыли, и музыку, исходящую, как огонь, из тайных хромосфер боли, и споры и кораллы, оплодотворяющие землю, и пупки, извергающие яркие порождения страданий... Матисс — веселый мудрец, танцующий пророк, одним взмахом кисти сокрушающий позорный столб, к которому человеческое тело привязано своей изначальной греховностью. Матисс — художник, который знает — если вообще существует кто-либо, наделенный подобным магическим даром,— как разложить человеческую фигуру на составляющие; и у него достало смелости пожертвовать гармонией линий во имя биения пульса и тока крови; он не боится выплеснуть свет своей души на клавиатуру красок. За мелочностью, хаотичностью, бессмысленностью жизни Матисс видит не видимую другим архитектуру и возвещает о своих открытиях метафизическими красками пространства. Он не ищет формулы, не вымучивает идеи; Матисс не знает иного движущего начала, кроме желания творить. Он в самой сердцевине нашего распадающегося мира, он прикован к ней центростремительной силой, возрастающей по мере того, как ускоряется процесс разложения.

Мир все больше и больше напоминает сон энтомолога. Земля соскальзывает с орбиты, меняя ось; с севера сыплются снега иссиня-стальными заносами. Приходит новый ледниковый период, поперечные черепные швы зарастают, и вдоль всего плодородного пояса умирает зародыш жизни, превращаясь в мертвую кость. Устья рек засыхают по сантиметрам, и русла блестят, точно стекло. Наступает новый металлургический век, когда земля будет звенеть под проливным дождем желтой руды. Температура падает, и очертания мира теряют свою четкость; осмос еще продолжается, тут и там еще можно найти осмысленность, но на периферии все вены уже раздулись, световые лучи ломаются и гнутся, и солнце кровоточит, как разорванный задний проход.

В самом центре разваливающегося колеса — Матисс. И он будет вращаться даже после того, как все, из чего это колесо было сделано, разлетится в прах. Он уже прокатился по значительной части земного шара, по Персии, Индии и Китаю, он притянул к себе, как магнит, микроскопические частички Курдистана, Белуджистана, Тимбукту, Сомали, Ангкора и Огненной Земли. Он осыпал своих одалисок малахитом и яшмой, завесив их тела тысячами благоухающих глаз, погруженных в китовое семя. Где только подует ветерок, там холодные, как студень, груди, там белые голуби улетают спариваться в сине-ледяных жилах Гималаев.

Обои, которыми ученые обклеили мир реальности, свисают лохмотьями. Огромный бордель, в который они превратили мир, не нуждается в декорации: все, что здесь требуется,— это хорошо действующий водопровод. Красоте, той кошачьей красоте, которая держала нас за яйца в Америке, пришел конец. Для того чтобы понять новую реальность, надо прежде всего разобрать канализационные трубы, вскрыть гангренозные каналы мочеполовой системы, по которой проходят испражнения искусства. Перманганат и формальдегид — ароматы сегодняшнего дня. Трубы забиты задушенными эмбрионами.

Мир Матисса с его старомодными спальнями все еще прекрасен. Нигде не видно ни подшипника, ни шайбы, ни поршня, ни французского ключа. Это все еще мир веселых прогулок в Булонский лес, мир пасторальных пикников и пасторальной любви. Я хожу среди этих созданий, чьи поры дышат и чей быт так же солиден и устойчив, как свет, и это бодрит меня. Я выхожу на бульвар Мадлен, где проститутки проходят мимо меня, шурша юбками, и острейшее ощущение жизни захватывает меня, потому что уже один их вид заставляет меня волноваться. И дело вовсе не в том, что они экзотичны или хороши собой. Нет, на бульваре Мадлен трудно найти красивую женщину. Но у Матисса в магическом прикосновении его кисти сосредоточен мир, в котором одно лишь присутствие женщины моментально кристаллизует все самые потаенные желания. И встреча с женщиной, предлагающей себя возле уличной уборной, обклеенной рекламой папиросной бумаги, рома, выступлений акробатов и предстоящих скачек, встреча с ней там, где зелень деревьев разбивает тяжелую массу стен и крыш, впечатляет меня, как никогда, потому что это впечатление родилось там, где кончаются границы известного нам мира. Вечерами, проходя мимо кладбища, я встречаю иногда одалисок Матисса, привязанных к деревьям, со спутанными гривами, пропитанными древесным соком. Несколькими метрами дальше, отделенный от меня бесчисленными веками, лежит на спине укутанный саваном призрак Бодлера — целый мир, отрыжка которого ушла в вечность. В темных углах кафе, сплетя руки и истекая желанием, сидят мужчины и женщины; недалеко от них стоит гарсон в переднике с карманами, полными медяков; он терпеливо ждет перерыва, когда он наконец сможет наброситься на свою жену и терзать ее. Даже сейчас, когда мир разваливается, Париж Матисса продолжает жить в конвульсиях бесконечных оргазмов, его воздух наполнен застоявшейся спермой, и его деревья спутаны, как свалявшиеся волосы. Колесо на вихляющей оси неумолимо катится вниз; нет ни тормозов, ни подшипников, ни резиновых шин. Оно разваливается у вас на глазах, но его вращение продолжается...

(Окончание следует)

ВАЦЛАВ ГАВЕЛ

Протест

ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА

Перевод с чешского Т. НИКОЛАЕВОЙ

Действующие лица

Станек.
Ванек.
Место действия: кабинет Станека.

На сцене кабинет Станека. Слева массивный письменный стол, на нем — пишущая машинка, телефон, очки и множество книг и бумаг. За столом — большое окно, выходящее в сад. Справа два удобных кресла — с журнальным столиком между ними. Вдоль всей задней стены — книжные стеллажи, в которые встроен бар. На одной из полок — магнитофон. В правом заднем углу — дверь. На правой стене висит большая сюрреалистическая картина. Когда открывается занавес, на сцене Станек и Ванек. Стоя у письменного стола, Станек с волнением смотрит на Ванека, который в одних носках и с портфелем мнется у дверей и нерешительно поглядывает на Станека. Короткая, напряженная пауза. Потом Станек взволнованно подходит к Ванеку, берет его за плечи, радостно трясет.

Станек. Дружище! Ванек!

Ванек растерянно улыбается. Станек выпускает его из объятий, он уже несколько успокоился.

Вы долго искали?

Ванек. Да нет.

Станек. Я забыл сказать, что вы легко найдете меня по этим цветущим магнолиям... Красота, не правда ли?

Ванек. Да.

Станек. Я всего лишь три года занимаюсь садом, но цветов теперь на них уже в два раза больше, чем у прежнего хозяина. У вас на даче есть магнолии?

Ванек. Нет.

Станек. Очень рекомендую! Я достану для вас отличные саженцы, приеду к вам и посажу! *(Подходит к бару и открывает его.)* Коньяк?

Ванек. Да нет, не надо.

Станек. Ну, хотя бы символически.

Станек разливает коньяк, одну рюмку подает Ванеку, другую берет себе и поднимает ее, словно намереваясь произнести тост.

За встречу!

Ванек. Ваше здоровье!

Оба пьют. Ванека слегка передергивает.

Станек. Я боялся, что вы не придете.

Ванек. Почему?

Станек. Знаете, все как-то странно смешалось... *(Показывает на кресла.)* Пожалуйста, садитесь... *(Ванек садится в кресло и кладет*

© Vaclav Havel, 1978

портфель себе на колени.) А вы за эти годы почти совсем не изменились.

Ванек. Вы — тоже.

Станек. Я? Да что вы! Как-никак пятьдесят. Волосы седеют, здоровье подводит... Я уже не тот, что раньше. Да и все кругом, знаете ли, как-то не способствует хорошему самочувствию. Когда же мы виделись последний раз?

Ванек. Не знаю...

Станек. Может быть, на вашей последней премьере?

Ванек. Возможно.

Станек. Ах, теперь это кажется невероятным... Мы тогда немного повздорили.

Ванек. В самом деле?

Станек. Вы упрекали меня в прекраснодушии и в излишнем оптимизме. Сколько же раз потом я убеждался, что вы были правы! Тогда я, конечно, еще верил, что удастся сохранить хоть что-то от идеалов моей юности, и вы казались мне неисправимым пессимистом.

Ванек. Я совсем не пессимист.

Станек. Вот видите, как все переменилось.

Короткая пауза.

Вы один?

Ванек. Как то есть — один?

Станек. Ну, я хотел сказать, за вами никто не...

Ванек. ...следит?

Станек. Впрочем, для меня это не столь уж важно. Ведь я же сам вам позвонил...

Ванек. Я ничего не заметил...

Станек. Кстати, если вы когда-нибудь захотите отделаться от них, знаете, где это лучше всего сделать...

Ванек. Где?

Станек. В универмаге, смешаться там с толпой, а когда они потеряют вас из виду, проскользнуть в уборную и просидеть там, ну, скажем, часа два. Они наверняка решат, что вы вышли через другой выход, и отправятся восвояси. Нарочно как-нибудь проведите с ними этот эксперимент.

Станек снова подходит к бару, достает оттуда тарелочку с соленым печеньем и придвигает ее к Ванеку.

Ванек. У вас здесь, наверно, спокойно.

Станек. Поэтому-то мы сюда и переехали. Около вокзала просто невозможно было писать. Мы обменялись три года назад. Но больше всего, конечно, меня радует этот сад... Я потом вам его покажу и немножко похвастаюсь.

Ванек. Вы сами в нем работаете?

Станек. Признаюсь вам, сейчас это самая большая моя страсть. Я копаюсь там почти каждый день. Сегодня, например, прививал абрикосы. Я разработал свою методику внесения искусственных и естественных удобрений и свой способ прививок. Вы не поверите, какие это дает результаты. Я потом выберу для вас какие-нибудь черенки...

Станек направляется к письменному столу, вынимает из ящика пачку иностранных сигарет, спички и пепельницу и все это кладет на столик перед Ванеком.

Фердинанд, пожалуйста. Курите.

Ванек. Благодарю.

Ванек берет сигарету и закуривает. Станек усаживается в кресло напротив, оба пьют.

Станек. Ну рассказывайте, как живете.

Ванек. Спасибо. Ничего.

Станек. Оставляют вас хоть иногда в покое?

Ванек. Когда как.

Короткая пауза.

Станек. А как там?..

Ванек. Где?

Станек. Может ли человек, такой человек, как я или вы, это выдержать?

Ванек. Вы имеете в виду тюрьму? А что еще ему остается?

Станек. Насколько я помню, у вас, кажется, был геморрой... Наверно, это ужасно, при тамошней гигиене...

Ванек. Мне давали свечи.

Станек. Вам бы следовало сделать операцию. У меня есть друг. Это наш лучший специалист по геморрою, он просто чудеса творит, я с ним обо всем договорюсь.

Ванек. Благодарю.

Короткая пауза.

Станек. Знаете, то время порой кажется мне каким-то чудным сном... сколько было интересных премьер... вернисажей... докладов... встреч... бесконечные споры об искусстве... А сколько энергии... надежд... планов... затей... идей!.. А винные погребки... и в каждом полно друзей... Лихие попойки, сумасбродства... А девчонки, такие веселые... сколько их вокруг нас вертелось... И сколько при этом мы еще успевали сделать!.. Да, такое уже никогда не вернется! *(Он вдруг замечает, что Ванек сидит в одних носках.)* Ради бога, зачем вы разулись?

Ванек. Гм...

Станек. Напрасно, совершенно напрасно...

Ванек. Да ничего...

Пауза. Оба пьют.

Станек. Они вас били?

Ванек. Нет.

Станек. А вообще-то — там бьют?

Ванек. Иногда. Но политических сейчас не бьют.

Станек. Я много о вас думал.

Ванек. Благодарю.

Короткая пауза.

Станек. Но все равно. Такого мы тогда не предполагали.

Ванек. Чего?

Станек. Чем все это кончится. Вы и то, наверное, не ожидали...

Ванек. Гм...

Станек. Это же гнусно! Понимаете, гнусно! Народом правят подонки... А народ? Неужели это тот же народ, который еще несколько лет назад так прекрасно проявил себя. А сейчас? Кругом одни сгорбленные спины! И всюду эгоизм, коррупция, страх. Что из нас, дорогой мой, сделали? Неужели это все еще мы?

Ванек. Я вижу все не в столь черном свете...

Станек. Не сердитесь, Фердинанд, но вы живете в нормальной среде, вы окружены теми людьми, кто может всему этому противостоять. Вы черпаете друг у друга силу и надежду... Но если б вы только знали, как вынужден жить я. Скажите спасибо, что вы не имеете с этим ничего общего. Меня от всего этого просто выворачивает.

Ванек. Вы имеете в виду телевидение?

Станек. И телевидение, и кино, и все прочее!

Ванек. По телевидению показывали недавно что-то ваше?

Станек. Вы и представить не можете, что это была за пытка! Больше года не пускали... несколько раз переделывали... изменили и начало, и конец... За что они только не цепляются! Всего боятся! Это что-то невообразимое! Стерилизация и интриги, интриги и стерилизация, сколько раз я уже себе говорил: а не лучше ли на все это плюнуть?.. Забиться в какую-нибудь щель и выращивать абрикосы...

Ванек. Понимаю.

Станек. Только вот человек снова и снова задает себе вопрос: а имеешь ли ты право на такое бегство? А что, если и то малое, что ты сегодня еще в силах сделать, может кому-то что-то дать, прибавить

немножко энергии, приподнять, возвысить... *(Встает.)* Пойду принесу вам какие-нибудь тапочки...

Ванек. Не беспокойтесь... не надо...

Станек. На самом деле не надо?

Ванек. На самом деле не надо.

Станек снова садится. Пауза. Оба пьют.

Станек. А как с наркотиками — давали вам наркотики?

Ванек. Нет.

Станек. Никаких подозрительных инъекций?!

Ванек. Только витаминные.

Станек. В пище наверняка что-нибудь было.

Ванек. Разве только бром — для понижения потенции.

Станек. Но ведь как-то воздействовать на вас они, конечно, пытались?

Ванек. Ну как вам сказать...

Станек. Если не хотите об этом говорить, то и не надо...

Ванек. В определенном смысле главная цель содержания под следствием — это сломить человека морально...

Станек. И заставить... разговориться.

Ванек. Гм...

Станек. Если меня когда-нибудь будут допрашивать — рано или поздно этого, конечно, не миновать,— знаете, что я тогда сделаю?

Ванек. Что?

Станек. Я просто не буду отвечать! Вообще не стану с ними разговаривать. Так будет лучше всего. По крайней мере, сохранится уверенность, что ты не сказал им ничего лишнего...

Ванек. Гм...

Станек. Но в любом случае... у вас, должно быть, крепкие нервы... Все это выдержать и делать то, что вы делаете...

Ванек. Что вы имеете в виду?

Станек. Ну, все эти протесты, петиции, письма... Борьба за права человека... Вообще все то, что делаете вы и ваши друзья...

Ванек. Да особо-то много мы не делаем...

Станек. Не надо скромничать, Фердинанд. Я ведь за всем слежу. Если бы каждый делал то, что делаете вы, ситуация была бы совсем иная. Это же чрезвычайно важно, что здесь у нас есть хотя бы несколько человек, которые не боятся открыто говорить правду... Заступаться за других, называть вещи своими именами... Возможно, это прозвучит немного патетично, но мне кажется, что вы и ваши друзья поставили перед собой почти невыполнимую задачу — пронести через сегодняшнее болото остатки нравственности... Пусть та нить, которую вы прядете, тонка, но, очевидно, именно на ней и держится надежда на нравственное возрождение народа.

Ванек. Вы преувеличиваете...

Станек. Во всяком случае, я это вижу именно так...

Ванек. Надежда живет во всех порядочных людях.

Станек. Но сколько их еще осталось, сколько?!

Ванек. Достаточно.

Станек. Пусть даже так. Но вы у всех на виду...

Ванек. А может, поэтому нам все и проще?

Станек. Я бы не сказал! Чем больше о вас знают, тем большая ответственность на вас возлагается. Люди верят вам, надеются на вас... Ведь вы же до некоторой степени спасаете и их честь... *(Встает.)* Пойду принесу вам тапочки.

Ванек. Не беспокойтесь, это и вправду лишнее.

Станек. Стоит мне на вас поглядеть, как у меня начинают зябнуть ноги.

Станек выходит из комнаты и вскоре возвращается с тапочками, он быстро нагибается— и Ванек, не успев воспротивиться, оказывается в тапочках.

Ванек *(смущенно).* Благодарю...

Станек. Что вы, Фердинанд, за что?

Станек идет к бару, достает оттуда коньяк и хочет снова налить Ванеку.

Ванек. Мне больше не надо, пожалуйста...

Станек. Почему — не надо?

Ванек. Я как-то не очень хорошо себя чувствую...

Станек. Вы там, наверное, отвыкли, а?

Ванек. И это тоже, но главное, я вчера... по стечению обстоятельств...

Станек. Понимаю. Вчера как следует погуляли... Послушайте, а вы знаете этот новый винный погребок «У собаки»?

Ванек. Нет.

Станек. Там у них вино прямо из старых подвалов, и при этом совсем недорого. Народу немного, и атмосфера просто замечательная. Во многом благодаря художникам, которым они заказали оформление зала. Очень вам рекомендую! А где вы вчера были?

Ванек. Да знаете ли, пошли мы с моим другом Ландовским...

Станек. Тогда ясно. Это и не могло кончиться иначе. Он, вне всяких сомнений, выдающийся актер, но эти его запои — это же катастрофа!.. Ну, еще-то рюмку — вы можете себе позволить...

Станек наливает коньяк Ванеку и себе, ставит бутылку обратно в бар и садится в кресло. Короткая пауза.

Ну, а как вообще дела? Что-нибудь пишете?

Ванек. Пытаюсь...

Станек. Пьесу?

Ванек. Одноактную...

Станек. Недавно мы с женой читали эту вашу... о том, как вы работали в пивоварне... Мы получили такое удовольствие...

Ванек. Приятно слышать.

Станек. К сожалению, у нас была очень плохая копия...

Ванек. Жаль, очень жаль...

Станек. Это просто шедевр! Только вот конец показался мне немножко неясным, хотелось бы, чтоб вы дотянули до какого-нибудь однозначного смысла, вы ведь в этом мастер...

Пауза. Оба пьют коньяк. Ванека слегка передергивает.

Ну, а что еще хорошего? Что слышно о Павле? Вы с ним видитесь?

Ванек. Да.

Станек. Он пишет?

Ванек. Он сейчас тоже дописывает одноактную пьесу... Ее должны ставить вместе с моей...

Станек. Надеюсь, вы с ним не выступаете как соавторы?

Ванек. В какой-то степени.

Станек. Откровенно говоря, Фердинанд, я этот ваш альянс все-таки не понимаю... Не насилуете ли вы себя? Этот Павел... Я не знаю... но вы только вспомните, как он начинал... Ведь мы принадлежим к одному поколению... И наше развитие шло, так сказать, по одной и той же траектории... Но признаюсь вам: то, что выделывал он, даже и для меня было слишком! В конце концов это, конечно, ваше дело, и вы сами, наверное, лучше других знаете, как вам себя вести.

Ванек. Да.

Оба пьют. Ванека слегка передергивает.

Станек. Ваша жена любит гладиолусы?

Ванек. Не знаю. Наверно.

Станек. Столько оттенков, как у меня, вы мало где найдете. У меня гладиолусы тридцати двух цветов, в то время как в садоводствах их самое большее — шесть. Как вы думаете: ваша жена обрадуется, если я ей пошлю несколько хороших луковиц?

Ванек. Конечно.

Станек. Она еще успеет их посадить.

Станек встает, подходит к окну, выглядывает наружу, некоторое время задумчиво расхаживает по кабинету, а потом вдруг резко поворачивается к Ванеку.

Фердинанд!

Ванек. Да?

Станек. Скажите, а вас не удивило, что я ни с того ни с сего вдруг позвонил вам?

Ванек. Немного удивило.

Станек. Я так и думал. Я ведь все-таки принадлежу к тем, кто еще держится на поверхности, и, понимаю, что вы хотя бы из-за этого относитесь ко мне с определенной сдержанностью...

Ванек. Я? Да нет...

Станек. Возможно, вы лично и нет, но мне известно, что некоторые ваши друзья каждого, кто сегодня хоть на какой-либо официальной должности, считают или отступником, или человеком, обманывающим самого себя.

Ванек. Я так не считаю...

Станек. Даже если б вы так и считали, я все равно бы на вас не сердился, потому как прекрасно понимаю, откуда идет этот предрассудок.

Неловкая пауза.

Фердинанд!..

Ванек. Да?

Станек. Я знаю, как дорого вам приходится платить за то, что вы делаете... Но поверьте, что человек, которого официальная система, к счастью или, наоборот, к несчастью, все еще признает и который при этом хочет остаться в ладах с собственной совестью... ему тоже не очень-то легко...

Ванек. Я верю.

Станек. В определенном смысле, может быть, даже еще труднее.

Ванек. Понимаю.

Станек. Но позвал я вас, естественно, не для того, чтобы перед вами оправдываться... И главное, я не знаю — в чем... Позвал, скорее, потому, что люблю вас... И мне было бы неприятно, если б вы разделяли те предрассудки, которые, по моим предположениям, есть у ваших друзей.

Ванек. Насколько мне известно, никто о вас плохо не говорит.

Станек. Даже Павел?

Ванек. Даже Павел.

Неловкая пауза.

Станек. Фердинанд!

Ванек. Да?

Станек. Извините...

Станек подходит к магнитофону и включает его. Звучит тихая музыка.

Фердинанд, вам говорит что-нибудь имя Явурек?

Ванек. Вы имеете в виду песенника? Я его хорошо знаю.

Станек. Тогда вам, наверное, известно, что с ним случилось?

Ванек. Конечно. Его арестовали за то, что он во время какого-то своего выступления рассказал анекдот о полицейском, который встретил на улице пингвина.

Станек. Это, конечно, только предлог... Он портил им кровь, потому что пел так, как он пел! О, как все это жестоко, бессмысленно, подло...

Ванек. И трусливо...

Станек. И трусливо... Я пытался для него кое-что сделать... через своих знакомых в городском комитете и в прокуратуре. Знаете, как это обычно бывает... Все всё обещают и тут же о своих обещаниях

«забывают», потому что не хотят ничем рисковать! Как это гнусно, каждый дрожит за свою шкуру!

Ванек. Но все равно это замечательно, что вы пытались что-то для него сделать...

Станек. Милый Фердинанд, я ведь действительно не тот, за кого меня, очевидно, в этих ваших кругах принимают.

Неловкая пауза.

Так вот, об этом Явуреке...

Ванек. Да, я слушаю...

Станек. После того как мне ничего не удалось для него сделать путем личных связей, я решил: необходимо предпринять что-то еще... Вы понимаете, что я имею в виду... Написать какой-нибудь протест или петицию... Об этом я, собственно, и хотел с вами поговорить. В таких делах у вас, естественно, гораздо больше опыта, чем у меня. Если бы такую бумагу подписало несколько именитых людей, таких, например, как вы,— то наверняка это имело бы отклик где-нибудь за рубежом. Письмо бы опубликовали, возникло бы определенное общественное мнение, а это оказало бы и политическое воздействие... Конечно, и это не особо действенная мера, но я, честное слово, не знаю, как иначе помочь этому парню... Об Анче... я уже и не говорю...

Ванек. Об Анче?

Станек. Это моя дочь.

Ванек. Ваша?

Станек. Да.

Ванек. Она...

Станек. Я думал, вы знаете...

Ванек. Что?

Станек. Она ждет ребенка от Явурека.

Ванек. Ага, так поэтому...

Станек. Погодите-погодите... Если вы думаете, что это дело интересует меня только по семейным соображениям...

Ванек. Я знаю, что нет...

Станек. Но вы сказали...

Ванек. Я хотел только сказать, что теперь мне понятно, почему вы знаете об этом деле. Странно было бы предполагать, что вы держите в поле зрения всех молодых песенников... Простите, если это прозвучало как-нибудь неловко...

Станек. Уверяю вас, я предпринял бы определенные шаги, если бы от Явурека ждала ребенка и не моя дочь.

Ванек. Я знаю.

Неловкая пауза.

Станек. А что вы скажете насчет моей идеи написать какой-нибудь протест?

Ванек начинает что-то искать в своем портфеле. Наконец находит какую-то бумагу и подает ее Станеку.

Ванек. Вы, очевидно, думали о чем-нибудь вроде этого?

Станек берет из рук Ванека бумагу, стремительно подходит к письменному столу, находит очки, надевает их и начинает внимательно читать. Длительная пауза. Читая, Станек проявляет явные признаки удивления. Дочитав наконец текст, он снимает очки, откладывает их в сторону и начинает взволнованно расхаживать по комнате.

Станек. Это просто замечательно! Вот так удача! Я здесь сижу, мучаюсь, не знаю, как быть. В конце концов решаюсь посоветоваться с вами, а у вас, оказывается, все уже давно готово! Разве это не чудо? Да нет, я знал, что обращаться надо именно к вам...

Станек идет к письменному столу, садится, снова надевает очки и снова читает текст.

Именно то, что я хотел! Коротко, ясно, сдержанно и при этом так значительно! Сразу видно, что писал профессионал! Я бы просидел над этим сутки и все равно не написал бы так здорово!

Ванек краснеет от смущения.

Послушайте, вот только одна мелочь... Вы думаете, слово «произвол» в конце совершенно необходимо? Может быть, стоит подыскать какой-нибудь более спокойный синоним? Мне кажется, это как-то не соответствует контексту. Все написано очень по-деловому и сдержанно, а концовка звучит как-то слишком уж эмоционально. У вас нет такого впечатления?.. А все остальное на редкость точно! Разве только второй абзац... Он вроде как бы лишний. И даже несколько ослабляет содержание первого. Но с другой стороны, там есть, конечно, весьма важная мысль о влиянии Явурека на неформальную молодежь. Ее обязательно нужно оставить. Но лучше бы переместить этот пассаж вот сюда, в конец — вместо слова «произвол», так выглядело бы весьма солидно. Но все это, так сказать, чисто субъективные впечатления. На них можно вообще не обращать внимания. В целом это совершенно великолепно! И свою роль ваше письмо, вне всякого сомнения, сыграет. Я вновь должен выразить, Фердинанд, свое восхищение вашим даром ярко и кратко изложить суть дела и избежать при этом возможных нападок — это мало кто из нас умеет...

Ванек. Видите ли...

Станек откладывает очки в сторону, подходит к Ванеку, кладет перед ним его бумагу, после чего садится в кресло и отпивает коньяк. Короткая пауза.

Станек. Как хорошо становится на душе, когда знаешь, что есть человек, к которому всегда по таким вопросам можно обратиться и на которого можно положиться...

Ванек. Но это же естественно...

Станек. Естественно для вас, но в тех кругах, где вынужден вращаться я, подобные вещи естественными не являются... Там естественным было бы нечто противоположное. Стоит человеку попасть в беду, и все сразу от него отворачиваются и — из страха за свое положение — где только могут стараются показать, что никогда не имели с этим несчастным ничего общего и, более того, всегда его осуждали. Да вы сами все это знаете лучше меня! Ведь когда вы были в тюрьме, ваши же старые товарищи по театру выступали против вас в телевизионной передаче!.. Это было отвратительно!

Ванек. Я на них не сержусь.

Станек. А я сержусь! И негодую! Я им это так прямо и сказал! Знаете, человек в моем положении уже научился кое-что понимать, вы уж меня простите! Все имеет свои границы! Я понимаю, что вам, когда речь идет именно о вас, неприятно в чем-либо этих молодых людей упрекать, и больше всего вам хотелось бы вообще забыть об этом. Но если мы все будем терпеть еще и подобное свинство, нам тогда фактически придется взять на себя ответственность за весь этот нравственный распад и признать, что мы сами его усугубляем. Разве я не прав?..

Ванек. Гм...

Короткая пауза.

Станек. Вы уже это отправили?..

Ванек. Нет, только собираем подписи.

Станек. И сколько набрали?

Ванек. Около пятидесяти.

Станек. Пятьдесят? Это хорошо.

Короткая пауза.

Ничего себе, значит, я пришел, как говорится, к шапочному разбору.

Ванек. Да нет.

Станек. Ну, как же нет — все уже идет своим ходом.

Ванек. Работа в самом разгаре.

Станек. Хорошо, но письмо будет отправлено и опубликовано, это же ясно. Кстати, мне кажется, не стоит пока давать его западным агентствам, что толку от коротенького сообщения, на которое никто не обратит внимания. Лучше передать письмо непосредственно в ка-

кую-нибудь влиятельную европейскую газету, чтоб протест был опубликован целиком и с подписями.

Ванек. Да, конечно.

Короткая пауза.

Станек. Они уже в курсе?

Ванек. Вы имеете в виду полицию?

Станек. Да.

Ванек. Не знаю, скорее всего нет.

Станек. Послушайте, я не хочу вам ничего советовать, но мне кажется, что сейчас вам надо не подписи собирать, а поскорее отослать письмо. Не то они об этом прознают и как-нибудь да помешают! Пятьдесят подписей, этого вполне достаточно... В конце концов дело не в количестве имен, а в том, какой они имеют вес.

Ванек. Важна каждая подпись.

Станек. Разумеется. Но для формирования общественного мнения за рубежом очень важно, чтоб здесь были какие-нибудь громкие имена. Скажите, Павел тоже подписал?

Ванек. Да.

Станек. Это хорошо. Сейчас его имя, что там ни говори, известно во всем мире.

Ванек. Конечно.

Короткая пауза.

Станек. Послушайте, Фердинанд...

Ванек. Да.

Станек. Я хотел бы поговорить с вами еще кое о чем. Дело это, конечно, довольно-таки деликатное...

Ванек. Это прекрасно...

Станек. И вот я подумал... Просто я был бы очень рад... В ваших кругах много людей, которые лишились работы... Я хочу помочь им. Вы не могли бы принять от меня какую-нибудь сумму?

Ванек. Очень благородно с вашей стороны... У некоторых ребят с деньгами действительно туго... Но понимаете ли, всегда возникает проблема, как сделать так, чтобы они... Ведь чем больше человек нуждается, тем решительнее он отказывается.

Станек. Разумеется, это не бог весть какая сумма, но ведь бывают ситуации, когда дорожишь каждой кроной...

Станек подходит к письменному столу, вынимает из ящика две купюры, потом на какое-то мгновенье задерживается, прибавляет к ним еще одну и подает Ванеку.

Ванек. Спасибо... Сердечно благодарю от имени всех...

Станек. Мы должны помогать друг другу! То, что это от меня, говорить не надо. Речь ведь не о том, чтоб воздвигнуть памятник самому себе... На сей счет, впрочем, вы уже могли убедиться...

Ванек. Да, еще раз благодарю...

Станек. Ну. как — вы не хотите посмотреть на мой сад?

Ванек. Пан Станек?

Станек. Да?

Ванек. Завтра мы хотим это отправить. Я имею в виду протест по поводу ареста Явурека.

Станек. Замечательно! Чем раньше, тем лучше.

Ванек. Так что еще сегодня...

Станек. Сегодня вам прежде всего надо как следует выспаться! Не забывайте, что вы с перепоя, а завтра у вас — трудный день.

Ванек. Я знаю... Я только хотел сказать...

Станек. Лучше идите прямо домой и отключите телефон. Не то вам снова позвонит Ландовский, и бог знает чем все это кончится.

Ванек. Да, мне осталось только кое к кому забежать... А потом — сразу домой. Я только хотел сказать... Если вы, конечно, сочтете это целесообразным... было бы, конечно, замечательно... ведь ваш «Крах» прочитал практически каждый грамотный человек...

Станек. Боже мой, Фердинанд! Ведь с тех пор прошло уже пятнадцать лет!

Ванек. Но люди об этом не забыли...

Станек. Так что было бы замечательно?..

Ванек. У меня создалось впечатление, что вы бы тоже охотно...

Станек. Что?

Ванек. Присоединились.

Станек. Вы думаете... *(Показывает рукой на бумагу.)*... к этому?

Ванек. Гм...

Станек. Я?

Ванек. Простите, но мне показалось...

Станек допивает свой коньяк, направляется к бару, достает бутылку, наливает себе снова, ставит бутылку обратно в бар, снова пьет, потом задумчиво подходит к окну, некоторое время смотрит в сад, после чего с улыбкой поворачивается к Ванеку.

Станек. Вот это здорово!

Ванек. Что здорово?

Станек. Разве вы не чувствуете всю абсурдность ситуации? Я приглашаю вас, чтобы попросить написать что-нибудь в защиту Явурека... Вы показываете мне готовый текст, под которым — замечу! — уже пятьдесят подписей!.. Я не верю ни глазам своим, ни ушам... Радуюсь, как дитя:.. Мучаю себя вопросом, что бы такое предпринять, чтоб вам никто не помешал... и при этом мне даже в голову не приходит мысль, которая сама собой должна была бы возникнуть, а именно: что я тоже должен это подписать! Ну, скажите, разве это не абсурдно?

Ванек. Гм...

Станек. Ведь это же, Фердинанд, красноречивейшим образом свидетельствует, в какой ситуации мы все оказались! Вы только вдумайтесь: я, прекрасно все понимая, тем не менее уже привык к тому, что для подписания таких бумаг существуют специалисты — профессионалы в области солидарности, диссиденты, правозащитники, и когда нам, то есть всем остальным, нужно, чтобы кто-то выступил в защиту порядочности, мы уже автоматически обращаемся к вам — как в какую-то коммунальную контору по делам нравственности! — а сами мы существуем только для того, чтобы держать рот на замке и иметь за это относительный покой, вы же существуете для того, чтобы говорить за нас и получать в награду пинки при жизни и славу на небесах... Понимаете, насколько все извращено?

Ванек. Гм...

Станек. И до чего же дело далеко зашло, если даже сравнительно интеллигентный и порядочный человек, каким я, с вашего позволения, все еще себя считаю, воспринимает всю эту ситуацию как нечто нормальное и естественное. Гнусность, да и только! Ну, что вы скажете?..

Ванек. Конечно...

Станек. Вы думаете, наш народ когда-нибудь еще придет в себя? Воспрянет духом?

Ванек. Трудно сказать...

Станек. Что делать? Что делать? Теоретически ясно: каждый должен начать с себя. Но разве здесь живут одни только Ванеки? Очевидно, не каждый может быть борцом за права человека.

Ванек. Конечно нет.

Станек берет с письменного стола очки и подходит к Ванеку.

Станек. Где это у вас?

Ванек. Что?

Станек. Эти листы с подписями.

Неловкая пауза.

Ванек. Пан Станек...

Станек. Что?

Ванек. Не сердитесь, пожалуйста, но у меня вдруг возникло такое ощущение...

Станек. Какое ощущение?

Ванек. Я не знаю... Мне ужасно неприятно... Но мне кажется, что, с моей стороны, это было не совсем корректно...

Станек. Что — не совсем корректно?

Ванек. Получается, я вас, как бы это сказать, вынудил...

Станек. Вынудил?

Ванек. Сначала я дал вам высказаться и только потом предложил подписаться... И вы вроде как бы были уже обязаны... после того, что вы сейчас говорили...

Станек. Вы хотите дать мне понять, что, если бы я знал о том, что вы собираете подписи в защиту Явурека, я бы вообще о нем не заговорил?

Ванек. Нет, не это.

Станек. А что?

Ванек. Как бы сказать...

Станек. Может, вам не нравится, что мне самому это не пришло сразу в голову?

Ванек. Не в том дело...

Станек. А в чем же тогда?

Ванек. Просто мне кажется, что, приди я к вам непосредственно за подписью, все выглядело бы по-другому. У вас была бы возможность выбора.

Станек. А почему вы, собственно, не пришли ко мне за подписью? Заранее исключили возможность, что я подпишу?

Ванек. Я думал, что... в вашем положении...

Станек. Вот мы наконец и выяснили, какого вы обо мне мнения. Вы думаете, ради того, чтобы у меня время от времени появлялась какая-нибудь ерунда на телевидении, я откажусь от себя, откажусь от проявления элементарной человеческой солидарности.

Ванек. Вы не поняли меня. Я хотел только сказать...

Станек садится в кресло, отпивает коньяк.

Станек. Я вам кое-что скажу, Фердинанд... Если я, сам того не замечая, привык к мысли, что на вопросах морали у нас специализируются диссиденты, то и вы незаметно для себя тоже к ней привыкли! И вы нисколько не задумываетесь над тем, что и для меня — да-да, и для меня — некоторые вещи могут представлять бóльшую ценность, чем теперешнее мое положение. А что, если и я хочу наконец стать свободным человеком?! Что, если и я хочу вернуть себе внутреннюю цельность и мечтаю сбросить с себя этот камень унижения! Вам, очевидно, трудно понять, что этого момента я, быть может, ждал уже много лет! А вы взяли да и списали меня! Я для вас «безнадежный случай». С такими и связываться не стоит. А теперь, когда вы убедились, что и мне небезразлична судьба другого человека, когда вам стало ясно, что и я мог бы поставить свою подпись,— а прежде вы и мысли такой не допускали! — вы тут же, спохватившись, начали передо мной извиняться... Неужели вы не понимаете, как вы меня этим унизили! А вдруг и я долгие годы надеялся, что представится случай действовать, что надо будет принимать решение, которое вернет мне мужество, уверенность в себе, фантазию, жизнерадостность, юмор и, наконец, избавит от необходимости бежать от этой жизни к моим абрикосам и магнолиям. Что, если и я хочу предпочесть всем благам жизнь по совести и вернуться в мир искусства, которое никому не должно служить?!

Ванек. Простите, я не хотел вас обидеть.

Ванек открывает свой портфель, с минуту в нем что-то ищет, наконец медленно вынимает подписной лист и подает его Станеку. Станек не спеша встает и с листом в руках идет к письменному столу. Садится, надевает очки и внимательно изучает

подписи; дойдя до определенной фамилии, покачивает головой. Потом он снимает очки, встает, некоторое время в задумчивости расхаживает по комнате и наконец поворачивается к Ванеку.

Станек. Вы позволите мне порассуждать вслух?

Ванек. Конечно.

Станек отпивает коньяк, потом опять начинает расхаживать по комнате, произнося при этом свой монолог.

Станек. Что касается субъективной стороны дела, мне кажется, самое существенное я уже сказал. Подписав вот это, я после многолетней тошнотворной лжи вновь обретаю уважение к самому себе. Обретаю свою утраченную свободу и достоинство, а возможно, и некоторое признание со стороны нескольких близких мне людей. Кроме того, я избавлюсь от неразрешимых дилемм, в которые меня ввергает постоянный конфликт между беспокойством за свое положение и совестью. Анче, себе и тому молодому человеку, когда он оттуда вернется, я смогу без стыда и страха посмотреть прямо в глаза. Чем я за это заплачу? Потерей работы, которая не только меня не удовлетворяет, но даже и наоборот — унижает, однако, вне всякого сомнения, кормит лучше, чем... если бы я служил, скажем, ночным сторожем. Моего сына, очевидно, не примут в институт, но зато он будет уважать меня куда больше, чем если бы он попал в него ценой моего отказа подписать письмо в защиту Явурека, которого он, кстати сказать, боготворит. Такова субъективная сторона дела...

А какова же его объективная сторона? Что будет, если среди подписей нескольких известных диссидентов и молодых друзей Явурека вдруг, вопреки всем ожиданиям и ко всеобщему удивлению, появится и моя подпись — подпись человека, который в течение многих лет никак себя в гражданском отношении не проявлял. Остальные подписавшиеся и многие из тех, кто хоть и не подписывает, но внутренне сочувствует «подписантам», моей подписью, естественно, будут обрадованы. Замкнутый круг постоянных правозащитников, чьи подписи теряют в цене из-за того, что практически уже ничем не оплачиваются, потому как эти люди уже давно сполна за все заплатили,— будет разорван. А тут вдруг появляется новое имя, интересное хотя бы тем, что до сих пор в подобных списках еще никогда не появлялось. И конечно же, тем, что за участие в такой акции будет дорого заплачено. Это объективный плюс в пользу моей возможной или предполагаемой подписи под протестом. Что же касается властей, то моя подпись их удивит, разозлит, встревожит именно тем, чем она обрадует и подписавшихся, и сочувствующих, то есть брешью в той стене, которой власти вас так давно и так старательно окружают.

На судьбе самого Явурека мое участие в этой кампании серьезно не отразится, а если и отразится, то, скорее, негативно. Власть захочет доказать, что она не поддается панике и сюрпризы такого рода ее основы не потрясут. Но тем большее влияние будет иметь моя подпись на мою собственную судьбу. Накажут меня куда более сурово, чем можно было бы ожидать, ибо это наказание будет показательным. Оно должно наглядно продемонстрировать всем желающим пойти по моему пути, то есть выбрать свободу и множить ряды диссидентов, почем у нас нынче фунт лиха. Диссидентской активности в рамках уже установленного гетто они не очень боятся. В некотором отношении она им даже на руку, но тем больше страшатся они любого признака, свидетельствующего о том, что стены этого гетто могут рухнуть. И, наказав меня по всей строгости, они будут надеяться, что вспышку эпидемии им удалось погасить в самом начале...

Остается вопрос, какой отклик вызовет моя подпись в кругах тех, кто так или иначе пошел по пути приспособленчества, то есть у людей, от которых в конечном счете больше всего и зависит, что будет со всеми нами дальше. Ведь все надежды на будущее сейчас связаны с тем, удастся ли пробудить их всех от кошмарного сна и поднять на

активные гражданские действия. Боюсь, что именно в этих наиболее важных слоях общества моя подпись вызовет однозначно неблагоприятный отклик. Ведь все там тихо ненавидят диссидентов, воспринимая их как свою больную совесть, как живой укор и одновременно... завидуют им, их внутренней свободе и достоинству, то есть тем ценностям, в которых им отказано самой судьбой. Уже только поэтому они используют любую возможность, чтобы очернить диссидентов. И такую возможность они увидят и в моей подписи. Они станут утверждать, что вы, которым уже нечего терять, которые давно на дне ямы и даже успели на этом дне довольно-таки неплохо обосноваться, что вы затягиваете туда обыкновенного человека, который попал в беду и растерялся, но который тем не менее все еще держался на поверхности, а вот вы безответственно тянете его на дно только ради своей прихоти и амбиций, только чтобы немножко подразнить режим и создать фальшивую иллюзию, будто ваши ряды множатся... ни на секунду при этом не задумываясь, на какое существование вы этого человека обрекаете, выбивая почву из-под его ног и не давая ему никаких гарантий, что хоть как-то позаботитесь о нем там, на дне ямы...

Не сердитесь, Фердинанд, просто я слишком хорошо знаю образ мыслей этих людей: ведь я вынужден каждодневно с ними соприкасаться, и поэтому я абсолютно уверен в том, что они преподнесут меня как жертву, как простака, чьим добросердечием и личной привязанностью к Явуреку вы цинично злоупотребили. И в этой связи, скажут они, не могут не возникнуть сомнения в вашей нравственности и подлинности тех гуманных целей, которыми вы так хвастаетесь, более того, вопрос об этом встанет с новой остротой! А уж как воспользуются этим режим и полиция, мне вам объяснять незачем.

Другие люди, более интеллигентные, возможно, скажут, что появление моего имени в ваших списках рассчитано прежде всего на то, чтобы произвести сенсацию, отвлекающую внимание от главного — то есть от дела Явурека. И получится, что мое участие вообще поставит протест под сомнение... потому как у людей возникает вопрос: что же, собственно, было главным для вдохновителей этого протеста — стремление спасти Явурека или желание во что бы то ни стало продемонстрировать мое свежеиспеченное диссидентство? Возможно и такое мнение: Явурек, собственно, стал очередной вашей жертвой, а его несчастье было вами использовано в целях, весьма далеких от искренней заинтересованности в судьбе пострадавшего. Тем более что, заполучив мою подпись, вы лишаете меня возможности, которая у меня пока еще есть, оказать Явуреку реальную помощь.

Поймите меня правильно, Фердинанд... Я не собираюсь придавать подобной реакции слишком большое значение. И тем более подчинить ей свои действия. Но с другой стороны, в интересах нашего дела — все это необходимо учитывать. В конце концов речь идет о решении политическом. А хороший политик должен принимать во внимание все обстоятельства, способные повлиять на конечный результат его действий.

Итак, если учитывать совокупность всех обстоятельств, вопрос теперь может звучать следующим образом: что лучше — отдать предпочтение стремлению обрести внутреннюю свободу, которую, безусловно, даст мне подпись под протестом, но которая будет оплачена объективно негативным результатом, или уступить иной альтернативе — без моей подписи протест будет иметь более благоприятный исход, но заплатить за это придется горьким сознанием, что я снова и, может быть, уже в последний раз упускаю шанс вырваться из плена тех компромиссов, которые уже столько лет унижают меня... Иными словами, если я действительно хочу поступить нравственно — и теперь, я надеюсь, вы в этом не сомневаетесь,— чем же я, собственно, должен руководствоваться: безжалостными по отношению к себе объективными аргументами или субъективным внутренним чувством?

Ванек. Мне здесь все ясно.

Станек. Мне — тоже.

Ванек. Так что?..

Станек. К сожалению...

Ванек. К сожалению?

Станек. А вы думали?

Ванек. Простите... Кажется, я вас неправильно понял.

Станек. Мне очень неприятно, если я...

Ванек. Ничего, ничего...

Станек. Но я на самом деле считаю...

Ванек. Я понимаю.

Станек берет с письменного стола листы с подписями, с улыбкой подает их Ванеку, который растерянно сует их в портфель вместе с текстом протеста. Станек подходит к магнитофону, выключает его, возвращается к журнальному столику и медленно опускается в свое кресло. Оба пьют. Ванека слегка передергивает. Долгая неловкая пауза.

Станек. Вы на меня сердитесь?

Ванек. Нет.

Станек. Но вы не согласны со мной?

Ванек. Я уважаю чужое мнение.

Станек. И все-таки что вы думаете по этому поводу?

Ванек. Что я могу думать?

Станек. Но это же совершенно ясно...

Ванек. Что вы имеете в виду?

Станек. Вы думаете, что, увидев все эти подписи, я не мог не испугаться.

Ванек. Я так не думаю.

Станек. У вас на лице написано.

Ванек. Серьезно, я...

Станек. Почему бы вам не сказать мне правду? Вы понимаете, что своей снисходительной неискренностью вы обижаете меня больше, чем если бы вы мне все сказали прямо? Или, может, я вообще не достоин даже и вашего комментария?

Ванек. Я уже сказал, что уважаю чужое мнение...

Станек. Я не идиот, Ванек!

Ванек. Я знаю.

Станек. И потому ясно вижу, что скрывается за этим вашим уважением.

Ванек. Что?

Станек. Чувство нравственного превосходства.

Ванек. Это неправда.

Станек. Только я не знаю, имеете ли вы... именно вы... право на такую гордость...

Ванек. Что вы хотите этим сказать?

Станек. Вы прекрасно знаете.

Ванек. Не знаю.

Станек. Значит, вы хотите, чтоб я вам сказал?

Ванек. Да.

Станек. Насколько мне известно, в этой своей тюрьме вы говорили больше, чем следовало бы...

Ванек вскакивает и, вытаращив глаза, смотрит на Станека, Станек победно усмехается. Короткая напряженная пауза. В это время раздается телефонный звонок. Ванек подавленно опускается в кресло. Станек направляется к письменному столу и снимает трубку.

(*В телефонную трубку.*) Да, привет!.. Что-что?.. Не может быть!.. Да это же... погоди... Ага-ага... А где вы сейчас?.. Да! Конечно!.. Ну, разумеется! Замечательно!.. Да!.. Буду ждать! Привет!

Станек кладет трубку и тупо смотрит перед собой. Долгая пауза. Ванек растерянно встает. Станек только сейчас осознает, что Ванек все еще здесь, и, с трудом сдерживая раздражение, поворачивается к нему.

Можете все это сжечь внизу, в котельной!

Ванек Что?

Станек. Несколько минут назад он пришел к Анче в университетскую столовую.

Ванек. Кто?

Станек. Да Явурек же!

Ванек. Что вы говорите?! Они отпустили его? Это же замечательно! Так, значит, ваше вмешательство в конце концов возымело действие! Хорошо, что мы не послали это письмо раньше... А то они бы заупрямились, и его бы не выпустили.

Станек некоторое время изучающе смотрит на Ванека. Потом внезапно улыбается, стремительно подходит к нему и дружески обнимает за плечи.

Станек. Не мучайтесь, друг мой! Никогда не скажешь, что поможет, а что навредит. Риск всегда существует. А если все время о нем думать, то мы вообще ничего не могли бы сделать. Пойдемте в сад, я выберу для вас черенки!

Станек берет Ванека под руку и ведет его к дверям кабинета. Ванек смешно шаркает ногами, ибо любезно предоставленные тапочки ему безнадежно велики.

Конец

Быть или казаться?

О драматургии Вацлава Гавела

Видный чешский интеллектуал и лидер движения против авторитарного режима, более пяти лет проведший в заключении и отказавшийся выйти из него в обмен на эмиграцию, ныне президент Чешской и Словацкой Федеративной Республики, Вацлав Гавел известен и как писатель-драматург. Его отличает свое, особое видение гражданских, философских и нравственных проблем нашего времени, свое понимание человеческой личности, во многом необычная художественно-интеллектуальная структура сценических произведений.

На долю Гавела выпал нелегкий жизненный путь. Происходя из семьи владельца пражской киностудии «Баррандов», он разделил в 50-е годы судьбу тех, для кого был ограничен доступ к знаниям. Ему пришлось кончать вечернюю гимназию, работая одновременно по восемь часов в день лаборантом-химиком. Лишь позднее удалось получить высшее гуманитарное образование. В театр, куда его неудержимо влекло, он поначалу смог устроиться только рабочим сцены и лишь со временем, войдя в творческий коллектив, становится помощником режиссера и завлитом. Первые пьесы Гавела — «Уведомление», «Праздник в саду», «Где уж тут сосредоточиться» — появились в 60-е годы. Их постановки сразу принесли автору популярность. Однако после 1968 года, когда Вацлав Гавел возглавил Клуб независимых писателей, его сочинения были запрещены, его драмы надолго исчезли с отечественной сцены и ставились лишь за рубежом. Только один раз друзья писателя сумели проломить стену молчания, ухитрившись сыграть одну из его комедий в предместье Праги. Это была «Грошовая опера» (1972) с веселым сюжетом из жизни мафии. Местные власти, разрешившие постановку, спутали, видимо, пьесу с брехтовской, совпадающей по названию. Премьера наделала немало шуму. Дальнейшие представления, естественно, были отменены. Но автор, присутствовавший на этом единственном спектакле, вспоминал потом, что этот спектакль доставил ему больше радости, чем премьеры его пьес в Нью-Йорке и Токио.

Гавелом написано полтора десятка пьес. В основе почти каждой из них лежит какая-нибудь остроумная находка, непривычный поворот мысли, неожиданный ход, который зритель или читатель чаще всего не может разгадать до самого конца. Но суть дела не столько в очертаниях действия, сколько в метаморфозах, происходящих с его персонажами, которые в финале произведения оказываются совсем иными, чем предстают в начале. Через подобные превращения и раскрываются те или иные стороны доведенных до парадокса и до абсурда человеческих отношений.

Сам автор одной из главных особенностей таких пьес считает интеллектуальный юмор. Гавел говорил о спектаклях театра «На забрадли», где начинался его творческий путь: «Это по большей части гиперболическая или аллегорическая находка, служащая развитию какой-либо критически заостренной мысли социального или морально-этического характера». То же можно сказать и о его собственных драмах. В них ярко выражены черты гротеска, иронии, сатиры. Содержание их пе-

рекликается с философскими вопросами и идеями современной науки о человеке. И вместе с тем все время ощущается атмосфера игры ума, озорной пародии. Особое своеобразие им придает энергичный темп действия и одновременно повторы мотивов, реплик, выражений — повторы как рефрены, как акценты, как средство извлечения нового смысла. Иногда, словно в музыкальном произведении, сталкиваются мотивы и антимотивы и т. д. Зритель оценит также в драмах Гавела элемент фантастики — создание искусственного бюрократического языка, в котором слова не имеют оттенков (пьеса «Уведомление», 1965), мастерство иносказания (политическая аллегория в пьесе «Реконструкция», 1987), искусство намеренной недосказанности, которая активизирует мысль зрителя, создавая дополнительный простор для ассоциаций и «прочтения» метафор, охватывающих иногда целое произведение.

Главная тема драматургии Гавела — кризис человеческой личности, утрата человеком собственного «я». «Хочу я этого или не хочу, — писал он,— планирую предварительно или нет, но в мои драмы все время возвращается, почти назойливо и, конечно же, не случайно, а рождаясь из самого существа тех аспектов бытия, которые избрали меня своим толкователем и выразителем, одна основная тема — тема идентичности человека, тождественности человека самому себе».

Быть или казаться, быть самим собой или только играть некую роль — эту дилемму развивал в чешской литературе еще Карел Чапек, в частности в романе «Жизнь и творчество композитора Фольтына». Теперь она зазвучала в драматургии Гавела, зазвучала как тема кризиса личности человека. Гавел вообще считает это явление одним из главных недугов нашего времени, когда человек, которым манипулируют тоталитарные режимы или анонимные и «безличные» силы гигантских монополий, перестает быть субъектом бытия. Утрата человеком суверенности собственной личности и попытка скрыть это от других и составляет чаще всего основу гротесковых, иногда трагикомических коллизий в драматических произведениях Вацлава Гавела («Искушение», 1985, и др.).

И еще об одной проблеме, которую постоянно затрагивает писатель. Это проблема живого и мертвого сознания, сознания, идущего от жизни, и псевдосознания, идущего от фразы, от стереотипа и шаблона представлений, иногда от изворотливости ума, услужливо поставляющего в моменты малодушия и сделок с совестью оправдательные и маскирующие аргументы. Но вопрос ставится Гавелом и шире: не только человек и фраза, но и человек и слово — слово как сила творящая и сила разрушительная, слово как носитель истины и прибежище фальши, порой на редкость изощренной и утонченной, почти неотличимой от правды. Именно такое ощущение слова и его многоликих возможностей порождает в пьесах Гавела целый спектр разнообразных стилизаций — от прямых пародий на громкую фразу, на бюрократический жаргон чиновников, на словесную ораторскую позу до тонкой игры на грани неразличимости серьезного и пародийного звучания слова.

Мысль о деформирующем воздействии фразы на человеческую личность особенно ярко выражена в пьесе «Праздник в саду» (1963), где главный герой, в совершенстве овладевший искусством фразы и построивший на этом головокружительную карьеру, воспринимается в финале пьесы уже как собственный двойник. Человека вытеснила и заменила фраза.

Неподдельность человеческой личности, ее органическая целостность немыслимы без глубинной нравственной основы. По мнению писателя, в настоящее время вообще во всем мире заметно падение авторитета высших духовных и нравственных ценностей. И вместе с тем пьесы Вацлава Гавела как небо от земли далеки от дидактики, нравоучения, назидательности. И сами нравственные ценности отнюдь не демонстрируются зрителю. Наоборот, раскрывается абсурдность отношений, когда все поставлено с ног на голову. Цель автора — обнажить явление. Но это и должно вызвать у зрителя ответную реакцию. Кто-то из критиков заметил, что положительный герой Гавела — это зритель, которого автор не поучает, а окунает в проблему, заставляет задуматься над изображенным и как бы ощутить тем самым очищение от скверны зла и абсурда.

Особой пластикой отличаются одноактные пьесы Гавела, его знаменитый «ванековский» триптих. Начало было положено в 1975 году юмористическим этюдом «Аудиенция». Гавел рассказывал, что написал его, чтобы развлечь своих друзей, таких же, как и он, «запрещенных» авторов, которые изредка собирались у него на даче. Пьеса представляет собой диалог писателя-диссидента Ванека, поступившего чернорабочим на пивоваренный завод, со своим разговорчивым начальником-пивоваром, который, захмелев, доверительно сообщает писателю, что за ним следят, и просит Ванека помочь ему сочинять рапорты-доносы о его поведении: что, мол, тебе стоит написать о себе — ты же интеллигент, писатель. Ситуация почти швейковская. Пьеса была отчасти навеяна личными впечатлениями автора, которому также пришлось одно время работать на пивоваренном заводе. Впрочем, автобиографические черты в образе Ванека не следует преувеличивать. Главный в пьесе, конечно же, колоритный тип пивовара. Пьеса пришлась по душе не только друзьям Гавела. Через некоторое время она была записана на пленку, причем Ванека играл сам писатель, а пивовара — его друг актер Павел Ландовский. Запись получила вскоре распространение и стала широко известной. «Я не раз сталкивался с тем, что совершенно незнакомые мне люди (встреченные, например, где-нибудь в ресторане или случайные попутчики, которых я подвозил на машине) не только

знали пьесу, но и помнили наизусть некоторые реплики и повторяли их в соответствующих ситуациях»,— вспоминал Гавел. Позднее появились еще две пьесы того же типа — «Вернисаж» (1975), прекрасный драматический этюд об иллюзорности мещанско-потребительского счастья, и «Протест» (1978), где встреча главного персонажа с Ванеком становится для него испытанием и экзаменом на нравственную чистоту. К образу Ванека пробовали потом обращаться и другие писатели, друзья Вацлава Гавела — Павел Когоут, упоминавшийся уже Ландовский, Иржи Динстбир. Дело в том, что Гавелу удалось в этом образе найти определенный драматургический ключ, найти тип героя, тактичного, почти стеснительного, мало говорящего, но уже самим своим присутствием заставляющего других людей раскрываться, проявлять себя, обосновывать или маскировать свое поведение.

Вацлав Гавел принадлежит к тем художникам, которые не только вдохновенно творят свои произведения, но и углубленно размышляют о самой природе искусства, о его средствах и возможностях. Множество наблюдений на этот счет рассыпано в его статьях и эссе. Делясь своими мыслями о сущности и назначении художественного творчества, он однажды написал: «Каждое подлинное художественное произведение отсылает куда-то за собственные пределы, перерастает само себя и автора, образует вокруг себя своеобразное силовое поле, которое приводит человеческую мысль и чувства в некое движение, хотя и не очень ясное и трудно наперед планируемое автором. Лучи, которые от произведения исходят, невозможно точно исчислить и нельзя увидеть, где они кончаются. Они постепенно слабеют, но уводят в бесконечность. Если бы я не надеялся, что все это в какой-то мере присуще и моим произведениям, я не писал бы их».

С. НИКОЛЬСКИЙ

РИКАРД ФУХС

Рассказы

■

Перевод со шведского Н. ФРЕНКЕЛЬ

Шведский писатель-юморист Рикард Фухс родился в 1951 году. По профессии он врач, многие годы работал в Каролинской больнице Стокгольма — одной из самых известных в Швеции и за рубежом. Писать Фухс начал в 1975 году, тогда же вышла его первая книга «Конечно, вы больны!». Потом были написаны «Рецепт не нужен» (1977), «Пластырь на раны» (1980), «Конечно, вы можете летать!» (1983).

Предлагаемые читателям рассказы взяты из книги Фухса: «Удивительные чудаки» (1981).

Герои рассказов и юморесок Фухса — «чудаки»: чудаки-пациенты и чудаки-врачи, это типажи вечные и в то же время современные, вызывающие скорее сочувствие, нежели смех. Может быть, медицина, которой Фухс отдал столько времени и сил, делает целительной его улыбку?

Человек-тостер

— Я — тостер,— сказал он.

Я взглянул на него. Он не был похож на тостер: обыкновенный человек лет сорока в сером костюме, бежевой рубашке и серовато-бежевом галстуке. Никогда я еще не видел тостер в серовато-бежеватом галстуке.

— Вот как? — сказал я.

— Я — тостер,— повторил человек.

Он напоминает пластинку, которую заело, подумал я. Но с другой стороны, я никогда не видел пластинки в серовато-бежеватом галстуке.

— Я — тостер,— сказал человек в третий раз.— Вот посмотрите,— добавил человек в сером костюме и серовато-бежеватом галстуке. Из внутреннего кармана он достал два ломтика белой французской булки.— Посмотрите,— повторил он. И засунул по ломтику хлеба в боковые карманы, один — в левый, другой — в правый.— Вы какой любите хлеб? — спросил он.— Сильноподжаристый, средне или слегка? Или вы предпочитаете сильноподрумяненный?

— Спасибо, я люблю среднеподжаристый,— ответил я.

Конечно, я не поверил ему, но я никогда не любил сильноподжаристый хлеб и поэтому попросил среднеподжаристый. Человек стоял молча. Примерно через сорок пять секунд из его карманов выскочили ломтики хлеба. Все это время он держал руки за спиной. Ломтики выскакивали сами собой, и человек быстро ловил их в воздухе, не давая им упасть на пол.

— Пожалуйста,— сказал он и протянул мне хлебцы. Они были что надо. Мне они даже показались немного пережаренными.

— Как это у вас получилось? — спросил я.

— Я — тостер,— ответил человек.

— То есть вы хотите сказать, что у вас в кармане тостер,— поправил я.

— Нет,— возразил человек,— у меня нет тостера в кармане. Я сам — тостер.

© Richard Fuchs, 1981

— Вы — тостер? — глупо повторил я.

— Да, я — тостер. Вы, вероятно, знаете, что это такое?

— Да,— ответил я тихо.— Я знаю, что такое тостер. Но...

— В этом нет ничего особенного,— спокойно сказал человек.— Одни становятся инженерами, другие — врачами, уборщиками, столярами, электриками или машинистами поездов. А вот я стал тостером.

— Вы — тостер? Вы стали тостером?

— Конечно. А что тут удивительного? Одни люди учат, другие рисуют. Я же — тостер. Мой брат, например, пылесос.

— Как, ваш брат — пылесос? Пылесос?

— Да, и к тому же очень хороший. Сильный и надежный, прекрасно всасывает пыль. Ему только надо раз в полгода менять мешочек для пыли.

— Вот как,— сказал я.— Раз в полгода. У вас еще есть братья и сестры?

Человек в сером костюме утвердительно кивнул.

— Еще есть сестра,— сказал он.

— А что она делает? — с сомнением в голосе спросил я.— Она что, тоже пылесос?

— Нет, она продавщица.

— Ах, вот оно что. Не покажете ли вы еще раз свой фокус с хлебом? Получается забавно.

— Вы хотите, чтобы я поджарил хлеб? С удовольствием.

Из внутреннего кармана пиджака он достал два новых ломтика белой французской булки и по одному засунул их в боковые карманы.

— Вы как предпочитаете: сильно-, средне- или слабоподжаристый? — спросил он.

— Спасибо, средне.

Человек заложил руки за спину и мечтательно уставился в потолок. Через сорок секунд из его карманов выскочили ломтики средней поджаристости. Человек слегка поклонился и исчез.

Я снова встретил его уже через несколько лет. Я сразу подошел к нему и поздоровался.

— Вы — тостер,— сказал я, дабы показать, что помню его. Он вопросительно посмотрел на меня.

— Простите, что вы сказали?

— Вы — тостер,— повторил я.— Мы с вами встречались раньше, и я помню, что вы — тостер. Вы мне показывали свою работу: засовывали в карманы ломтики хлеба и поджаривали их. А потом они сами выскакивали оттуда.

Человек посмотрел на меня с удивлением.

— Вы говорите, что я — тостер? — сказал он.

— Ну да,— настойчиво подтвердил я.— Вы же поджаривали ломтики хлеба в карманах пиджака. А потом они сами выскакивали оттуда.

— Что само выскакивало, карманы?

— Да нет же. Ломтики хлеба. Они сами выскакивали из карманов. Уже поджаренные.

Человек смотрел на меня с таким видом, точно разглядывал сумасшедшего. Со смесью любопытства и страха.

— Так вот оно что, значит, я — тостер? — тихо сказал он, немного отступив назад.

Меня охватило сомнение. Может быть, я спутал человека-тостера с кем-то другим? Нет, это был тот же самый мужчина, я хорошо его запомнил.

— Друг мой,— сказал он,— я не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите. Никакой я не тостер, никогда им не был и не собираюсь быть. Я думаю, вам следует обратиться к врачу.— Человек поклонился так же, как и при нашей первой встрече, и исчез.

Вот странный тип, подумал я. Почему он отрицает, что был тостером? Он ведь сам говорил об этом да еще показывал тогда свою работу. Ненормальный он, что ли? И почему он советовал мне обратиться к врачу? Наверное, совсем спятил! Разве холодильники ходят к врачу? Я сильно задрожал и слегка подкрутил свой термостат. Пришло время меня размораживать, и как можно скорее.

Сумасшедший автомобилист

Аллан Перссон — один из самых удивительных сумасшедших, которых я когда-либо встречал, он просто помешан на машинах. Вообще-то таких помешанных хоть пруд пруди. Им бы только мчаться с бешеной скоростью, с кем-нибудь сталкиваться, кого-нибудь насмерть давить. Эти сумасшедшие точно чума, свирепствовавшая в прежние времена, препятствуют перенаселению планеты. Как и войны, автомобилисты помогают поддерживать стабильность населения. Хороший автомобилист в машине средней тяжести соответствует по разрушительной силе примерно взводу автоматчиков. Страна, которая первой вооружит своих солдат небольшими личными автомашинами вместо винтовок, выиграет любую войну. А страна, которая оснастит солдат спортивными машинами с верхним расположением распредвала, завоюет мир. Итак, сумасшедших автомобилистов на земле предостаточно, но Аллан Перссон не обычный сумасшедший. Он, можно сказать, уникальный сумасшедший автомобилист.

Вообще Аллан слыл пренеприятным типом. Он запросто наживал врагов. Для этого ему лишь надо было оставаться самим собой. Говорил Аллан резким, визгливым голосом, который проникал до мозга костей. Он постоянно злился и ненавидел все и вся. Пожалуй, он бы с удовольствием пнул и собственную тень.

Аллан считал, что окружающие его не любят, и это не было заблуждением. Он вызывал неприязнь повсюду и, где бы ни появлялся — во дворе дома или на лестничной площадке,— так и норовил толкнуть кого-нибудь. Подставлял ножки пожилым женщинам и не упускал случая ударить зонтиком ребенка, играющего на детской площадке. В общении это был не человек, а сущий дьявол. В гости его более одного раза никто не приглашал. На вечеринках, прежде чем вступить в разговор, он долго думал, а потом выдавал нечто язвительное — нормальному человеку такое и в голову не придет. Кроме того, Аллана знали как забияку и неряху. В школе он постоянно задирался. Он мог оскорбить кого угодно — будь то учитель, ученик или повариха из столовой. Он провоцировал ссоры, дразнил своих товарищей и повсюду устраивал скандалы. Став взрослым, он мало изменился, разве что драться стал реже. Никто его не любил. Само собой разумеется, у него не было друзей. Люди, знавшие Аллана, говорили: он такой злой, что и сироту не пощадит.

У Аллана была спортивная машина: небольшая, ярко-красная и необычная; она развивала бешеную скорость и гудела, как реактивный самолет, когда Аллан поддавал газ. Аллан нежно ухаживал за машиной, гордился ею и относился к ней как к самой большой ценности. Ему нравилось выезжать на своем автомобиле мощностью в триста лошадиных сил, и он часто совершал длительные путешествия без всякой цели, только ради того, чтобы посидеть за рулем. Как и многие автомобилисты, он тогда преображался.

Аллан устраивался за обтянутым кожей рулем своей элегантной спортивной машины и делался совершенно другим. Этот жуткий брюзга и смутьян, опустившись на мягкое уютное сиденье чашеобразного водительского кресла, становился ангелом — спокойным, вежливым, предупредительным. Он говорил приятным, негромким голосом, так непохожим на его обычный — пронзительный, напоминающий звук

автомобильной сирены в туманной ночи. В эти минуты Аллана переполняли милосердие и вселенская доброта. Он вел автомобиль спокойно и уверенно, уступая дорогу другим машинам, приветствуя их улыбкой. Он строго придерживался правил уличного движения и ни разу не поддался соблазну превысить скорость, хотя его мощный автомобиль мог выжимать до двухсот сорока километров в час. Аллану даже не приходило в голову совершить дерзкий обгон; когда же обгоняли его, он первый сбавлял скорость. Если какой-нибудь неумеха пытался оттеснить его, Аллан не ругался. Он даже не повышал голоса, когда чудом избегал столкновения с ним. Не опускал оконное стекло и не кричал: «Ты что, чертов идиот, с ума спятил, куда тебя несет!» — как поступил бы любой нормальный водитель. Только не Аллан, нет. Он лишь слегка снисходительно улыбался и покачивал головой. Да, честно говоря, Аллан действительно был удивительным сумасшедшим автомобилистом.

Однажды какой-то водитель задел и поцарапал его автомобиль. Водитель был полностью виноват. Аллан опустил стекло, посмотрел на царапину, которая так обезобразила его машину, и дружелюбно сказал: «Ну что тут поделаешь! Хорошо, что я застраховал свою старушку, не волнуйтесь и не казните себя. Я понимаю, как трудно ехать навеселе против движения, да еще одностороннего. Любой может растеряться». Провинившийся автомобилист сначала не мог вымолвить ни слова. Он ожидал самых страшных ругательств, крика, шума и, возможно, хорошего удара в челюсть. А вместо этого был обласкан. Растяпа-водитель, наверное, робкий бухгалтер, просто онемел. А когда по прошествии нескольких секунд обрел дар речи, то закричал, устремив на Аллана злобный, затуманенный вином взгляд: «Ты что, с ума сошел! Как ты водишь свою машину! Псих ненормальный!»

Да, за рулем Аллан действительно был сущим ангелом. Пока он сидел в машине, его терпению и дружелюбию не было предела. Но стоило ему только выйти из нее, как в него точно вселялся бес. Он снова становился агрессивным и злым. Заперев машину, он принимался оглядываться по сторонам; у него так и чесались руки, чтобы бросить камень в малыша или толкнуть немощную старуху. В мире преобладают ангелы, в которых вселяется дьявол, лишь только они садятся за руль. Но Аллан был не из их числа. Среди агрессивных, сквернословящих, злобных водителей Аллан, спокойный и предупредительный в машине, казался абсолютно ненормальным. Вот почему другие водители добродушно называли его «сумасшедшим автомобилистом».

Аллан был холостяком. Что неудивительно, если учесть его характер. Аллан был абсолютно «демократичен». Он не делал никакого различия между полами, расами, религиями и политическими взглядами. Ему в равной мере были противны все: и мужчины, и женщины. Он толкался, отпускал едкие замечания, ругался, затевал ссоры. Ну кому, спрашивается, захочется выйти замуж за такого человека? Правда, говорят, что для каждого кто-нибудь да найдется, но в данном случае было очень сомнительно, чтобы такой скандалист, как Аллан, нашел себе подругу жизни.

Однажды вечером, когда Аллан ехал на автомобиле, он увидел девушку, голосовавшую у обочины. Она стояла возле машины. Аллан притормозил и остановился.

— Может быть, ты меня подвезешь? — спросила девушка.— Моя машина сломалась, я позвонила на станцию техобслуживания, но они приедут только завтра утром. Подвези меня до города!

Аллан посмотрел на девушку. Она была его ровесницей, в красном платье и показалась ему очень миловидной. Аллан радостно улыбнулся.

— Конечно,— мягко сказал он,— садись.

Девушка в красном платье назвала свое имя — Эллен.

— Смешно,— сказал Аллан,— меня зовут Аллан, а тебя Эллен.

Эллен это тоже показалось забавным. По дороге в город они разговорились, и Эллен сразу отметила, как уверенно Аллан чувствует себя за рулем.

— Ты прекрасный водитель. Знаешь, по тому, как человек управляет машиной, можно многое о нем узнать. Как он ведет машину, таков он и в жизни. Ты, должно быть, очень предупредительный и добрый человек.

Аллан ничего не ответил, он целиком был поглощен дорогой.

Аллан и Эллен понравились друг другу и условились снова встретиться. Аллан высадил девушку около ее подъезда, и они договорились, что увидятся завтра вечером.

— Мы можем немного покататься,— предложил Аллан.— Я заеду за тобой в семь тридцать, посигналю, и ты спустишься ко мне.

Эллен пришла в восторг от этого предложения, поблагодарила Аллана за то, что он подвез ее, и вышла из машины. Со счастливой улыбкой на губах Аллан поехал домой. Эллен оказалась такой милой девушкой. С ней так легко говорить. Пожалуй, и Аллан ей понравился. Он был доволен. Ничего подобного прежде с ним не случалось. Раньше общение Аллана с женщинами сводилось к перепалкам и взаимным оскорблениям. Но еще никогда он не разговаривал ни с одной женщиной в машине. А это было так чудесно. Не то что перебранки с соседками по столу, которые он затевал в тех редких случаях, когда его приглашали на обед. Эллен такая приятная и мягкая девушка, думал Аллан. Он подъехал к своему дому и поставил машину. Когда он ее запирал, его случайно задела проходившая мимо подслеповатая пожилая дама.

— Извините,— сказал она,— я плохо вижу.

— Куда лезешь, старая рухлядь? — взревел Аллан.— Смотри, куда идешь, иначе я...

Он грубо толкнул старушку и вошел в дом.

На следующий вечер, точно в условленное время, Аллан посигналил у дома Эллен. Она выбежала ему навстречу. На ней были коричневые бархатные брючки и зеленая блузка. Аллану она показалась красивой. Они совершили большую прогулку на машине за город. Им было что сказать друг другу, и они много смеялись и шутили. Аллан вел машину спокойно и осторожно, чем еще больше убедил Эллен: по тому, как человек ведет машину, можно судить, каков он в жизни. Он действительно добрый, обаятельный и приятный парень, думала Эллен. Не то что другие мужчины, с которыми ей приходилось ездить. Они только и делали, что ругали водителей и злились. Вот они-то и есть настоящие сумасшедшие автомобилисты. Аллан же совсем другой.

Аллан и Эллен стали часто встречаться. Каждый раз Аллан подъезжал к дому девушки и она садилась в его машину. Он сигналил ей, не покидая автомобиля, а Эллен выбегала к нему, обаятельно улыбаясь и сверкая глазами. Они долго катались в автомобиле, разговаривали, смеялись, целовались, и им было хорошо. Так они продолжали встречаться каждый день около двух недель, после чего Эллен решила, что было бы неплохо, если бы Аллан пришел к ней в гости.

— С удовольствием,— сказал Аллан.

Они условились, что он придет к ней обедать на следующий вечер. Аллан явился вовремя, одетый в свой лучший костюм. Он позвонил, Эллен открыла дверь, он вошел в прихожую и сразу же стал принюхиваться.

— Чем это пахнет? — спросил он.— Неужели твоими отвратительными духами или у тебя подгорела еда?

Вечер был испорчен. Аллан злобно ругал еду, язвил по поводу одежды Эллен, ее мебели и вкуса. Эллен ничего не могла понять. Что

произошло? Аллана, самого доброго и симпатичного человека на свете, будто подменили. Он был раздражен и явно вызывал ее на ссору. Его обычно такой мягкий и теплый голос стал крикливым и неприятным. Тем не менее они решили встретиться и покататься на машине через несколько дней.

— Спускайся сразу же, как только услышишь сигнал,— сказал Аллан ворчливо.— Терпеть не могу сидеть и ждать в машине.

Эллен ничего не ответила. Она всегда тотчас же выходила, как только Аллан подъезжал к ее дому.

Во время этой прогулки Аллан был снова таким, каким его привыкла видеть Эллен,— дружелюбным, предупредительным и веселым. Когда же она попыталась узнать, почему он был так раздражен и сварлив у нее дома, Аллан ничего не ответил. Эллен не хотела упорствовать и портить хорошее настроение и больше вопросов не задавала.

Аллан и Эллен по-прежнему встречались каждый вечер, всякий раз совершая прогулки на автомобиле. Эллен решила, что было бы интересно посмотреть, как живет Аллан.

— Конечно, обязательно приходи,— сказал он.— Поехали ко мне сейчас же.

Они отправились к нему домой, и как только вошли в квартиру, Аллан недовольно сказал:

— Вытри как следует ноги, а то наследишь.

Сам же он и не подумал снять обувь и даже не вытер ноги о коврик.

Так же, как и обед у Эллен, вечер, проведенный у Аллана, был испорчен. Аллан находился в своем обычном дурном расположении духа, в котором пребывал постоянно, когда оказывался вне машины. Он без конца грубил Эллен. Вскоре ей это надоело, и, поблагодарив за прием, она сказала, что должна идти домой. Ей нужно еще погладить блузки. Очень неохотно согласилась она встретиться завтра и покататься на машине.

Во время автомобильной прогулки на следующий день, когда Аллан, как обычно, был сама любезность, Эллен снова попыталась узнать, почему накануне он был с ней так невежлив; она настаивала на объяснении и хотела знать причину. Аллан вынужден был рассказать ей всю правду. В машине он ведет себя как приятный и располагающий к себе человек, но стоит ему только выйти из нее, как он преображается.

— Тогда я становлюсь злым и ворчливым. Таким я был в детстве, таким остался и теперь. Только в машине я добрый.

Эллен поняла все. Она сказала, что Аллан, сидящий за рулем автомобиля, ей очень нравится, но ей трудно с ним, когда он покидает свою машину. Аллан признался, что с Эллен ему всегда очень хорошо. Что же им было делать?

Свадьбу сыграли в огромной машине. На заднем сиденье устроились Эллен и Аллан, а несколько озадаченный священник и свидетели втиснулись на переднее сиденье.

— Берешь ли ты в мужья Аллана Перссона, чтобы в радости и в горе делить с ним автомобиль? — спросил священник.

Свадебное путешествие на Ривьеру совершили на машине. Новобрачные жили в машине, и Аллан покидал ее в случае крайней необходимости и только в одиночку. Путешествие удалось на славу, и новобрачные сожалели лишь о том, что настала пора возвращаться к будням. Эллен переехала в дом к Аллану, но чтобы сберечь свое счастье, им пришлось прибегнуть к некоторым ухищрениям.

Возвращаясь вечером домой после работы, Аллан сразу же идет в гостиную, где садится в небольшой, перестроенный спортивный автомобиль. Когда приходит время еды, он выруливает в нем на кухню и пристраивается у стола. Дома у супругов Перссон всегда превос-

ходное настроение. После ужина Аллан и Эллен сидят в гостиной, разговаривают или смотрят телевизор. Обычно Эллен устраивается в кресле, а Аллан — в своей маленькой машине. Когда же надо идти спать, Аллан въезжает на ней прямо в спальню. Там супруги располагаются на ночь в большом спальном автофургоне, который они установили на месте бывшей кровати Аллана.

— У нас все точно так, как во время свадебного путешествия,— посмеивается Эллен.

Аллан и Эллен никогда не принимают никаких приглашений, но у них в доме гости бывают часто. Им нравится проводить время у такой приятной четы, как супруги Перссон.

Тех гостей, которые впервые появляются у них, удивляет, почему Аллан всегда принимает их в маленьком автомобильчике.

— Почему он дома сидит в машине? — спрашивают они.

Эллен таинственно улыбается.

— Почему он сидит в машине? Да потому,— поясняет она,— что он настоящий сумасшедший автомобилист. Настоящий сумасшедший автомобилист.

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ

Русский отдел

РОМАН

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ и Е. РОЖДЕСТВЕНСКОЙ

12

На остров нас доставил небольшой самолет уже в сумерках. Небольшой самолет принадлежал знаменитой американской корпорации. Кому принадлежал остров, нам не сказали. Узкий, лесистый, он в средней части почти уходил под воду, а оба конца завершались коническими холмами, так что сверху мне почудилось, будто я вижу бедуинскую палатку, провалившуюся посредине в Атлантический океан. Длину его я определил в две мили. На одном холме стоял типичный для Новой Англии загородный дом с садом, а под другим виднелась маленькая белая пристань. Позже я узнал, что дом этот называли летней виллой, потому что зимой он стоял пустым. Его построил на рубеже столетия богатый бостонец — в те дни, когда почтенные люди обожали жизнь на лоне природы. Мы почувствовали, как качнулись крылья; задребезжали стекла, в кабине солено запахло морем. Мы увидели солнечные отблески, скачущие по волнам, как прожекторные лучи, увидели сражающихся с ветром бакланов. Увидели на западе вспышки маяка на мысу за проливом. Весь полет вдоль береговой линии штата Мэн занял по моим часам пятьдесят восемь минут. Справа и слева от нас поднялись деревья, небо исчезло, и внезапно мы запрыгали по неровностям поросшей гравой просеки, в конце которой нас возле джипа ждал Рэнди со своими ребятами. Рэнди, пышущий нравственным и физическим здоровьем, доступным только привилегированным американцам, был в штормовке и при галстуке. Я почувствовал, что хорошо знаком с его матерью.

— Джентльмены, вы мои гости на все то время, которое пожелаете провести здесь. Добро пожаловать на наш остров.— Первому он потряс руку Барли. Видимо, ему показали фотографии.— Мистер Браун, сэр, это большая честь! Нед? Гарри?

— Очень мило с вашей стороны,— сказал Барли.

Мы, петляя, спускались по склону, и сосны на фоне моря казались совсем черными. Ребята следовали за нами во второй машине.

— Вы, джентльмены, прибыли самолетом «Бритиш эруэйз»? Миссис Тэтчер прибрала эту компанию к рукам, ничего не скажешь! — заметил Рэнди.

— Пора уж ей пойти на дно вместе с кораблем! — отозвался Барли.

Рэнди засмеялся так, словно кончил курсы смеха с отличием. «Браун» была фамилия, выбранная для Барли на эту поездку. Даже в его паспорте, находившемся у Неда, он значился как Браун.

Мы запрыгали по дамбе к сторожке у ворот, которые открылись и сразу же закрылись за нами. Теперь мы находились на нашем собственном мысу. Венчавший его дом был озарен прожекторами, скрытыми в кустах. Вниз от него убегали лужайки и спаленные ветром живые изгороди. Из моря ступеньками торчали сваи разрушенного причала. Рэнди остановил джип и, взяв чемоданы Барли, повел нас по освещенной, обсаженной гортензиями дорожке к лодочному домику. Во время полета до Бостона Барли дремал, пил и, пока шел фильм, страдальчески охал. В небольшом самолете он хмурился на пейзажи Новой Англии, словно их красота его смущала. Но когда мы приземлились, он как будто вернулся в свой собственный мир.

— Мистер Браун, сэр, мне дано распоряжение поместить вас в апартаменты для новобрачных.

Окончание. Начало см. в № 5, 6.

— Что может быть приятнее, старина! — вежливо ответил Барли.

— Нет, вы правда пользуетесь этим обращением, мистер Браун? С т а р и н а!

Рэнди провел нас через прихожую с каменным полом в капитанскую каюту. Интерьер под старину. В углу — поддельная старинная латунная кровать, и поддельный старинный письменный стол из дуба у окна. На стенах корабельные причиндалы неясного происхождения. В алькове, где помещалась сугубо американская кухня, Барли тотчас опознал холодильник, распахнул дверцу и оптимистично заглянул внутрь.

— Мистер Браун любит вечерком иметь под рукой бутылку шотландского виски, Рэнди. Если в вашем рундуке найдется такая, он будет весьма благодарен.

Летняя вилла была музейным хранилищем реликвий золотого детства. На веранде крокетные молотки медового цвета прислонялись к пыльной тележке, в которую запрягались козочки; она была нагружена плетенками для ловли омаров, подобранными на пляже. Пахло воском и кожей. В холле вперемежку с портретами молодых мужчин и женщин в широкополых шляпах висели картины маслом, изображавшие китобойные шхуны. Следом за Рэнди мы начали подниматься по натертым ступенькам широкой лестницы. Барли плелся позади. На каждой площадке полукруглые окна с цветными стеклами по краю были как облицованные драгоценными камнями ворота в море. Мы вошли в коридор голубых спален. Самая большая предназначалась Клайву. С наших балконов открывался вид на сады, тянущиеся до лодочного домика и дальше — на берег за проливом. Сумерки сгустились в тьму.

В столовой с беленными потолочными балками лэнглиевская весталка умудрилась подать нам мэнских омаров и белое вино, ни разу на нас не взглянув.

Пока мы ели, Рэнди объяснял правила внутреннего распорядка:

— Никаких разговоров с обслуживающим персоналом, джентльмены, будьте так любезны. Ну, там «с добрым утром» или «спасибо», но ничего больше. Все, что вам понадобится им сказать, передайте через меня. Охрана здесь для вашей безопасности, джентльмены, и она к вашим услугам, но мы предпочли бы, чтобы вы не выходили за ограду. Будьте так добры. Благодарю вас.

Когда обед и объяснения завершились, Рэнди увел Неда в комнату связи, а я пошел проводить Барли до лодочного домика. Яростный ветер трепал сад. Когда мы оказывались под очередным конусом света, Барли словно бы бесшабашно улыбался. Мы шли под взглядами ребят с портативными радиотелефонами.

— Как насчет партии в шахматы? — спросил я возле двери, жалея, что не могу как следует вглядеться в его лицо: оно перестало быть мне понятным, как и его настроение. Он пожелал мне спокойной ночи, и я ощутил на плече легкое похлопывание. Дверь открылась и закрылась за ним, но я успел различить сквозь мрак призрачную фигуру часового в двух шагах от нас.

— Мудрый юрист, блестящий сотрудник,— на следующее утро почтительно прожурчал по моему адресу Рассел Шеритон, обволакивая сильными мягкими ладонями мою руку и не считая меня ни тем, ни другим.— Один из истинно великих. Гарри, как поживаете?

Он мало изменился со времени своей инспекционной поездки в Лондон: круги под глазами, чуть более по-собачьи грустными, синий костюм на один-два размера больше, тот же животик под белой рубашкой. Тот же погребальный лосьон и шесть лет спустя умащивал щеки самого последнего главы советского отдела Управления.

В почтительном отдалении от него стояла группа его молодых людей, которые крепко сжимали дорожные сумки, точно застрявшие пассажиры на аэровокзале. Клайв и Боб расположились на его флангах. Боб выглядел постаревшим на десять лет. Виноватая улыбка сменила недавнюю старосветскую самоуверенность. Он поздоровался с нами слишком уж сердечно, словно получил инструкцию держаться от нас подальше.

Островная конференция, как ее эвфемистически назвали, должна была вот-вот начаться.

События ближайших нескольких дней окутывала приятная атмосфера, ощущение, что хорошие люди тихо занимаются своим делом. Но когда я вспоминаю остальное, эта их особенность изглаживается из моей памяти. И мне очень трудно не обойти ее молчанием. Однако ради Барли я обязан ничего не опускать, а он не испытывал к на-

шим хозяевам никаких дурных чувств и нисколько не винил их в том, что произошло с ним и тогда, и позже. Он ворчал на американцев вообще, но, знакомясь с конкретными американцами, обо всех без исключения отзывался как об отличных ребятах. С каждым из них он был бы рад выпить вечерком в соседней пивной, будь на острове пивные. Ну, и, разумеется, Барли всегда признавал вескость любых обращенных против него доводов, всегда испытывал уважение к чужому трудолюбию.

И чего-чего, а уж трудолюбия им было не занимать. Если бы численность, деньги и упрямое упорство складывались в ум, Управление могло бы возить его тачками, но, увы, человеческая голова — не тачка, а кроме того, существует еще и скудоумие.

Как они жаждали, чтобы их любили! И Барли немедленно отозвался на эту их потребность. Даже когда они вгрызались в него, им необходимо было, чтобы их любили. И не кто-нибудь, а Барли! Как и по сей день им требуется, чтобы их любили за все устроенные ими путчи, дестабилизирующий хаос и фантастические операции против Врага-Который-Там.

Однако именно мистическая тайна вывернутых наизнанку добрых сердец и породила ужас, тоже окутывавший эту нашу неделю на острове.

Много лет назад мне довелось разговаривать с человеком, которого били плетьми,— с английским наемником, оказывавшим нам кое-какие услуги в Африке, за которые требовалось заплатить. В память ему врезались не удары, а апельсиновый сок, которым его напоили после. Он помнил, как его тащили назад в хижину, помнил, как его положили ничком на солому. Но главным образом он помнил стакан свежего апельсинового сока, который тюремщик поставил возле его головы, а потом присел рядом на корточки и терпеливо ждал, пока он не пришел в себя настолько, что сумел отпить из стакана. И это был тот же самый тюремщик, который хлестал его плетью.

Мы тоже получали наши стаканы апельсинового сока. И среди наших тюремщиков попадались очень порядочные, пусть замаскированные наушниками и враждебной настороженностью, которая быстро таяла, побежденная теплотой Барли. После нашего приезда не прошло и суток, как те самые охранники, брататься с которыми нам воспрещалось, уже пробирались на цыпочках в лодочный домик Барли и, прежде чем вернуться на свой пост, разживались у него стаканом кока-колы или рюмкой виски. Они верхним чутьем улавливали, какой это человек. А кроме того, будучи американцами, не могли устоять перед обаянием его известности.

Некий ветеран по имени Эдгар, в прошлом морской пехотинец, сумел задать ему жару за шахматной доской. Как я услышал позже, Барли всем заповедям и канонам вопреки узнал у него его фамилию и адрес, с тем чтобы они могли провести матч по переписке, «когда все это кончится».

Причем не только тюремщики. И хор молодых людей Шеритона, и Шеритон обладали умеренностью, противостоявшей, точно ровное дыхание разума, истерическим конвульсиям тех, кого сам Шеритон собирательно окрестил эгоманьяками.

Но в этом, полагаю, и заключается трагедия великих наций. Столько талантов, изнывающих, чтобы их употребили в дело, столько доброты, жаждущей вырваться на волю! И такая убогость всего говорившегося, что порой нам не верилось, да подлинно ли с нами говорит Америка?

Но это было так. Плеть была настоящей.

Допросы велись в бильярдной. Для танцев пол там был выкрашен бордовой краской. На нем расставили кольцом стулья, а бильярдный стол вынесли. Однако стену по-прежнему украшала табличка слоновой кости для записи счета, а под ней стояли футляры с киями, помеченные инициалами. Подвешенная на длинном шнуре лампа лила озерцо света на середину комнаты, где предстояло сидеть Барли. За ним в лодочный домик сходил Нед.

— Мистер Браун, сэр, я горд пожать вашу руку, и я только что решил, что на время нашего знакомства моя фамилия будет Хаггарти,— объявил Шеритон.— Едва взглянув на вас, я ощутил себя ирландцем. Не спрашивайте почему.— Он быстрым шагом повел Барли через комнату.— Но, главное, я хочу вас поздравить. Вы наделены всеми добродетелями: память, наблюдательность, британская выдержка, саксофон.

Все это было выдано в одном гипнотизирующем темпе, и Барли, сконфуженно ухмыляясь, позволил усадить себя на почетное место.

Однако Нед уже сидел, выпрямившись, скрестив руки на груди, а Клайв, хотя был

своим в этом кругу, сумел исчезнуть с первого плана. Он сел среди молодых людей Шеритона и сдвинул свой стул назад так, что они его совсем заслонили.

Шеритон остался стоять рядом с Барли и говорил, нависая над ним, даже когда, судя по словам, обращался к кому-нибудь другому.

— Клайв, вы разрешите мне засыпать мистера Брауна бесцеремонными вопросами? Нед, не будете ли вы так добры объяснить мистеру Брауну, что он находится в Соединенных Штатах Америки, и, если ему не захочется отвечать, то пусть не отвечает, поскольку его молчание будет сочтено явным доказательством того, что он виновен?

— Мистер Браун умеет сам за себя постоять,— сказал Барли, но все еще ухмыляясь, все еще не веря в реальность нарастающего напряжения.

— Да? Великолепно, мистер Браун! Ведь мы надеемся, что ближайшие два-три дня вы именно этим и займетесь.

Шеритон отошел к буфету, налил себе кофе и вернулся с чашкой на прежнее место. Тон его стал спокойнее, исполнился здравого смысла:

— Мистер Браун, мы покупаем картину Пикассо, идет? Все в этой комнате покупают того же самого Пикассо. Голубой период, подпись, истинный шедевр и прочее дерьмо. Ведь во всем мире наберется разве что три человека, способных что-то в нем понять. Но когда дело доходит до дела, важен только один-единственный вопрос: написал эту картину Пикассо — или Дж. П. Шмук Младший в Саут-Бенде, штат Индиана, а то и в Омске, Россия, сварганил ее у себя в подвале с картошкой? Потому что учтите следующее! — Он тыкал пальцем в собственную мягкую грудь, держа чашку в свободной руке.— Перепродажи не будет. Здесь не Лондон. Здесь Вашингтон. А Вашингтону требуется, чтобы информация была полезной, чтобы она, иными словами, использовалась, а не созерцалась с сократовской отрешенностью.— Он понизил голос в благоговейном сочувствии.— А продаете ее нам вы, мистер Браун. Нравится вам это или нет, но вы, лично вы, остаетесь для нас наибольшим приближением к источнику до того дня, когда нам удастся убедить человека, которого вы называете Гёте, изменить свою позицию и работать непосредственно с нами. Если нам это удастся. Что сомнительно. Весьма и весьма сомнительно.

Шеритон повернулся и отошел на край кольца.

— Вы чека нашего колеса, мистер Браун. Вы *нужный человек*. Вы — *то самое*. Но в какой мере вы то самое? Самую чуточку? В определенной степени? Или весь целиком? Вы сценарист, актер, постановщик и главный режиссер? Или вы, как и утверждаете, всего лишь на выходных ролях, невинный зритель, с которым нам всем еще предстоит познакомиться?

Шеритон вздохнул, словно для человека с его утонченной деликатностью все это было очень тяжело:

— Мистер Браун, у вас есть постоянная подружка или вы спите с кем ни попадя?

Нед было приподнялся, но Барли уже ответил. Его тон не стал колючим даже после этого, в нем не было враждебности. Словно ему не хотелось нарушать атмосферу доброжелательности, окружавшую нас всех.

— Ну, а как насчет вас, солнышко? Миссис Хаггарти еще готова к услугам, или мы вынуждены вернуться к привычкам отрочества?

Шеритон и ухом не повел.

— Мистер Браун, мы покупаем *вашего* Пикассо, а не моего. Вашингтону не нравится, когда его козыри курсируют по ночным барам. Мы должны играть очень честно, очень откровенно. Без английской сдержанности, без школьного зубоскальства. Один раз мы попались на этом навозе, но больше никогда, *никогда* не попадемся.

Это, решил я, адресовано Бобу: он опять, наклонив голову, рассматривал свои ладони.

— Мистер Браун по ночным барам не курсирует,— возмущенно вмешался Нед.— И материал не его. А Гёте. И я не вижу, при чем тут его личная жизнь.

«Свои мысли держите при себе»,— рекомендовал мне Клайв. Сейчас его взгляд предупредил о том же Неда.

— Ну, послушайте, Нед! Послушайте! — сказал Шеритон.— При нынешнем положении вещей в Вашингтоне вам надо жениться и заново родиться, прежде чем вы хоть шаг сможете сделать. Почему вы каждые пять минут летаете в Россию, мистер Браун? Приобретаете там недвижимость?

Барли улыбался, но уже не так добродушно. Шеритон все больше задевал его за живое. Чего Шеритон и добивался.

— Собственно говоря, старина, эта роль мне досталась по наследству. Мой папаша всегда предпочитал Советский Союз Соединенным Штатам и, не жалея ни времени, ни сил, издавал их книги. Он был фабианец. Нечто вроде активного сторонника рузвельтовского «Нового курса». Будь он вашим гражданином, то угодил бы в черный список.

— Его привлекли бы к суду по ложным обвинениям, хорошенько поджарили и обессмертили. Я читал его досье. Хуже не придумаешь. Расскажите нам о нем еще что-нибудь, мистер Браун. Что он завещал вам? Что вы унаследовали?

— Какого черта надо это ворошить? — сказал Нед.

И был совершенно прав. Двенадцатый этаж давным-давно рассмотрел вопрос об эксцентричном родителе Барли и сбросил его со счетов. В отличие, видимо, от Управления. Или же оно снова к нему вернулось.

— А в тридцатых, как вы, без сомнения, тоже знаете,— продолжал Барли поспокойнее,— он основал «Клуб русской книги». Правда, клуб просуществовал недолго, но он все-таки попытался. А во время войны, когда ему удавалось раздобыть бумагу, он публиковал просоветскую пропаганду, в основном возвеличивавшую Сталина.

— А после войны что он делал? Помогал в свободное время строить Берлинскую стену?

— Он питал большие надежды, а потом разочаровался,— ответил Барли после некоторого размышления. В нем снова верх взяла созерцательность.— Он простил бы русским почти все, но не террор, не лагеря, не переселения. Это разбило ему сердце.

— А его сердце разбилось бы, если бы для тех же целей они избрали методы помягче?

— Не думаю. Скорее, он умер бы счастливым.

Шеритон вытер ладони носовым платком и, держа кофейную чашку обеими руками, точно раскормленный Оливер Твист, второй раз прошествовал к буфету, отвинтил крышку термоса с кофе, скорбно заглянул в него и только тогда налил себе еще.

— Желуди,— пожаловался он.— Собирают желуди, прессуют их и перерабатывают в кофе. Вот они чем занимаются.— Он со вздохом опустился в пустое кресло рядом с Бобом.— Мистер Браун, вы разрешите мне осветить вам ситуацию поподробнее? В жизни больше не осталось места для того, чтобы брать на веру каждого смиренного члена дружного рода человеческого, согласны? А потому на каждого, кто собой хоть что-то представляет, имеется досье. Вот что содержит ваше. Ваш отец сочувствовал коммунистам, хотя потом утратил иллюзии. В течение восьми лет после его кончины вы побывали в Советском Союзе целых шесть раз. Вы продали русским ровно четыре книги, самые паршивые в вашем списке, и издали ровно три их книги. Два ужасающих современных романа, которые абсолютно не нашли сбыта, и дерьмо об иглоукалывании — продано восемнадцать экземпляров в бумажной обложке. Вы на краю банкротства, однако по нашим подсчетам поездки эти обошлись вам в двенадцать тысяч фунтов при доходе в тысячу девятьсот фунтов. Вы в разводе, живете, ничем себя не связывая, и храните традиции английских аристократических школ. Вы пьете так, словно задумали в одиночку оросить пустыню, и выбираете приятелей-джазистов, рядом с которыми Бенедикт Арнольд покажется Шерли Темпл [1]. Из Вашингтона вы выглядите сорвавшимся с узды. Здесь вы выглядите очень симпатично, но как я сумею втолковать это очередной подкомиссии конгресса, богомольным тупицам, которые заберут себе в голову поставить крест на материалах Гёте, потому что они ведут подкоп под Крепость-Америку?

— Но каким образом? — спросил Барли.

По-моему, его невозмутимость поразила нас всех. А Шеритона в первую очередь. До этого момента он поглядывал на Барли через плечо и объяснял свою дилемму почти с жалобным видом. Но теперь выпрямился и посмотрел на Барли с ироничным прямодушием:

— Простите, мистер Браун?

---

[1] Бенедикт Арнольд (1745—1801) — американский генерал. Во время Войны за независимость предательски перешел на сторону англичан и воевал в рядах английской армии против соотечественников.

Шерли Темпл (род. в 1928) — американская киноактриса, прославившаяся в детстве исполнением ролей добронравных, подкупавших своей наивностью девочек.

— Почему материалы Гёте так их пугают? Если русские не способны стрелять точно, Крепость-Америка должна прыгать от восторга.

— Прыгаем, мистер Браун, прыгаем. Мы ликуем. И пусть вся американская военная мощь строится на уверенности, что советские компьютеры не ошибаются. И пусть оценка советской точности в этой игре — все. Ведь точность обеспечивает вам возможность захватить вашего врага врасплох, пока он играет в гольф, парализовать его МБР и не позволить ему ответить тем же. А без точности лучше не соваться, потому что тогда ваш враг в ответ развернется и слизнет двадцать ваших самых любимых городов. И пусть миллиарды и миллиарды долларов американских налогоплательщиков и целые свалки политического красноречия щедро расходовались под залог любимейшего кошмара, слагающегося из первого советского удара и уязвимых участков американской обороны. И пусть даже теперь идея советского превосходства в МБР является главным доводом в пользу «звездных войн» и главной стратегической игрой на вашингтонских приемах с коктейлями...— К моему удивлению, Шеритон вдруг изменил голос и заговорил с интонациями обитателей захолустного Юга: — Пора нам разнести этих сукиных детей, пока они не разнесли нас, мистер Браун. На этой занюханной планете просто нету места для двух сверхдержав. А какая из них больше по нраву в а м, мистер Браун, если уж приходится выбирать?

Он выждал, и его складчатое лицо вновь принялось скорбеть о бесчисленных несправедливостях жизни.

— А ведь я верю в Гёте,— продолжал он испуганным голосом.— Официально известно, что я принял Гёте на веру, едва он вылез из своей норы. Оптом и в розницу. Гёте, голову прозакладываю, тот источник, которого требует время. А знаете, что для меня из этого следует? Для меня из этого следует, что я должен верить и в мистера Брауна, который почтил нас своим присутствием, и что мистер Браун должен быть со мной очень-очень откровенен, иначе от меня останется только труп.— Он благоговейно прижал лапу к левой стороне груди.— Я верую в мистера Брауна, я верую в Гёте, я верую в материалы. И вот-вот в штаны наложу от страха.

Некоторые люди меняют решения, думал я. Некоторые люди меняют мнения. Но объявить, что он узрел свет по дороге в Дамаск,— для этого требуется Рассел Шеритон. Нед уставился на него чуть ли не ошеломленно. Клайв предпочел продолжить созерцание футляров с киями. А Шеритон горестно взирал на свой кофе, размышляя о своем злополучном жребии. Один его молодой человек, упершись в ладонь подбородком, изучал носок своей туфли, другой устремил взгляд в окно на океан, словно истина могла покоиться там.

Но никто не смотрел на Барли, ни у кого как будто не хватало духа. Он сидел неподвижно и выглядел беззащитно-молодым. Мы сказали ему очень мало и, конечно, ни словом не обмолвились о том, что материал Дрозда понудил фракции военно-промышленного комплекса вцепиться друг другу в глотки и вызвал рев возмущения в кое-каких самых смрадных кулуарах Вашингтона.

В первый раз подал голос старик Палфри. И сразу же у меня возникло ощущение, что я играю на подмостках театра абсурда. Казалось, реальный мир ускользает у нас из-под ног.

— Хаггартн спрашивает вас вот о чем,— сказал я.— Согласитесь ли вы подвергнуться допросу по доброй воле, чтобы американцы раз и навсегда составили мнение об источнике и всем прочем? Вы можете отказаться. Выбор принадлежит вам. Верно, Клайв?

Клайв не испытал особого прилива нежности ко мне, но все-таки с неохотой подтвердил мои слова, прежде чем унестись к далекому горизонту.

Лица в кольце вокруг Барли повернулись к нему, как подсолнечники к солнцу.

— Так как же? — спросил я его.

Некоторое время он молчал. Потянулся. Провел по губам тыльной стороной ладони со смущенно-неловким видом. Пожал плечами. Посмотрел на Неда, но не сумел найти его глаза и вновь растерянно посмотрел на меня. О чем он думал, если думал? О том, что «нет» навсегда отторгнет его от Гёте? От Кати? Осознавал ли он это? По сей день я не знаю. Он усмехнулся, видимо от смущения.

— А как вы считаете, Гарри? Сказав «а»... Как считает мой толмач?

— В данном случае вопрос заключается в том, как считает мой клиент,— напыщенно ответил я, улыбаясь ему в ответ.

— Но мы так ничего и не узнаем, если не попробуем, верно?

— Пожалуй, не узнаем,— согласился я.

Но просто «я согласен» он так и не сказал.

— Видите ли, Гарри, в Йельском университете полным-полно тайных обществ,— объяснял мне Боб.— Если вы слышали о «Черепе со скрещенными костями» или о «Свитке и ключе», то лишь только-только царапнули верхушку айсберга. И эти общества ставят на коллективную взаимовыручку. Гарвард же... ну, Гарвард — прямо наоборот: ставит на индивидуальный талант. Так что Управление, забрасывая сети в эти воды, набирает в Йеле рекрутов для коллективной работы, а блистательных одиночек выуживает в Гарварде. Конечно, я не утверждаю, что всякий, кто кончил Гарвард, уже примадонна, а каждый йелец служит делу со слепым послушанием. Но в целом традиция такова. Вы кончали Йель, мистер Куинн?

— Вест-Пойнт,— сказал мистер Куинн.

Был вечер, и только что на остров прилетела первая делегация. Мы сидели в той же самой комнате, с тем же бордовым полом под той же лампой, прежде озарявшей бильярдный стол, и ждали Барли. Куинн сидел в центре, а Тодд и Ларри слева и справа от него. Тодд и Ларри были люди Куинна, миловидные, с теннисными фигурами и, на взгляд человека моего возраста, до нелепости юные.

(«Куинн довольно-таки сверху,— предупредил нас Шеритон.— Куинн беседует с министерством обороны, Куинн беседует с корпорациями, Куинн беседует с Господом Богом».

«А его нанимали кто?» — спросил Нед.

Шеритона этот вопрос привел словно бы в искреннее недоумение. Он улыбнулся, как будто прощая иностранцу светский промах.

«Ну-у, Нед, я бы сказал, что все мы».)

Рост Куинна равнялся шести футам одному дюйму. Он был широкоплеч и большеух. Костюм сидел на нем как броня. Ни орденов, ни медалей. Ни погон, ни других знаков различия. О его военном чине говорили упрямый подбородок, и затененные пустые глаза, и улыбка ярости, рожденная комплексом неполноценности в присутствии штатских.

Первым вошел Нед, Барли за ним. Никто не встал. Шеритон, сознательно избравший смиренную позицию в середине американского ряда, кротко представил друг другу тех, кого требовалось.

(«Куини предпочитает их попроще,— заранее предостерег он нас.— Скажите вашему, чтобы он не слишком умничал». И теперь Шеритон следовал собственному совету.)

Естественно, допрос начал Ларри, потому что его амплуа было дружелюбие. Тодд был замкнут в себе, как девственник, но Ларри носил массивнейшее обручальное кольцо, яркий галстук и смеялся за них обоих.

— Мистер Браун, сэр, мы обязаны исходить здесь из точки зрения ваших хулителей,— объяснил он с глубокой неискренностью.— В нашем деле информация делится на непроверенную и проверенную. И нам хотелось бы проверить вашу информацию. Это наша работа, и нам за нее платят. Прошу вас, оттенок подозрительности на свой счет не принимайте, мистер Браун. Анализ — особая наука. И мы должны подчиняться ее законам.

— Мы обязаны предполагать, что все это организованная подтасовка,— вызывающе выпалил Тодд.— Что вы к у р и т е.

Общие улыбки, и Ларри со смехом объяснил, что мистеру Брауну вовсе не предлагают закурить — на профессиональном жаргоне «курить» озиачает сознательный обман.

— Мистер Браун, сэр, с вашего позволения, кто предложил в тот день поехать в Переделкино после книжной ярмарки? — спросил Ларри.

— По-видимому, я.

— Вы в этом уверены, сэр?

— Когда мы решили туда отправиться, то все были немножко пьяны, но я практически уверен, что идея была моя.

— Вы пьете довольно много, мистер Браун, так? — спросил Ларри.

Лапищи Куинна сомкнулись на карандаше, точно пытаясь его задушить.

— Порядочно.

— Алкоголь, сэр, порождает у вас забывчивость?

— Иногда.

— А иногда нет. В конце-то концов мы располагаем точным воспроизведением длинного разговора между вами и Гёте, когда вы оба находились в состоянии полного опьянения. До того дня вам когда-нибудь приходилось бывать в Переделкине, сэр?

— Да.

— Часто?

— Два-три раза. Может быть, четыре.

— Вы посещали друзей, сэр?

— Да.

— Советских друзей?

— Естественно.

Ларри сделал долгую паузу, словно «советские друзья» уже были признанием.

— Вы не откажете в любезности назвать их, сэр? Поименно?

Барли назвал своих друзей. Писатель. Поэтесса. Литературный бюрократ. Ларри записывал, для пущего эффекта еле водя карандашом. И улыбался. А глаза Куинна продолжали по двум застывшим линиям вливаться в Барли через стол из своих затененных провалов.

— В день вашей поездки туда, мистер Браун,— продолжил Ларри,— в этот День Один, как можно его назвать, вам не пришло в голову постучаться к кому-нибудь из ваших старых знакомых, узнать, не тут ли они, поздороваться?

Барли словно бы не мог решить, приходило ему это в голову или не приходило. Он пожал плечами и привычным жестом провел по губам тыльной стороной ладони. Типичнейший неискренний свидетель.

— Думаю, мне не хотелось обрушивать на них Джумбо. Нас было многовато для неожиданного появления. Собственно говоря, не пришло.

— Так-так,— сказал Ларри.

Три объяснения, заметил я с огорчением. Три, когда вполне хватило бы одного. Я взглянул на Неда и понял, что он думает то же самое. Шеритон старательно не думал ничего. Боб сосредоточился на том, чтобы выглядеть человеком Шеритона. Тодд что-то нашептывал на ухо Куинну.

— Таким образом, идея посетить гробницу Пастернака также исходила от вас, мистер Браун? — осведомился Ларри тоном, показывающим, что такой идеей можно и нужно гордиться.

— Могилу,— сухо поправил его Барли.— Да. По-моему, остальные вообще не знали, где она, пока я им не сказал.

— И кажется, дачу Пастернака тоже? — Ларри взглянул в свои листки.— «Если сукины дети ее не снесли».— «Сукины дети» он произнес как самое грязное ругательство.

— Совершенно верно, и его дачу.

— Но дачу Пастернака вы не посетили, я не ошибаюсь? Вы даже не попытались узнать, существует ли она еще. Дача Пастернака полностью исчезла с повестки дня.

— Шел дождь,— сказал Барли.

— Но у вас же была машина. И шофер, мистер Браун. Пусть не слишком благоуханный.

Ларри снова улыбнулся и приоткрыл рот ровно настолько, чтобы кончиком языка ласково провести по верхней губе. Затем он сомкнул ее с нижней и продлил паузу, чтобы дать больше простора для всяких неприятных мыслей.

— Следовательно, людей для поездки подобрали вы, мистер Браун, и вы же определили ее цели,— наконец, заговорил Ларри, на этот раз тоном чуть насмешливого сожаления.— Вы указали, куда ехать. Вы провели своих спутников на холм к гробнице... прошу прощения — к могиле. Это с вами, именно с вами одним, заговорил мистер Нежданов, когда вы все начали спускаться с холма. Он спросил, не американцы ли вы. Вы ответили: «Нет, слава Богу, англичане».

Смеха не раздалось. Даже сам Ларри не улыбнулся. Куинн словно бы с трудом старался подавить боль от прободения брюшной полости.

— И это вы, мистер Браун, совершенно случайно смогли процитировать Пастернака, и от имени всей вашей группы принять участие в обсуждении его заслуг, и почти ч у д о м отделаться от своих спутников, а за обедом сесть рядом с человеком, кото-

рого мы называем Гёте. «Познакомьтесь с нашим знаменитым писателем Гёте». Мистер Браун, к нам поступили сведения из Лондона, исходящие от Магды, сотрудницы «Пенгвин букс». Насколько нам известно, получены они были тактично на званом вечере в обстановке, не порождающей подозрений, посторонним лицом, ие американцем. У Магды создалось впечатление, что вам хотелось продолжить разговор с Неждановым с глазу на глаз. Как вы это объясните?

Барли вновь исчез. Не из комнаты, а просто я перестал его понимать. Он предоставил подозрения мечтателям и удалился в пределы собственного царства реальности. И не Барли, а Нед не сумел сдержаться при таком откровенном призиании в махинациях Управления и выдал искомую вспышку.

— Вряд ли она сообщила вашему осведомителю, что ей не терпелось поскорее забраться в постель со своим дружком, верно?

Опять-таки этот ответ, останься он единственным, мог бы оказаться достаточным, если бы Барли не добавил к нему свой:

— Может быть, я и правда отделался от них,— согласился он задумчиво, но еще дружеским тоиом.— После недели книжной ярмарки любой нормальный человек будет сыт издателями по горло.

Улыбка Ларри стала чуть скептичной.

— Ну-ну,— сказал он и покачал хорошенькой головкой, готовясь передать свидетеля Тодду.

Но он поторопился. Потому что заговорил Куинн. Не с Барли, не с Шеритоном, даже не с Клайвом. Просто заговорил, ни к кому не обращаясь. Губы маленького рта извивались, как угорь на крючке.

— Его просеяли?

— Сэр, вопрос протокола,— объяснил Ларри, косясь на меня.

Я действительно не понял, и Ларри пришлось пояснить:

— Детектор лжи, как его прежде называли. Полиграф. В просторечии сито. Если не ошибаюсь, у вас их нет.

— В некоторых случаях мы ими пользуемся,— услужливо сообщил Клайв сбоку от меня, прежде чем я успел открыть рот.— Когда вы настаиваете, мы идем вам навстречу. Возможно, они появятся и у нас.

И только тогда угрюмый, замкнутый Тодд приступил к делу. Тодд не производил впечатления умелого оратора. При первом глотке он не производил никакого впечатления. Но мне уже доводилось встречать юристов вроде него — людей, которые превращают свою несимпатичность в знамя, а неуклюжестью речи пользуются, как дубинкой.

— Опишите свои отношения с Ники Ландау, мистер Браун.

— Их нет,— сказал Барли.— Нас объявили незнакомыми во веки веков, аминь. Я подписал документ, гласивший, что больше я с ним не разговариваю. Спросите у Гарри.

— Перед этим, будьте добры.

— Иногда мы вместе закладывали за галстук.

— Простите?

— Пили. Шотландское виски. Приятный тип.

— Но не вашего круга, не так ли? Ни Харроу, ни Кембриджа он не кончал, верно?

— А какое это имеет значение?

— Вы не одобряете структуру английского общества, мистер Браун?

— Мне, старина, эта структура всегда представлялась одной из вопиющих несуразиц современного мира.

— «Приятный тип». Это значит, что он вам нравится?

— Немножко действует на нервы, но, да, он мне нравился. И нравится.

— У вас с ним не было никаких сделок? Любого характера?

— Он агент нескольких фирм, а я сам себе хозяин. Какие могли быть между нами сделки?

— Когда-нибудь что-нибудь вы у него п о к у п а л и ?

— С какой стати?

— Мне хотелось бы знать, что происходило между вами и Ники Ландау в тех случаях, когда вы бывали с ним вдвоем. И нередко в коммунистических столицах.

— Он хвастал своими победами. Ему нравилась хорошая музыка. Классическая.

— Он когда-нибудь говорил с вами о своей сестре? О своей сестре, живущей в Польше?

— Нет.

— Он когда-либо выражал вам возмущение по поводу того, как английские власти якобы расправились с его отцом?

— Нет.

— Когда у вас был последний интимный разговор с Ники Ландау?

Наконец-то в ответе Барли проскользнуло раздражение.

— Вы говорите так, словно мы были любовниками,— сказал он с досадой.

Лицо Куинна осталось неподвижным. Возможно, он это для себя уже вычислил.

— Мистер Браун, я спросил вас, когда? — произнес Тодд тоном, показывавшим, что его терпением злоупотребляют.

— Кажется, во Франкфурте. В прошлом году. Выпили в «Хессишер хоф».

— На Франкфуртской книжной ярмарке, имеете вы в виду?

— Развлекаться во Франкфурт никто не ездит, старина.

— И никаких больше диалогов с Ландау потом?

— Насколько помню, нет.

— И на Лондонской книжной ярмарке этой весной?

Барли, казалось, напряженно рылся в памяти.

— А, черт! Стелла! Вы правы.

— Прошу прощения?

— Ники положил глаз на девушку, которая прежде работала у меня. Решил, что она ему страшно нравится. Ему все нравились. Просто бык. Просил, чтобы я их познакомил.

— И вы познакомили?

— Попытался.

— Вы для него сводничали. Я правильно выразился?

— Вполне, старина.

— Будьте добры, что именно произошло?

— Я пригласил ее выпить вместе в «Косуле» за углом в шесть вечера. Ники пришел, а она нет.

— Так что вы остались наедине с Ландау? Один на один?

— Совершенно верно. Один на один.

— О чем вы разговаривали?

— О Стелле, наверное. О погоде. Бог его знает.

— Мистер Браун, вы близко соприкасаетесь с проживающими в Соединенном Королевстве советскими гражданами, в том числе и с бывшими?

— Иногда с атташе по вопросам культуры — если он соблаговолит ответить, что случается не так уж часто. Ну, и когда совписатель приедет с визитом, а посольство устроит для него прием с выпивкой, я скорее всего там побываю.

— Насколько нам известно, вы любите играть в шахматы в одном кафе в лондонском районе Камден-таун?

— Ну и?

— А разве это кафе не облюбовано русскими эмигрантами, мистер Браун?

Барли повысил голос, но в остальном продолжал хранить спокойствие:

— Ну, я знаком с Лео. Лео любит рискованные комбинации. Я знаком с Джозефом. Джозеф признает только нападение. Я с ними не сплю и не обмениваюсь государственными тайнами.

— Однако память у вас весьма выборочная, мистер Браун, не так ли? Особенно, если учитывать чрезвычайно подробные ваши рассказы о других эпизодах и людях?

Но Барли все-таки не сорвался, отчего его ответ приобрел еще большую сокрушительность. На секунду даже создалось впечатление, что он вообще не намерен отвечать; терпимость, которой он проникался все больше, подсказывала ему: пренебреги.

— Я помню то, что важно для меня, старина. А если грязностью мыслей мне с вами не тягаться, то это ваше дело, не мое.

Тодд покраснел. И продолжал краснеть. Улыбка Ларри становилась все шире, пока почти не достигла ушей. Куинн нахмурился, как грозный часовой. Клайв ничего не слышал.

А Нед порозовел от удовольствия, и даже Рассел Шеритон, погруженный в кро-

кодилью дремоту, казалось, среди множества горьких разочарований вдруг припомнил что-то неясно прекрасное.

Вечером я пошел прогуляться по берегу и наткнулся на Барли и двух его охранников: укрытые от виллы обрывом, они пускали по воде камешки, соревнуясь, чей пропрыгает дальше.

— Что, взяли?! Взяли?! — восклицал Барли, откидываясь и взметывая руки к облакам.

— Муллы учуяли ересь,— объявил за ужином Шеритон, угощая нас очередным развитием игры. (Барли сослался на головную боль и попросил, чтобы ему принесли омлет в лодочный домик.) — В подавляющем большинстве в конгресс они въехали на платформе коэффицнента безопасности. Что означает: повышайте военные расходы и развивайте любую новую, самую идиотскую систему, лишь бы она обеспечила мир и процветание военной промышленности на ближайшие полвека. Если они и не спят с производителями оружия, так, уж конечно, едят с ними. А Дрозд иасвистывает им очень скверную историю.

— А что, если это правда? — спросил я.

Шеритон грустно взял себе еще кусок орехового пирога.

— Правда? Советы не способны вести игру? Они срезают расходы где могут, а шуты в Москве не знают и половины скверных новостей, потому что шуты на местах водят их за нос, чтобы и дальше разживаться золотыми часами и даровой икрой? Вы считаете э т о правдой? — Он откусил огромный кусок пирога, но абрис его лица нисколько не изменился.— Вы полагаете, что определенные неприятные с р а в н е н и я не проводятся? — Ои налил себе кофе.— Вы знаете, что хуже всего для наших демократически избранных неандертальцев? Абсолютно наихудшее? Последствия для н а с. Захирение советской стороны означает захирение н а ш е й. Муллам это очень не по вкусу. Как и военным промышленникам.— Он укоризненно покачал головой.— Узнать, что советское твердое топливо — дерьмо, что их ракеты блюют, а не рвутся? Что ошибки их системы раннего предупреждения еще почище наших? Что их ракеты большой мощности не способны даже выбраться из своей конуры? Что оценки нашей разведки смехотворно завышены? У мулл при одной такой мысли поджилки трясутся.— Он помолчал, размышляя о свойственном муллам непостоянстве.— Как внушать необходимость гонки вооружения, если кроме собственной задницы тебе гоняться не с кем? Информация Дрозда жизненно опасна. Многие высокооплачиваемые любимые сыночки оказываются под угрозой лишиться кормушки, и все из-за Дрозда. Вам требуется правда, вот она.

— Так зачем же высовываться? — возразил я.— Если эта платформа непопулярна, зачем за нее держаться?

И вдруг я почувствовал, что готов провалиться сквозь землю. Не так уж часто старик Палфри прерывает разговор, и все головы оборачиваются к нему в изумлении. А на этот раз я вовсе даже не собирался рта открыть. И вот Нед, Боб и Клайв уставились на меня как на умалишенного, а молодые люди Шеритона (их за столом было двое, если не ошибаюсь) независимо друг от друга положили вилки и независимо друг от друга принялись вытирать пальцы салфеткой.

Только Шеритон как будто ничего не услышал, а просто решил, пожалуй, съесть кусочек сыра. Он придвинул к себе сервировочный столик и теперь иедовольно рассматривал возможные варианты. Но никто из иас не думал, что мысли его действительно заняты сыром. Мне, во всяком случае, было ясно, что он тянет время, взвешивая, ответить ли и как ответить.

— Гарри,— начал он неторопливо, обращаясь не ко мне, а к датскому сыру.— Гарри, клянусь Богом, перед вами человек, посвятивший себя миру и братской любви. Под этим я подразумеваю, что главное мое честолюбивое желание — вытрясти из огнедышащих пентагоновцев столько дерьма, чтобы им впредь неповадно было внушать президенту Соединенных Штатов, будто двадцать кроликов равны одному тигру и будто любой занюханный траулер, промышляющий сардин более чем в трех милях от порта, это советская ядерная подлодка в штатском. Кроме того, я больше не желаю слушать идиотскне призывы выкопать в земле норки и пересидеть в них ядерную войну. Я гласиостник, Гарри. Я сделал кое-какие открытия относительно себя. Я родился гласностником, мои родители — давние-предавние гласностники. Для меня гласности-

цизм — это образ жизни. Я хочу, чтобы мои дети жили. Цитируйте меня, и на здоровье!

— А я не знал, что у вас есть дети,— сказал Нед.

— Фигурально выражаясь,— ответил Шеритон.

Тем не менее Шеритон, если сдернуть обертку, описывал нам правдивый вариант своего нового «я». Нед это ощутил. Я это ощутил. А если Клайв не ощутил, то потому лишь, что сознательно укоротил каналы своего восприятия. Эта правда заключалась не столько в его словах, которыми он чаще пользовался для сокрытия своих чувств, а не для их выражения, но в том совсем новом, рвущемся наружу смирении, которое начало проскальзывать в его манере уже после его разбойничьих дней в Лондоне. В пятидесятилетнем возрасте, четверть века пробыв глашатаем «холодной войны», Рассел Шеритон, используя выражение Уолтера, тряс решетку своих пожилых лет. Мне и в голову не приходило, что он может стать мне симпатичен, но с этого вечера я начал испытывать к нему симпатию.

— У Брейди блестящий ум,— предостерег нас Шеритон, позевывая, когда мы отправились на боковую.— Брейди слышит, как трава растет.

И Брейди, разбирайте его как хотите, блестел, точно пуговки на штиблетах.

Вы замечали это в его умнейшем лице и в вольной неподвижности учтивой фигуры. Его древняя спортивная куртка была старше, чем он, и едва он вошел в комнату, стало ясно, что ему нравится быть неброским. Его молодой помощник тоже был облачен в спортивную куртку и, подобно своему наставнику, щеголял элегантной неряшливостью.

— Похоже, вы чудесное дело провернули, Барли,— весело сказал Брейди с певучей интонацией уроженца южных штатов и поставил свой портфель на стол.— Хоть кто-нибудь сказал вам спасибо? Я — Брейди и слишком стар, чтобы играть в дурацкие псевдонимы. Это Скелтон. Благодарю вас.

Снова бильярдная, но без куинновского стола и жестких стульев. Мы с облегчением утонули в мягких подушках. Надвигался шторм. Весталки Рэнди закрыли ставни и включили свет. Ветер крепчал, и дом начал позвякивать, точно бутылки, приплясывающие на полке. Брейди расстегнул свой портфель — сокровище, восходящее к тем дням, когда их еще умели делать по-настоящему. Как подобает университетскому профессору, кем он, в частности, был, галстук он носил синий в горошинку.

— Барли, я где-то прочел, или мне пригрезилось, что вы в свое время были саксофонистом в оркестре великого Рея Ноубла?

— Безусым юнцом, Брейди.

— Чудеснейший был человек, верно? И несравненный музыкант? — спросил Брейди, как мог спросить только южанин.

— Рей был король.— Барли напел несколько тактов из «Чероки».

— Вот только его политические взгляды...— сказал Брейди с улыбкой.— Мы все убеждали его оставить эту ерунду, но Рей шел своей дорогой. А в шахматы вам с ним играть довелось?

— Собственно говоря, да.

— Кто выиграл?

— Я, по-моему. Точно не помню. Нет, я.

Брейди улыбнулся.

— Вот и я тоже.

Улыбнулся и Скелтон.

Они заговорили о Лондоне: где именно в Хампстеде живет Барли?

— Этот район моя слабость, Барли. Хампстед — мой идеал цивилизованности.

Они заговорили об оркестрах, в которых играл Барли.

— Господи, Барли, неужели он еще играет? Да в его возрасте я даже недозрелого банана купить не сумею!

Они заговорили об английской политике, и Брейди *непременно* понадобилось узнать, что, по мнению Барли, не так с миссис Т.

Барли словно бы задумался в поисках ответа и как будто сначала его не нашел. Может быть, он перехватил предостерегающий взгляд Неда.

— Какого дьявола, Барли, разве это ее вина, что у нее нет достойных противников?

— Чертова баба насквозь красная,— пробурчал Барли, к тайной тревоге английской стороны.

Брейди не засмеялся, а только чуть поднял брови, выжидая, что последует дальше. Как и мы все.

— Выборная диктатура,— продолжал Барли, тихо распаляясь.— Да благословит Бог корпорации, и к ногтю личность.

Он как будто хотел раскрыть этот тезис поподробнее, но, к нашему облегчению, передумал.

Тем не менее вступление было достаточно мягким, и через десять минут Барли, вероятно, чувствовал себя вполне легко и непринужденно. Пока Брейди все с той же благожелательной неторопливостью не перешел к «ситуации, в которой вы очутились, Барли» и не попросил, чтобы Барли вновь изложил ее сначала и до конца своими собственными словами, «но нацеливаясь на ту вашу с ним историческую встречу с глазу на глаз в Ленинграде».

Барли выполнил просьбу Брейди, и хотя мне хотелось бы думать, что слушал я столь же въедливо, как Брейди, я в рассказе Барли не услышал ничего опровергающего прежние его слова или добавляющего к ним что-либо новое.

И на первый взгляд Брейди как будто не услышал ничего неожиданного — когда Барли кончил, он успокаивающе ему улыбнулся и сказал с видимым одобрением:

— Ну что ж, спасибо, Барли.— Его тонкие пальцы перебирали бумагу в портфеле.— Я всегда говорил, что в шпионаже хуже всего ожидание. Ну, как летчик-истребитель,— добавил он, вытаскивая листок и прищуриваясь на него.— Сидишь дома, ешь свою жареную курицу, а уже через минуту у тебя душа в пятки уходит на скорости восемьсот миль в час. И вот ты снова дома, как раз вовремя, чтобы перемыть посуду.— Видимо, он нашел то, что искал.— Наверное, Барли, вы испытывали что-то похожее, застряв в Московии совсем один?

— Немножко.

— Болтаться где-то, ожидая Катю? Болтаться где-то, ожидая Гёте? И вы ведь, очевидно, довольно долго где-то болтались, после того как ваша дружеская беседа с Гёте завершилась, не так ли?

Водрузив очки на кончик носа, Брейди внимательно прочел бумагу раза два-три, прежде чем отдать ее Скелтону. Я понимал, что пауза строго рассчитана, но она все равно меня напугала и, по-моему, напугала Неда — он взглянул на Шеритона и снова посмотрел на Барли с явной тревогой.

— Согласно полученным нами полевым наблюдениям, вы с Гёте разошлись около четырнадцати часов тридцати четырех минут по ленинградскому времени. Видели снимок? Скелтон, покажите ему.

Все мы видели этот снимок. Все, кроме Барли. На снимке были они оба, в саду Смольного, когда попрощались. Гёте уже повернулся, чтобы уйти. Барли еще не опустил рук после прощального объятия. В верхнем левом углу — время, засеченное электронным таймером: четырнадцать часов тридцать три минуты двадцать секунд.

— Помните последнее, что вы ему сказали? — спросил Брейди, будто предаваясь блаженным воспоминаниям.

— Я сказал, что издам его.

— А помните последнее, что он сказал вам?

— Он хотел узнать, не нужно ли ему будет поискать другого порядочного человека.

— Черт-те что за прощание,— заметил Брейди безмятежно, пока Барли продолжал смотреть на фотографию, а Брейди и Скелтон — смотреть на него.— Что было после этого, Барли?

— Я вернулся в «Европу». Отдал его тетрадь.

— А каким путем вы возвращались? Вы помните?

— Тем же самым, каким добирался туда. Троллейбусом до центра, потом прошелся пешком.

— Троллейбуса пришлось ждать долго? — спросил Брейди, и его южный выговор, по крайней мере как почудилось мне, обрел насмешливую подражательность.

— Насколько помню, не очень.

— Но все-таки?

— Минут пять. Может быть, дольше.

Впервые память словно бы изменила Барли.

— Много людей в очереди?

— Нет. Несколько человек. Я не считал.

— Троллейбусы ходят с интервалом в десять минут. Езды до центра еще десять. Оттуда пешком до «Европы» обычной вашей походкой — еще десять. Наши люди выверили все это по хронометру. Десять — верхний предел. Но, согласно мистеру и миссис Хензигер, вы появились у них в номере только в пятнадцать пятьдесят пять. Так что получается порядочная дыра, Барли. Дыра во времени. Вы не объясните мне, как ее заполнить? Не думаю, чтобы вы зашли куда-нибудь выпить, ведь так? У вас в пакете лежала очень и очень большая ценность. Казалось бы, вы должны были постараться поскорее доставить ее по назначению.

Барли насторожился, и Брейди не мог этого не заметить — во всяком случае, его радушная улыбка южанина теперь приобрела несколько иной оттенок, означавший: «Ну-ка, выкладывай».

Нед застыл, впечатав обе подошвы в пол, не отводя взгляда от встревоженного лица Барли.

Только Клайв и Шеритон как бы дали обет никаких чувств не выражать.

— Так что же вы делали, Барли? — сказал Брейди.

— Слонялся по улицам,— ответил Барли, не слишком убедительно солгав.

— С тетрадью Гёте? С тетрадью, которую он вам д о в е р и л вместе с жизнью? Слонялись? Странный день вы выбрали, Барли, чтобы слоняться по улицам пятьдесят минут. Где вы были?

— Пошел назад по набережной. Где мы разговаривали. Падди сказал, чтобы я не торопился. Чтобы не мчался назад в отель, а вернулся бы туда не торопясь.

— Это правда,— пробормотал Нед.— Мои инструкции, переданные через московский пункт.

— В течение пятидесяти минут? — не отступал Брейди, пропустив слова Неда мимо ушей.

— Я не знаю, сколько времени прошло. На часы я не смотрел. Не торопиться — значит не торопиться.

— И вам не пришло в голову, что, таская в штанах магнитофонную ленту и блок питания, а в пакете — потенциально бесценный секретный материал, естественно было бы вспомнить, что кратчайшее расстояние между двумя точками все-таки прямая?

Гнев Барли начинал становиться опасным — но опасным для него, как он мог бы понять по выражению на лице Неда и, боюсь, на моем лице.

— Ведь вы меня не слушаете! — сказал Барли резко.— Я же объяснил. Падди предупредил, чтобы я не торопился. Так мне вдалбливали в Лондоне во время наших дурацких прогончиков. Не торопитесь. Никогда не убыстряйте шага, если что-то несете. Лучше сознательно заставляйте себя его замедлить.

И вновь мужественный Нед сделал все, что было в его силах.

— Да, его так учили,— сказал он.

Но он не спускал глаз с Барли.

Брейди тоже не спускал глаз с Барли.

— Так, значит, вы слонялись по улицам в направлении от троллейбусной остановки и в направлении к Областному комитету Коммунистической партии в Смольном институте, не говоря уж о комсомоле и парочке-другой партийных святилищ, с т е т р а д ь ю Гёте в пакете? Почему, Барли? Агенты в поле действительно вытворяют чертовски странные вещи, м н е этого можно не объяснять, но подобное, на мой взгляд, уже чистейшее самоубийство.

— Я выполнял инструкции, Брейди, черт бы вас побрал. Я не торопился! Сколько надо повторять?

Но вспыхнул Барли, как показалось мне, не потому, что был пойман на лжи, а потому, что очутился перед дилеммой. Слишком честным был его молящий вскрик, слишком горьким одиночество в его беззащитном взгляде. Брейди, к его чести, видимо, тоже это понял: во всяком случае, он принял растерянность Барли без всякого торжества и предпочел утешить его, а не уязвлять еще больше:

— Поймите, Барли, очень многим тут подобный пробел во времени покажется крайне подозрительным. Они немедленно представят себе, как вы сидите в чьем-то кабинете или в машине, и этот некто фотографирует тетрадь Гёте или дает вам инструкции. Что-нибудь такое было? Если да, то сейчас самое время все рассказать. Не самое

подходящее — в подобных ситуациях подходящего не бывает, но более подходящее у нас с вами вряд ли будет.

— Нет.

— То есть вы не скажете?

— Ничего подобного не было.

— Но ведь что-то было. Вы помните, что занимало ваши мысли, пока вы слонялись по улицам?

— Гёте. Издавать ли его. Что он обрушит храм, если ему понадобится.

— Какой храм конкретно? Не могли бы мы чуть-чуть обойтись без метафор?

— Катя. Ее дети. Которых он обрекает на гибель вместе с собой, если будет пойман. Не знаю, у кого есть такое право. Не могу разобраться.

— Итак, вы слонялись по улицам и старались разобраться?

Может быть, слонялся, может быть, нет. Но Барли замкнулся в себе.

— Разве не нормальнее было бы сначала отнести тетрадь, а потом уж решать этические проблемы? Меня удивляет, что вы сохраняли способность логически мыслить, пока разгуливали с этой адской штукой в пакете. Нет, я вовсе не утверждаю, будто мы все так уж логично ведем себя в подобных ситуациях, но даже по законам антилогики вы, я бы сказал, поставили себя в чертовски неприятное положение. Я думаю, вы что-то сделали. И думаю, вы тоже так думаете.

— Я купил шапку.

— Какую шапку?

— Меховую. Дамскую.

— Для кого?

— Для мисс Коуд.

— Ваша приятельница?

— Экономка конспиративного дома в Найтсбридже,— вмешался Нед, прежде чем Барли успел ответить.

— Где вы ее купили?

— По дороге между троллейбусной остановкой и гостиницей. Не знаю где. В магазине.

— И все?

— Только шапку. Одну-единственную.

— Сколько времени это у вас заняло?

— Пришлось постоять в очереди.

— Как долго?

— Не знаю.

— Что еще вы сделали?

— Ничего. Купил шапку.

— Вы лжете, Барли. Не так уж серьезно, но лжете. Что еще вы сделали?

— Позвонил ей.

— Мисс Коуд?

— Кате.

— Откуда?

— С почты.

— С какой?

Нед прижал руку ко лбу козырьком, точно заслоняя глаза от солнца. Но шторм уже разыгрался всерьез, и океан и небо за окном были одинаково черными.

— Не знаю. Большой зал. Телефонные кабинки под железным балконом.

— Вы позвонили к ней на работу или домой?

— На работу. Время было рабочее. К ней на работу.

— Почему мы не услышали вашего звонка в записи?

— Я отключил микрофоны.

— С какой целью вы звонили?

— Хотел убедиться, что с ней ничего не случилось.

— Как именно?

— Я сказал: «Здравствуйте». Она сказала: «Здравствуйте». Я сказал, что звоню из Ленинграда, встретился с тем, кто меня вызвал, и все отлично. Подслушивающий подумал бы, что я говорю о Хензигере. А Катя понимала, что я подразумеваю Гёте.

— Вполне оправданно, на мой взгляд,— сказал Брейди с извиняюще-сочувственной улыбкой.

— Я сказал: ну, так до свидания на Московской ярмарке, и берегите себя. Она сказала, что будет. То есть будет беречь себя. И до свидания.

— Еще что-нибудь?

— Я сказал, чтобы она сожгла романы Джейн Остин, которые я ей подарил. Я сказал, что это дефектные экземпляры и я привезу взамен хорошие.

— Почему вы так сказали?

— В романах в текст были впечатаны вопросы для Гёте. Дубликаты впечатанных в текст книги, которую он не взял у меня. Они были сделаны на случай, если бы я с ним не увиделся, а ей это удалось бы. Они были опасны для нее. А так как он не захотел на них отвечать, я предпочел, чтобы у нее в доме их не было.

В комнате ни движения, ни шороха — только ветер постукивает ставнями и гудит под скатом крыши.

— Как долго продолжался ваш разговор с Катей, Барли?

— Не знаю.

— В какую сумму он вам обошелся?

— Не знаю. Я уплатил в окошечко. Два рубля с чем-то. Я много говорил о книжной ярмарке. И она — тоже. Мне хотелось слышать ее голос.

Теперь настал черед Брейди промолчать.

— У меня было ощущение, что, пока я говорю, все нормально и с ней ничего не случится.

Брейди помолчал еще некоторое время, а затем, к нашему удивлению, закончил спектакль.

— То есть дружеская болтовня,— заметил он, начиная укладывать свои бумаги в дедовский портфель.

— Вот именно,— согласился Барли.— Дружеская болтовня. О том о сем.

— Как между хорошими знакомыми,— заметил Брейди, щелкая замочками.— Благодарю вас, Барли. Я восхищаюсь вами.

Мы сидели в большой гостиной с Брейди в центре. Без Барли.

— Откажитесь от него, Клайв,— посоветовал Брейди все тем же любезным голосом.— Он дергается, он уязвим, и он слишком много думает. Дрозд поднял такую волну, что вы не поверите. Все княжества схватились за оружие, генералы ВВС в судорогах, противоракетная оборона убеждена, что он — закладная на лавочку, Пентагон обвиняет Управление в рекламировании сомнительного товара. Ваша единственная надежда — вышвырнуть его вон и направить туда профессионала, одного из наших.

— Дрозд с профессионалами иметь дела не хочет,— сказал Нед, в его голосе я уловил закипающую ярость и понял, что она вот-вот хлынет через край.

У Скелтона тоже имелось предложение. Он заговорил в первый раз, и мне пришлось наклонить голову в его сторону, чтобы расслышать мягкий, культурный голос с университетской интонацией.

— Насрать на Дрозда,— сказал он.— Не Дрозду ставить условия. Он предатель, ополоумел от комплекса вины, и кто знает, что он такое еще? Поджарьте ему пятки. Скажите ему, что, если он перестанет поставлять товар, мы продадим его его же соотечественникам и бабу вместе с ним.

— Если Гёте будет пай-мальчиком, он сорвет порядочный куш, я за этим послежу,— пообещал Брейди.— Миллион совсем просто. Десять миллионов — лучше. Если вы его хорошенько припугнете и хорошенько ему заплатите, может быть, неандертальцы поверят, что он не ведет двойную игру. Рассел, всего доброго. Клайв, был рад увидеться. Гарри. Нед.

И в сопровождении Скелтона он направился к двери.

Однако Нед с ним еще не попрощался. Он не повысил тона, не ударил кулаком по столу, но он уже не прятал темного блеска в своих глазах и бешенство в голосе.

— Брейди!

— Вас что-то смущает, Нед?

— Дрозда взять за горло не удастся. Ни им, ни вам. Шантаж может казаться заманчивым в оперативном кабинете, но на практике он ничего не даст. Прослушайте записи, если не верите мне. Дрозд ищет мученичества. А мученикам угрожать бессмысленно.

— Так что же мне с ними делать, Нед?

— Барли вам лгал?

— В пределах допустимого.

— Он прямой человек. И в этом деле подвохов нет. Вы еще помните, что такое прямота? Пока вы рыскаете по закоулкам, Дрозд устремляется прямо к цели. А в напарники выбрал Барли. И Барли — наш единственный шанс.

— Он влюблен в нее,— сказал Брейди.— Он закомплексован. Он уязвим.

— Он влюблен в сотни и сотни их. Он делает предложение каждой девушке, с которой знакомится. Вот кто он. И слишком много думает не Барли, а вы и иже с вами.

Брейди заинтересовался. Не собственными взглядами, даже если они у него были, а взглядами Неда.

— Я перепробовал все,— сказал Нед.— Как и вы. Есть подвохи, которые остаются и когда дело окончено. А здесь с самого начала оно шло прямо, и это мы, и только мы, стараемся пустить его по кривой.

Я еще никогда не слышал, чтобы он говорил с таким жаром. Как и Шеритон, который окаменел от изумления. Возможно, именно по этой причине Клайв счел себя обязанным вмешаться и протрубить торжественный уход штатского чиновника со сцены.

— Да, думается мне, у нас тут богатая пища для размышлений, Брейди. Рассел, мы должны это обсудить. Быть может, есть средний путь. Именно к этой мысли я и склоняюсь. Почему бы нам не прозондировать почву? Немножко потянуть время. Еще раз все проиграть.

Но никто не ушел. Брейди, вопреки всем напутственным банальностям Клайва, остался стоять где стоял, и я заметил в чертах его лица обнаженную доброту, словно из-под маски на миг выглянул подлинный человек.

— Нед, нас ведь наняли не ради способности любить ближних. Они населили землю нами, призраками, меньше всего ради этого. Мы ведь знали, когда завербовывались.— Он улыбнулся.— Думается, если бы главным правилом игры была простая порядочность, дирижировали бы представлением вы, а не ваш начальник Клайв.

Клайву такая идея не понравилась, что, впрочем, не помешало ему проводить Брейди до его джипа.

На секунду мне показалось, что в комнате остались только Нед, Шеритон и я, но тут же на пороге возник Рэнди, наш гостеприимный хозяин, с лицом, исполненным восторженного изумления.

— Это ведь был Брейди? — спросил он благоговейно.— Тот самый Брейди! И ему все понравилось?

— Это была Грета Гарбо,— отрезал Шеритон.— Рэнди, уйдите. Будьте так добры.

Надо было и дальше поуслаждать вас успокоительной музыкой, пока молодые люди Шеритона вновь забирают Барли, и гуляют с ним по берегу, и перешучиваются с ним, и развертывают перед ним карту ленинградских улиц, и трудолюбиво устанавливают местонахождение магазина, где была куплена шапка из рысьего меха для мисс Коуд, и сколько он за нее заплатил, и куда могла деться копия чека, если она вообще была, и объявил ли он шапку на таможне в Гатуике, и даже находят ту почту, откуда он, по-видимому, звонил в Москву.

Надо бы описать вам свободные часы, которые мы с Недом проводили в лодочном домике Барли, выискивая способы, как выпутать его из паутины самоуглубленности, и не находя их.

Ибо Барли — я ощущал это уже тогда — неуклонно уходил от нас все дальше с той минуты, когда дал согласие подвергнуться допросу.

Затем наступает следующее утро, сияющее солнцем — по-моему, в четверг,— когда небольшой самолет доставляет на остров из логановского аэропорта Мерва и Стэнли как раз к их любимому завтраку, состоящему из оладий, жареной грудинки и чистейшего кленового сиропа.

Их вкусы были хорошо известны на кухне Рэнди.

Два добродушных медведя, сыны земли с лицами как из пемзы и огромными ручищами, прибыли они, точно два эстрадных комика, в темных фетровых шляпах, с большим чемоданом, который держали возле себя даже за завтраком, а потом бережно поставили на бордовый пол бильярдной.

Профессия придала туповатость их лицам, но они принадлежали к тому типу лю-

дей, который особенно предпочитает наша Служба — бесхитростные, верные, не отягощенные никакими комплексами пехотинцы, добросовестно делающие свое дело, чтобы кормить своих детей, любящие родину без громких заверений и клятв.

Волосы у Мерва были подстрижены под кротовую шкурку. Стэнли был кривоног и носил какую-то медаль за усердие.

— Будь вы хоть Иисус Христос, мистер Браун. Будь вы хоть машинистка, получающая полторы тысячи долларов в месяц! — заклинал Шеритон, когда мы стояли в лодочном домике Барли с мольбой в бегающих глазах.— Да, это шаманство, алхимия, столоверчение, гадание на кофейной гуще. Но если вы на это не пойдете, вы — покойник.

Потом заговорил Клайв. Клайв умел находить основания для чего угодно.

— Если ему нечего скрывать, то чем это его смущает? — сказал он.— Просто их вариант закона о неразглашении.

— А что считает Нед? — спросил Барли.

Уже не Недский. Нед.

В ответе Неда было поражение, которого мне никогда не забыть. И в ответе, и в его глазах. Брейди своим допросом подорвал его веру в себя и даже в своего джо.

— Выбор за вами,— сказал он неловко и добавил словно про себя: — Довольнотаки отвратительный, если хотите знать мое мнение.

Барли повернулся ко мне, совсем так же, как в тот раз, когда я спросил его, согласен ли он, чтобы американцы его допросили.

— Гарри? Что мне делать?

Почему ему требовалось мое мнение? Это был удар ниже пояса. Наверное, вид у меня был такой же неловкий, как у Неда. Во всяком случае неловкость я испытывал мучительную, хотя и умудрился небрежно пожать плечами.

— Либо пощекочите их за ушком и соглашайтесь, либо пошлите их к черту. Слово за вами,— ответил я примерно то же, что и в прошлый раз.

О, вечный законник!

И вновь Барли замирает. Нерешительность медленно уступает место покорности судьбе. И он все дальше уходит от нас, глядя в окно на океан.

— Ну, будем надеяться, они не изловят меня на том, что я буду говорить правду.

Он встает, встряхивает кистями рук, расслабляет плечи, а мы, точно скопище дворецких, кивками и взглядами исподтишка убеждаем друг друга, что наш господин сказал «да».

Мерв и Стэнли работали с почтительной ловкостью палачей. Кресло они не то привезли с собой, не то его хранили для них на острове — деревянный трон с прямой спинкой и желобком вместо левого подлокотника. Мерв поставил его на удобном расстоянии от розетки, а Стэнли наставлял Барли, как заботливый дедушка:

— Мистер Браун, сэр, во всем этом нет ничего против вас. Нам хотелось бы, чтобы вы исключили всякую мысль о каких-либо отношениях между вами и спрашивающими. Спрашивающий не противник, он беспристрастный оператор. Всю работу делает машина. Пожалуйста, снимите пиджак. Нет, закатывать рукава не нужно, сэр, и расстегивать рубашку тоже, благодарю вас. А теперь, пожалуйста, расслабьтесь. Спокойненько, спокойненько, никакого напряжения.

Тем временем Мерв с величайшей деликатностью надел на левый бицепс Барли манжету для измерения давления так, что она захватила и артерию у сгиба локтя. Затем он накачал манжету, пока стрелка не показала пятьдесят миллиграммов, а Стэнли с заботливостью секунданта в перерыве между раундами опоясал грудь Барли прорезиненной трубкой дюймового сечения, старательно ниже от сосков, чтобы не раздражать их. Затем он опоясал второй трубкой живот Барли, а Мерв надел на указательный и средний пальцы его левой руки сдвоенный колпачок с электродом внутри, регистрирующим деятельность потовых желез, реакции гальванизированной кожи и изменения ее температуры, то есть все, над чем субъект обследования, при условии, что у него есть совесть, не имеет власти — по крайней мере, так веруют обращенные. (Я вынудил Стэнли заранее объяснить мне каждую деталь — точно любящий родственник, который наводит подробные справки об операции, предстоящей близкому человеку. Некоторые полиграфисты, Гарри, надевают третью трубку на голову, как при снятии энцефалограммы. Но не Стэнли. Некоторые полиграфисты, Гарри, кричат и на-

скакивают на субъекта. Но не Стэнли. По мнению Стэнли, угрожающие вопросы у многих людей вызывают волнение, независимо от того, виновны они или нет).

— Мистер Браун, сэр, мы просим вас не делать никаких движений, ни быстрых, ни медленных,— говорил между тем Мерв.— Любое движение внесет резкое нарушение в запись, что потребует дальнейшей проверки и повторения вопросов. Благодарю вас. Сперва нам следует установить норму. Под нормой мы подразумеваем уровень голоса, уровень физических реакций — вообразите, что это сейсмограф, а вы Земля и все колебания исходят от вас. Благодарю вас, сэр. Отвечайте, пожалуйста, только «да» или «нет», и всегда правдиво. После каждых восьми вопросов мы делаем перерыв и ослабляем манжету во избежание неприятных ощущений. Пока манжета ослаблена, мы будем вести нормальный разговор, но, пожалуйста, без шуток, без какого-либо ненужного возбуждения. Ваша фамилия Браун?

— Нет.

— У вас другая фамилия, чем та, которой вы пользуетесь сейчас?

— Да.

— Вы родились в Англии, мистер Брауи?

— Да.

— Вы сюда прилетели, мистер Браун?

— Да.

— Вы сюда приехали на катере, мистер Браун?

— Нет.

— Вы до сих пор отвечали на мои вопросы правдиво, мистер Браун?

— Да.

— Вы намерены отвечать на мои вопросы правдиво до конца теста, мистер Браун?

— Да.

— Благодарю вас,— сказал Мерв с мягкой улыбкой, а Стэнли выпустил воздух из манжеты.

— Это вопросы, которые мы называем незначимыми. Вы женаты?

— В настоящий момент нет.

— Дети есть?

— Собственно говоря, двое.

— Мальчики или девочки?

— Мальчик и девочка.

— Лучше не придумаешь. Все в порядке? — Мерв начал накачивать воздух в манжету.— Теперь переходим к значимым. Спокойнее, спокойнее. Так, хорошо. Очень хорошо.

В открытом чемодане четыре призрачных проволочных коготка вычерчивали четыре лиловые линии горизонта на миллиметровке, а четыре черные стрелки подрагивали — каждая на своем циферблате. Мерв взял листки с вопросами и устроился за столиком сбоку от Барли. Даже Расселу Шеритону не было разрешено ознакомиться с вопросами, выбранными безликими инквизиторами за письменными столами в Аэнгли. На мистические силы чемодана не должно было воздействовать даже легкое дыхание сообитателей Барли на планете Земля.

Мерв говорил монотонно. Мерв, по моему убеждению, гордился бесстрастностью своего голоса. Он был — Ход Времени. Он был — Командно-Контрольный пункт в Хьюстоне.

— Я сознательно принял участие в заговоре, чтобы снабжать ложной информацией разведывательные службы Англии и Соединенных Штатов. Да — принял. Нет — не принял.

— Нет.

— Мной руководит желание способствовать миру между нациями. Да или нет?

— Нет.

— Я действую в сговоре с советской разведкой.

— Нет.

— Я горжусь своей миссией во имя мирового коммунизма.

— Нет.

— Я действую в сговоре с Ники Ландау.

— Нет.

— Ники Ландау мой любовник.

— Нет.

— Был моим любовником.

— Нет.

— Я гомосексуалист.

— Нет.

Перерыв, и Стэнли снова выпустил воздух из манжеты.

— Как оно, мистер Браун? Не очень больно?

— Чем больнее, тем лучше, старина. Обожаю боль.

Но мы, как я заметил, не смотрели на него во время перерывов. Мы смотрели на пол, или на свои руки, или на кивающие нам деревья за окном. Настал черед Стэнли. Тон более задушевный, но та же механическая монотонность:

— Я действую в сговоре с женщиной Катей Орловой и ее любовником.

— Нет.

— Мне известно, что человек, которого я называю Гёте, орудие советской разведки.

— Нет.

— Материал, который он мне передал, был приготовлен советской разведкой.

— Нет.

— Я жертва сексуальной ловушки.

— Нет.

— Меня шантажируют.

— Нет.

— Меня принуждают.

— Да.

— Советы?

— Нет.

— Мне угрожает финансовый крах, если я не буду сотрудничать с Советами.

— Нет.

Еще перерыв. Третий раунд. Очередь Мерва:

— Я солгал, когда сказал, что звонил из Ленинграда Кате Орловой.

— Нет.

— Из Ленинграда я звонил моему советскому контролю и рассказал ему о моем разговоре с Гёте.

— Нет.

— Я любовник Кати Орловой.

— Нет.

— Одно время я был любовником Кати Орловой.

— Нет.

— Меня шантажируют моими отношениями с Катей Орловой.

— Нет.

— На все предыдущие вопросы я отвечал правду.

— Да.

— Я враг Соединенных Штатов.

— Нет.

— Моя цель подорвать военную готовность Соединенных Штатов.

— Вы не откажете проиграть мой предыдущий ответ, старина?

— Выключи,— сказал Мерв, и Стэнли у чемодана выключил, а Мерв сделал карандашную пометку на миллиметровке.— Пожалуйста, мистер Браун, не нарушайте ритма. Иногда это делают нарочно, чтобы затемнить неприятный вопрос.

Четвертый раунд, и снова очередь Стэнли. Вопрос следовал за вопросом, и было ясно, что они не закончатся, пока не достигнут надира вульгарности. «Нет» Барли обрели мертвящий ритм и насмешливую пассивность. Он сохранял ту позу, в которой они его посадили. Я еще ни разу не видел, чтобы он сохранял неподвижность так долго.

Они снова сделали перерыв, но Барли уже не расслаблялся между раундами. Неподвижность его стала нестерпимой. Его подбородок был вздернут, глаза закрыты, и он как будто улыбался. Бог знает чему. Иногда он ронял свое «нет» еще до конца фразы. Иногда молчал так долго, что Мерв и Стэнли отрывались — один от циферблатов, другой от листков, и мне чудилось, что их охватывает палаческая тревога, что пытка оказалась для жертвы невыносимой. А потом «нет» наконец ронялось, не громче и не тише — письмо, задержавшееся на почте.

Откуда у него берется такой стоицизм? «Нет», «нет» — по отношению ко всему.

Почему он сидит здесь, точно человек, готовящийся к унижениям старости, кротко произнося «нет»? Что означает эта кротость — «нет», «да», «нет», «нет», и так до обеда, когда они отключат его от машины?

Но в глубине сознания, мне кажется, я уже знал ответ, хотя еще и не мог облечь его в слова: реальность для него переместилась.

Шпионаж — это ожидание.

Мы ждали три дня, а сколько это часов, вы можете подсчитать по моим седым волосам. Мы разделились по служебным рангам: Шеритон поедет с Бобом, Клайв — в Лэнгли, Нед останется на острове со своим джо. Палфри останется с ними на подхвате, хотя что мне надо было подхватывать, так я никогда и не узнал. К этому времени я возненавидел остров и подозревал, что Нед и Барли — тоже, хотя Нед отгородился от меня так же, как Барли. Он ушел в себя и на время утратил юмор. Что-то случилось с его гордостью.

Вот так мы ждали. И рассеянно играли в шахматы, редко доводя партию до конца. И слушали, как Рэнди рассказывает про свою яхту. И слушали, не зазвонит ли телефон. И слушали пронзительные крики птиц, слушали пульс океана.

Это были дни безумия, а особенности уединенного острова, клубящееся небо над ним, штормы и проблески идиллической красоты усугубляли безумие. «Темничный туман», как его называл Рэнди, обволакивал нас, рождая бессмысленный страх, что нам уже никогда не уехать отсюда. Туман рассеялся, но мы все еще были тут. Разделяемое уединение должно было бы сблизить нас, но оба они заперлись каждый в своем королевстве: Нед у себя в комнате, Барли под открытым небом. По острову дробью хлестал дождь, я смотрел сквозь залитые водой стекла и видел, как он шагает в плаще по обрыву, задирая колени, словно в жмущих сапогах, или — один раз — как он на пляже играет в крикет с Эдгаром, охранником, обходясь выброшенными на песок обломками и теннисным мячом. В солнечные часы он щеголял в старой синей фуражке, которую раскопал в матросском сундучке. Лицо его под козырьком делалось угрюмым, глаза выискивали еще незавоеванные колонии. Однажды Эдгар явился со светло-рыжей дряхлой собачонкой, которую нашел неведомо где, и они заставляли ее бегать между ними. А в другой день возле мыса на материке началась регата, и стая белых яхт выстроилась кольцом, точно мелкие зубки. Барли стоял и смотрел на них не отрываясь, как будто завороженный праздничным зрелищем, а Эдгар стоял в стороне и смотрел на Барли.

Он думает о своей Ханне, подумал я. Он ждет, чтобы жизнь подвела его к мигу выбора. И только гораздо позже меня осенило, что некоторые люди принимают решения несколько по-иному.

Последние мои впечатления от острова удобно слились в подобие сонных видений. С Клайвом я говорил по телефону всего два раза, что для него было практически равносильно небытию. В первый раз он пожелал узнать, «как там ваши друзья», и насколько я понял из слов Неда, тот же вопрос он уже задавал ему. А во второй — у него возникла потребность узнать, как я организовал компенсацию Барли, включая и субсидии его издательству, а также будут ли эти суммы выплачиваться из наших фондов или по дополнительной смете. У меня было с собой несколько предварительных заметок, и я мог его просветить.

Полдень, на стол в солярии как раз легли свежие номера «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост». Я нагибаюсь над ними и слышу, как Рэнди кричит охранникам, чтобы они позвали Неда к телефону. Обернувшись, я вижу, как из сада входит Нед и стремительно идет через холл в комнату связи. Я смотрю в глубь холла на лестничную площадку и вижу застывшего Барли — недвижный силуэт. Там стоят старинные книжные шкафы, и утром он уговорил Рэнди отпереть их, дать ему покопаться в книгах. Это площадка с полукруглым окном, тем, которое выходит на гортензии и океан.

Он стоит спиной ко мне, длинные пальцы опущенной руки держат книгу чуть на отлете, взгляд устремлен в атлантическую даль. Ноги расставлены, свободная рука приподнята к лицу привычным жестом, словно чтобы встретить удар. Конечно, он слышал все — вопль Рэнди, шаги Неда, торопливо пересекающие холл, стук захлопывающейся двери в комнату связи. Под выложен плиткой, и звук шагов отдается в лестничном пролете, будто глухой перезвон церковных колоколов... Я и сейчас слышу их: Нед выходит из комнаты связи, делает несколько шагов и останавливается.

— Гарри! Где Барли?

— Здесь,— негромко отзывается Барли сверху через перила.

— Они снимают перед вами шляпы! — кричит Нед, ликуя, как школьник.— Они приносят свои извинения! Я говорил с Бобом, с Клайвом, с Хаггарти. Гёте — самое крупное, с чем им приходилось иметь дело за многие годы. Совершенно официально. Они принимают его стопроцентно. Теперь только вперед. Вы взяли верх над всем их аппаратом.

К этому времени Нед свыкся с рассеянностью Барли, а потому не должен был бы удивляться, когда Барли точно не услышал. Его взгляд по-прежнему был устремлен на Атлантический океан. Может быть, ему показалось, будто он увидел, как перевернулась лодка? Это ведь видят все. Понаблюдайте за волнами у побережья штата Мэн, и они начнут чудиться вам повсюду: парус, перевернутый корпус, пятнышко головы уцелевшего пловца, рука, поднявшаяся было над волной, чтобы скрыться под ней навсегда. Только наблюдая очень долго, вы наконец соображаете, что это занимаются ловлей рыбы скопы и бакланы.

Но Нед, захлебываясь волнением, умудрился обидеться. Один из тех редчайших случаев, когда профессионал перестает следить за собой и на миг предстает просто незавершенным человеком.

— Вы едете назад в Москву, Барли! Ведь вы же этого хотели? Довести дело до конца.

И Барли наконец, огорченный тем, что причинил Неду боль, полуоборачивается, чтобы Нед мог увидеть его улыбку.

— Да, старина. Ну, конечно. Именно то, чего я хотел.

Тем временем настает мой черед идти в комнату связи: Рэнди манит меня пальцем.

— Это вы, Палфри?

Да, это я.

— Дальше дело будет вести Лэнгли,— сообщает Клайв, точно это заключительная часть той же чудесной новости.— По категории первоочередной важности, Палфри. Выше у них нет,— добавляет он сокрушающе.

— Ну что же, поздравляю,— говорю я, отодвигаю трубку от уха и ошарашенно ее рассматриваю, а тягучий голос Клайва продолжает сочиться из нее, как вода из крана, завернуть который невозможно: — Я хочу, Палфри, чтобы вы немедленно составили документ о договоренности и подготовили исчерпывающее соглашение, которое предусматривало бы все непредвиденные расходы. Они стоят перед нами на задних лапках, а потому я жду, чтобы вы были тверды. Тверды, но без запроса. Мы имеем дело с чрезвычайно практичными людьми, Палфри. И упрямыми.

Еще. И еще. И сверх того. Лэнгли берет на себя пенсию Барли и все компенсации как задаток за полный контроль над операцией. Лэнгли принимает равное участие в руководстве источником, но в случае разногласий решающий голос — за ними.

— Они подготавливают исчерпывающий список, Палфри, большой шлем. Представят его госдепартаменту, Пентагону, научным организациям. Все главные вопросы дня будут собраны и переданы Дрозду. Они отдают себе отчет в риске, но это их не останавливает. Не дерзнешь — останешься ни с чем, так они рассуждают. Для этого требуется смелость.

И все это голосом дипломатической почты. Наконец-то Клайв, подобно своему тезке, дорвался до Индии.

— В великом наступательно-оборонительном равновесии, Палфри, ничто не существует в вакууме,— надменно поясняет он, несомненно повторяя чьи-то слова, услышанные час назад.— Тут требуется тончайшая настройка. Каждый вопрос критичен не менее ответа. Им это известно. Им это вполне очевидно. И они не могут сделать источнику более лестный комплимент, чем приготовить для него вопросник без каких-либо ограничений. На подобное они не шли уже много, много лет. Нечто беспрецедентное. Во всяком случае, за последние годы.

— А Нед знает? — спрашиваю я, едва мне удается вставить хоть слово.

— Откуда? Никто из нас ничего не знает. Все сверхзасекречено.

— Я имел в виду, знает ли он, что вы подарили им его джо?

— Немедленно поезжайте в Лэнгли и утрясите наши условия с тамошними юристами. Рэнди организует транспорт. Вы слушаете, Палфри?

— Он знает? — повторяю я.

Клайв устраивает одно из своих телефонных молчаний, давая вам возможность осознать все ваши промахи и ошибки.

— Нед, с вашего разрешения, будет поставлен в известность обо всем по возвращении в Лондон. А это будет скоро. До тех же пор я предпочту, чтобы вы с ним об этом не говорили. За русским отделом останется его роль. Шеритон ее ценит. Отдел будет даже в некоторых отношениях расширен. И может быть, отнюдь не временно. Нед должен быть только благодарен.

Нигде новость не была принята с таким восторгом, как в английской прессе, связанной с книгоиздательским делом.

«Многообещающий брак! — несколько недель спустя возвестили «Букиьюс» в приложении, посвященном Московской книжной ярмарке.— Помолвка, о которой давно ходили слухи, между «Аберкромби и Блейр», Норфолк-стрит, Стрэнд, и «Потомак трейдерс, инкорпорейтед», Бостон, штат Массачусетс, СОСТОЯЛАСЬ! Тяжеловес Джек Хеизигер накоиец-то обработал «А. и Б.» Барли Скотта Блейра, и они создают совместную фирму «Потомак и Блейр», которая планирует наступательную кампанию на стремительно расширяющихся рынках Восточиого блока. «Это витрина в будущее»,— убежденно утверждает Хензигер.

Московская киижиая ярмарка, они уже в пути!»

Сообщение иллюстрировала умилительная фотография: Барли и Джек Хензигер обмениваются рукопожатием над вазой с цветами. Снимок сделал фотограф Службы в консшративном доме в Найтсбридже. О цветах позаботилась мисс Коуд.

На следующий день после возвращения с острова я встретился с Ханной и думал, что мы займемся любовью. Как и всегда, если я ее долго не видел, оиа выглядела высокой, стройной и золотистой. Был четверг, и она повезла своего четырнадцатилетнего сына Джайлза на совершенио лишнюю коисультацию к специалисту в окрестиостях Харли-стрнт. Нежных чувств Джайлз у меня никогда не вызывал — возможно, потому, что он, как я знал, был зачат в пику мне, когда я в очередной раз отослал ее к Дереку. Мы сндели в обычном нашем омерзительном кафе и пили перестоявшийся чай в ожидании, когда коисультация кончится. И она курила, чего я не выношу. Но я ее хотел, и она это знала.

— А где именно в Америке? — спросила она, словно от этого хоть что-то зависело.

— Не знаю. На каком-то островке, где скопы ловят рыбу, а погода стоит скверная.

— Поспорю, что скопы не настоящие.

— Самые настоящие. Там этих птиц много.

И по напряжению в ее глазах я понял, что и она меня хочет.

— В любом случае я должна отвезти Джайлза домой,— сказала она, когда мы кончили читать мысли друг друга.

— Отправь его на такси,— предложил я.

Но в нас уже снова проснулся антагонизм, и минута ушла безвозвратно.

13

Катя забрала Барли утром в воскресенье в десять часов у подъезда гигантской гостиницы «Международная», ибо Хензигер категорически потребовал, чтобы они остановились именно там. (Иностранцы с Запада называют ее фамильярно «Меж».) И Уиклоу с Хензигером, сидя в нелепейшем помпезном вестибюле, сумели стать свидетелями их радостной встречи и отъезда.

День выдался солиечный, и Барли уже задолго принялся ожидать ее перед подъездом, где слепые лимузины непрерывным потоком забирали или высаживали именитых особ третьего мира. Но вот в их строй ворвалась ее красная «Лада», как вспышка веселья в похоронной процессии — тоненькая ручка Анны, точно иосовой платок, трепетала над опущенным стеклом задней дверцы, а рядом с ней Сергей, выпрямившись, точно комиссар, сжимал рыболовную сетку.

Барли было очень важно сначала увидеть детей. Он обдумал это заранее и пришел к выводу, что надо сделать именно так — ведь теперь любая мелочь обретала зна-

чение, и ничего нельзя было оставлять на волю случая. Только весело помахав в ответ им обоим и состроив Анне гримасу, он позволил себе взглянуть на ветровое стекло: справа плотно сидел дядя Матвей — его чисто выбритое коричневое лицо поблескивало, как каштан, а из-под козырька клетчатой кепки весело посматривали глаза бывалого моряка. Сияй солнце, греми гром, сверкай молния, Матвей все равно облачился бы в честь великого англичанина во все самое парадное — диагоналевый пиджак, парадные сапоги и галстук-бабочку. К лацкану он пришпилил эмалевый значок с революционными флагами. Матвей опустил стекло, Барли просунулся внутрь, тряся руку Матвея и восклицая «привет, привет!». И только потом осмелился взглянуть на Катю. Но губы его не сразу расцвели в улыбке, словно время споткнулось, или он забыл свои реплики, свою легенду, или просто, что она так красива.

Однако Катя сдерживаться не стала.

Она выпрыгнула из машины. Брюки на ней были скверного покроя, но все равно очень ей шли. Она стремглав обежала бампер, сияя счастьем и доверием. Она кричала: «Барли!» И к той секунде, когда она добралась до него, ее руки были уже раскинуты так широко, что все ее тело естественно и свободно устремлялось в его объятия — которым она, как благовоспитанная русская девочка, тут же поставила благопристойный предел, чуть попятившись, но не отпуская его, вглядываясь в его лицо, в его волосы, в его старенький туристский костюм, и говорила, говорила без умолку, непосредственно и дружески.

— Как хорошо, Барли, ну, просто чудесно, что вы приехали! — восклицала она.— Добро пожаловать на книжную ярмарку, добро пожаловать в Москву. Матвей просто поверить не мог вашему звонку из Лондона! «Англичане всегда были нашими друзьями,— сказал он.— Они научили Петра плавать по морю. А если бы не научили, у нас не было бы военно-морского флота». Это он про Петра Великого, понимаете? Матвей живет только Ленинградом. А как вам Володина машина? Я так рада, что у него наконец есть что-то, что он может любить.

Она отпустила его, и, как обалдевший от счастья идиот, каким он и выглядел, Барли издал вопль:

— Ох, черт! Совсем забыл.

Он вдруг вспомнил про пакеты, которые прислонил к стене возле подъезда. Когда он вернулся с ними, Матвей как раз выбирался из дверцы, чтобы уступить ему переднее сиденье, но Барли и слушать об этом не пожелал.

— Нет-нет-нет, да нет же! Я отлично умещусь с близнецами! Но все равно спасибо, Матвей.

После чего он, изгибаясь и складываясь, забрался спиной вперед на заднее сиденье, словно припарковывал задним ходом грузовик, а сам тем временем раздавал пакеты, и близнецы похихикивали с благоговейным удивлением: уж этот великан с Запада! Сколько у него суставов и еще всякого лишнего, а нам он привез английские шоколадки, швейцарские цветные карандаши, альбомы для рисования и книжечки Беатрис Поттер на английском — на двоих, и красивую новую трубку для дяди Матвея (Катя как раз говорила, что теперь человека счастливей его трудно придумать), а к ней кисет с английским табаком.

Ну, а Кате — все, чего она только могла бы пожелать до конца своих дней: губную помаду, пуловер, духи, французский шелковый шарф, такой красивый, что его страшно надеть.

«Лада» тем временем уже отъехала от «Меж» и затряслась на неровностях мостовой, а Катя рассказывала о книжной ярмарке, открывающейся завтра, и довольно неудачно лавировала между залитыми водой выбоинами.

Двигались они примерно на восток. Дружелюбное золотое сентябрьское солнце висело почти прямо перед ними, придавая очарование даже московским окраинам. Дальше потянулась печальная равнина — поля, не имеющие хозяев, заброшенные церкви, огороженные трансформаторные подстанции. По сторонам шоссе возникали скопления старых дачек, напоминавших обветшалые пляжные домики; прихотливые башенки и палисаднички вновь привели на память Барли английские железнодорожные станции дней его детства. Матвей на переднем сиденье отравлял их всех, самозабвенно обкуривая новую трубку и изъявляя свой восторг сквозь клубы дыма. Однако Катя была так увлечена перечислением открывавшихся взгляду достопримечательностей, что не обращала на него внимания.

— Вон там за холмом, Барли, прячется такой-то литейный завод. А это замызганное цементное строение слева принадлежит колхозу.

— Великолепно! — сказал Барли.— Потрясающе! А день-то, день!

Анна высыпала свои карандаши себе на колени и тут же обнаружила, что стоит лизнуть кончик, и он оставляет влажную цветную линию. Сергей убеждал ее убрать их назад в жестяную коробочку, а Барли миротворчески пытался рисовать в альбоме всяких животных, чтобы ей было что раскрашивать, но московские дорожные покрытия не рассчитаны на художников.

— Да не з е л е н ы м, балбеска! — сказал он ей.— Кто-нибудь когда-нибудь видел зеленых коров? Катя, ваша дочь воображает, будто коровы бывают зелеными.

— Анна у нас девочка не от мира сего,— со смехом ответила Катя и что-то быстро сказала Анне через плечо. Анна посмотрела на Барли и хихикнула.

И все это — под нескончаемый монолог Матвея, звонкий смех Анны и встревоженные замечания Сергея, не говоря уж о натужном реве маленького мотора, так что вскоре все уже слышали только самих себя.

Внезапно они свернули с шоссе и покатили прямо по лугу и вверх по склону холма, куда не вела ни единая тропка,— дети безудержно хохотали, и Катя с ними, а Матвей одной рукой судорожно схватился за кепку, бережно зажав в другой трубку.

— Вот видите? — торжествующе спросила Катя у Барли, перекрикивая шум, словно собиралась раз и навсегда решить старый спор между влюбленными в свою пользу.— В России мы можем ехать куда захотим, при условии, что не вторгнемся во владения наших миллионеров или членов правительства.

Они перевалили через гребень холма под новый взрыв буйного смеха, скатились в травянистую лощину, вновь, точно храбрая лодочка на волну, вскарабкались по противоположному склону и оказались на проселке, вьющемся по берегу ручья. Ручей нырнул в березовую рощу, проселок за ним. Катя каким-то образом остановила машину, выдернув ручной тормоз, словно тормозя сани. Они оказались совсем одни в раю, где можно построить плотину на ручье, перекусить на пригорке и поиграть в лапту битой и мячиком Сергея, извлеченными из багажника. Все должны были встать в круг, один бросал мяч, другой отбивал.

Вскоре выяснилось, что Анна относится к лапте весьма легкомысленно и думает только о том, как бы отыскать еще один повод для смеха, а потом усесться за еду и пофлиртовать с Барли. Но Сергей, солдат, был истово верующим, а Матвей, моряк, и вовсе фанатиком. А Катя, выбирая место, где устроиться поесть, объясняла мистическую роль лапты в развитии западной культуры:

— Матвей заверил меня, что она — родоначальница американского бейсбола и нашего английского крикета. Он убежден, что вас с ней познакомили иммигранты из России. И не сомневаюсь, что ее изобретателем он считает Петра Великого.

— Если это правда, то в ней гибель империи,— с глубокой серьезностью сказал Барли.

Лежа в траве, Матвей посасывает трубку и продолжает красноречивый монолог. Его ласковые голубые глаза, устремленные в славное ленинградское прошлое, горят героическим огнем. Но Катя слушает его, как радиоприемник, который невозможно отключить. Что-то она слышит, но глуха ко всему остальному. Она идет по траве к машине, забирается внутрь, захлопывает за собой дверцу и появляется снова в шортах, с клеенчатой сумкой, в которой лежат бутерброды, завернутые в газету, холодные котлеты, холодная курица и мясные пирожки. За ними следуют соленые огурцы и крутые яйца. Она привезла несколько бутылок жигулевского пива, Барли прихватил шотландское виски, и Матвей произносит пылкий тост за здоровье какого-то отсутствующего монарха, возможно, что и Петра.

Сергей наклоняется над ручьем и загребает воду сачком. Его заветная мечта, объясняет Катя, наловить рыбы и накормить всех, кто находится под его опекой. Анна рисует. Демонстративно отодвигаясь от альбома, чтобы все могли полюбоваться ее творением. Она трудится над автопортретом для Барли, чтобы он повесил его у себя дома в Лондоне.

— Она спрашивает, женаты ли вы? — говорит Катя, уступая приставаниям дочери.

— Нет. То есть в настоящее время. Но я всегда готов.

Анна задает еще один вопрос, но Катя краснеет и делает ей выговор. Выполнив свой патриотический долг, Матвей ложится на спину, надвигает кепку на глаза и ора-

торствует бог знает о чем, но во всяком случае о чем-то необыкновенно для него увлекательном.

— Скоро он доберется до ленинградской блокады,— с нежной улыбкой говорит Катя.

Она умолкает и взглядывает на Барли. Ее слова означают: «Теперь мы можем поговорить».

Серый фургон заурчал мотором. Давно бы так! Барли уже довольно долго сердито поглядывал на него через ее плечо, надеясь, что это дружеский фургон, но от души желая, чтобы он оставил их одних. Боковые окна кабины густо облепляла пыль. С облегчением он следил, как фургон, громыхая, выбрался на дорогу и, громыхая, исчез за поворотом и из его памяти.

— Он себя чувствует о т л и ч н о! — говорила Катя.— Он написал мне длинное письмо, и у него все как нельзя лучше. Он болел, но теперь совершенно здоров, и я этому верю. Ему надо многое с вами обсудить, и во время ярмарки он специально приедет в Москву увидеться с вами и узнать, как продвигается дело с его книгой. Он бы хотел поскорее увидеть подготовленную часть рукописи, хотя бы одну страницу. По-моему, это опасно, но у него нет терпения ждать. Он хочет узнать, какие у вас есть предложения относительно заглавия, перевода, даже иллюстраций. Мне кажется, он превращается в типичного писателя-диктатора. Скоро он подтвердит все это и, кроме того, найдет квартиру, где вы сможете встретиться. Он хочет устроить все сам, только подумайте! По-моему, вы оказали на него самое благотворное влияние.

Она рылась в сумочке. За березовой рощицей остановилась красная легковушка, но Катя словно ничего не замечала, кроме собственного радужного настроения.

— Самой мне кажется, что его работа скоро будет излишней. Переговоры о разоружении обещают все больше положительных результатов, и в новой атмосфере международного сотрудничества все эти ужасы уйдут в прошлое. Естественно, американцы относятся к нам с подозрением. И мы, естественно, относимся с подозрением к американцам. Но когда мы объединим усилия, то сможем разоружиться до конца и вместе предотвратить угрозу войны где бы то ни было.

Она говорила своим назидательным тоном, не терпящим возражений.

— Но как же мы сможем ее предотвратить, если у нас не будет оружия, чтобы предотвращать ее? — возразил Барли, и суровый взгляд тут же покарал его за дерзость.

— Барли, мне кажется, вы поддаетесь западному негативизму,— произнесла она приговор, извлекая из сумочки конверт.— Это ведь вы, а не я уверили Якова, что нам необходимы эксперименты с человеческой природой.

Ни штампа, ни марки, заметил про себя Барли. Просто «Кате» русскими буквами и вроде бы почерком Гёте, но кто мог сказать наверное? По затылку и плечам у него пробежала тревожная дрожь, словно по ним разливалась отрава или у него начинался приступ аллергии.

— А чем он болел?

— Когда вы встретились в Ленинграде, он очень нервничал?

— И он и я. Все дело в погоде,— ответил Барли, все еще ожидая ответа на свой вопрос. Его слегка поташнивало. Вероятно, съел что-нибудь не то.

— Нет, он просто был болен. Вскоре после вашей встречи у него был сильный приступ, такой внезапный и острый, что даже его коллеги не знали, куда он исчез. У них возникли самые страшные подозрения. Один из ближайших его друзей даже признался мне, что они боялись, не умер ли он.

— А я не знал, что у него есть близкие друзья кроме вас.

— Меня он выбрал своим представителем в делах с вами. А для другого у него, естественно, есть еще друзья.— Она вынула письмо из конверта, но не отдала ему.

— Но это не совсем то, что вы мне говорили в прошлый раз,— сказал он растерянно, продолжая борьбу с умножающимися симптомами недоверия.

Его упрек оставил ее равнодушной.

— С какой стати рассказывать обо всем при первом знакомстве? Приходится оберегать себя. Это естественно.

— Пожалуй,— согласился он.

Анна докончила автопортрет и потребовала немедленных похвал. Она изобразила себя рвущей цветы на крыше.

— Изумительно! — воскликнул Барли.— Скажите ей, что я повешу его над камином. Я уже знаю, где именно. Слева там фотография Антеи на лыжах, а справа Хэл крепит парус. Аниа займет место между ними.

— Она спрашивает, сколько лет Хэлу,— сказала Катя.

Ему пришлось произвести некоторые подсчеты. Сиачала вспомнить, в каком году родился Хэл, а затем — какой нынче год, а потом не без труда вычесть один из другого, а в ушах у него звенело.

— Ну-у, Хэлу двадцать четыре. Но, боюсь, он женился довольно по-глупому.

Анна огорчилась и с упреком посмотрела на них, когда Катя продолжила разговор:

— Едва я узнала, что он исчез, как попыталась связаться с ним обычными способами, но у меня ничего не вышло. Я была ужасно расстроена.— Она наконец протянула ему письмо, а ее глаза светились облегчением и счастьем. Беря письмо, он неловко сжал ее руку, и она ее не отдернула.— Затем через восемь дней, то есть через неделю, если не считать сегодняшнего, в субботу, через два дня после вашего звонка из Лондона, мне домой позвонил Игорь: «Я достал для тебя лекарство. Выпьем где-нибудь кофе, и я его тебе отдам». Лекарство — это наше кодовое обозначение письма. Он подразумевал письмо от Якова. Я удивилась и страшно обрадовалась. Яков уже много лет не писал мне писем. И какое письмо!

— Кто это Игорь? — спросил Барли очень громко, чтобы перекричать грохот внутри своей головы.

Пять страниц прекрасной белой недостижимой бумаги, исписанные аккуратным нормальным почерком. Барли никак не ожидал, что Гёте способен писать так упорядоченно-ординарно. Катя отняла руку, но мягко.

— Игорь — друг Якова с ленинградских времен. Они вместе учились.

— Чудесно. А чем он занимается сейчас?

Его вопрос вызвал у нее досаду — ей не терпелось увидеть, какое впечатление произведет на него письмо, пусть он и не может сам его прочесть.

— Он научный консультант в каком-то министерстве. При чем тут профессия Игоря? Хотите, чтобы я вам перевела или нет?

— А как его фамилия?

Она ответила, и при всей глубине его смятения он обрадовался ее колючести. «Нам бы нужны годы, а не часы,— подумал он.— Нам бы вцепляться друг другу в волосы в раннем детстве. Нам бы, пока еще не поздно, пережить все, что мы не пережили». Он повернул письмо к ней, и она небрежно опустилась на колени у него за спиной, одной рукой держась за его плечо, а другой указывая на строчки, которые переводила. Он ощущал, как ее грудь касается его спины, и его внутренний мир пришел в равновесие, недавние чудовищные подозрения уступили место способности аналитически мыслить.

— Вот адрес. Просто номер почтового ящика, что совершенно нормально,— сказала она, указывая пальцем в верхний правый угол.— Он в спецбольнице, возможно в спецгородке. Письмо он писал, лежа в постели... Вы видите, как красиво он пишет, когда трезвый... и отдал его приятелю, который ехал в Москву. Приятель отдал письмо Игорю, что тоже совершенно нормально. «Моя милая Катя»... ну, обращение не совсем такое, но не важно. «Меня сразил какой-то вариант гепатита, но болезнь — вещь очень поучительная, и я жив». Очень для него типично — сразу же выводить мораль.— Она опять указала на строку: — Это слово делает гепатит хуже — «отягощенный»...

— Тяжелый,— с полным спокойствием поправил Барли.

Пальцы у него на плече укоряюще сжались.

— Что за важность, если слово и не совсем точно? Хотите, я съезжу за словарем? «У меня была очень высокая температура и много фантазий...»

— Галлюцинаций,— вставил Барли.

— Правильное слово будет «бред»...— начала она в бешенстве.

— Ладно, ладно, обойдемся и так.

— «...но теперь я совсем здоров и через два дня уеду на неделю к морю в санаторий». К какому морю, он не указывает, да и зачем? «Мне можно будет все, только не пить водки, но это чисто бюрократическое ограничение, и как подлинный ученый я быстро им пренебрегу». И это тоже типично, правда? Что после гепатита он сразу же думает о водке.

— Абсолютно,— ответил Барли улыбнувшись, чтобы угодить ей... а может быть, и чтобы успокоить себя.

Строчки были безупречно прямые, точно их вели по линейке. И ни единого вычеркнутого слова.

— «Если бы только все русские могли лежать в таких больницах, в какую здоровую нацию мы превратились бы в самое ближайшее время!» Он всегда остается идеалистом, даже когда болен. «Сестры такие красавицы, а врачи такие молодые и такие красавцы, что место это больше походит на обитель любви, чем на обитель болезней». Он это пишет, чтобы возбудить во мне ревность. Но знаете что? Для него это очень необычно — заметить, что кто-то счастлив. Яков трагик. И даже скептик. Видимо, они излечили его заодно и от мрачного настроения. «Вчера я в первый раз вышел на прогулку, но вскоре устал, как малое дитя. Потом я лежал на веранде и успел загореть, прежде чем уснул, как младенец, с чистой совестью, если не считать моего скверного обращения с тобой, того, как я тебя всегда эксплуатирую». Ну, дальше всякие нежности, я их переводить не буду.

— И так он всегда?

Она засмеялась:

— Я же вам говорила. Необычно даже, что он мне пишет, и уже много месяцев, если не сказать лет, как он не упоминает про нашу любовь — кстати, теперь абсолютно духовную. По-моему, болезнь пробудила в нем сентиментальность, так что мы его простим.— Она перевернула страницу, и опять их руки соприкоснулись, только у Барли пальцы были холоднее зимы, и он про себя удивился, что она ничего об этом не сказала.— Теперь мы переходим к мистеру Барли. К вам. Он крайне осторожен и вашего имени не называет. Во всяком случае, болезнь не лишила его осмотрительности. «Пожалуйста, передай нашему доброму другу, что я постараюсь, насколько будет в моих силах, увидеться с ним, когда он приедет, при условии, что мое выздоровление не замедлится. Пусть привезет свои материалы, как и я, если сумею. На той неделе мне предстоит прочесть лекцию в военной академии в Саратове...» Игорь говорит, что Яков всегда в сентябре читает лекцию в этой академии. Столько нового узнаешь, когда кто-нибудь заболевает! «...и я приеду в Москву оттуда сразу же, как будет можно. Если ты увидишься с ним раньше меня, пожалуйста, передай ему следующее. Скажи, чтобы он привез все оставшиеся вопросы, потому что после этого я больше не хочу отвечать на вопросы серых людей. Скажи ему, что список должен быть окончательным и исчерпывающим».

Барли молча слушал остальные инструкции Гёте, столь же категоричные, как и тогда в Ленинграде. И пока он слушал, черные тучи его недоверия слились воедино, внутри у него все сжалось от тайного страха, и вновь возникла тошнота.

— «...страницу перевода, но, пожалуйста, напечатанную типографским способом: так много легче для восприятия»,— обращалась она к нему от имени Гёте.

— «Я бы хотел, чтобы предисловие написал профессор Киллиан из Стокгольмского университета, пожалуйста, предложите ему это как можно скорее»,— говорила она.

— «...Были ли дальнейшие отклики вашей интеллигенции? Будьте добры, сообщите мне...»

Дата опубликования. Гёте слышал, что с коммерческой точки зрения осень — наилучшее время, «но неужели надо ждать целый год?» — спрашивала она от имени своего любовника.

— «...Да, о заголовке. Как вам «Величайшая ложь в мире»?..»

— «...Суперобложка: пожалуйста, ознакомьте меня с аннотациями на ней. И пожалуйста, пошлите сигнальные экземпляры профессору Дагмаре Имярек в Станфорд и профессору Герману Имярек в Массачусетский технологический институт...»

Барли все это добросовестно заносил в свою записную книжку на странице, которую озаглавил «Книжная ярмарка».

— А что дальше? — спросил он, потому что она уже убирала письмо в конверт.

— Я же вам сказала. Всякие нежности. Он теперь в мире с собой и хотел бы возобновить всю полноту отношений.

— С вами.

Несколько секунд она молча смотрела на него.

— Барли, мне кажется, вы ведете себя немного по-детски.

— Значит, любовники? — не отступал Барли.— И стали жить-поживать? Так?

— В прошлом он страшился ответственности. А теперь — нет. Вот что он пишет. Но естественно, об этом не может быть и речи. Что было, то прошло. И невосстановимо.

— Так почему же он это пишет?

— Не знаю.

— Вы ему верите?

Она чуть было не рассердилась на него всерьез, но тут же уловила в выражении его лица не зависть, не враждебность, а напряженную, почти пугающую тревогу за нее.

— Почему он вдруг так расписался? Оттого лишь, что заболел? Он ведь обычно не играет с чувствами других людей... Он гордится тем, что говорит только правду.

Его пристальный взгляд продолжал держать в своей власти и ее, и письмо.

— Он одинок,— ответила она, словно в оправдание.— Ему не хватает меня, и он преувеличивает. Это естественно, Барли. Мне кажется, вы немножко...

Либо она не нашла нужного слова, либо в последний миг решила не договаривать, и Барли докончил за нее:

— ...ревнуете.

И сумел сделать то, чего она от него ждала. Он улыбнулся. Сотворил милую, бесхитростную улыбку бескорыстной дружбы, и пожал ей руку, и поднялся на ноги.

— Это изумительное письмо,— сказал он.— Я рад за него, его выздоровлению.

И был искренен. В каждом слове. Он слышал правдивый тон своего голоса, а его глаза скосились на красную легковушку за рощицей.

Затем, ко всеобщему восторгу, Барли рьяно воплощается в роль воскресного папаши — роль, к которой он был превосходно подготовлен всем ходом своей рваной жизни. Сергей требует, чтобы он приобщился к искусству рыбной ловли. Анна хочет знать, почему он не захватил плавок. Матвей уснул, улыбаясь сквозь туман виски и своих воспоминаний. Катя стоит в шортах по колено в воде. Ему кажется, что он никогда еще не видел ее такой красивой и такой далекой. Она собирает камни для постройки плотины, но все равно другой такой красавицы он в жизни не видел.

Однако никто никогда не строил плотин с большим усердием, чем Барли в этот сентябрьский день, никто яснее не представлял себе, как можно остановить течение. Он подвертывает дурацкие серые брюки и вымокает по ягодицы. Он укладывает камни и палки до изнеможения, а Аниа руководит, сидя у него на плечах. Сергею нравится его деловой подход, а Кате — его романтичный азарт. На месте красной легковушки появляется белая. В ней сидит парочка, распахнув все дверцы, и ест... то, что ест. По предложению Барли дети взбегают на холм и машут парочке в белой легковушке, но парочка не машет в ответ.

Спускаются сумерки, и сквозь желтеющую березовую листву просачивается едкий дымок осенних костров. Москва вновь становится деревянной и горит. Они начинают убирать вещи в машину, а над ними пролетает пара диких гусей — последняя пара диких гусей в мире.

По дороге к гостинице Анна засыпает на коленях у Барли, Матвей разглагольствует, а Сергей сосредоточенно всматривается в страницы поттеровского «Бельчонка Орешкина», словно это партийный манифест.

— Когда вы будете с ним говорить? — спрашивает Барли.

— Это уже организовано,— отвечает она загадочно.

— Организовано Игорем?

— Игорь ничего не организует. Игорь просто связной.

— Новый связной,— поправляет Барли.

— Игорь старый друг и новый связной, что тут такого? — Она взглядывает на него и догадывается о его намерении.— В больницу, Барли, вам ехать нельзя. Это для вас небезопасно.

— Ну, для вас это тоже не развлечение,— отвечает он.

Она знает, думает он. Она знает, но не знает, что знает. Она ощущает симптомы, какая-то часть ее сознания поставила диагноз, но всем своим существом она ему противится.

Англо-американский оперативный кабинет расположился не в убогом полуподвале на Виктория-стрит, но в сверкающей башенке, венчающей небоскреб-недоросток в окрестностях Гроувенор-сквер. Он наименовал себя Межсоюзнической группой уми-

ротворения и круглосуточно охранялся умиротворяющими американскими морскими пехотинцами в штатской форме. Всепроникающая атмосфера приподнятой целеустремленности: подтянутые молодые мужчины и женщины — новое пополнение — порхали между аккуратными письменными столами, отвечали подмигивающим телефонам, разговаривали с Лэнгли по линиям засекреченной связи, подавали документы, печатали на бесшумных клавиатурах или располагались в позах сосредоточенной расслабленности перед рядами телемониторов, сменивших двойные часы прежнего русского отдела.

Это было двухпалубное судно: Нед и Шеритон сидели бок о бок в закрытой рубке, а под ними по ту сторону перегородки из звуконепроницаемого стекла выполняли свои обязанности члены их неравночисленных команд. Одна стена принадлежала Броку и Эмме, другая стена и центральный проход — Бобу, Джонни и их когортам. Но плыли все в одном направлении. У всех на лицах было одинаковое выражение дисциплинированной целеустремленности, все смотрели на одни ряды экранов, которые мерцали и мигали, когда по ним, точно сообщения с фондовой биржи, ползли автоматические расшифровки.

— Фургон благополучно прибыл в порт,— сказал Шеритон, когда экраны внезапно очистились и выдали кодовое слово «дубинка».

Фургон этот сам был чудом внедрения.

Наш собственный фургон! В Москве! У-у, мы! За его приобретением и использованием крылась отдельная колоссальная операция. «Камаз», грязно-серый, огромный, одна из машин SOVTRANSAVTO, как оповещало это сокращение, выведенное латинскими буквами на его замызганных стенках. Его завербовал вместе с шофером гигантский мюнхенский пункт Управления во время очередной фуражировки в Западной Германии, где фургон забирал предметы роскоши для горстки московской элиты, имеющей доступ в спецраспределители. Все что душе угодно — от западной обуви и тампонов до запасных частей к автомобилям западных марок — возил этот фургон в своем чреве. Шофер принадлежал к злополучному племени, которое занимается международными перевозками на службе у государства за жалкие гроши и без страховки на случай болезни или аварии на Западе. Один из тех, кто даже в зимние морозы стоически жует колбасу с подветренной стороны своей огромной колымаги, а потом забирается спать рядом с напарником в неуютной кабине, но зато в России наживает большое состояние благодаря своим возможностям на Западе.

И вот теперь за еще более внушительные вознаграждения он согласился «одалживать» свой фургон «западному дельцу» в самом сердце Москвы. Делец же, один из «топтунов» (используя русский термин) личной армии Сая, в свою очередь одолжил его Саю, а тот нашпиговал его внутренности всевозможной хитрой портативной аппаратурой — и аудио- и всякой другой,— которую мгновенно убирали перед тем, как через ряд посредников вернуть фургон его законному водителю.

Ничего подобного еще не было — наше собственное мобильное и абсолютно чистое помещение в Москве!

И только Неда это смущало. Шоферы международных перевозок работают парами, как Неду было известно лучше, чем кому бы то ни было. По инструкции КГБ пары эти подбирались по принципу несовместимости, и во многих случаях обоим полагалось доносить друг на друга. Но когда Нед спросил, может ли он ознакомиться с документацией этой вербовки, ему отказали со ссылкой на те самые законы секретности, которые были так дороги его сердцу.

Однако самое тяжелое орудие нового арсенала Лэнгли еще только предстояло пустить в ход, и вновь Нед не сумел противостоять ему. С этих пор все записи на пленку в Москве будут зашифровываться случайными кодами и передаваться дискретными импульсами в тысячу раз быстрее той скорости, с какой вы прослушивали бы эти записи у себя в гостиной. Однако маги и волшебники Лэнгли утверждали, что после того, как импульсы на приеме снова преобразятся в звук, отличить принятую запись от передававшейся будет невозможно всем этим процедурам вопреки.

Слово «ж д и» слагалось из мученьких пирамидок. Шпионаж — это ожидание.

Его сменило злово «з в у к». Шпионаж — это слушание.

Нед и Шеритон надели наушники в тот момент, когда Клайв и я тихонько сели в свободные кресла позади них и тоже надели наушники.

Катя в раздумье сидела на кровати, смотрела на телефон и очень не хотела, чтобы он опять зазвонил.

Почему ты назвался по имени, когда никто из нас этого не делает? — спрашивала она мысленно.

Почему ты назвал меня по имени?

«Это Катя? Как жизнь? Игорь говорит. Просто чтобы сообщить, что я от него ничего больше не получал, понимаешь?»

Так зачем же ты мне звонишь, если тебе нечего сказать?

«В обычное время, идет? На обычном месте. Нет проблем. Все как раньше».

Почему ты повторяешь то, что совершенно не нужно повторять, когда я уже сказала тебе, что приеду в больницу, как мы уговорились?

«К тому времени он уже будет знать, какова ситуация, будет знать, каким рейсом полетит, ну, словом, все. И тебе нечего будет беспокоиться, понимаешь? Ну, а твой издатель? Он появился?»

«Игорь, я не понимаю, о каком издателе ты говоришь?»

И она повесила трубку.

Я неблагодарна, говорила она себе. Когда человек болен, естественно, что старые друзья бросаются ему на помощь. А если они вдруг переводят себя из шапочных знакомых в ранг старых друзей и занимают центр сцены, хотя уже много лет вообще с тобой не виделись, это тоже свидетельство верности, и ничего зловещего тут нет, пусть даже всего полгода назад Яков и объявил, что Игорь безнадежен. «Игорь продолжает идти по дороге, с которой я свернул,— заметил он после случайной встречи с ним на улице.— Игорь задает слишком много вопросов».

И вот теперь Игорь ведет себя словно самый близкий друг Якова и, не думая о себе, оказывает ему бесценные рискованнейшие услуги. «Если тебе надо послать письмо Якову, просто отдай его мне. У меня установлена прекрасная связь с санаторием. Один мой приятель ездит туда чуть ли не каждую неделю»,— сказал он ей при их последней встрече.

«Он в санатории? — воскликнула она.— Да? А где это?»

Но Игорь словно еще не придумал ответа на этот вопрос, потому что насупился, замялся и сослался на государственную тайну. Мы — и государственная тайна? Мы же кричим о государственных тайнах во весь голос!

Нет, я к нему несправедлива, подумала она. Я начинаю везде видеть фальшь. В Игоре. И в Барли.

Барли... Она нахмурилась. Какое он имел право усомниться в том, что Яков писал о своей привязанности к ней. Да кем он себя воображает, этот иностранец с Запада, навязчивый, циничко-подозрительный? Так быстро стал таким близким, разыгрывает из себя Господа Бога с Матвеем и моими детьми!

Ни в коем случае не смей доверять человеку, воспитанному без веры в догматы, строго велела она себе.

Я могу полюбить верующего, могу полюбить еретика, но англичанина полюбить не могу.

Она включила радиоприемник и прошлась по коротким волнам, надев сперва наушники, чтобы не разбудить близнецов. Но пока она слушала разные голоса, покушающиеся на ее душу,— «Немецкую волну», «Голос Америки», «Радио Свобода», «Голос Израиля», «Голос... одному Богу известно чей», каждый такой свойский, такой снисходительный, такой убедительный,— ею овладело гнетущее смятение. «Я русская! — хотелось ей крикнуть в ответ им всем.— Даже в самый разгар трагедии я грежу о мире, который лучше вашего!»

Да, но к а к о й трагедии?

Зазвонил телефон. Она схватила трубку. Но это был всего лишь Назьян, совсем переменившийся последнее время — он перепроверял планы на завтра.

— Послушайте, я просто хочу узнать от вас, действительно ли вам удобно быть завтра на стенде «Октября»? Мы ведь начинаем рано. Так что, если вам необходимо проводить детей в школу или еще что-нибудь, я вполне могу попросить Елизавету Алексеевну заменить вас. Никаких затруднений. Только скажите.

— Вы очень добры, Григорий Тигранович, спасибо, что позвонили. Но ведь я целую неделю помогала готовить стенд и, конечно же, хочу быть на открытии ярмарки. А детей в школу отправит Матвей.

Она задумчиво опустила трубку на рычаг. Назьян, господи боже ты мой! Ну, почему мы разговариваем будто персонажи на сцене театра? Кто, по-нашему, подслушивает нас, что мы обязаны выражаться такими округлыми фразами? Если я могу говорить по-английски с чужим человеком, словно он мой любовник, почему я не разговариваю нормально с армянином, с которым вместе работаю?

Он позвонил, и она сразу поняла, что все это время ждала его звонка — ее губы уже улыбались. В отличие от Игоря он не назвался сам и не назвал ее имени.

— Бегите со мной,— сказал он,— я вас похищаю.

— Прямо сейчас?

— Кони оседланы, припасов хватит на три дня.

— Но достаточно ли вы трезвы для романтического похищения?

— Как это ни поразительно, я абсолютно трезв. (Пауза.) И не из-за недостатка стараний. Но ничего не получилось. Видимо, возраст.

Голос у него был трезвый. Трезвый и такой близкий!

— А как же книжная ярмарка! Вы намерены бросить ее, как бросили ту, аудиоярмарку?

— К черту книжную ярмарку! Либо до нее, либо никогда! Потом мы будем слишком уж вымотаны. Ну, как поживаете?

— Я в бешенстве на вас. Вы околдовали мое семейство, и теперь они только и спрашивают, когда вы опять появитесь с новыми карандашами и табаком.

Еще пауза. Обычно, когда он вел шутливые разговоры, он так не задумывался.

— В этом я весь. Околдовываю людей, а чуть они подпадают под мои чары, как я про них забываю.

— Но это ужасно! — воскликнула она растерянно.— Барли, что вы такое говорите?

— Просто повторяю итог мудрых наблюдений одной из моих былых жен. Она утверждала, что у меня есть порывы, но не чувства и что мне не следует носить в Лондоне пыльники. Когда вам сообщают подобные вещи, вы свято верите им до конца ваших дней. С тех пор я ни разу не надевал пыльника.

— Барли, эта женщина... Барли, утверждать такое было с ее стороны абсолютно жестоко и безответственно. Простите, но она кругом не права. Возможно, у нее были причины для подобного срыва. Но она не права.

— Ах, так? Но что же я способен чувствовать? Просветите меня.

Она засмеялась, сообразив, что простодушно угодила в расставленную им ловушку.

— Барли, вы очень-очень нехороший человек. И я не желаю иметь с вами никакого дела.

— Потому что я ничего не чувствую?

— Во-первых, вы чувствуете потребность оберегать людей. Мы все заметили это сегодня и очень вам благодарны.

— Еще!

— Во-вторых, у вас есть чувство чести, мне кажется. Естественно, вы декадент, поскольку вы с Запада. Это понятно. Но вас спасает ваше чувство чести.

— А пирожков совсем не осталось?

— Значит, вы способны чувствовать еще и голод?

— Я хочу приехать и съесть их.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Это невозможно. Мы уже все легли. Ведь время к полуночи!

— Ну, так завтра.

— Барли, это же смешно. Открывается книжная ярмарка. И вы и я приглашены в десятки мест.

— Когда?

Между ними воцарилось чудесное молчание.

— Ну, если хотите, то примерно-в-половине-восьмого.

— А если раньше?

Долгое время оба молчали. Но это молчание связало их крепче любых слов. Их головы покоились на одной подушке, ухо к уху. А когда он повесил трубку, ей остались не его шутки, не ирония по собственному адресу, но радостная искренность — она чуть было не сказала «торжественная»,— которую невольно выдал его голос.

Он пел.

И про себя и вслух. В сердце своем и всем своим существом Барли Блейр пел.

В большом сером номере угрюмой «Меж» накануне открытия книжной ярмарки он пел «Благослови сей дом» в распознаваемой манере Мэхелии Джексон, выделывал кренделя со стаканом минеральной воды в руке, поглядывал на свое отражение в огромном экране телевизора, единственного украшения этого номера.

Трезв.

Весело-трезв.

Барли Блейр.

Наедине с собой.

Он не выпил ни капли. В фургоне во время отчета, хоть он был взмылен, как скаковая лошадь,— ничего. Ни даже стакана воды, пока угощал Падди и Сая подслащенной, очищенной от тревог версней прошедшего дня.

На ужине, устроенном французскими издателями в «России», с Уиклоу, где он прямо-таки сиял спокойной уверенностью,— ничего.

На ужине, устроенном шведами в «Национале», с Хензигером, где он сиял даже еще ярче, он схватил бокал грузинского шампанского просто из чувства самосохранения, потому что Западний слишком уж громко удивлялся его воздержанности. Но сумел поставить бокал непригубленным позади вазы с цветами, и, значит, опять — ничего.

И на ужине, устроенном издательством «Даблдей» в «Украине», снова с Хензигером, сияя, уже просто как Полярная звезда, он судорожно сжимал стакан минеральной, в которую бросил ломтик лимона, чтобы она выглядела как джин с тоником.

Итак — ни глотка. Не из соображений высшей духовности. Не из-за внезапного возвращения на путь истинный, боже упаси! Он не подписал зарока Антиалкогольной лиги, не начал новую жизнь. Просто он не хотел, чтобы хоть что-то затуманивало светлый осознанный экстаз, который нарастал в нем, непривычное чувство, что он подвергает себя страшному риску и может ему противостоять, что он подготовился к любым последствиям, а если их не последует, он и к этому готов, ибо его готовность была кольцом обороны со священным абсолютом внутри.

Теперь я принадлежу к той горстке людей, которые знают, что они сделают в первую очередь, если на судне глубокой ночью вспыхнет пожар, думал он; и что они сделают в последнюю очередь или вовсе не сделают. Он знал в упорядоченных подробностях, что он считает необходимым спасать, а что, для него не важно. И что нужно отбросить, через что переступить и оставить позади как безжизненный труп.

В его сознании произошла генеральная уборка, захватившая не только вечные темы, но и смиренные частности. Ведь, как недавно обнаружил Барли, вечные темы творили хаос именно из смиренных частностей.

Ясность его нового видения вызывала в нем изумление. Он посмотрел по сторонам, сделал несколько пируэтов, пропел пару тактов и, вернувшись к исходной точке, окончательно убедился, что не упустил ничего.

Ни внезапной неуверенности, мелькнувшей в ее голосе. Ни тени сомнения, скользнувшей по темным озерам ее глаз.

Ни прямые строчки Гёте вместо сумасшедших каракулей.

Ни тяжеловесные нетипичные прохаживания Гёте по адресу бюрократов и запрещений пить водку.

Ни покаянные причитания Гёте о том, как дурно он обходился с ней, хотя на протяжении двадцати лет он обходился с ней как взбредало ему в голову, в том числе как с посыльной, которую бросают на съедение волкам.

Ни пустое обещание Гёте возместить ей все это в будущем, лишь бы она пока не выходила из игры, тогда как вера Гёте включает догмат, что будущее его более не интересует, и он маниакально сосредоточен на настоящем — «Существует одно только т е п е р ь!»

Тем не менее благодаря этим сумбурным предположениям, которые в конечном счете оставались предположениями, рассудок Барли без малейших усилий воспринял величайший подарок его проясненного восприятия — в контексте представлений Гёте о том, чего он стремится достигнуть, Гёте п р а в вот в чем: большую часть своей жизни он, Гёте, пребывал на одной половине искаженного и устарелого уравнения, а он, Барли, в своей неосведомленности, пребывал на другой.

И если он, Барли, будет когда-нибудь призван выбирать, то предпочтет пойти путем Гёте, а не Неда или кого-либо еще, ибо его присутствие совершенно необходимо для самой-самой середины, гражданином которой он себя сделал.

И все, что происходило с Барли после Переделкина, доказывало это. Старые «изм» мертвы, соперничество коммунизма с капитализмом кончилось хлюпающим хныканьем. Его риторика укрылась под землей в тайниках серых людей, которые все еще пляшут, хотя музыка давно смолкла.

А что до верности своей стране, то для Барли вопрос сводился к тому, какой Англии решит он служить. Последние узы, связывавшие его с имперскими фантазиями, распались. Шовинистическая барабанная дробь вызывала в нем омерзение. Пусть уж лучше его растопчут, чем маршировать под нее. Нет, ему была ведома несравненно лучшая Англия, и она жила в нем самом.

Он улегся на постель, ожидая, что на него навалится страх, но страх не приходил. Вместо этого он поймал себя на том, что разыгрывает в уме своего рода шахматную партию: ведь шахматы — это анализ возможных вариантов, и куда лучше взвешивать их в тишине и спокойствии, чем лихорадочно рыться в них, когда обрушивается крыша.

Ведь если Армагеддон не наступит, ничто не будет потеряно. Но если Армагеддон наступит, спасти необходимо многое.

И Барли начал думать. И Барли занялся приготовлениями, не торопя себя и не волнуясь, как и посоветовал бы Нед, если бы бразды были еще в руках Неда.

Он раздумывал до рассвета, потом вздремнул, а проснувшись, продолжал думать, и к тому времени, когда бодро отправился завтракать, уже готовый для ярмарочного веселья, значительная часть его мозга была полностью занята мыслями о том, что объявляют немыслимым дурни, сами к этому причастные.

14

— Ну, послушайте, Нед! — небрежно отмахнулся Клайв, все еще под радостным впечатлением от магической передачи.— Дрозд и прежде болел. Не один раз.

— Знаю,— сказал Нед сумрачно.— Знаю.— И добавил: — Возможно, не нравится мне не то, что он болеет, а то, что он пишет письма.

Шеритон слушал, упершись подбородком в ладонь, как до этого слушал запись. Между Недом и Шеритоном установилось понимание без слов, как и необходимо при ведении совместной операции. Передача власти словно бы произошла уже давным-давно.

— Но, дорогой мой, мы всегда принимаемся писать письма, когда болеем,— объяснил Клайв в нелепой попытке истолковать простые человеческие побуждения.— Мы их пишем всем и каждому!

А мне как-то и в голову не приходило, что Клайв способен заболеть и что у него имеются друзья, которым можно писать письма.

— Мне не нравится, что он отдает письма с ненужными подробностями неведомым посредникам. И мне не нравится упоминание о новом материале, который он привезет Барли,— сказал Нед.— Мы знаем, что обычно он ей не пишет. Мы знаем, что он осторожен, даже чересчур. И вдруг он заболевает и присылает ей через Игоря пылкое любовное письмо. Что за Игорь? Откуда он взялся? Когда?

— Он должен был бы сфотографировать письмо,— объявил Клайв с неодобрением по адресу Барли.— Или забрать его у нее. Одно из двух.

Нед был слишком поглощен своими мыслями и не выразил того презрения этой идее, которое она заслуживала.

— Каким образом? Он ведь для нее только издатель. Ничего больше она про него не знает.

— Если только Дрозд ее не просветил,— сказал Клайв.

— Исключено,— ответил Нед и вернулся к своим мыслям.— Там стоял легковой автомобиль. Красный. А потом белый. Вы читали сообщение наблюдателей. Сначала был красный. Затем его сменил белый.

— Это домыслы. В теплые воскресенья вся Москва устремляется за город,— со знанием дела объяснил Клайв.

Он подождал ответа, не дождался и вновь вернулся к письму.

— У К а т и оно никаких сомнений не вызвало,— возразил он.— К а т я не кричит: «Подделка!» Она прыгает от радости. Если она ничего не учуяла, как и Скотт Блейр, то с какой стати нам, здесь в Лондоне, поднимать тревогу вместо них?

— Он попросил список,— продолжал Нед, словно прислушиваясь к дальним звукам музыки.— Окончательный и исчерпывающий список вопросов. Почему?

Наконец подал голос Шеритон. Тяжелой лапой он осаживал Неда:

— Нед, Нед, Нед, Нед. Ну, ладно. Ведь опять День Один, и мы все нервничаем. Давайте вздремнем.

Он встал. За ним Клайв. И я. Но Нед упрямо остался сидеть, опустив сжатые руки на стол.

Шеритон с симпатией, но настойчиво сказал, нагибаясь над ним:

— Нед, вы меня слышите? Нед? Ну, ладно, Нед!

— Я не глухой.

— Да, но вы устали. Нед, если мы еще раз ругнем эту операцию, то все. Мы работаем с в а ш и м человеком, с тем, кого в ы привезли к н а м, чтобы убедить н а с. Мы горы свернули, чтобы добиться нынешнего положения. У нас есть источник. У нас есть фонды. У нас есть влиятельная аудитория. Мы на расстоянии плевка от возможности заполнить пробелы в наших сведениях, до которой ни умным машинам, ни электронным бонзам, ни пентагоновским иезуитам не добраться и за сто световых лет. Если только мы не дадим воли нервам — как и Барли, как и Дрозд,— то заполучим сокровище, какое не снилось самому талантливому фантасту. Если мы не сорвемся.

Однако Шеритон говорил слишком уж убежденно, а его лицо, вопреки всей пухлой непроницаемости, выдавало отчаянную потребность в поддержке.

— Нед?

— Слышу вас, Рассел. Четко и громко.

— Нед, это ведь уже не надомное ткачество, черт подери. Мы пошли на крупную игру и теперь обязаны думать крупно. Крупнее некуда. Решение президента не повод сомневаться в своих же заключениях. Это, собственно говоря, приказ. Нед, я, честно, считаю, что вам необходимо выспаться.

— Я не устал,— сказал Нед.

— Нет, устали. И полагаю, так скажут все. Полагаю, они даже скажут, что Нед шел ради Дрозда напролом, пока не явился большой злой американский волк и не забрал его джо. И сразу же Дрозд оказался очень и очень сомнительным источником. Ну, конечно, все скажут, что вы совсем вымотались.

Я взглянул на Клайва. Он тоже смотрел на Неда, но такими холодными глазами, что у меня кровь в жилах оледенела. Пора тебя передвинуть, говорили они. Пора примериться, как тебя вышвырнуть вон.

В этот день и Хензигер, и Уиклоу внимательно следили за Барли и часто докладывали о нем: Хензигер — Саю, уж не знаю, какими из их способов, а Уиклоу — Падди через внештатников. Оба подчеркнули его хорошее настроение, и тихое спокойствие, и (каждый по-своему) его победительность. Оба описывали, как за завтраком он очаровал двух финских издателей, которые проявили интерес к проекту Транссибирской железной дороги.

— Они буквально ели у него из рук,— сказал Уиклоу, нечаянно представив этот завтрак в довольно-таки комичном виде. А впрочем, в «Меж» может произойти что угодно.

Оба с веселой насмешкой описали, как Барли во что бы то ни стало пожелал служить им гидом — по его настоянию они вышли из такси у Центрального входа, дабы дальше весь путь проделать пешком, как полобает пилигримам из капиталистического мира, впервые совершающим это паломничество.

И два шпиона-профессионала с удовольствием шли сквозь влажное сияние осеннего солнца, неся пиджаки на руке, поглядывая на своего джо, шагавшего между ними, а Барли в роли гида цветисто восхвалял архитектуру «позднего Бензинья» и сады в стиле «революционного рококо». Он неистово восторгался огромным декоративным бассейном и золочеными рыбами, которые орошали водяными струями зады пятнадцати золоченых нимф — по одной на каждую советскую республику. Он вынуждал их останавливаться перед белоколонными приютами любви и храмами наслаждения и указывал на надписи на порталах, гласившие, что посвящены они не Венере и Вакху, а павшим богам и богиням советской экономики — углю, стали и даже атомной энергии, Джек!

— Он острил, но пьян не был,— сообщил Хензигер, который уже в Ленинграде проникся к Барли симпатией.— Чертовски смешно острил.

От храмов Барли повел их по главной триумфальной аллее — длиной в милю и необъятной ширины Императорскому пути,— восславляющей Народные Достижения на

Службе Человечества. И уж конечно, никогда и нигде народовластие не запечатлевалось в столь имперских образах! Так он говорил. Бесспорно, ни одна революция нигде и никогда не обожествляла с такой полнотой все то, что она бралась сровнять с землей! Но к этому времени Барли уже приходилось выкрикивать свои кощунства зычным голосом, чтобы их можно было расслышать сквозь рев громкоговорителей, которые весь день лили потоки самовосхвалений на головы непросвещенных толп внизу.

Наконец — и неизбежно — они добрались до двух павильонов, в которых разместилась ярмарка.

— Справа от меня — издатели Мира, Прогресса и Доброй Воли,— объявил Барли тоном рефери на ринге.— Слева — сеятели фашистской империалистической лжи, порнографисты, отравители истины. Девять, десять. Аут!

Они показали пропуска и вошли внутрь.

Стенд новорожденного и географически темного издательства «Потомак и Блейр» стал хотя и небольшой, но вполне удовлетворительной сенсацией ярмарки. Любовно сотворенная Лэнгли эмблема «П. и Б.» блистала между менее великолепной продукцией «Астрал пресс» и «Пэрбек медиа». Оформление, охарактеризованное зодчими Лэнгли, как бьющее в нос, но со вкусом, было образцом мгновениого воздействия. Выставленные книги (многие, как принято, только макеты еще не запущенных в производство) были изготовлены с той заботливой тщательностью во всех деталях, какую разведки неизменно уделяют своим фальшивкам. Единственный приличный кофе на ярмарке булькал в жестяной кофеварке в комнатке за стендом. И наливала его Мэри-Лу, родная дщерь Лэнгли. Для избранных там отыскивалась даже запретная рюмочка шотландского виски, облегчавшая им дневные труды. Запрет, собственно, был наложен самими организаторами, ибо даже литературная подделка должна твориться трезвыми как стеклышко людьми.

И Мэри-Лу с ее домотканой улыбкой школьницы и пышной юбкой из твида выглядела естественным продуктом солидной стороны Мэдисон авеню. У кого достало бы проницательности разглядеть, что в нее вплетены и нити Лэнгли?

И Уиклоу с его изысканной профессиональной речью был воплощением того быстроглазого молодого издательского работника на подъеме, каких десятками штампуют в наши дни.

А что до честного Джека Хензигера, он являл собой архетип разбогатевшего флибустьера современной американской книжной торговли. Он не делал секрета из своего прошлого. Нефтепроводы на Ближнем Востоке, гуманная помощь Афганистану, красная фасоль для горных племен в Таиланде, выращивающих опийный мак,— Хензигер и правда продавал все это, помимо того, что он побочно продавал Лэнгли. Но сердце его было отдано издательскому делу, и он сюда приехал доказать это.

И Барли словно бы упивался фальшью. Он бросился в нее, точно она-то и была его давно утраченной реальностью: пожимал руки, принимал поздравления конкурентов и коллег, а потом около одиннадцати признался, что ему что-то не сидится на месте, и предложил Уиклоу обойти окопы, подбодряя бойцов.

И они отправились. Барли нес охапку белых конвертов и всовывал их в избранные руки, веселыми воплями и приветствиями прокладывая себе дорогу в узких проходах, забитых посетителями и участниками.

— Провалиться мне, если это не Барли Чертов Блейр,— донесся знакомый голос из-за витрины с иллюстрированными Библиями на самых разных языках.— Помнишь меня, а? Третий слева в ворковых подштанниках в твои далекие скромные дни?

— Спайки! Так они тебя снова впустили? — сказал Барли с искренним удовольствием и дал ему конверт.

— Ну, волноваться я буду, когда они меня не выпустят. А это, значит, твой престарелый батюшка?

Барли познакомил его с талантливым редактором Уиклоу, и Спайки желтыми от никотина пальцами осенил его крестным знамением.

Они пошли дальше — только чтобы сразу наткнуться на Дэна Зеппелина. Дэн не разговаривал. Дэн загробным шепотом вовлекал вас в заговор, скрестив руки на груди и наклоняясь через стол.

— Нет, вы мне ответьте, Барли. Идет? Мы что — первопроходцы или хреновые сестры Митфорд? Ну, пусть кое-какие не-книги в этом году идут как книги. Ну, пусть

кое-какие не-писатели выпущены из тюрем. Подумаешь! Вот я нынче утром подхожу к моему собственному стенду, а какая-то жопа забирает книги с моих полок. «Разрешите задать вам личный вопрос? — говорю я.— Какого хрена вам тут надо?» «Приказ»,— заявляет он и конфискует шесть книг. Мэри Эмблсайд — хреновое «Черное сознание в песне и слове». Приказ! Нет, вы мне скажите, Барли, кто такие мы? И кто такие они? И что, по их мнению, они перестраивают, когда ничего и построено не было? Как можно перестроить труп?

В «Люпус букс» их отослали в кафе, где Сам-Наш-Президент, только что возведенный в рыцари сэр Питер Олифант, обдурил даже русских, закрепив за собой столик. Надпись по-русски и по-английски на листе бумаги подтверждала его триумф. Последним предостережением для скептиков служили скрещенные флажки Великобритании и Советского Союза. В обрамлении переводчиков и высокопоставленных чиновников сэр Питер растолковывал те многочисленные выгоды, которые получит Советский Союз, субсидируя его щедрые покупки у советских издательств.

— Да это же сам граф! — вскричал Барли, вручая ему конверт.— А где графская корона?

Но именитость продолжала свои рассуждения, даже не поведя пыльной от седины бровью.

На стенде Израиля царил вооруженный мир. Темная очередь соблюдала порядок и хранила молчание. Привалившись к стенам, стояли молодые люди в джинсах и кроссовках. Лев Абрамович был седовлас и подавляюще высок. В свое время он служил в Ирландском гвардейском полку.

— Лев! Ну, как там Сион?

— Может, мы побеждаем, а может, счастливый конец перенесен в начало,— ответил Лев, засовывая в карман взятый у Барли конверт.

Из Израиля Уиклоу следом за Барли зарысил к павильону Мира, Прогресса и Доброй Воли, где нельзя уже было долее сомневаться ни в массированном историческом сдвиге, ни в том, кто этот сдвиг совершает.

Каждый плакат, каждый свободный кусочек стены пронзительно провозглашал новое евангелие. На каждом стенде каждой республики мысли и произведения уже не нового пророка, изображенного в таком ракурсе, что родимое пятно исчезало, а подбородок был вздернут, соседствовали с наследием его бесцветного учителя, Ленина. У стенда ВААПа, где Барли и Уиклоу пожали несколько рук, а Барли избавился от целой партии конвертов, речи Вождя в глянцевых переплетах, переведенные на английский, французский, испанский и немецкий, производили вполне отразимое впечатление.

— И сколько еще придется нам терпеть эту липу, Барли? — спросил вполголоса белобрысый сотрудник одного из московских издательств, когда они поравнялись с ним.— Когда же нас вновь примутся угнетать, чтобы мы стали всем довольны? Если наше прошлое — ложь, кто сказал, что и наше будущее не окажется ложью?

Они шли от стенда к стенду — Барли вел, Барли здоровался, Уиклоу следовал за ним.

— Иосиф! Рад вас видеть. Вот вам конверт. Только не проглотите его залпом.

— Барли! Дружище! Разве вам не передали моей записки? А может, я ее и не оставлял?

— Юрий! Рад вас видеть. Вот вам конверт.

— Вечерком загляните выпить, Барли! Придет Саша. И Роза. У Руди завтра концерт, так что он хочет остаться трезвым. Вы слышали про писателей, которых выпустили? Это же потемкинская деревня. Их выпускают, дают наесться досыта, предъявляют публике и снова сажают до будущего года. Идите-ка сюда. Я продам вам пару книжек, чтобы позлить Западнего.

Сперва Уиклоу не понял даже, что они добрались до цели. Он увидел среди выцветших флагов знамя с золотыми буквами, вышитыми на красном бархате. Он услышал вопль Барли: «Катя, где вы?» Но ничто не объясняло, кому принадлежит этот стенд,— возможно, оформление еще не было завершено. Он увидел обычные неудобочитаемые книги о развитии сельского хозяйства Украины и народных грузинских танцах, издыхающие на полках от тягот предыдущих выставок. Он увидел обычных пять-шесть широкобедрых женщин, стоящих словно в ожидании поезда, и низенького небритого мужчину, который, держа перед собой сигарету, точно волшебную палочку

фокусника, впивался хмурым взглядом в табличку с фамилией на лацкане у Барли.

«Назьян,— прочел в свою очередь Уиклоу.— Григорий Тигранович. Старший редактор издательства «Октябрь».

— Полагаю, вы ищете мисс Катю Орлову? — спросил Назьян у Барли по-английски и поднял сигарету еще выше, словно для того, чтобы она не заслоняла от него собеседника.

— И еще как! — с жаром ответил Барли, и двое-трое женщин сочувственно улыбнулись.

По лицу Назьяна расползлась парализующе-учтивая улыбка. Выписав сигаретой вензель в воздухе, он отступил в сторону, и Уиклоу узнал со спины Катю, которая беседовала с двумя миниатюрными азиатками — бирманками, решил он. Но тут инстинкт заставил ее обернуться, она посмотрела на Барли, потом на Уиклоу, потом снова на Барли, и ее лицо озарила чудесная улыбка.

— Катя! Потрясающе,— робко произнес Барли.— Как ребятишки? Остались в живых?

— Спасибо! Они прекрасно себя чувствуют.

Под взглядами Назьяна, его сотрудниц и Уиклоу Барли вручил ей приглашение на званый вечер в честь гласности и рождения фирмы «Потомак и Блейр».

— Да, кстати, во второй половине дня я, может быть, покину этот вихрь веселья,— сказал Барли, когда они возвращались в павильон Запада.— Вы с Джеком и Мэри-Лу уж как-нибудь сами справляйтесь. А я обедаю с прекрасной дамой.

— Мы с ней знакомы? — спросил Уиклоу, и оба засмеялись. День был очень солнечный.

Она жива и здорова, радостно думал Барли. Если что-то и происходит, ее это еще не коснулось.

В какой мере мы знали или догадывались о чувстве Барли к Кате? Со столь скрупулезно прослеживаемой и контролируемой операцией любовь сочеталась плохо и внушала нам что-то вроде робости.

В личной жизни Уиклоу усердно искал легких связей, но на личную жизнь Барли взирал глазами пуританина. Возможно, по молодости он не верил в страсть зрелых лет. Уиклоу полагал, что Барли просто увлекся в очередной неисчислимый раз. Люди в возрасте Барли не влюбляются.

Хензигер, примерно ровесник Барли, считал секс невоспетой привилегией людей, ведущих двойную жизнь, и ни на миг не усомнился в том, что Барли с его прямолинейной честностью возложит на алтарь долга и свое тело. Подобно Уиклоу, хотя по иным причинам, он не нашел ничего странного в нежности Барли к Кате, а для операции так даже счел ее желательной.

Ну, а в Лондоне? Четкой точки зрения там не существовало. На острове Брейди наговорил много всякого, но атака Брейди была отбита, а его совет оставлен без внимания.

Ну, а Нед? У Неда была жена, столь же дисциплинированная, как и он сам, и тоже не разбуженная. Нед говаривал с сочувственно-грустной улыбкой: какой джо в трудной стране устоит перед хорошенькой женщиной, если в столкновении со всем миром он обретает в ней опору?

Ну, а Боб, Шеритон и Джонни все, хотя и по-разному, пришли, видимо, к выводу, что частная жизнь Барли и его склонности настолько мелкотравчаты, что их нет надобности включать в уравнение.

Ну, а Палфри? Что думал старик Палфри, забегавший на Гроувенор-сквер при всякой возможности, а если ее не было, звонивший Неду с вопросом: «Ну, как там мальчик?»

Палфри думал о Ханне. Той Ханне, которую он любил и все еще любит, как способен любить только трус. Той Ханне, чья улыбка когда-то была такой же чудесной и теплой, как у Кати. «Ты хороший человек, Палфри,— с жутким самообладанием говорит она в те дни, когда пытается меня понять.— Ты найдешь выход. Может быть, не теперь, но все равно найдешь». И Палфри его нашел, как не найти! Он ссылался на профессиональную этику, столь удобную этику, согласно которой молодой нотариус, взятый в прелюбодеянии, тем самым теряет всякую возможность предпринять какие-либо шаги. Он ссылался на детей (ее и его) — это коснется стольких людей, дорогая! Он

ссылался на узы брака — как они смогут обойтись без нас, дорогая? Дерек же сам себе яйца не сварит! Он ссылался на партнерство в фирме, а когда этому партнерству пришел конец, зарыл свою глупую голову в песок потаенной пустыни, где никакая Ханна уже никогда не сможет ему угрожать. И у него хватило духа сослаться на долг: Служба никогда не простит мне неопрятного развода, дорогая. Своему юрисконсульту? Да никогда!

И еще я вспомнил остров, тот вечер, когда мы с Барли стояли на галечном пляже и смотрели, как по серой зыби Атлантики на нас катится вал морского тумана.

«Они же никогда ее не выпустят, верно? — сказал Барли.— Не выпустят, если что-нибудь пойдет не так».

Я промолчал, да он, полагаю, и не ждал от меня ответа, но он был прав. Она, чистейшей воды советская гражданка, совершила чистейшей воды советское преступление. А до категории тех, кого обменивают, она далеко не дотягивала.

«И во всяком случае, детей она ни за что не оставит»,— сказал он, подтверждая собственные сомнения.

Некоторое время мы смотрели через океан — он на Катю, а я на Ханну, которая тоже ни за что не оставила бы своих детей, а хотела взять их с собой и сделать честного человека из поденщика на полях юриспруденции, карьериста, который спал с женой своего старшего партнера.

— Реймонд Чандлер! — возопил дядя Матвей из глубин любимого кресла, перекрикивая соседские телевизоры.

— Потрясающе,— сказал Барли.

— Агата Кристи!

— Ну, как же! Агата.

— Дэшил Хэммет! Дороти Сейерс. Джозефина Тей.

Барли сидел на диване, где его устроила Катя. Комната была крохотная. Раскинув руки, он, пожалуй, мог бы одновременно коснуться противоположных стен. Застекленная горка в углу хранила семейные реликвии. Катя уже познакомила его с ними. Керамические кружки, подарок ко дню свадьбы от одного ее друга, который сам их изготовил, поместив в медальоны портреты жениха и невесты. Ленинградский кофейный сервиз, уже разрозненный, некогда собственность дамы в деревянной рамке на верхней полке. Старинная коричневая фотография безупречно толстовской пары, он — бородатый и очень внушительный, в накрахмаленных белых воротничках, она — в шляпке и с муфтой.

— Матвей без ума от английских детективных романов,— крикнула Катя из кухни, где завершала последние приготовления.

— Как и я,— ответил Барли, уклоняясь от истины.

— Он говорит вам, что при царях они запрещались. Уж цари не потерпели бы подобного вторжения в систему их сыска. Водка у вас еще есть? Только Матвею, пожалуйста, больше не наливайте. И обязательно съешьте что-нибудь. В отличие от вас на Западе мы не алкоголики. Мы пьем только за едой.

Делая вид, будто ему интересно посмотреть ее книги, Барли вышел в тесный коридорчик, откуда мог ее видеть. Джек Лондон, Хемингуэй и Джойс, Драйзер и Джон Фаулз, Гейне, Ремарк и Рильке. Близнецы переговаривались в ванной. Он смотрел на нее сквозь открытую дверь кухни. Ее движения, нарочито неторопливые, словно бы оставались вне времени. Она вновь стала русской, подумал он. Когда что-то ладится, она благодарна. А если не ладится — такова жизнь. Матвей весело ораторствовал в комнате.

— О чем он говорит теперь? — спросил Барли.

— О блокаде.

— Я люблю вас.

— Ленинградцы отказывались признать, что потерпели поражение.— Она лепила пирожки с начинкой из печени и риса. Ее руки на мгновенье замерли, а потом вновь отщипнули кусок теста.— Шостакович продолжал творить, хотя чернила замерзали в чернильнице. Писатели продолжали писать романы, и можно было каждую неделю пойти послушать новую главу, если только вы знали, в какой подвал спуститься.

— Я люблю вас,— повторил он.— Все мои неудачи подготовляли встречу с вами. Это факт.

Она резко выдохнула воздух. Они молчали, на мгновение перестав слышать и добродушный монолог Матвея в комнате, и плеск воды в ванной.

— Что еще он говорит? — спросил затем Барли.

— Барли...— начала она протестующе.

— Ну, пожалуйста. Переведите мне, что он говорит.

— С юга немцы были всего в четырех километрах от города. По окраинам они стреляли из пулеметов и били из орудий по центральным районам.— Она вручила ему салфетки, вожи с вилками и пошла следом за ним в комнату.— Двести пятьдесят граммов хлеба рабочим, всем остальным по сто двадцать пять. Что, вас правда так заинтересовал Матвей или вы по обыкновению притворяетесь из вежливости?

— Это зрелая, неэгоистичная, абсолютная, упоительная любовь. Я никогда в жизни ничего похожего не испытывал. И решил, что первой узнать об этом должны вы.

Матвей сиял на Барли улыбкой беспредельного обожания. В нагрудном кармане поблескивала его новая английская трубка. Катя посмотрела Барли в глаза, попробовала засмеяться, помотала головой — не в знак отрицания, а чтобы очнуться. Из ванной в халатиках вылетели близнецы и повисли на Барли. Катя усадила их за стол, во главе которого поместила Матвея. Барли сел рядом с ней, а она начала разливать капустный суп. Всячески демонстрируя свою силу, Сергей извлек пробку из бутылки с вином, но Катя согласилась выпить только полрюмки, а Матвею не разрешалось ничего, кроме водки. Анна выскочила из-за стола, чтобы показать ему картинку, которую нарисовала после того, как они побывали в Тимирязевской академии: лошади, настоящее пшеничное поле, растения, которые не погибают под снегом. Матвей рассказывал про старика в механической мастерской через дорогу, и опять Барли потребовал, чтобы ему переводили дословно.

— Матвей говорит про знакомого старика, друга моего отца,— объяснила Катя.— Он работал в механической мастерской. И когда совсем ослабел от голода, начал привязывать себя к станку, чтобы не упасть. Вот так Матвей с моим отцом и нашли его — уже мертвым. Привязанным к станку. Замерзшим. Матвей, кроме того, хочет, чтобы вы узнали, что сам он носил светящийся значок,— Матвей гордо указал на свитере, где именно,— чтобы не сталкиваться с приятелями, когда они в темноте ходили с ведрами к Неве за водой. Вот так. А теперь довольно про Ленинград,— твердо сказала она.— Вы были очень добры, Барли. Как обычно. Надеюсь, искренне.

— В жизни я не был более искренним.

Барли как раз произносил тост за здоровье Матвея, когда телефон у дивана зазвонил. Катя вскочила, но ее опередил Сергей. Он прижал трубку к уху и прислушался, потом положил ее на рычаг, мотнув головой.

— Вечно попадают не туда,— сказала Катя и раздала тарелки для пирожков.

Существовала только ее комната. Существовала только ее кровать.

Дети уже легли, и Барли слышал, как они посапывают во сне. Матвей расположился на раскладушке в другой комнате и унесся в сновидениях в Ленинград. Катя сидела выпрямившись, Барли сидел рядом с ней, держа ее руку в своих, и вглядывался в ее лицо на фоне незанавешенного окна.

— Я и Матвея люблю,— сказал он.

Она кивнула и усмехнулась. Он провел костяшками пальцев по ее щеке и обнаружил, что она плачет.

— Просто по-другому, чем вас,— объяснил он.— Я люблю детей, дядюшек, собак, кошек и музыкантов. Весь Ноев ковчег на моей личной ответственности. Но вас я люблю так глубоко, что мне стыдно говорить об этом. Я был бы очень рад, если бы мы нашли способ заставить меня замолчать. Я смотрю на вас, и меня просто тошнит от звука собственного голоса. Представить вам это в письменной форме?

Он зажал ее лицо в ладонях, повернул к себе и поцеловал. Потом нежно наклонил ее, так что она легла головой на подушку, и снова поцеловал, сперва в губы, а после — сомкнутые влажные ресницы, а она обняла его и притянула к себе. Потом оттолкнула, вскочила и пошла поглядеть на близнецов. Вернувшись, она закрыла дверь своей спальни на задвижку.

— Если дети постучат, вы должны одеться, и мы будем очень серьезными,— предупредила она, целуя его в губы.

— Можно мне сказать им, что я вас люблю?

— Пожалуйста, только я не переведу.

— А вам можно?

— Только если очень тихо.

— А вы переведете?

Она больше не плакала. Она больше не улыбалась. Чёрные логичные глаза — ищущие, как и его собственные. Объятия без всяких оговорок — ни тайных условий, ни примечаний мелким шрифтом под соглашением.

Никогда еще я не видел Неда в таком настроении. Он превратился в Кассандру собственной операции, и его упрямый стоицизм только мешал принять всерьез его дурные предчувствия. Он сидел в оперативном кабинете за своим столом, словно председатель военно-полевого суда, а Шертон уютно расположился рядом, как оживший плюшевый медвежонок в человеческий рост. А когда в безрассудном порыве я повел Неда в «Коннот», куда иногда заходил с Ханной, и, чтобы облегчить ожидание, накормил его чудесным обедом в гриль-баре, мне все-таки не удалось заглянуть за маску его самообладания.

Ведь, сказать правду, его пессимизм действовал на меня крайне угнетающе. Я сидел на качелях. Клайв и Шеритон вознеслись вверх на одном конце, другой Нед мертвым грузом прижимал к земле. А поскольку я не слишком склонен принимать твердые решения, то наблюдать, как человек, обычно сосредоточенно-целеустремленный, смиряется с остракизмом, было особенно тяжело.

— Вам чудятся привидения, Нед,— сказал я далеко не так убежденно, как Шеритон.— В своих предположениях вы зашли куда дальше, чем остальные могут хотя бы помыслить. Ну, хорошо, операция больше не ваша. Но отсюда еще не следует, что произошло полное крушение. А ваш кредит... ну, несколько убывает.

— Окончательный и исчерпывающий список,— опять повторил Нед, как будто эти слова ему внушили под гипнозом.— Почему окончательный? Почему исчерпывающий? Ответьте мне. Когда Барли виделся с ним в Ленинграде, он отказался взять даже предварительный наш вопросник. Он швырнул его Барли в лицо. И вот теперь он просит у нас разом весь список. П р о с н т с а м. О к о н ч а т е л ь н ы й список. Большой шлем. Мы должны составить его с субботы на воскресенье. После этого Дрозд не станет отвечать ни на какие вопросы серых людей. «Это ваш последний шанс»,— говорит он. П о ч е м у?

— Но взгляните с другой стороны,— потребовал я настойчивым шепотом, когда официант принес нам второй графинчик бесценного кларета.— Пусть так. Они обработали Дрозда. Он засвечен. Марионетка в их руках. Так почему же они обрывают дело? Почему не подождать и хорошенько не поиграть с нами? На их месте вы бы продолжали. Вы бы не предъявили нам ультиматума, не установили бы жесткие сроки.

Его ответ вполне оплатил самый лучший и самый дорогой обед, каким я когда-либо угощал сослуживца.

— Возможно, и предъявил бы, и установил бы,— сказал он.— Будь я русским.

— Почему же?

Слова его прозвучали тем страшнее, что произнес он их свинцово-бесстрастным тоном.

— Потому что его, возможно, уже нельзя никому показывать. Возможно, он не способен говорить. Или взять в руки нож и вилку. Или посыпать соль на своего жареного рябчика. Быть может, он дал пару добровольных показаний о своей прелестной любовнице в Москве, которая не имела ни малейшего представления — ну, абсолютно ни малейшего — о том, что она делала. Он, быть может...

На Гроувенор-сквер мы вернулись пешком. Барли ушел из квартиры Кати в полночь по московскому времени и вернулся в «Меж», где в вестибюле его поджидал Хензигер, всецело углубленный в рукопись.

Барли был в прекрасном настроении, но ничего нового сообщить не мог. Чисто семейный вечер, сказал он Хензигеру, хотя и очень приятный. А посещение больницы не отменяется, добавил он.

Весь следующий день — ничего. Пробел. Шпионаж — это ожидание. Шпионаж — это выматывающая тревога, пока ты наблюдаешь, как Нед впадает в прострацию. Шпионаж — это Ханна у тебя в квартире в Пимлико между четырьмя и шестью, когда она берет уроки немецкого бог знает зачем. Шпионаж — это имитирование любви и чтобы она вернулась домой вовремя и без опоздания подала милому Дереку его ужин.

Они ехали в Володином автомобиле, который она взяла на вечер. Он должен был ждать ее ровно в девять у станции метро «Аэропорт», и ровно в девять рядом с ним остановилась «Лада».

— Напрасно ты настоял на этом,— сказала Катя.

Над ними светились окна домов-башен, но улицы уже окутала угрожающая атмосфера комендантского часа. Сырой вечерний воздух пахнул осенью. Перед ними висела половинка луны, окутанная дымкой. Иногда их руки соприкасались. Иногда их пальцы сплетались в крепком объятии. Барли поглядывал в боковое зеркало. Оно треснуло, несколько кусочков вывалилось, но оставшихся хватало, чтобы следить за машинами, которые шли сзади, не обгоняя их. Катя сделала левый поворот, но их по-прежнему никто не обгонял.

Она молчала, а потому молчал и он. Его одолевало удивление: каким образом они научились разбираться, где разговаривать безопасно, а где нет? В школе? От старших девочек? Или из коротенькой нотации семейного врача где-нибудь на втором году половой зрелости: «Тебе пора знать, что у автомобилей и стен есть уши, совсем как у людей»...

Колеса запрыгали по ухабам въезда на еще не законченную автомобильную стоянку.

— Вообрази, что ты врач,— предупредила она, когда они посмотрели друг на друга через крышу машины.— У тебя должен быть очень строгий вид.

— Я врач,— сказал Барли. Он не шутил, как и она.

Они пробрались через лабиринт освещенных луной луж на дорожку, выложенную бетонными плитами, которая вела к дверям и к пустому посту дежурной сестры за ними. Он ощутил первые пугающие запахи больницы: дезинфецирующей жидкости, натертых полов, медицинского спирта. Быстрым шагом Катя провела его через круглый вестибюль с бетонным в крапинку полом, по устланному линолеумом коридору, мимо мраморного барьера, за которым пребывали угрюмые женщины. Часы на стене показывали двадцать пять минут одиннадцатого. Сознательно суетливым движением Барли посмотрел на свои часы. Больничные отставали на десять минут. Следующий коридор был обрамлен поникшими фигурами на табуретах.

Приемная оказалась мрачными катакомбами, потолок поддерживали массивные колонны. В одном ее конце было возвышение, в другом — за качающимися дверями находились уборные. Кто-то позаботился подвесить временную лампочку, и в ее тусклом свете Барли различил пустые вешалки за деревянным барьером, неподвижные каталки и — на ближайшей колонне — старенький телефонный аппарат. У стены стояла скамья. Катя опустилась на нее, Барли сел рядом.

— Он всегда старается быть точным. Иногда происходит задержка — соединяют не сразу.

— Можно мне с ним поговорить?

— Он рассердится.

— Почему?

— Если они услышат по междугороднему английский, то сразу же обратят внимание. Естественно.

Мужчина с забинтованной головой, похожий на слепого фронтовика, толкнулся в женскую уборную. Выходившие оттуда две женщины ухватили его и направили куда следовало. Катя раскрыла сумочку и достала блокнот с ручкой.

Он попробует позвонить в десять сорок, еще раньше предупредила она. В десять сорок он попробует дозвониться в первый раз. Говорить он долго не станет, добавила она. Долго говорить, даже если оба аппарата безопасны, все-таки неблагоразумно.

Она направилась к телефону, поднырнув под барьер гардеробной, как старожилка.

Скажет ли он ей, что любит ее, подумал Барли. «Я тебя так люблю, что готов рискнуть твоей жизнью ради себя». Будет ли он сыпать нежностями, как в письме? Или скажет, что она — сходная цена за очищение его смятенной души?

Она стояла боком к нему и внимательно смотрела за качающуюся дверь. Увидела что-то скверное? Услышала что-нибудь? Или ее мысли уже унеслись вдаль к Якову?

Вот как она стоит, когда ждет его, решил он. Будто готова ждать весь день напролет.

Зазвонил телефон — сипло, словно его голосовые связки запылились. Шестое чув-

ство уже толкнуло ее к аппарату, и она сняла трубку, прежде чем он успел заквакать еще раз. Барли стоял всего в нескольких шагах от нее, но больничные шумы и звуки заглушали ее голос. Она отвернулась, видимо укрываясь от посторонних взглядов, и зажала ладонью другое ухо, чтобы лучше слышать голос своего любовника в трубке. Барли разобрал только, как она сказала «да», а потом еще раз «да», очень покорно.

Оставь ее в покое! Его душил гнев. Я же сказал тебе! И снова скажу, когда мы увидимся. Оставь ее в покое, не втягивай в это. Имей дело с серыми людьми или со мной!

Блокнот лежал на полочке, кое-как прикрепленной к колонне, ручка — на нем. Но Катя к ним не прикасалась. «Да». «Да». «Да». Он увидел, как поднялись ее плечи и не опустились, а спина изогнулась, словно она глубоко вздохнула или испытала прилив нежданной радости. Она приподняла локоть, чтобы крепче прижать трубку к уху. «Да». «Да». Ну, сказала бы «нет» для разнообразия. «Нет, я не пойду на гибель ради тебя!»

Ее свободная рука нашарила колонну, и он смотрел, как разделяются и напрягаются пальцы, впиваясь в темную штукатурку. Он увидел, как рука побелела, застыла, перестала двигаться, и внезапно встревожился: рука эта нашарила опору и цеплялась за нее ради спасения жизни. Она висела на обрыве, и только эти пальцы не давали ей сорваться к ее любовнику в бездну.

Она обернулась, не отнимая трубки от уха, и ему открылось ее лицо. Кто это? Кем она стала? Впервые он не увидел на этом лице никакого выражения, а телефонная трубка была пистолетом, который кто-то приставил к ее виску.

Ее неподвижный взгляд был взглядом заложницы.

Потом ее тело поползло вниз, как будто колонна перестала служить ей опорой, как будто она не могла устоять на ногах. Сначала у нее подогнулись колени, потом она поникла вся, но Барли уже подхватил ее, одной рукой обнял за талию, а другой выхватил у нее трубку, прижал к уху и крикнул: «Гёте!» — но ответом были только короткие гудки.

Странно, но до этого мгновения Барли не вспоминал, как он силен. Они сделали несколько шагов, но тут она с непонятным отвращением молча ударила его кулаком по скуле, в такой ярости, что его словно ослепила огненная вспышка. Он прижал ее руки к бокам, протащил под барьером, а потом через вестибюль и автомобильную стоянку. «Она нервнобольная,— мысленно объяснял он.— Нервнобольная, которую ведет врач».

Не отпуская ее, он высыпал содержимое ее сумочки на крышу машины, нашел ключ, открыл правую дверцу и запихнул ее внутрь, а сам бегом бросился к левой дверце, опасаясь, как бы Катя не решила сесть за руль сама.

— Я хочу домой,— сказала она.

— Я не знаю дороги.

— Отвези меня домой,— повторила она.

— Катя, я не знаю дороги! Указывай мне, когда куда поворачивать. Ты поняла? — Он дернул ее за плечо.— Сядь прямо! Смотри в окошко. Где тут задняя передача, черт бы ее побрал!

Он начал переключать скорости, но Катя вырвала у него рычаг и поставила его на задний ход так резко, что лязгнули шестерни.

— Подфарники,— сказал он и, хотя уже сам разобрался, заставил ее включить их, стараясь грубостью привести ее в себя.

«Лада» запрыгала по выбоинам, и сразу же ему пришлось рвануть в сторону, чтобы не столкнуться с машиной «скорой помощи», влетевшей на стоянку. Ветровое стекло затуманили брызги грязной воды, но дворники надеты не были, потому что погода стояла сухая. Он затормозил, выскочил наружу, протер носовым платком свою половину стекла и забрался внутрь.

— Влево,— сказала она.— И быстрее.

— Но мы же приехали не оттуда.

— Тут одностороннее движение. Да быстрее же.

Голос у нее был мертвый и оставался мертвым. Он протянул ей фляжку, она оттолкнула его руку. Машину он вел медленно вопреки ее требованию. Фары в зеркале заднего вида, не приближающиеся, не отдаляющиеся. Это Уиклоу, подумал он. Это Падди, Сай, Хензигер, Западний, вся их гвардейская бронетанковая дивизия. По ее лицу скользили полосы света уличных фонарей, но оно оставалось безжизненным.

Взгляд ее был обращен вовнутрь на ужасы, которые рисовало ее воображение. Стиснутый кулак прижат ко рту, зубы впиваются в костяшки пальцев.

— Тут поворачивать? — спросил он грубо. И закричал: — Говори же, где повернуть!

Она ответила по-русски и повторила по-английски:

— Сейчас. Направо. Да быстрее же!

Все вокруг было ему незнакомо. Пустая улица, такая же, как следующая, как предыдущая.

— Поверни.

— Направо или налево?

— Налево!!

Она выкрикнула это слово во весь голос. Раз. Другой. Тут хлынули слезы и продолжали катиться по ее лицу, а она захлебывалась судорожными рыданиями. Но мало-помалу рыдания начали стихать и, когда он подъехал к ее дому, стихли совсем. Он потянул ручной тормоз, который не держал, и машина еще катилась, когда она распахнула свою дверцу. Он попытался ее схватить, но она вырвалась и уже бежала через двор, на ходу роясь в открытой сумочке в поисках ключей. Парень в кожаной куртке, привалившийся к косяку, казалось, хотел загородить ей дорогу, только Барли как раз поравнялся с ней, и парень отскочил. Она не стала ждать лифта, а может быть просто про него забыла, и кинулась вверх по ступенькам. Барли следом за ней пробежал мимо целующейся парочки. На первой площадке в углу сидел пьяный старик. Они поднимались вверх марш за маршем. Мимо пьяной старухи. Мимо пьяного парня. Барли начал опасаться, что она забыла, на каком этаже живет. Но тут она остановилась перед дверью, защелкали замки, и они снова были в ее квартире. Катя вбежала в комнату близнецов, упала на колени на их кровать, вытянув голову вперед, тяжело дыша, как уставший пловец, обнимая тельца спящих детей.

И вновь существовала только ее комната. Ему пришлось вести ее туда, потому что даже в этом крохотном пространстве она не сумела найти дорогу. Она неуверенно опустилась на кровать, словно не зная ее высоты. Он сел рядом и не отрываясь смотрел на ее ошеломленное лицо, смотрел, как ее глаза закрылись, а потом полуоткрылись, и не решался прикоснуться к ней — такой окаменевшей, полной ужаса, далекой она была. Правой рукой она сжимала левое запястье, словно оно было сломано. Потом судорожно вздохнула. Он сказал «Катя», но она как будто ие услышала. Он оглядел комнату. К одной стеие был придвинут крохотный секретер, служивший туалетным столиком и рабочим столом. На пачке старых писем лежала тетрадь, точно такая же, какими пользовался Гёте. Над кроватью висела репродукция Ренуара в рамке. Он снял ее и положил к себе на колени. Опытный шпион вырвал страницу из блокнота, положил на стекло, достал из кармана ручку и написал:

«Расскажи мне».

Он придвинул листок к ней, она равнодушно прочла, продолжая сжимать левую кисть. Потом чуть пожала плечами. Ее плечо прижималось к его плечу, но она этого не замечала. Блузка ее расстегнулась, пышные черные волосы растрепались. Он написал еще раз: «Расскажи мне», потом обнял за плечи, глядя на нее умоляюще со всем отчаянием любви. Затем ткнул пальцем в листок, приподнял картину и переложил на колени к ией. Оиа уставилась на листок, на «расскажи мне», потом мучительно всхлипнула, опустила голову, и он уже не мог разглядеть ее лицо сквозь занавес спутанных волос.

«Якова взяли»,— написала она.

Он забрал у нее ручку.

«Кто тебе это сказал?»

«Яков»,— ответила она.

«Что он сказал?»

«Он приедет в Москву в пятницу. И вечером в одиннадцать встретится с тобой у Игоря. Он привезет тебе новые материалы и ответит на твои вопросы. Пожалуйста, приготовь полный список. Это последний раз. Ты должен сообщить ему, как идет дело с опубликованием — даты, все подробности. Обязательно привези ему виски. Он меня любит».

Он выхватил у нее ручку.

«Говорил Яков?»

Она кивнула.

«Так почему же ты думаешь, что его взяли?»

«Он назвался не тем именем».

«Каким?»

«Даниилом. Наш уговор: Петр, если все в порядке, Даниил, если его возьмут».

Теперь Барли, не передавая ей ручку, писал вопрос за вопросом:

«Он спутал».

Она покачала головой.

«Он же тяжело болел. И забыл ваш код».

Она снова покачала головой.

«А прежде он никогда не ошибался?»

Она снова мотнула головой, забрала у него ручку и раздраженно написала:

«Он назвал меня Марией. Он сказал: это Мария? В случае опасности я должна была назваться Марией. А так — Алиной».

«Напиши его точные слова».

«Это Даниил. Мария, ты? Моя лекция была величайшим успехом всей моей жизни. Только это неправда».

«Почему?»

«Он любит повторять, что истинный успех в России — это всегда проигрыш. Наша с ним шутка. Он сознательно сыграл на нашей шутке. Он объяснил мне, что мы погибли».

Барли подошел к окну и посмотрел вниз на двор и улицу. Черный мир внутри него погрузился в безмолвие. Ни движения, ни вздоха. Но он был готов. Всю жизнь он готовился, сам того не зная. Она связана с Гёте и потому погибла, как и он. Пока еще нет, потому что Гёте в последней вспышке мужества, оставшегося у него, попытался ее оградить. Но погибнет. Безвозвратно. Едва они сочтут нужным протянуть свою длинную руку и сорвать ее с дерева.

Он простоял у окна около часа и только тогда вернулся к кровати. Она лежала на боку с открытыми глазами, согнув колени. Он обнял ее, притянул к себе и почувствовал, как ее ледяное тело словно разбилось у него в руках: она судорожно зарыдала, беззвучно содрогаясь, словно боялась даже плакать в радиусе действия микрофонов.

Он снова начал писать — четкими большими буквами: «ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО»...

Каждые несколько минут на экранах проплывало что-то. Барли вышел из «Меж». И еще. Они встретились у станции метро. И еще. Удалились (sic) из больницы; Катя опиралась на руку Барли. И еще. Люди лгут, но компьютер не ошибается. И еще.

— Почему он за рулем? — резко спросил Нед, еще не дочитав.

Шеритон весь ушел в экран и не ответил, но Боб, стоявший позади него, перехватил вопрос:

— Мужчины предпочитают катать женщин, а не наоборот. Век мужского шовинизма еще не миновал.

— Благодарю вас, — вежливо ответил Нед.

Клайв одобрительно улыбнулся.

Перебой. Хронологическая последовательность на экранах прерывается — докладывает Анастасия, угрюмая шестидесятилетняя латышка, уже двадцать лет числящаяся в списках русского отдела. Только Анастасии, ей одной, было разрешено держать под наблюдением вестибюль.

Живая легенда докладывает:

Она сделала два прохода — в уборную, потом назад в приемную.

Во время первого прохода Барли и Катя сидели в ожидании на скамье.

При втором Барли и Катя стояли у телефона и как будто обнимались. Ладонь Барли была возле ее лица, одна рука Кати тоже была поднята, а другая опущена.

Значит, Дрозд к этому моменту уже позвонил?

Этого Анастасия не знала. Хотя в уборной в кабинке она старательно напрягала слух, но звонка телефона не услышала. Либо звонка не было вовсе, либо разговор закончился до ее второго прохода.

— Зачем бы ему понадобилось ее обнимать? — сказал Нед.

— Может, ей в глаз залетела мушка,— кисло ответил Шеритон, не отводя глаз от экрана.

— Он сел за руль,— гнул свое Нед.— Там ему не положено управлять машиной, но он все-таки сел за руль. Он позволил ей вести машину всю дорогу до березовой рощи и назад. И в больницу его везла она. Но внезапно он садится за руль сам. Почему?

Шеритон отложил карандаш и провел указательным пальцем между воротником и шеей.

— И что же из этого следует, Нед? Позвонил Дрозд или не позвонил? Как по-вашему?

У Неда достало порядочности честно обдумать этот вопрос.

— Видимо, позвонил. Иначе они ие ушли бы так скоро.

— Может, она услышала что-то неприятное. Какую-нибудь скверную новость, например,— предложил Шеритон.

Экраны погасли, погрузив комнату в серый сумрак.

Шеритон располагал еще одним кабинетом, декорированным розовым деревом и сиюминутной живописью. Мы перебрались туда, налили себе кофе и остались стоять с чашками в руках.

— Какого дьявола он торчит у нее на квартире так долго? — спросил меня Нед вполголоса.— Ему же требовалось узнать от нее только время и место встречи. А это он мог сделать два часа назад.

— Ну-у, они нежничают,— предположил я.

— Я бы чувствовал себя спокойнее, если бы поверил в это,— сказал Нед.

— Или он покупает еще одну шапку,— съязвил Джонни, перехвативший этот обмен фразами.

Раздался звонок, и мы пошли следом за Шеритоном в оперативный кабинет.

На освещенной карте города горящая красная лампочка показывала нам квартиру Кати. В трехстах метрах восточнее, на юго-восточном углу перекрестка двух магистралей, зеленая лампочка указывала место, где Барли предстояло сесть в безопасную машину. Он должен был уже идти туда по южному тротуару вдоль самого его края. Подходя к углу, он замедлит шаг, словно в поисках такси, и безопасная машина подъедет к нему. По инструкции Барли громко назовет шоферу свою гостиницу и на пальцах покажет, сколько готов заплатить.

На второй площади машина свернет в переулок и въедет на строительную площадку, где должен стоять фургон с погашенными огнями. Шофер в кабине притворится спящим. Если антенна фургона выдвинута, машина сделает круг по часовой стрелке и подъедет к нему.

Если нет, продолжит путь в прежнем направлении.

Рапорт Падди вспыхнул на экранах в час ночи по лондонскому времени. Записи, переданные с крыши посольства США, мы получили менее чем через час. Рапорт этот был с тех пор проанализирован чуть ли не по буквам всеми возможными способами. Но для меня он остается образцом фактографического полевого сообщения.

Естественно, необходимо знать, кто его автор, ибо у любого автора есть свои пределы. Падди не был чтецом мыслей на расстоянии, но компенсировал это многим другим: в прошлом гурка [1], служивший затем в войсках особого назначения, офицер разведки, полиглот, разработчик планов, импровизатор — человек, скроенный по мерке, которую Нед предпочитал всем другим.

Для Москвы он облачился в такую шкуру английской чудаковатости, что непосвященные рассказывали о нем анекдоты: о его длинных шортах летом, когда он отправлялся в экскурсии по прилегающим к Москве лесам; о лыжных прогулках зимой, когда он грузил в свой «вольво» старенькие лыжи, бамбуковые палки, запас консервов и в заключение — собственную персону, увенчанную меховой шапкой, словно позаимствованной у моряка с эсминца, в военные годы сопровождавшего арктические караваны судов. Но надо быть очень умным человеком, чтобы успешно представляться дураком в течение долгого времени; и Падди был очень умен, хотя впоследствии оказалось удобнее принять его эксцентрические выходки по номинальной стоимости.

[1] Гурки (или гуркхи) — войсковые формирования (в основном из непальского племени гурков) в англо-индийской армии.

И подконтрольным ему пестрым сбродом псевдостудентов, штудирующих языки, служащих бюро путешествий, мелких торговцев и граждан третьего мира Падди манипулировал безупречно. Сам Нед не сумел бы лучше. Он пас их, как проницательный приходский священник — свою паству, и каждый из них в своем одиночестве проникался к нему доверием. И не его вина, если качества, привлекавшие к нему других, его самого делали уязвимым для обмана.

Итак, рапорт Падди. Во-первых, его внимание привлекла четкость, с какой Барли излагал события, и записи ее подтверждают. В голосе Барли гораздо больше спокойной уверенности, чем во всех предыдущих записях.

Произвела на Падди впечатление и решимость Барли, верность своей задаче. Он сравнивал Барли, сидящего перед ним в фургоне, с Барли, которого инструктировал перед поездкой в Ленинград, и этот новый Барли его обрадовал. Причем он не ошибся: Барли был собран и во многом изменился.

Рассказ Барли, кроме того, полностью соответствовал всему, что Падди уже знал: от встречи у метро и поездки в больницу до ожидания на скамье и оборвавшегося телефонного верещания. Катя стояла у аппарата, когда он пискнул, сказал Барли. Сам он едва услышал этот писк. Так неудивительно, что Анастасия его вовсе не услышала, решил Падди. Видимо, Катя схватила трубку с молниеносной быстротой.

Разговор с Дроздом был коротким, минуты две, не больше, сказал Барли. Что опять прекрасно укладывалось в схему. Ведь было известно, что Гёте чурается длинных телефонных разговоров.

При наличии стольких объективных подтверждений и абсолютной точности Барли, кто мог потом утверждать, что Падди был обязан тут же отвезти Барли в посольство и отправить его в Лондон связанным по рукам и ногам и с кляпом во рту? Но разумеется, Клайв утверждал именно это. И не он один.

И далее — те три тайны, которые встали Неду поперек горла: объятия, Барли за рулем на обратном пути из больницы, два часа, проведенных им в ее квартире. Переходя к ответам Барли, нам следует увидеть его таким, каким видел Падди,— низко нагибающимся над лампочкой на столике в фургоне, лицо блестит от пота. На заднем плане жужжат глушители. На них обоих надеты наушники, между ними — микрофон, включенный в систему. Барли шепчет — отчасти в микрофон, отчасти на ухо своему шефу. Никакие ночные приключения Падди в былые времена не могли бы создать более драматичной атмосферы.

Сай сидит в глубокой тени, тоже в наушниках. Фургон принадлежит Саю, но ему даны инструкции предоставить Падди роль хозяина на пиру.

— И тут у нее сдают нервишки,— продолжает Барли, и его тон «между нами, мужчинами говоря» вызывает у Падди невольную улыбку.— Всю неделю она задыхалась для его звонка, и вдруг все уже позади, и она прямо на глазах рассыпалась. Возможно, мое присутствие только ухудшило дело. Без меня она, наверное, продержалась бы до возвращения домой.

— Пожалуй, что и да,— сочувственно соглашается Падди.

— Слишком уж много на нее сразу навалилось: слышит его голос, слышит, что он дня через два приедет и страх за детей... за него, за себя,— слишком много всего сразу.

Падди прекрасно это понял. Ему приходилось иметь дело с эмоциональными женщинами, и он по опыту знал, из-за чего они начинают плакать.

С этого момента все пошло как по маслу. Обман претворялся в симфонию. Он, продолжал Барли, постарался ее успокоить как мог, но ее трясло так, что ему пришлось обнять ее, довести до машины и отвезти домой.

В машине она еще поплакала, но уже начала приходить в себя, когда они поднялись к ней в квартиру. Барли напоил ее чаем и посидел с ней, пока не убедился, что дальше она справится сама.

— Отлично,— сказал Падди, а если это слово звучит точно «молодцы, ребята» в устах кавалерийского офицера индийской армии XIX века, поддерживающего боевой дух своего эскадрона после бессмысленной атаки, то потому лишь, что впечатление у него самое благоприятное, а рот совсем рядом с микрофоном.

И наконец, вопрос Барли, после которого в разговор вступает Сай. Задним числом вопрос этот прямо-таки кричит о воровских намерениях. Но Сай этого не услышал. Как и Падди. И в Лондоне все оказались глухи, все, кроме Неда, чье бессилие стало гнетущим. Нед все больше превращался в парию оперативного кабинета.

— Ах, да... то есть... как насчет списка? — говорит Барли, уже готовясь уйти. Вопрос звучит не как сольная ария и укладывается в ряд мелких технических подробностей.— Когда вы всунете список в мою жадную лапку?

— А что? — спрашивает Сай из глубокой тени.

— Ну, не знаю. Мне надо что-нибудь подзубрить или как?

— Подзубривать нечего,— говорит Сай.— Вопросы в письменной форме сформулированы для ответа «да» или «нет», и крайне важно, чтобы вы ничего о них не знали. Благодарю вас.

— Так когда же я его получу?

— Список мы откладываем на самую последнюю минуту,— говорит Сай.

Из личного мнения Сая о душевном состоянии Барли запечатлен один самородок: «С этими британцами (так были переданы его слова), разбирай не разбирай, все равно не понять, кой черт у них на уме».

Впрочем, в этот вечер Сай был отчасти прав.

— Никаких дурных известий,— повторил Нед, когда Брок проиграл фургонные записи не то в третий, не то в тридцать третий раз.

Мы вернулись в наш собственный русский отдел. Укрылись там. Словно возвратились первые дни операции. Светало, но мы продолжали бодрствовать, не вспоминая про сон.

— Никаких д у р н ы х известий не было,— не отступал Нед.— Только х о р о ш и е. «Я здоров. Все в порядке. Я прочел великолепную лекцию. Тороплюсь на самолет. Увидимся в пятницу. Я люблю тебя». И поэтому она плачет.

— Ну-у, не знаю,— сказал я вопреки собственным ощущениям.— А вам никогда не доводилось плакать потому, что вы были счастливы?

— Она так плачет, что он вынужден тащить ее по больничному коридору. Она так плачет, что не может вести машину. Когда они добираются до ее квартиры, она бежит к двери, словно Барли вообще не существует, до того она с ч а с т л и в а, что Дрозд прилетает в назначенное время. А он ее утешает. Потому что все новости такие хорошие. (Снова зазвучал записанный голос Барли.) А он спокоен. Абсолютно спокоен. Никаких тревог и забот. «Мы у цели, Падди. Все прекрасно. Вот почему она плачет навзрыд». Вполне естественно!

Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, а правдивый голос Барли продолжал говорить с ним из проигрывателя.

— Он больше не наш,— сказал Нед.— Он ушел в сторону.

Как, в ином смысле, и сам Нед. Он начал важнейшую операцию. А теперь пришел к выводу, что вынужден сидеть сложа руки и наблюдать, как она полностью выходит из-под контроля. За всю свою жизнь мне не приходилось видеть человека в такой пустоте. Разве за исключением самого себя.

Шпионаж — это ожидание.

Шпионаж — это непреходящая тревога.

Шпионаж — это значит быть самим собой и сверх того.

Тайные наставления вымершего Уолтера и еще существующего Неда продолжали звучать в ушах Барли. Ученик унаследовал чары своих наставников, но его магия превосходила могуществом самые сильные их заклинания.

Он поднялся на плоскогорье, до которого из них не добрался никто. У него была цель, были средства достичь ее, было то, что Клайв назвал бы мотивацией, а уста более достойные назвали бы целеустремленностью. Теперь, когда он хладнокровно ехал на бой, чтобы провести их, все, чему они его научили, давало урожай сторицей. Он был обманщиком, но не у них на поводу.

Их флаги ничего для него не значили. Они колышутся под любым ветром. Он был предателем, но не у них на поводу. И действовал не во имя себя. Он знал, какой бой должен выиграть и ради кого. Он знал, какую жертву готов принести. Он не был предателем у них на поводу. Он был целен и неделим.

Ему не требовались их потертые ярлыки и слабосильные системы. Он был один и одинок, но превосходил общую сумму тех, кто вознамерился манипулировать им. Он

распознал в них оружие хуже любого самого скверного, ибо цели их служили для оправдания того, что они вообще существуют.

Через кротость, далеко не такую уж кроткую, он открыл для себя гнев. И уже ощущал первый его дымок, слышал треск разгорающегося хвороста.

Существовало одно только теперь. Гёте был прав. Завтра не было, потому что завтра — это извинение и предлог. Было настоящее или ничего. И даже в ничего Гёте оставался прав. Мы должны истребить серых людей внутри себя, мы должны сжечь нашу серую одежду и освободить наши добрые сердца, осуществляя мечту каждого порядочного человека, а также — хотите верьте, хотите нет — и некоторых серых людей. Но как? С помощью чего?

Гёте был прав, и не его вина, и не вина Барли, что по воле случая оба они дали толчок друг другу. Разгоравшееся в нем теперь сияние духа тысячекратно усиливало ощущение родства с его невероятным другом. Барли испытывал всесокрушающее преклонение перед отчаянной мечтой Гёте спустить с цепи силы разума и распахнуть двери грязных комнатушек.

Но Барли недолго разделял агонию Гёте. Гёте был уже в аду, и, возможно, Барли вскоре предстояло последовать за ним. Буду оплакивать его, когда выберу время, подумал он. А до тех пор он отдавал себя живым, которых Гёте так постыдно поставил под удар и, собрав последнее мужество, попытался спасти.

Для начала приходилось использовать уловки серых людей. Он должен быть самим собой даже больше, чем когда-либо прежде. Он должен ждать. Его должна снедать тревога. Он должен вывернуться наизнанку, стать примирившимся внутренне, неудовлетворенным внешне. Он должен жить тайно, на цыпочках, коварный в мыслях, как кошка, но в поведении — именно тот Барли Блейр, какой им требуется,— всецело им преданная тварь.

Одновременно шахматист в нем рассчитывает ходы. Дремлющий дипломат незаметно пробуждается. Издатель осуществляет то, чего раньше ему никогда не удавалось осуществить: он становится хладнокровным посредником между необходимостью и далеким видением.

Катя знает, рассуждает он. *Она знает, что Гёте схвачен.*

Но они не знают, что она знает, так ей удалось овладать с собой, пока она говорила по телефону.

И они не знают, что я знаю, что Катя знает.

Во всем мире только я, кроме Кати и Гёте знаю, что Катя знает.

Катя все еще на свободе.

Почему?

Они не забрали ее детей, не перевернули вверх дном ее квартиру, не швырнули Матвея в сумасшедший дом и воздержались от любых проявлений той деликатности, с какой по традиции обходятся с русскими женщинами — связными советских физиков, работающих в области обороны и решивших доверить государственные секреты своей страны опустившемуся западному издателю.

Почему?

И я тоже пока свободен. Меня не приковали за шею к кирпичной стене.

Почему?

Потому что они не знают, что мы знаем, что они знают.

Значит, они рассчитывают на большее.

Им нужны мы, но не только мы.

Они могут ждать с нами, потому что рассчитывают на большее.

Но что это за большее?

Где ключ к их терпению?

Любой человек начинает говорить. Так сказал Нед, констатируя неопровержимый факт. *При современных методах начинает говорить любой.* Он объяснял Барли, что нет смысла молчать, если его схватят. Но Барли теперь думал не о себе. Он думал о Кате.

Каждую следующую ночь, каждый следующий день Барли передвигал фигуры своей мысленной партии, оттачивая план в ожидании (как и мы все) обещанной встречи с Дроздом в пятницу.

За завтраком Барли всегда на месте — образцовый издатель и шпион. И каждый день, весь день напролет, он душа ярмарки.

Гёте. Для тебя я ничего сделать не могу. На земле нет силы, способной вырвать тебя из их хватки.

Катя — ее еще возможно спасти. Ее детей еще возможно спасти. Пусть даже любой человек начинает говорить, и Гёте исключения не составит.

Сам я неспасаем, как и всегда.

Гёте подарил мне мужество, думал он, и его тайное намерение все более крепло, *а Катя подарила любовь.*

Нет, и то и другое мне подарила Катя. И продолжает дарить.

И наступает тот день, такой же тихий, как предыдущие: экраны почти не вспыхивают — Барли методично готовится к наступлению вечера, а с ним и к приему в честь рождения фирмы «Потомак и Блейр» в Духе Доброжелательности и Гласности, как говорится в нашем цветистом приглашении, напечатанном в виде триптиха на бумаге с резными краями в собственной типографии Службы менее двух недель назад.

И время от времени Барли удостоверяется, словно бы случайно, что с Катей ничего не случилось. Он звонит ей при всякой возможности и болтает с ней, пока не услышит слово «удобно» — сигнал, что все в порядке, а в ответ вертывает в свою веселую болтовню «откровенно говоря». Ничего тяжеловесного, ничего о любви, смерти или великих немецких поэтах. А только:

Ну, как дела?

Откровенно говоря, ярмарка совсем вас замучила?

Как близнецы?

А трубка Матвею еще не надоела?

Что означает: я люблю тебя, и я люблю тебя, я люблю тебя, и я люблю тебя, откровенно говоря.

Чтобы надежнее удостовериться, что с ней ничего не случилось, Барли командирует Уиклоу в Социалистический павильон взглянуть на нее мимоходом. «Она чудесно выглядит,— сообщает Уиклоу, снисходя с улыбкой к нервничанию Барли.— И твердо держится на ногах».

«Спасибо, старина,— говорит Барли.— Очень мило с вашей стороны».

Второй раз, снова по настоянию Барли, туда идет сам Хензигер. Быть может, Барли приберегает себя для вечера. А может быть, он не доверяет своим эмоциям. Но она все еще там, все еще жива, все еще дышит, и она уже переоделась для вечера.

И все это время, даже уйдя с ярмарки пораньше, чтобы опередить своих гостей, Барли продолжает смотр своей личной армии фактов, поддающихся изменению и не поддающихся, с четкостью, которой гордился бы самый опытный и самый скомпрометированный юрист.

16

— Георгий! Чудесно! Невероятно! А где Варенька?

— Барли, друг мой, во имя Христа спасите нас! Нам двадцатый век нравится не больше, чем вам, англичанам. Давайте вместе сбежим от него. Сегодня же вечером, договорились? Вы купите билеты?

— Юрий! Господи, это ваша новая жена? Бросьте его. Он чудовище.

— Барли! Послушайте! Все замечательно! У нас больше нет никаких проблем! В прежние времена нам лишь гадать приходилось, насколько все разваливается. А теперь мы можем черпать подтверждения в собственных газетах.

— Миша! Как идет работа? Сверх всякого!

— Барли, это же война, черт побери, открытая война! Сперва вешаем старую гвардию, затем ведем вторую Сталинградскую битву!

— Лео! Рад вас видеть! Как Соня?

— Барли, зарубите себе на носу! Коммунизм — это не угроза! Это паразитирующая индустрия, которая питается ошибками всех вас, всех ваших безмозглых говнюков на Западе!

Прием был устроен в зеркальном верхнем зале старомодной гостиницы в центре Москвы. Снаружи на тротуаре стояли стражи в штатском. Они же мельтешили в вестибюле, на лестнице и у входа в зал.

«Потомак и Блейр» пригласили сто человек. Восемь приняли приглашение, никто не отказался, и к этому времени прибыло сто пятьдесят гостей. Но пока в их число не вошла Катя, Барли предпочитал приветствовать их у дверей.

Впорхнула стайка западных девиц под эскортом обычных сомнительных официальных переводчиков — исключительно мужчин. Вплыл дородный поигрывающий на кларнете философ в сопровождении своего новейшего дружка.

— Александр! Невероятно! Просто чудесно!

Одинокий сибиряк по имени Андрей, уже сильно на взводе, пристал к Барли по вопросу живейшей важности:

— Однопартийный социализм — это катастрофа, Барли. Он разбил наши сердца. Сохраняйте свой британский вариант! А ты опубликуешь мой роман?

— Ну, не знаю, Андрей,— ответил Барли осторожно, посматривая на дверь.— Наш русский редактор от него в восторге, но не уверен, найдет ли он сбыт на английском рынке. Мы пока взвешиваем.

— А знаешь, почему я сегодня пришел?

— Почему?

Ввалилась еще одна оживленная группа гостей, но Кати не оказалось и среди них.

— А чтобы нарядиться для тебя в свой лучший костюм. Мы, русские, слишком хорошо изучили штучки друг друга. Мы нуждаемся в вашем западном зеркале. Вы приезжаете, вы уезжаете, увозя отраженные в вас наши лучшие образы, и мы надуваемся благородством. Раз ты опубликовал мой первый роман, будет только логично опубликовать и второй.

— Не так уж логично, если первый не принес ничего, кроме убытков, Андрей,— ответил Барли с необычной твердостью и, к большому своему облегчению, увидел, что к ним направляется Унклоу.

— А ты слышал, что в декабре Анатолий умер в тюрьме, держа голодовку? После двух лет нашего блаженства в этой самой Великой Новой России? — не отставал Андрей, подкрепившись еще одним гигантским глотком виски, любезно предоставленного американским посольством ввиду борьбы за трезвость, ведущейся в России.

— Ну, разумеется, мы слышали,— без запинки вмешался Унклоу.— Ужасно!

— Так почему же вы не публикуете мой роман?

Предоставив Уиклоу выпутываться, Барли с распростертыми объятиями и цветя улыбками, устремился к двери, в которую вошла великолепная Наталья, мудрая шестидесятилетняя красавица из Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы. Они бросились на шею друг другу.

— Так о ком же мы поспорим сегодня, Барли? О Джеймсе Джойсе? Адриане Моуле? И почему вы вдруг обрели такой интеллигентный вид? Потому что стали капиталистом?

Половина общества рванула в глубь зала с таким топотом, что стражи с тревогой всунули головы в дверь. Шум разговоров на мгновение стих, потом опять начал набирать силу — вниманию гостей были предложены столы с закусками.

А Кати нет и нет.

— Нынче благодаря перестройке все стало много проще,— говорила Наталья в сиянии неотразимой улыбки.— Поездки за границу неимоверно упростились. Например, в Болгарию. Нам достаточно описать нашим бюрократам, что мы, по-нашему, за люди, и только. Естественно, болгар необходимо оповестить заранее. Предупредить, чего им ждать. Каков наш умственный уровень — высокий, средний или нормальный. Болгарам ведь надо подготовиться, может, даже чуть-чуть потренироваться. Флегматичны мы или импульсивны, простоваты или с буйным воображением? Покончив с этими незамысловатыми вопросами и еще тысячей таких же, мы можем перейти к проблемам поважнее, как то: адрес, имя, отчество и фамилия нашей бабушки с материнской стороны, дата ее смерти, номер свидетельства о ее смерти, и если у них пробудится аппетит, то и фамилия врача, это свидетельство подписавшего. Как видите, наши бюрократы прилагают максимум усилий, чтобы поскорее ввести новые упрощенные правила и отправить нас всех отдыхать за границу вместе с детьми. Барли, а кого это вы все время ищете взглядом? Я так подурнела? Или уже успела вам надоесть?

— Ну, а что же вы ответили? — осведомился Барли со смехом, заставляя себя смотреть на нее.

— О, я указала, что умственный уровень у меня очень высокий, что я флегматична, остроумна и болгары придут от меня в восторг. Бюрократы просто испытывают нашу решимость, только и всего. Они надеются, что, обходя бесчисленные отделы, мы утратим мужество и предпочтем остаться дома. Но положение с этим улучшается. Все понемногу улучшается. Может быть, вы не верите, однако перестройка ведется не ради иностранцев. Она ведется ради нас.

— Как поживает ваша собака, Барли? — осведомился мрачный мужской голос.

К ним подошел Аркадий, скульптор-неформал, в сопровождении красотки, с которой состоял в неформальных отношениях.

— У меня нет собаки, Аркадий. А почему вас это заинтересовало?

— Потому что с этой секунды безопаснее обсуждать любимых собак, а не наших ближних, так вот мне кажется.

Барли проследил взгляд Аркадия и увидел Алика Западнего, который у противоположной стены о чем-то сосредоточенно разговаривал с Катей.

— Мы, москвичи, последнее время что-то слишком опасно распускаем языки,— продолжал Аркадий, все еще смотря на Западнего.— Мы в эйфории утрачиваем осторожность. Стукачи этой осенью соберут хороший урожай, какой бы ни собрали все прочие. Спросите хоть его. Ей-богу, он истинное украшение своей профессии.

— Алик, старый черт, ну что вы допекаете бедную девочку? — спросил Барли, обнимая сначала Катю, потом Западнего.— Я даже вон из того угла увидел, как она краснеет. Катя, вы с ним поосторожнее. По-английски он говорит почти не хуже вас и к тому же заметно быстрее. Ну, как поживаете?

— Благодарю,— ответила она негромко.— Очень, очень хорошо.

На ней было то же платье, что и тогда в «Одессе». Держалась она отчужденно, но спокойно. Ее лицо несло печать оживления, маскирующего горькую потерю. Рядом стояли Дэн Зеппелин и Мэри-Лу.

— Видите ли, Барли, у нас возникла довольно интересная дискуссия о правах человека,— объяснил Западний и рукой, держащей бокал, обвел своих собеседников, точно собирая пожертвования.— Верно, мистер Зеппелин? Мы всегда так благодарны, когда представители Запада наставляют нас, как нам следует обходиться с нашими уголовными преступниками. Но с другой стороны, спрашиваю я себя, в чем разница между страной, сажающей под замок лишнюю горстку людей, и страной, оставляющей всех своих гангстеров на свободе? Послушайте, это же для наших лидеров отличный козырь в переговорах! Завтра утром мы заявим так называемой комиссии по наблюдению за исполнением Хельсинкских соглашений, что сможем иметь с ними дело только тогда, когда они упрячут американскую мафию за решетку. Что скажете, мистер Зеппелин? Мы своих выпускаем, вы своих отправляете в тюрьму. По-моему, честная сделка.

— Какой ответ вы предпочтете — вежливый или правдивый? — свирепо сказал Дэн через плечо Мэри-Лу.

Мимо прошла еще одна многоязычная компания, за которой после эффектной паузы прошествовал не кто иной, как сам великий сэр Питер Олифант в окружении свиты из русских и английских прислужников. Шум возрастал, зал наполнялся. Трое английских корреспондентов нездорового вида оглядели заметно опустошенные столы и удалились. Кто-то сел за рояль и заиграл украинскую песню. Какая-то женщина красиво запела, другие подхватили.

— Нет, Барли, я не понимаю, почему вы так испуганы,— с удивлением услышал Барли ответ Кати на вопрос, который, видимо, он ей задал.— Я убеждена, что вы бесстрашны, как все англичане.

От жаркой духоты и калейдоскопического праздничного кружения в зале волнение Барли внезапно обернулось против него. Он вдруг почувствовал, что пьян — но не от алкоголя: весь вечер он грел в пальцах одну-единственную стопку с виски.

— Может быть, там ничего и нет,— рискнул он сказать, обращаясь не только к Кате, но и к кольцу незнакомых лиц вокруг.— В ходах под корой. Никаких талантов.

Все выжидающе молчали. Как и сам Барли. Он старательно смотрел на них на всех, но видел только Катю. Что он такое говорил? Что они расслышали? Их лица все еще были обращены к нему, но без единого проблеска. Даже Катино. Ничего, кроме сочувственной озабоченности. Он бессвязно продолжал:

— Мы все лелеяли эти грезы, много лет все мы грезили о великих русских художниках, которые ждут, чтобы их открыли...— Он сбился.— Ведь лелеяли же? Эпические романы, пьесы? Великие художники под запретом и творят втайне? Чердаки, забитые замечательными подпольными шедеврами? Ну, и музыканты, конечно. Мы говорили об этом. Мечтали. Незримое продолжение девятнадцатого века. «И когда настанет оттепель, они все выберутся из-подо льда и ослепят нас»,— говорили мы друг другу. Так где же они, черт подери, все эти гении? Что, если подо льдом они замерзли до смерти? Может быть, репрессии сделали свое дело. Вот и все, о чем я говорю.

Прежде чем Катя пришла к нему на помощь, зачарованная тишина успела затянуться.

— Русский гений существует, Барли, он существовал всегда, даже в самые худшие времена. Уничтожить его невозможно,— сказала она с оттенком прежней своей суровости.— Возможно, ему требуется время, чтобы освоиться с новыми обстоятельствами, но скоро он блистательно себя выразит. Вы ведь это имели в виду?

Хензигер произносит свой тост — акт бессознательного лицемерия.

— Да внесет новаторская попытка издательства «Потомак и Блейр» свою скромную лепту в великую новую эру взаимопонимания Востока и Запада! — возглашает он, кипя убедительностью, и поднимает голос вместе с бокалом. Он честный коммерсант, он любой порядочный американец, исполненный похвальнейших намерений. И пожалуй, он именно тот, кем себя считает, ибо жаждущий лицедей прячется в нем у самой поверхности.— Давайте же обогащать друг друга! — восклицает он, поднимая свой бокал еще выше.— Давайте освободим друг друга! Давайте торговать вместе, давайте дискутировать вместе, давайте пить вместе и делать мир более приятным местом! Уважаемые дамы и господа! За ваше здоровье, за здоровье «Потомака и Блейра», за наши взаимные прибыли и за перестройку! Аминь!

Они требуют Барли. Начинает Спайки Морган, Юрий и Алик Западний подхватывают, и все те, кто умудрен опытом в этих играх, вопят: «Бар-ли! Бар-ли!» И вскоре весь зал призывает его, хотя далеко не все знают зачем, но какое-то время никто его не видит. Затем он внезапно возникает на одном из столов с заимствованным саксофоном в руках и играет «Моя смешная Валентина», как играл на всех Московских книжных ярмарках, начиная с первой, а Джек Хензигер аккомпанирует ему на рояле в неповторимой манере Фэтса Уоллера.

Стражи у дверей просачиваются в зал послушать, стражи на лестнице устраиваются у дверей, а стражи в вестибюле подтягиваются к лестнице, по мере того как первые ноты лебединой песни Барли обретают прозрачность и набирают великолепную силу.

— Так мы же едем в новый индийский ресторан, черт дери! — возмущается Хензигер, когда они останавливаются на тротуаре под тяжелым взглядом топтуна.— И Катю прихватите. Столик уже заказан.

— Очень жаль, Джек. Только мы уже обещали. Давным-давно.

Но Хензигер просто разыгрывает спектакль. «Ее нужно поддержать,— доверительно объяснил ему Барли, улучив удобную минуту.— Я заберу ее и покормлю ужином где-нибудь в спокойной обстановке».

Но Барли не забрал Катю поужинать в их прощальный вечер, как подтвердили внештатники. На этот раз забрала его она. Забрала в укромный приют, известный всем русским городским мальчикам и девочкам еще со школьной скамьи — в приют на верхнем этаже каждого блочного дома в любом большом городе. Среди русских Катиных сверстниц не найти ни одной, в чьих воспоминаниях о первой любви не фигурировал бы этот приют. Вход в него имелся и на верхней площадке Катиной лестницы, где ее последний марш упирался в чердак, хотя парочки укрывались там преимущественно зимой, прельщаясь расширителем в гнойных потеках горячей воды и дышащими теплом трубами в черной обмотке.

Только сначала она должна была проверить, как там Матвей и близнецы, и Барли ждал ее под дверью. Затем она повела его за руку наверх, и по деревянным ступенькам они поднялись к заржавелой стальной двери, предупреждавшей всех посторонних, что вход в нее воспрещен. Но у Кати был ключ. Она отперла дверь, заперла ее за ними и повела его через балки к тому месту, где уже сымпровизировала постель под мутными звездами за грязным стеклом светового люка. Трубы гудели, воняло сушащимся бельем.

— Письмо, которое ты дала Ландау, до меня не дошло,— сказал он.— Оно попало в руки нашим официальным лицам. И к тебе меня прислали они. Прости меня.

Но ни у нее, ни у него не было времени для душевных потрясений. Он уже раньше рассказал ей кое-что о своем плане и ничего добавлять не стал. Они без слов понимали, что она и так уже знает слишком много. К тому же у них для разговора были темы поважнее — именно в эту ночь Катя рассказала Барли все то, что потом восполнило его представления о ней. И она призналась ему в любви со всей безыскус-

ственностью, какая могла поддержать его в разлуке, неизбежность которой оба вполне сознавали.

Тем не менее Барли ушел вовремя, не дав ни тем, кто следил за ним в Москве, ни тем, кто следил за ним в Лондоне, никаких поводов для тревоги. В полночь он был уже в «Меж» и успел еще посидеть с Хензигером и Уиклоу.

— Да, кстати, Джек, Алик Западний затребовал меня завтра на отвальную, которую всегда устраивает для старых знакомых,— сообщил он Хензигеру за рюмкой на сон грядущий в баре на втором этаже.

— Хотите, чтобы я пошел с вами? — осведомился Хензигер. Как и русские, Хензигер не питал никаких иллюзий относительно прискорбных связей Западнего.

Барли с сожалением улыбнулся.

— Вы, Джек, для этого слишком зелены. Приглашаемся только мы, золотые реликвии тех дней, когда еще не воссияла надежда.

— В котором часу? — спросил всегда практичный Уиклоу.

— По-моему, он сказал — в четыре. Странноватое время для выпивона. Да нет, в четыре, это точно.

Затем он дружески пожелал им спокойной ночи и вознесся на небо в лифте, который в «Меж» представляет собой стеклянную клетку, скользящую вверх и вниз по стальному столбу, к немалой тревоге разных честных душ внизу.

Было время обеда, и после всех наших бессонных ночей и бдений на заре сенсация в обеденное время выглядела почти неприличной. Но сенсация оставалась сенсацией. Доставленной с нарочным. Сенсация внутри желтого конверта внутри запертого стального дипломата. С ним вбежал в оперативный кабинет костлявый Джонни из их лондонского пункта, доставив ее под охраной из посольства по ту сторону площади. Он промчался через нижний уровень и вверх по лесенке на командный мостик, прежде чем сообразил, что мы все ушли в розового дерева покои Шеритона, чтобы подкрепиться кофе с бутербродами.

Он вручил конверт Шеритону и застыл у его плеча, как театральный вестник, пока тот сначала читал сопроводительное письмо, которое потом сунул в карман, а затем и радиограмму.

Затем он застыл у плеча Неда, пока Нед читал радиограмму, и только когда Нед передал ее мне, Джонни, очевидно, решил, что достаточно ее усвоил — шифровку, переданную советской военной радиостанцией в Ленинграде, перехваченную американцами в Финляндии и расшифрованную в Виргинии компьютерами, энергии которых хватило бы, чтобы освещать Лондон целый год.

«Ленинград Москве, копия — Саратов.

Профессору Якову Савельеву предоставляется двухдневный отпуск в Москву после прочтения лекции в саратовской военной академии в пятницу. Обеспечьте транспорт и прочее».

— Что же, благодарю вас, мистер представитель военных властей в Ленинграде,— пробормотал Шеритон.

Нед снова взял радиограмму и перечел ее. Только он один из нас всех, казалось, нисколько не воодушевился.

— Это все, что они расшифровали? — спросил он.

— Не знаю, Нед,— ответил Джонни, не потрудившись скрыть свою враждебность.

— Тут указано «одно конец одно». Что это значит? Узнайте, исчерпывается ли все этим. А если нет, то, может, вы потрудитесь узнать, что еще хоть сколько-нибудь полезного содержал этот улов.— Нед выждал, пока Джонни не вышел из комнаты.— Великолепно,— сказал он ядовито.— Точно по учебнику. Господи, можно подумать, что мы имеем дело с немцами!

Мы стояли кто где, расстроенно покусывая бутерброды. Шеритон сунул руки в карманы и повернулся к нам спиной, глядя в дымчатое стекло на бесшумные машины внизу. На нем был мохнатый черный свитер. Мы, остальные, смотрели сквозь стеклянную стену, как Джонни говорит по одному из предположительно чистых телефонов. Потом он положил трубку, и мы смотрели, как он возвращается через комнату к нам.

— Зеро,— объявил он.

— Что значит зеро? — сказал Нед.

— «Одно конец одно» означает «одно конец одно». Соло. Ничего ни перед, ни после.

— Следовательно, пустышка,— предположил Нед.

— Соло,— упрямо повторил Джонни.

Нед резко повернулся к Шеритону, который все еще стоял спиной к нам.

— Рассел! Неужели вам это ни о чем не говорит? Перехват — отдельная радиограмма. Ничего ни до, ни после. Воняет до небес. Нам подбрасывают приманку.

Теперь настала очередь Шеритона перечесть радиограмму. Когда он наконец заговорил, то с подчеркнутой усталостью: было ясно, что терпение его исчерпалось.

— Нед, меня авторитетно заверили криптографы, что эти передачи состоят из всякого военного дерьма и ведутся почти открытым текстом, на армейской шарманке образца двадцать первого года. Теперь уже никто не прибегает к таким приемам. Они безнадежно устарели. Не Дрозд сходит с рельсов, а вы.

— Может быть, они выбрали такой способ именно поэтому! Ведь мы бы с вами так и поступили бы? Заход со стороны слепого глаза?

— Может быть, может быть,— ответил Шеритон так, словно никакого значения это не имело.— Если начать рассуждать таким образом, трудно встать на другую позицию.

Клайв показал себя с наихудшей стороны.

— Не просить же нам Шеритона прервать операцию на том основании, Нед, что все идет отлично,— сказал он нежнейшим голосом.

— На основании гаданий на кофейной гуще,— поправил Шеритон, угрюмо отходя от окна и раздражаясь все больше.— На том основании, что любую выигрышную для нас ситуацию подстраивает Кремль, а все, что мы насрем, только подтверждает нашу безукоризненную честность. Нед, мое Управление чуть не загнулось от этой болезни. Как и все вы тут. И сегодня мы по этой дорожке не пойдем. Операция моя, и голова моя.

— И мой джо,— сказал Нед.— Мы его засветили. И засветили Дрозда.

— Вот-вот,— произнес Шеритон с ледяным добродушием и без всякой любви взглянул на Клайва.— Мистер заместитель?

У Клайва была своя манера сидеть между двух стульев, и все они к этому времени вымотались до предела.

— Рассел, если мне можно так выразиться, Нед. На мой взгляд, вы оба чуть-чуть слишком эгоцентричны. Мы — Служба. Мы ведем корпоративный образ жизни. Не мы одни, а и наше начальство благословило Дрозда. Тут действует корпоративная воля, которая выше любого из нас.

И опять не то, подумал я. Ниже любого из нас. Она — оскорбление силы каждого из нас, кроме, пожалуй, Клайва, который потому в ней и нуждается.

Шеритон вновь повернулся к Неду, но голоса все еще не повысил.

— Нед, вы имеете хоть малейшее представление о том, что произойдет в Вашингтоне и Лэнгли, если я дам отбой с е й ч а с? Вы способны вообразить взрывы людоедского хохота, которые донесутся через океан из ведомства противоракетной обороны, из Пентагона, из глоток неандертальцев? Вы способны представить себе, как расценивался материал Дрозда до этой минуты? — Он без всякой видимой злости кивнул на Джонни, чьи глубоко запавшие в череп глаза перебегали от него к Неду и обратно.— Способны вы вообразить доклад этого типа? Этого Иуды? Мы ведь сеяли тихую умеренность, вы не забыли? И теперь вы предлагаете мне швырнуть Дрозда на съедение шакалам.

— Я предлагаю не давать ему списка вопросов.

Шеритон слегка наклонил к нему ухо, словно был глуховат.

— Кому из них? Б а р л и? Или Д р о з д у?

— Ни тому, ни другому. Дайте отбой.

И вот тут Шеритона прорвало. Он долго взвинчивал себя для этого мгновения, и теперь оно наступило. Он встал перед Недом почти вплотную и, когда вскинул с упреком руки, так вздернул свой пушистый свитер, что приобрел сходство с рассвирепевшей летучей мышью выше средней упитанности.

— Ну, ладно! Вот наихудший для нас вариант. Состряпанный по рецепту Неда. Договорились? Мы передаем Дрозду список, и тут выясняется, что он их козырная карта, а не наша. Взвешивал ли я такую возможность? Нед, круглые сутки только ее я и взвешивал. Если Дрозд их человек, а не наш, если Барли, если она, если кто-то

из других игроков не совсем то, чем мы их считаем, список этот весьма яркой звездой ввинтится в анальное отверстие Соединенных Штатов Америки.— Он прошелся по комнате.— Советы установят по нему, чем поделился их собственный человек. И узнают, что именно знаем мы. Достаточно скверно. Из него они узнают, чего мы н е з н а е м и п о ч е м у. Куда сквернее, но еще не самое скверное. Дотошный анализ списка может выявить пробелы в нашей системе сбора информации, а также если они еще дотошнее, то и пробелы в нашем нелепом, дурацком, говенном, по-идиотски битком набитом арсенале. Почему? А потому, что в конечном счете мы сосредоточиваемся на том, что нас пугает — на том, чего мы не можем, а они могут. Таковы минусы. Нед, я озаботился ознакомиться с банковским счетом. Я знаю ставки. Я знаю, что мы можем получить от Дрозда и во что он нам обойдется, если мы обосрались. Проигрыш ставит на мне крест. Я видывал, как это делается. Но не волнуюсь. Если мы ошибаемся, то уже сидим по уши в дерьме. Это мы уяснили еще на Острове-Которого-Нет. А теперь уясняем даже еще лучше, потому что взрывной механизм включен. Но сейчас н е в р е м я оглядываться через плечо без абсолютно точной причины.

Он снова остановился перед Недом.

— «Дрозд — прямой человек», Нед! Помните? Ваши слова. И за них я вас полюбил. И сейчас люблю. Дрозд излагает чистую правду в той мере, в какой знает ее. И мое близорукое начальство получит полный ее заряд в жопу, пусть у него яйца отсохнут. До вас дошло, Нед? Или я вас совсем убаюкал?

Однако Нед не клюнул на черное бешенство Шеритона.

— Не давайте ему ничего, Рассел. Мы его потеряли. Ничего не давайте, кроме дыма.

— Д ы м а? Раскрутить Барли в о б р а т н у ю сторону? Признать, что операция сорвалась? Вы что — шутите? Дайте мне д о к а з а т е л ь с т в а, Нед! Не пичкайте меня и н т у и ц и е й! Дайте мне д о к а з а т е л ь с т в а, мать их за ногу! В Вашингтоне все, кто хоть что-то весит, твердят мне, что Дрозд — Святое писание, Талмуд, Коран! А вы рекомендуете, чтобы я снабжал его дымом! Вы нас в это впутали, Нед. Ну, и не пытайтесь спрыгнуть с тигра при первой же дерьмовой заминке!

Нед некоторое время переваривал эту тираду, Клайв переваривал Неда. Потом Нед пожал плечами, словно разницы особой все равно уже быть не могло, и вернулся к своему столу, где, казалось, погрузился в бумаги, а я, помню, вдруг подумал, нет ли у него своей Ханны, нет ли ее у нас всех — какой-то не сбывшейся жизни, которая заставляет его крутиться в колесе.

Может быть, и правда, что в здании ВААПа маленьких комнат вообще нет, или же Алик Западний после лет, проведенных в тюрьме, испытывал к тесным помещениям понятную идиосинкразию.

В любом случае комната, которую он выбрал для их встречи, на взгляд Барли, внешне подошла бы для полкового бала. И все в ней было большим, кроме самого Западнего, который притулился у конца длинного стола, точно мышь на плоту, и поглядывал бегающими глазками на гостя, вразвалку приближавшегося к нему по паркету — длинные руки с чуть вздернутыми локтями свисают по бокам, на лице выражение, какого у него не видел не только Западний, а, вероятно, и никто другой: не виноватое, не рассеянное, не нарочито глупое, но целеустремленное, почти угрожающее в своей твердости.

Западний разложил перед собой какие-то документы в обрамлении стопки книг, графина с водой и двух стаканов, явно желая внушить Барли, будто он отвлек его от многотрудных обязанностей: видимо, ему было страшновато принять его без поддержки и защиты своих бесчисленных помощников.

— Барли! Дорогой мой! Как любезно, что вы зашли проститься, ведь вы, конечно, заняты сейчас не меньше меня, честное слово,— зачастил он слишком уж быстро.— Если наше издательское дело и дальше будет расширяться с таким размахом, то у нас останется только один выход (хотя это мое частное, личное мнение): увеличить штаты на сотню человек и, пожалуй, настоять, чтобы нам дали помещение побольше! — Он забормотал себе под нос, перетасовывая бумаги, и предложил Барли стул, как ему, видимо, казалось, со старомодной европейской учтивостью. Но Барли по обыкновению сесть не пожелал.— Ну, мне не сносить головы, предложи я вам выпить в казенном кабинете, когда солнышко еще росой не умылось, как у нас говорится, но садитесь же,

садитесь, и поболтаем минуту-другую.— Подняв брови, он взглянул на наручные часы.— Боже мой, нам бы на это месяц, а не пять дней! Как продвигается Транссибирская железная дорога? Собственно, никаких трудностей я тут не усматриваю при условии, что все заинтересованные стороны будут уважать нашу позицию и соблюдать правила честной игры. Что, финны чересчур жадны? А может, жадничает ваш мистер Хензигер? Да, ему пальца в рот не клади, должен признать.

Он вновь перехватил взгляд Барли, и его тревога усилилась. Англичанин подавлял его своим ростом и вовсе не походил на человека, который намеревался обсуждать Транссибирскую железную дорогу.

— Честно говоря, мне кажется немножко странным упорство, с каким вы настаиваете на разговоре с глазу на глаз,— продолжал Западний с нарастающим отчаянием.— В конце-то концов, это по ведомству миссис Корнеевой. Фотографа и все прочее организовать должны они.

Но у Барли тоже была заготовлена речь, хотя, в отличие от Западнего, он не подпортил ее нервной скороговоркой.

— Алик,— сказал он, по-прежнему отказываясь сесть.— Этот телефон работает?

— Конечно.

— Мне необходимо предать мою родину и поскорее. Так мне бы хотелось, чтобы вы связали меня с соответствующими властями, поскольку кое-что надо обговорить заранее. А потому не тратьте время на уверения, будто вы не знаете, с кем связаться. Просто свяжитесь, не то свиньи, которым вы, по их убеждению, принадлежите, не зачтут вам очков, причитающихся скауту за доброе дело.

Время шло к трем часам, но Лондон уже окутывался зимним сумраком, и в тесном кабинете Неда в русском отделе стояла полумгла. Он положил ноги на письменный стол и откинулся в кресле, закрыв глаза. Под рукой у него темнела стопка с виски — отнюдь с утра не первая, как я быстро сообразил.

— Что, Клайв Безиндийский все еще иребывает с уайтхоллскими пэрами? — спросил он с вымученной шутливостью.

— Он в американском посольстве утрясает список.

— А я думал, что ни единого презренного бритта к списку не подпустят и на милю.

— Они обговаривают принципиальную часть. Шеритон должен подписать декларацию, объявляющую Барли почетным американцем. Клайв должен добавить к ней поручительство.

— А именно?

— Что Барли человек чести, во всех отношениях подходящий и достойный доверия.

— Ваша работа?

— Естественно.

— Дурачок,— произнес Нед с дремотным упреком.— Они же вас повесят! — Он снова закрыл глаза и устроился в кресле поглубже.

— Неужели список стоит так дорого? — спросил я, против обыкновения чувствуя себя более практичным, чем Нед.

— Ему вообще цены нет,— небрежно ответил Нед.— То есть если хоть что-то в нем чего-то стоит.

— А вы не могли бы объяснить мне почему?

Я не был допущен в святая святых операции «Дрозд», но сознавал, что, даже если бы меня ознакомили с этими материалами, я не понял бы в них ровным счетом ничего. Но добросовестный Нед посещал вечерние занятия: он почтительно внимал нашим домашним боцзам от науки и кормил завтраками в «Атенеуме» крупнейших наших оборонных специалистов, чтобы войти в курс дела.

— Взаимодействие,— сказал он с презрением.— Взаимно обеспечиваемый бедлам. Мы прослеживаем их игрушки, они — наши. Мы следим за состязаниями в стрельбе из лука у них, а они — у нас, причем ни им, ни нам неизвестно, в какие мишени целится другая сторона. Если они целятся в Лондон, не накроют ли они Бирмингем? Что ошибка, а что расчет? Кто приближается к расчетному эпицентру? — Он заметил мое недоумение и обрадовался.— Мы наблюдаем, как они палят своими МБР по полуострову Камчатка, но могут ли они пальнуть ими по шахтной пусковой установке «минитме-

на»? Ни мы не знаем, ни они. Потому что тяжелые свои штуки ни та, ни другая сторона в боевых условиях не проверяла. Когда начнется заварушка, траектории будут совсем не те, какие использовались на испытаниях. Матушка-Земля, да благословит ее Бог, вовсе не идеальный шар. Да и как бы она сохранила фигуру при ее-то возрасте? Плотиость ее варьируется, а с ней и тяготение старушки по отношению к тому, что над ней пролетает — например, ракетам и ядерным боеголовкам. На сцену выступает отклонение. Наши специалисты по наведению пытаются компенсировать его при калибровке. Как пытался Гёте. Манипулируют данными, полученными с помощью спутников, и, может быть, у них выходит лучше, чем у Гёте. А может быть, и нет. Нам это станет ясно, только когда дойдет до дела. Как и им, поскольку испробовать настоящую штуку можно один лишь раз.— Он со вкусом потянулся, словно эта тема ему нравилась.— И вот лагеря делятся пополам. Ястребы вопят: «Советы все засекли сверхточно. Они способны стереть улыбку с жопки мухи через расстояние в десять тысяч миль!» А у голубей есть лишь одно возражение: «Мы не знаем, что могут сделать Советы, и они сами этого не знают. А тот, кто не знает, в порядке ли его орудие или нет, никогда не станет стрелять первым. Эта неопределенность и гарантирует нашу честность». Вот что говорят голуби. Но подобный довод не способен удовлетворить прямолинейное американское сознание, потому что прямолинейное американское сознание чурается смутных понятий, как и величественных видений. Во всяком случае, на своем прямолинейном полевом уровне. А то, что говорит Гёте, ересь еще похлеще. Он говорит, что, кроме неопределенности, вообще ничего нет и быть не может. С чем я склонен согласиться. Поэтому ястребы его возненавидели, а голуби устроили бал и повисли на люстре.— Он выпил виски.— Если бы только Гёте поддержал любителей точной засечки, все было бы тип-топ,— пронзнес он неодобрительно.

— Ну, а список? — напомнил я.

Он с кривой усмешкой поглядел на свою стопку.

— Оценка одной стороной вероятного воздействия средств поражения, мой милый Палфри, опирается на предположения этой стороны относительно другой. И наоборот. И так ad infinitum [1]. Создавать ли нам защиту наших шахтных установок? Если враг не способен их поразить, так для чего? Создавать ли нам для них сверхзащиту — даже будь это нам по зубам,— тратя миллиарды и миллиарды? Собственно говоря, мы их уже тратим, хотя без особого шума. Или защищать свои установки не столь надежно при помощи стратегии оборонительного сдерживания и ценой все новых миллиардов? Ответ зависит от наших пристрастий и от того, кто подписывает чеки. Зависит от того, кто мы — члены военно-промышленного комплекса или налогоплательщики. Возить ли наши ракеты по железным дорогам? По шоссе? Или прятать их по проселкам, как вроде бы модно в этом месяце? Или мы объявим, что все — чушь собачья и к черту ее?

— Так что же это — начало или конец? — спросил я.

Он пожал плечами.

— А конец когда-нибудь бывает? Включите телевизор. Что вам показывают? Лидеры обеих сторон тискают друг друга в объятиях. Слезы у них на глазах. Все нарастающее сходство между ними. У р а! В с е п о з а д и! Мираж! Послушайте тех, кто за кулисами, и поймете, что картина все та же до последнего штриха.

— А если я выключу телевизор? Что я увижу тогда?

Он перестал улыбаться. Никогда еще я не видел его симпатичное лицо таким серьезным, хотя его гнев — если это был гнев,— казалось, обрушивался лишь на него самого.

— Тогда вы увидите н а с, укрытых нашими серыми ширмами. Убеждающих друг друга, что мы хранители мира.

17

Неуловимая правда, о которой говорил Нед, выявилась постепенно, через серию неверных истолкований, как обычно и бывает в нашем секретном надмире.

В 18 часов Барли, согласно наблюдателям, вышел из здания ВААПа, как теперь настойчиво сообщали нам экраны, и возникло легкое смятение — а не пьян ли он? Ведь Западний был его верным собутыльником, и прощальная рюмка водки в его обществе могла привести именно к такому результату. Барли вышел вместе с Западним. Они

[1] До бесконечности *(лат.)*.

бурно обнялись на ступеньках — Западний весь красный, движения чуть возбужденные. Барли довольно скованный, из-за чего наблюдатели заподозрили, что он хватил лишнего, и потому приняли довольно нелепое решение сфотографировать его, будто, запечатлев эту секунду, они тем самым каким-то образом его протрезвят. А поскольку эта фотография оказалась в его досье последней, вы легко вообразите, с каким скрупулезным вниманием она изучалась. Барли обхватил Западнего обеими руками — объятия очень крепкие, во всяком случае со стороны Барли. И мне чудится — вероятно, в отличие от всех остальных,— будто Барли поддерживает беднягу, старается внушить ему мужество, чтобы он выполнил свою часть сделки; в буквальном смысле слова вдыхает в него мужество. Жутковатое розовое освещение. ВААП помещается в здании бывшей школы на Большой Бронной в центре Москвы. Построена она, насколько я могу судить, в начале века — большие окна, оштукатуренный фасад. Его в этом году выкрасили розовой краской, которая на фотографии вышла ядовито-оранжевой, вероятно, из-за багряных отблесков вечернего солнца. В результате сплетенные в объятии два человека словно обведены ореолом адского пламени. Один из наблюдателей даже умудрился войти в вестибюль, якобы ища кафетерий, а на самом деле чтобы снять их сзади. Но ему помешал высокий мужчина, пристально смотревший на обнимающихся. Кто он такой, никому установить не удалось. Второй (тоже высокий) мужчина у газетного киоска пил из кружки — не слишком убедительно, потому что его глаза тоже были прикованы к паре у подъезда.

Наблюдатели никак не зафиксировали десятки людей, которые входили в ВААП и выходили оттуда в течение двух часов, пока Барли оставался внутри, да и требовать этого от них было нельзя. Как они могли узнать, явились ли те купить право на издание или секретные сведения?

Барли вернулся в гостиницу, где выпил в баре с компанией приятелей из издательских кругов, в числе которых был и Хензигер, получивший возможность подтвердить — к большому облегчению Лондона,— что Барли пьян не был, а напротив, держался очень спокойно и серьезно.

Барли мимоходом упомянул, что ждет звонка от кого-то из помощников Западнего: «Мы все еще пытаемся утрясти Транссибирский проект». Около 19 часов он внезапно объявил, что умирает от голоду, и Хензигер с Уиклоу повели его в японский ресторан, прихватив пару милых девочек из «Саймона и Шустера» — Уиклоу рассчитывал, что они помогут Барли приятно скоротать время до вечернего свидания.

За ужином Барли так блистал, что девочки принялись уговаривать его отправиться с ними в «Националь», где группа американских издателей устроила прием. Он ответил, что у него деловое свидание, но он обязательно заглянет туда, если оно не затянется.

Ровно в 20.00 по часам Уиклоу Барли позвали к телефону, находившемуся шагах в пяти-шести от их столика, не дальше. Уиклоу и Хензигер напрягали слух, как того требуют инструкции. Уиклоу утверждает, что разобрал фразу: «Для меня только это и важно». Хензигер, кажется, расслышал что-то вроде «вполне решено», хотя сказано могло быть и «не решено» или даже «неприемлемо».

В любом случае Барли возвратился на свое место хмурясь и объяснил Хензигеру, что сукины дети все еще запрашивают слишком много, но Хензигер счел его злость признаком внутреннего напряжения, а не озабоченности судьбой Транссибирского проекта.

Четверть часа спустя телефон снова зазвонил, и Барли, повесив трубку, вернулся к ним с улыбкой на губах. «Все в порядке,— объяснил он Хензигеру.— Подписано, пришлепнуто печатью и доставлено. У них что скреплено рукопожатием, то твердо». Тут Хензигер и Уиклоу захлопали, а Хензигер сказал, что «мы не огорчились бы, будь таких в Москве побольше».

Ни тому ни другому, видимо, не пришло в голову, что прежде деловые сделки особого восторга в Барли не пробуждали. Но с другой стороны, признаков чего должны были они искать, кроме сосредоточенности перед заключительным этапом величайшей операции, назначенным на этот вечер?

Разговоры Барли за столом воспроизводились тщательно, однако без всякого толку. Говорил он охотно, но не возбужденно. Больше всего о джазе и о своем кумире, Слиме Гейлларде. Великие джазисты всегда оказываются вне закона, утверждал он. Ведь джаз — это протест. Подлинные импровизаторы нарушают даже законы самого джаза, сказал он.

И все с ним согласились: конечно, конечно, да здравствует бунт, да здравствует личность в посрамление серых людей! Правда, никто так на самом деле не думал. Но опять-таки почему, собственно, они должны были так думать?

В 21.00, когда коротать предстояло уже меньше двух часов, Барли объявил, что поваляется немножко в номере, да и нужно написать кое-какие письма, закруглить дела. Уиклоу и Хензигер вызвались ему помочь, следуя инструкции по возможности не оставлять его одного. Но Барли, поблагодарив их, отказался, настаивать же они не могли.

Поэтому Хензигер занял свой пост в соседнем номере, а Уиклоу — в вестибюле, предоставляя Барли возможность поваляться, хотя на самом деле у него для этого не было ни секунды, ибо то, что он успел, граничит с героическим.

Как точно установили, этот краткий промежуток времени был заполнен пятью письмами и двумя звонками в Англию — сыну и дочери. Оба прослушанные в Англии и тотчас переданные на Гроувенор-сквер. Оба никакого касательства к операции не имевшие. Барли просто интересовали последние семейные новости. Он подробно расспрашивал про свою четырехлетнюю внучку, а затем потребовал, чтобы ей дали трубку. Однако она то ли застеснялась, то ли слишком устала, но разговаривать с ним не пожелала. Антея осведомилась о его любовных делах, на что он сказал «завершены», что было сочтено необычным ответом, но, с другой стороны, и обстоятельства были необычными.

И только Нед указал, что Барли ни словом не обмолвился о том, что уже завтра будет в Англии, но Нед успел стать гласом вопиющим в пустыне. И Клайв серьезно взвешивал, не снять ли его с этой операции вообще.

Кроме того, Барли написал два совсем коротких письма — одно Хензигеру, другое Уиклоу. И поскольку они не были вскрыты (во всяком случае в лаборатории никаких следов этого обнаружить не удалось), а также — что еще удивительнее — корридорная доставила их точно в те номера, какие были указаны на конверте, и точно в восемь утра, оставалось предположить, что эти письма входили в число условий, которые Барли выговорил для себя за два часа, проведенных в ВААПе.

Письма ставили их обоих в известность, что с ними не приключится ничего дурного, если они в этот же день без шума отправятся восвояси, прихватив с собой Мэри-Лу. Для обоих у Барли нашлись теплые слова:

«Уикерс, вы прирожденный издатель. Занимайтесь-ка этим и дальше!»

И Хензигеру: «Джек, надеюсь, это не кончится для вас преждевременной отставкой и возвращением в Солт-Лейк-Сити. Скажите им, что вы с самого начала мне не доверяли. Я сам себе не доверял, так уж вам и Бог велел».

Ни нравоучений, ни уместных цитат из богатейшего разношерстного запаса. Барли, видимо, умел прекрасно обходиться без помощи чужой мудрости.

В десять часов он вышел из гостиницы в сопровождении одного Хензигера, и они отправились на северную окраину города, где Сай и Падди вновь ждали в чистом фургоне. На этот раз за рулем был Падди. Хензигер сел рядом с ним, а Барли забрался внутрь к Саю, снял пиджак и терпеливо позволил Саю нахлобучить на себя наушники, чтобы выслушать последние поступившие сведения:

что самолет Гёте из Саратова приземлился в Москве без опоздания

и что человек, отвечающий описанию Гёте, поднялся в квартиру Игоря сорок минут назад.

Вскоре окна в указанной квартире осветились.

Затем Сай вручил Барли две книги — «Отныне и во веки веков» в бумажной обложке, содержащую список, и солидный том в кожаном переплете, скрывавшем глушилку, которая включалась, стоило его открыть. Барли в Лондоне достаточно наигрался с ней и постиг все тонкости, как ею пользоваться. Микрофоны на нем были настроены так, что ее импульсы на них не воздействовали — в отличие от всех прочих. Знал он и о ее слабой стороне. Она поддавалась обнаружению. Если в квартире Игоря имелись скрытые микрофоны, то подслушивающие сразу же узнали бы о том, что говорящие воспользовались глушилкой. Но и Лондон и Лэнгли сочли такой риск приемлемым.

Риск того, что прибор может попасть в руки противника, даже не взвешивался. А ведь он еще не поступил в производство и на его создание было затрачено несколько лет исследовательской работы и довольно приличное состояние.

В 22.54, собираясь выйти из фургона, Барли вручил Падди конверт и сказал: «Это

для Неда, лично, если со мной что-нибудь случится». Падди положил конверт во внутренний карман пиджака. Он заметил, что конверт толстый и, насколько можно было разглядеть в полутьме, без всякого адреса.

Наиболее живое сообщение о том, как Барли прошел до входа в дом, было изложено не в манере Падди рапортовать по-военному и не в рубленой манере Сая, но бойким тоном его друга Хензигера, который проводил его до подъезда.

Барли не сказал ни слова. Как и сам Джек. Они не хотели, чтобы в них распознали иностранцев.

— Мы шли бок о бок, но не в ногу,— докладывал Хензигер.— Он шагает широко, а я семеню. Мне было как-то неприятно, что нам не удавалось идти в ногу. Дом — один из тех их кирпичных уродов, которые торчат среди моря бетона, и мы все шли, но словно бы не двигались. Как во сне, думал я. Бежишь, бежишь — и ни с места. И воздух очень жаркий. Я весь вспотел, а Барли — ничуть. Он был очень собран. Никаких вопросов. Чудесно выглядел. Посмотрел мне прямо в глаза и пожелал побольше удачи. В душе у него царил мир, я это почувствовал.

Однако, когда они обменялись рукопожатием, Хензигеру почудилось, что Барли на что-то сердит. Может быть, и на него, потому что теперь, в полумраке, он, казалось, старательно избегал его взгляда.

— Тут я подумал, что, может быть, он зол на Дрозда за то, что тот втянул его во все это. А потом подумал, что, может быть, он зол на всех нас, но из вежливости молчит. Он вдруг стал воплощением англичанина — застегнутым на все пуговицы, очень сдержанным, замкнувшим все в себе.

Девяносто секунд спустя, когда они собирались уехать, Сай и Падди увидели в окне Игоря силуэт и решили, что это Барли. Правая рука поправила занавески — условленный сигнал, означавший «все хорошо». Они уехали, предоставив наблюдение за домом внештатникам, которые дежурили посменно всю ночь, но свет в квартире горел, и Барли не выходил.

Согласно одной теории из сотни других, он вовсе в квартиру не поднимался: его сразу же вывели из здания через черный ход, а занавеску поправлял кто-то из их сотрудников — например, один из высоких мужчин, снятых днем в вестибюле ВААПа. На мой взгляд, никакого значения эта подробность вообще не имела, но эксперты почему-то считали ее крайне важной. Когда ты того и гляди утонешь в проблеме, удержаться на поверхности надежнее всего помогает какая-нибудь деталь, прямого отношения к ней не имеющая.

Поиски возможных объяснений пропажи Барли начали медленно набирать силу еще ночью. Оптимисты вроде Боба и (некоторое время) Шеритона держались до рассвета и дольше. Барли и Дрозд вновь напоили друг друга до бесчувствия, настаивали они, старательно поддерживая взаимную бодрость. Повторение Переделкина, вторичный прогон, тут никаких сомнений нет, уверяли друг друга оптимисты.

Затем не очень долго разрабатывалась теория похищения — до пяти тридцати утра, когда (спасибо разнице в часовых поясах) Хензигер и Уиклоу получили свои письма, и Уиклоу без проволочек помчался на такси в английское посольство, куда советские охранники у ворот пропустили его беспрепятственно. Результатом был сигнал-молния Неду (дешифруйте сами) от Падди. А Сай тем временем отправил такое же известие в Лэнгли, Шеритону и всем, кто все еще готов был слушать человека, чьи московские дни, уж конечно, были сочтены.

Шеритон принял новость с обычной своей флегматичностью. Он прочел радиограмму Сая, обвел взглядом комнату и осознал, что вся команда пристально следит за ним — элегантные девицы, мальчики в галстуках, верный Боб, честолюбивый Джонни с глазами наемного убийцы. И Бритты — Нед, я и Брок (Клайв успел благоразумно припомнить неотложное дело, требующее его присутствия где-то еще). В Шеритоне, как и в Хензигере, жил актер, и теперь он воспользовался этим. Встал, поправил пояс, потер щеки, как человек, взвешивающий, не следует ли ему побриться.

— Ну что же, ребята. Положим стулья на столы до следующего раза.

Затем он подошел к Неду, который все еще сидел за своим столом, штудируя радиограмму Падди, и положил руку ему на плечо.

— Нед, за мной ужин,— сказал он.

Затем направился к двери, снял с вешалки новый дорогой плащ, застегнул его и удалился. Боб и Джонни через секунду последовали за ним.

Другие покинули сцену не столь изящно, особенно бароны с двенадцатого этажа.

И снова была образована следственная комиссия.

Будут названы фамилии. Пощады никому. Пусть покатятся головы.

Председателем — заместитель, секретарем — Палфри.

Еще одна задача таких комиссий, как я убедился,— облекать ритуальностью события, которые обошлись без нее. Мы были торжественно-серьезны до чрезвычайности.

Первыми, как принято, выслушивались конспираторы-теоретики, в спешном порядке навербованные в министерстве иностранных дел, министерстве обороны и из малопривлекательного контингента, именующегося «неофициальными консультантами» и состоящего из ученых-практиков и академических ученых, которым нравится чувствовать себя воскресными шпионами. Эти шпионократы-любители пользовались огромным влиянием на базарах Уайтхолла, и комиссия безропотно выслушивала все их разглагольствования, даже самой неимоверной длины. Некий профессор из Эдинбурга дарил нас своим красноречием, пока в пятый раз не выкурил трубку до конца и чуть было не отравил дымом нас всех, но ни у кого не хватило духа сказать ему, чтобы он прекратил эту газовую атаку.

Первый критический вопрос — чего ждать дальше? Будут ли высылки? Скандал? Что станется с нашим московским пунктом? Скомпрометирован ли кто-нибудь из внештатников?

Аудиофургон, хотя и советская собственность, был на совести американцев, и его внезапное исчезновение вызвало тихую озабоченность у тех, кто стоял за его использование.

Вопрос о том, кого высылают и за что, никогда простым не бывает, ибо руководители пунктов в Москве, Вашингтоне и Лондоне нынче объявляются странам, где действуют. В Московском центре никто не питал никаких иллюзий относительно Падди или Сая. Их «крыша» была рассчитана не на то, чтобы укрывать их от противника, а чтобы укрывать их от реального мира.

Но как бы то ни было, их не выслали. Никого не выслали. Никого не арестовали. Внештатники, которых законсервировали на неопределенный срок, мирно продолжали свои легальные занятия.

Ответные меры не состоялись, и западные эксперты не замедлили придать их отсутствию колоссальное значение.

Умиротворяющий жест в дни гласности?

Четкий сигнал, указывающий, что Дрозд был гамбитом, который должен был обеспечить получение списка американских вопросов?

Не столь четкий сигнал, указывающий, что материалы Дрозда верны, но слишком неудобны, чтобы признать их существование?

Линии фронтов определились. Более или менее исходя из принципа, который растолковал мне Нед, голуби и ястребы на обоих берегах Атлантического океана вновь радостно разбежались в противоположных направлениях.

Если Советы посылают нам сигнал, что материал верен, отсюда неопровержимо следует, что материал неверен, сказали ястребы.

Или наоборот, сказали голуби.

Или еще раз наоборот, сказали ястребы.

Писались доклады, велись внутренние войны. Повышения, увольнения, пенсии, ордена, перемещения без понижения, разжалования. И никакого единодушия. Просто обычное злорадство самых жирных, замаскированное под логические выводы.

В нашей комиссии только Нед отказался войти в хоровод. Он как будто был готов бодро принять вину на себя.

— Дрозд был честен, и Барли был честен,— вновь и вновь твердил он комиссии, упрямо сохраняя хорошее настроение.— Никто никого не обманывал, только мы — самих себя. Это мы шли кривыми путями, не Дрозд.

Вскоре после того, как он высказал это заключение, было решено, что он находится в состоянии тяжелого душевного стресса, и на заседания его начали приглашать реже.

Ах, да! Кое-что было учтено. В страдательном залоге, поскольку глаголы в действительном залоге обладают неприятным свойством выставлять актера напоказ. Учтено весьма и весьма серьезно. Во всем объеме.

Учтено было, что Нед не счел нужным поставить двенадцатый этаж в известность о пьяном срыве Барли после его возвращения из Ленинграда.

Было учтено, что в тот вечер Нед самовольно использовал всевозможные ресурсы, в чем затем не отчитался, как то: вызвал Бена Латта и прибегнул к услугам старшей дежурной отдела подслушивания Мэри, которая сумела преодолеть лояльность по отношению к сослуживцу в достаточной степени для того, чтобы нарисовать перед комиссией жутчайшую картину самовластия Неда. Требовал незаконного подключения! Только подумать! Перекрывал телефоны! Наглость какая!

Вскоре после этого Мэри спровадили на пенсию, и теперь она в ярости живет на Мальте и, как опасаются, пишет мемуары.

С сожалением учтено было и сомнительное поведение нашего юрисконсульта де Палфри (мне даже вернули мое «де»), который не представил объяснений, почему он взял на себя право подписать соответствующий ордер, хотя прекрасно знал, что обязан представить такое объяснение, как того требуют тайно утвержденные «процедуры, регулирующие деятельность Службы, согласно поправке...» и так далее, и в соответствии с таким-то параграфом негласных инструкций министерства внутренних дел.

Однако учли жар битвы. Наш юрисконсульт спроважен на пенсию не был и не перебрался на Мальту. Но и не был с честью реабилитирован. Условно прощен — в лучшем случае. Юрисконсульту не следует принимать столь непосредственное участие в операциях. Неоправданное использование служебных возможностей юрисконсульта. Прозвучало даже слово «неправомерное».

Кроме того, с сожалением было указано, что тот же самый юрисконсульт составил и дал на подпись Клайву хвалебную характеристику Барли менее чем за двое суток до его исчезновения, тем самым открыв Барли доступ к списку американских вопросов, хотя, предположительно, и на короткий срок.

В свободные часы я подготовил условия отставки Неда и нервно прикидывал, не придется ли мне сделать то же для себя. Жизнь в мире Службы имела свои теневые стороны, но мысль о жизни вне этого мира приводила меня в ужас.

Сообщение о кончине Дрозда затормозило работу нашей комиссии, но ненадолго. Ядовитое это известие заняло шесть строчек на странице «Правды», тщательно сбалансированных так, чтобы не сказать слишком много или слишком мало, и оповещающих о смерти после продолжительной тяжелой болезни выдающегося физика, профессора Ленинградского университета Якова Савельева, а также перечисляющих награды и премии, которых он был удостоен. Он умер естественной смертью, заверял нас некролог, вскоре после того, как прочел выдающуюся лекцию в саратовской военной академии.

Когда эта новость дошла до Неда, он взял отпуск на день, который растянулся до трех суток. «Легкий грипп». Но конспираторы-теоретики порезвились вволю.

Савельев не умер.

Он умер уже давно, а мы имели дело с двойником.

Он занимался тем, чем занимался всегда — возглавлял в КГБ отдел научной дезинформации.

Полученный от него материал был верен, был невереи.

Ничего не стоил.

Был чистым золотом.

Был дымовой завесой.

Был искренней вестью мира, пересланной нам ценой неимоверного риска умеренными в московской правящей верхушке, дабы показать нам, что советский ядерный меч заржавел в ножнах, а в советском ядерном щите дырок больше, чем в дуршлаге.

Был дьявольской уловкой, чтобы заставить слабодушных американцев снять палец с ядерной кнопки.

Короче говоря, каждому нашлось, во что запустить зубы.

А поскольку при симбиотических взаимоотношениях воинствующих государств любое происшествие в одном из них непременно вызывает ответную реакцию в другом, за дело взялась контрпромышленность и история американского участия в операции «Дрозд» была поспешно переписана.

В Лэнгли с самого начала знали, что Дрозд не тот, за кого себя выдает, заявила контрпромышленность.

Или что Барли не тот.

Или что оба они не те.

Шеритон и Брейди прибегли к двойному блефу, заявила контрпромышленность. Их целью было убедительно напустить дыма и выиграть еще одно очко у русских в нескончаемой борьбе за коэффициент безопасности.

Шеритон — гений.

Брейди — гений.

Они все-все — гении.

Шеритон одержал блистательную победу.

И Брейди одержал.

Штат Управления состоит исключительно из блистательных стратегов, которые ничуть не похожи на свои жалкие подобия во внешнем мире. Боже, храни Управление! Что бы с нами сталось без него?

И, словно всего этого было мало, к прежним возможностям добавились ярусы и ярусы новых. Например, что Шеритон, сам того не зная, был орудием Пентагона и военно-промышленного комплекса. Это они составили ложный список, это они с самого начала знали, что Дрозд — подсадная утка.

И каждый новый слух в свою очередь подлежал серьезному рассмотрению, хотя истинных тайн было всего две: кто его распустил и с какой целью. Во многих случаях слухи, видимо, исходили от Рассела Шеритона, который дрался за свою шкуру.

Ну, а Дрозд, если он и не умер раньше естественной смертью, то, уж конечно, умирал теперь.

Один лишь Нед, вернувшись после наложенного на себя траура, вновь оказался настолько неделикатен, что высказал мысль, очень похожую на правду.

— Дрозд был честен, и мы его убили,— без обиняков сказал он на первом же заседании, на которое пришел. На следующее его не пригласили.

И все это время наши поиски Барли не прекращались, хотя кое-кому из нас было бы приятнее его не найти. Мы подбирались к нему, двигались вокруг него, а часто и в противоположную сторону. Однако мы люди долга и поисков не прекращали.

Но что именно продал Барли и за какую цену?

Что именно русские были готовы купить у него — у Барли, которому прежде требовался только дорогой обед, к тому же почти наверное оплаченный им самим, чтобы дорассуждаться до невосполнимой потери для себя же?

В конце-то концов он был засвечен! Целиком и полностью! Уже когда перешел к ним! И знал это!

Что такое предложил он им, чего они не могли бы взять без хлопот сами? Ведь разговор-то в конечном счете сводился к пыткам, к гнуснейшим методам и уровню агонии, даже прекращение которой — само по себе невообразимый ад. Конечно, русские принимали меры, чтобы очистить свою репутацию, но никто всерьез не верил, будто они с места в карьер откажутся от методов, которые тысячи лет приносили им столько пользы.

Первым и наиболее очевидным ответом был список. Барли мог категорично заявить русским, что не возьмет его у своих хозяев, пока не получит необходимых гарантий. И что предпочтет до конца дней своих вариться в кипящем масле, но даром его брать не станет.

И они ему поверили. Они убедились, что им придется обойтись без списка, если ему не подыграть. А так как серые люди на той и на другой стороне пугаются самопожертвования не меньше, чем любви, то чувствительные мудрецы КГБ, очевидно, предпочли иметь дело с понятной им частью его личности и не затрагивать той, которую не понимали.

Они знали, что у него есть возможность отказать им, заявить: «Н е т, списка я не возьму. Н е т, в квартиру Игоря я поднимусь не раньше, чем получу от вас что-нибудь надежнее торжественных заверений».

Выслушав его, они поняли, что у него хватит на это силы. И, подобно нам, почувствовали себя неловко.

А Барли — как он и сказал Хензигеру и Уиклоу за ужином — еще не встречал

русского, который, дав слово, взял бы его назад. Разумеется, он имел в виду не политику, а чисто деловые отношения.

А взамен? Что Барли купил на то, что продал?

Катю.

Матвея.

Близнецов.

Не такая уж плохая сделка. Живые люди в обмен на мертвые буквы.

А для себя? Ничего. Ничего, чтобы не осложнить получение гарантий для тех, кого он взял под свою защиту.

И мало-помалу выяснилось, что впервые в жизни Барли удалось заключить первоклассный контракт. Если Дрозд погиб, то Катя и ее дети, судя по множеству признаков, были спасены. Она все так же работала в «Октябре», ее иногда видели на приемах, она отвечала на телефонные звонки и дома, и на работе. Близнецы ходили все в ту же школу и распевали все те же дурацкие песенки, а Матвей брел своим дружелюбно-смутным путем.

Поэтому вскоре еще одна замечательная теория пополнила сонм предыдущих. «Советы заняты устройством внутренней дымовой завесы,— гласила она.— У них нет желания придавать весомость разоблачениям их некомпетентности, с которыми выступил Дрозд».

Так что на время стрелка отклонилась в другую сторону, и материал Дрозда был сочтен подлинным. Но продолжалось это недолго.

— Вот-вот! Это они нам и стараются внушить! — вскричал весьма влиятельный человек, и стрелка поспешно вернулась на прежнее место: кому же охота остаться в дураках?

Но условия сделки нарушены не были: Катя не потеряла своих привилегий, красного удостоверения, квартиры, службы и даже, как подтверждали проходящие месяцы, своей красоты. Вначале, правда, в сообщениях упоминалась вдовья бледность, небрежность в одежде, долгие отсутствия на работе. И, совершенно очевидно, никто не обещал Барли, что ей не предложат сделать добровольного заявления о своих отношениях с покойным Дроздом.

Но постепенно, после естественного периода затворничества, верх взяла жизнерадостность, и она начала появляться на людях.

Ну, а сам Барли?

След сперва был горячим, потом поостыл, потом остыл совсем.

Его тетки получили официальные уведомления о том, что он уходит из фирмы, через несколько дней после окончания ярмарки. Штемпель был лиссабонский, стиль напоминал прежний стиль Барли: издательское дело ему надоело, оно исчерпало себя, и пока у него впереди еще несколько плодотворных лет, он лучше займется чем-нибудь другим.

Что же касается его ближайших намерений, он «на некоторое время исчезнет», чтобы побродить по всяким экзотическим местам. Из чего ясно следовало, что он уже не в России.

То есть вроде бы следовало.

В конце концов, он же сам это сказал. Как сообщила смазливая девочка в открытом при «Международной» бюро Туристического агентства Барри Мартина. Мистер Скотт Блейр, сказала она, решил лететь не назад в Лондон, а в Лиссабон. Курьер из ВААПа привез его билет, и она смешила его на прямой рейс «Аэрофлота» — в понедельник в 11 часов 20 минут, прибытие в Лиссабон в 15 часов 30 минут, с посадкой в Праге.

И кто-то этим билетом воспользовался. Высокий человек, который ни с кем не разговаривал,— вылитый Барли или почти. Может быть, высокий, как мужчины в вестибюле ВААПа, но мы его проверили. Проследили его по всей линии, и она оборвалась, только когда мы добрались до Тины, лиссабонской экономки Барли. Да-да! Она получила от него весточку, сказала Тина в ответ на вопрос Мерридью,— красивую открытку из Москвы. Он писал, что встретил хорошую знакомую и они решили попутешествовать вместе.

Узнав, что Барли все-таки не вернулся в свой приют, Мерридью испытал огромное облегчение.

Затем в течение следующих месяцев дальнейшая жизнь Барли начала было прорисовываться, прежде чем вновь раствориться в тумане.

Контрабандист из ФРГ, задержанный в Советском Союзе с наркотиками, в дни своего заключения слышал, что человек, по описанию похожий на Барли, допрашивается в тюрьме под Киевом. Очень веселый тип, сказал немец. Расположил к себе всех сокамерников. Не стеснен никакими ограничениями. Даже надзиратели ему угрюмо улыбаются.

Бесстрашная французская супружеская пара, возвращавшаяся домой после автомобильного путешествия, помяла под Смоленском крыло о советский лимузин, и к ним на помощь пришел «высокий приветливый англичанин», который объяснялся с ними по-французски. Рост шесть футов, каштановые длинные волосы, вежливый, весело смеется, ехал в сопровождении очень дюжих русских.

А однажды под Рождество, вскоре после того, как Нед официально сдал дела русского отдела, из Гаваны поступило сообщение, почерпнутое от кубинского источника, что в политической тюрьме под Минском на каком-то особом положении содержится англичанин и он много поет.

В каком смысле поет? — воспоследовал возмущенный запрос.— О чём поет?

Поет мелодии Сачмо, ответила Гавана. Источник — любитель джаза, помешанный на нем не меньше англичанина.

Ну, а письмо Барли к Неду?

Оно осталось маленькой тайной, так и не попавшей в подшивку этой операции, и никак не отражено в официальной истории Дрозда. По-моему, Нед сохранил его для себя, как слишком ему дорогое, чтобы пустить по официальным каналам.

Вот тут бы и следовало окончить эту повесть, а вернее, ей следовало бы остаться неоконченной. Барли, по убеждению посвященных, предстояло занять место среди других теней, скитающихся по наиболее темным закоулкам московского общества — среди выброшенных на мель перебежчиков, выменянных или утративших доверие шпионов, которые в окружении несчастных жен и землисто-бледных наблюдателей делятся друг с другом убывающими запасами западных приятностей и западных воспоминаний.

Несколько лет спустя его, пожалуй, увидит на вечеринке благодаря счастливой, но подстроенной случайности какой-нибудь удачливый английский журналист, таинственно там оказавшийся. И может быть, если времена не переменятся, его снабдят заманчивой дезинформацией или предложат бросить горсточку перца в глаза прежним хозяевам.

И действительно, как будто именно этот вариант развивался положенным чередом, но тут молния от преемника Падди сообщила, что высокого рыжеватого англичанина видели — и не только видели, но и слышали,— когда он играл на теноровом саксофоне в только что открытом клубе в старом городе, день в день через год после его исчезновения.

Клайва вытащили из постели, Лондон и Лэнгли обменялись радиограммами, к министерству иностранных дел обратились с просьбой составить свое мнение. Они составили, и против обыкновения, оно оказалось категоричным: не наше дело и не ваше. Они словно бы чувствовали, что у русских гораздо больше возможностей надеть на Барли намордник, чем у нас. В конце-то концов русские любезно проделывали это и в прошлом.

На следующий день пришла вторая радиограмма, на этот раз из Лиссабона от толстого Мерридью. Тина, экономка Барли, с которой Мерридью, к большому своему неудовольствию, поддерживал знакомство, получила распоряжение приготовить квартиру к приезду хозяина.

Но каким образом получила она это распоряжение? — поинтересовался Мерридью.

По телефону, ответила она. Сеньор Барли позвонил ей по телефону.

Откуда позвонил, глупая ты баба?

Тина не спрашивала, а Барли не сказал. Но зачем ей спрашивать, если он вот-вот будет в Лиссабоне?

Мерридью пришел в ужас. И не он один. Мы поставили в известность американцев, но Лэнгли поразила коллективная потеря памяти. Они чуть ли не спросили: какой еще Барли? Широко бытует убеждение, будто службы вроде нашей беспощадно карают тех, кто выдает их секреты. Что же, случается и такое, но с людьми того клас-

са, к которому принадлежал Барли,— довольно редко. А в данном случае сразу же стало ясно, что никто — и меньше всех Лэнгли — не горит желанием превратить в наглядный пример того, кого они куда охотнее позабудут. Лучше от него откупиться, решили они. И без американцев.

По лестнице я поднимался не без дурных предчувствий. От услуг Брока в роли телохранителя я отказался — как и от не слишком охотно предложенной поддержки со стороны Мерридью. Лестница была темной, крутой и неприветливой, а к тому же зловеще-тихой. Вечер еще только наступал, но мы знали, что он дома. Я нажал кнопку, но звонка не услышал и принялся стучать по филенке полусогнутыми пальцами. Дверь была маленькая, массивная. Она напомнила мне лодочный домик на острове. За ней послышались шаги, и я попятился. До сих пор не понимаю почему, но, вероятно, меня охватил страх, как при встрече с диким зверем. Придет ли он в бешенство, рассердится или слишком бурно обрадуется? Спустит меня с лестницы или стиснет в объятиях? Со мной был дипломат, и, помнится, я переложил его из правой руки в левую, словно готовясь отразить удар. Хотя, Бог свидетель, я не из драчливых. До меня доносился запах свежей краски. Глазка в двери не было, и она казалась притертой к железной притолоке и косяку. Узнать, кто пришел, он мог, только отворив дверь. Я услышал шорох отодвигаемого засова. Дверь распахнулась вовнутрь.

— Привет, Гарри,— сказал он.

— Привет, Барли,— ответил я.

На мне был легкий, но темный костюм — темно-синий без намека на серый цвет. Я ответил: «Привет, Барли», ожидая увидеть его улыбку.

Он похудел, окреп, держал плечи прямо, так что стал действительно очень высоким — на голову выше меня. Помнится, ожидая, я подумал: «Ты путешественник без нервов». В наши первые дни Ханна говорила, что нам бы следовало стать именно такими. Прежние размашистые жесты исчезли. Пребывание в тесных пространствах сделало свое дело. Он выглядел стройным и подтянутым. На нем были джинсы и старая спортивная рубашка с закатанными рукавами. Белые брызги краски испещряли руки по локоть, через лоб тянулся белый мазок. Позади него я увидел стремянку, выкрашенную до половины стену, а в центре комнаты груды книг и стопки пластинок, частично укрытые простыней.

— Приехали сыграть партию в шахматы, Гарри? — спросил он все так же без улыбки.

— Мне надо бы с вами поговорить,— сказал я так, словно обращался к Ханне или вообще к тому, кому намеревался предложить полумеры.

— Официально?

— Ну-у...

Он рассматривал меня, точно не расслышал ни единого моего слова — откровенно и неторопливо, как будто времени у него было хоть отбавляй. Наверное, вот таким взглядом рассматривают сокамерников или следователей в мире, где правила вежливости не слишком соблюдаются.

Но в его взгляде не было никакой подавленности, или пристыженности, или надменности, или уклончивости. Наоборот, взгляд этот стал даже более ясным, чем мне помнилось, будто теперь навеки был обращен в дальние пределы, куда прежде устремлялся лишь иногда.

— Если хотите, могу предложить вам охлажденный портвейн,— сказал Барли и посторонился, открывая мне доступ в комнату. Посмотрел на меня в упор, когда я проходил мимо, а потом закрыл дверь и заложил засов.

Но так и не улыбнулся.

Его настроение оставалось для меня загадкой. Ощущение было такое, что я сумею хоть что-то понять в нем, только если он сам мне скажет. Или, формулируя по-другому, что я уже сумел понять в нем все, доступное моему вниманию. Прочее же — бесконечность.

Стулья были тоже укрыты простынями, но он сдернул их и сложил, словно свое постельное белье. Я давно уже заметил, что люди, побывавшие в тюрьме, очень долго не в состоянии стряхнуть с себя гордость.

— Что вам нужно? — спросил он, наливая нам по рюмке из бутылки.

— Мне поручили подвязать концы,— сказал я.— Получить от вас кое-какие ответы. И гарантии. И дать вам гарантии...— Я запутался.— Если мы можем помочь,— до-

бавил я.— Если вы в чем-либо нуждаетесь. Договориться кое о чем на будущее и так далее.

— Все необходимые гарантии у меня уже есть, спасибо,— сказал он вежливо, зацепившись за единственное слово, привлекшее его внимание.— Они сделают все, но в свое время. Я обещал молчать.— Наконец он улыбнулся.— Я последовал вашему совету, Гарри, и стал влюбленным на расстоянии, как вы.

— Я побывал в Москве,— сказал я, изо всех сил стараясь найти стержень для нашего разговора.— Посещал те места. Видел тех людей. Ездил под своей настоящей фамилией.

— Какой? — спросил он с той же вежливостью.— Как ваша фамилия?

— Палфри,— ответил я, обойдясь без «де».

Он улыбнулся, не то сочувственно, не то умудренно.

— Служба направила меня туда поискать вас. Неофициально-официально, если можно так выразиться. Расспросить о вас русских. Подвязать концы. По нашему мнению, настало время выяснить, что с вами случилось. Проверить, нельзя ли помочь.

И убедиться, что они соблюдают правила, мог бы я добавить. Что никто в Москве не собирается рубить сук, на котором сидим мы все. Ни дурацкой утечки информации, ни публичных трюков.

— Но я же сообщил вам, что со мной случилось,— сказал он.

— В ваших письмах Уиклоу, Хензигеру и другим?

— Да.

— Ну, естественно, мы поняли, что письма эти писались под нажимом, если вообще их писали вы. Вспомните письмо бедняги Гёте!

— Чушь,— сказал он.— Я написал их по собственной инициативе.

Я подобрался поближе к тому, что мне поручили ему сказать, а также и к своему дипломату.

— С нашей точки зрения, вы вели себя очень благородно,— сказал я, вынув папку, и расстегнул ее у себя на коленях.— Под нажимом говорит каждый, и вы не составили исключения. Мы благодарны за то, что вы сделали для нас, и понимаем, чего это стоило вам. И профессионально, и лично. Мы хотим, чтобы вы получили полную компенсацию. Естественно, на определенных условиях. Сумма может быть весьма порядочной.

Где он научился так смотреть на меня? Отгораживаться с таким спокойствием? Вызывать напряжение в других, а самому оставаться невозмутимым?

Я прочел ему условия, почти такие же, как и для Ландау, только прямо наоборот. Оставаться за пределами Соединенного Королевства и не приезжать туда, не получив предварительно нашего согласия. Полное и окончательное удовлетворение всех претензий, его вечное молчание, гарантированное полудюжиной различных способов. И много денег — подпишите вот тут — при условии, неизменном и единственном условии, что он будет держать язык за зубами.

А он не подписал. Тема эта ему уже приелась, и он отмахнулся от внушительной ручки.

— Да, кстати, а что вы сделали с Уолтом? Я привез ему шапку. Что-то вроде грелки на чайник в тигриную полоску. Только не помню, куда я сунул чертову штуку.

— Если вы пришлете ее мне, я позабочусь, чтобы он ее получил.

Он уловил мой тон и грустно мне улыбнулся.

— Бедняга Уолт! Они его вышибли, а?

— В нашей профессии мы рано выходим в тираж,— сказал я, но в глаза ему посмотреть не смог и переменил тему: — Полагаю, вы знаете, что фирму ваши тетушки продали «Люпус букс»?

Он засмеялся, правда, не прежним своим буйным смехом, но тем не менее смехом свободного человека.

— Джумбо! Старый черт! Обдурил Священную Корову. Тут он неподражаем!

Но он сразу освоился с этой мыслью, и, казалось, ему доставила удовольствие неизбежность случившегося. Я, как и все в нашей профессии, боюсь людей с правильными инстинктами. Но его спокойствие подействовало на меня благотворно. Он словно бы обрел вселенскую терпимость.

Она приедет, сказал он мне, глядя на море. Они обещали, что она приедет.

Не теперь. И в срок, выбранный им, а не Барли. Но приедет — никаких сомнений у него не было. Может быть, в этом году или в следующем, сказал он. Как бы то ни

было, в горообразном брюхе русской бюрократии что-то всколыхнется и породит мышку сострадания. Никакие сомнения его не терзали. Не сразу, но это произойдет. Так ему обещали.

— Своих обещаний они не нарушают,— заверил он меня столь неколебимо, что возразить ему было бы пределом черствости с моей стороны. Но что-то еще помешало мне выразить мой обычный скептицизм. Снова Ханна. Она будто молила меня оставить его человечность неприкосновенной, а не губить, как было с ней. «Ты думаешь, что люди не меняются, раз сам ты не меняешься,— как-то сказала она мне.— Ты чувствуешь себя уверенно, только когда разочаровываешься».

Я предложил ему пойти куда-нибудь поужинать, но он словно не услышал. Он стоял у высокого окна и смотрел на огни порта, а я смотрел на его спину. Та же самая поза, которую он принял, когда мы первый раз беседовали с ним здесь, в Лиссабоне. Та же рука, держащая рюмку чуть на отлете. Та же поза, что и на острове, когда Нед крикнул ему, что победа осталась за ним. Но только теперь он стоял выпрямившись. Видимо, он заговорил со мной, но осознал я это не сразу. Он уже видит, как их теплоход прибывает из Ленинграда, сказал он. Он уже видит, как она сбегает по сходням навстречу ему, а рядом с ней ее дети. Он сидит с дядей Матвеем под развесистым деревом в парке возле его дома, где сидел с Недом и Уолтером в дни до своего возмужания. Он слушает, как Катя переводит героические рассказы Матвея о стойкости. Он лелеял все надежды, которые я похоронил вместе с собой, когда выбрал надежную крепость бесконечного недоверия, когда предпочел ее опасной тропе любви.

Мне удалось уговорить его, и мы пошли ужинать, и он по доброте душевной позволил мне заплатить. Но купить у него еще хоть что-то не удалось: он ничего не подписал, он ничего не принял, он ни в чем не нуждался, он ни в чем не уступил, он был чист от всех долгов, и без малейшей злобы он желал, чтобы мы всем скопом отправились к дьяволу.

Но в нем была чудесная безмятежность. Никакой резкости. Он щадил мои чувства, пусть вежливость и не позволяла ему осведомиться, каковы они. Я никогда ничего не говорил ему про Ханну и понял, что теперь уже так и не смогу: я ведь остался прежним, а у нового Барли никакого сочувствия мои признания не вызвали бы.

Что до остального, он как будто счел необходимым принести мне в дар свою историю, чтобы я не вернулся к моим хозяевам с совсем уж пустыми руками. Он увел меня к себе домой, убеждал меня выпить на сон грядущий и что я ни в чем не виноват.

И рассказывал. Ради меня. Ради себя. Рассказывал и рассказывал. Свою историю, совсем так, как я пытался изложить ее здесь для вас — не только с нашей точки зрения, но и с его. Он продолжал говорить, пока не рассвело, а когда я уходил в пять утра, сказал, что, пожалуй, докончит красить стену, а спать ляжет уже потом. Ему еще стольким нужно заняться. Ковры. Занавески. Книжные полки.

— Все будет хорошо, Гарри,— заверил он меня, провожая к двери.— Так им и передайте.

Шпионаж — это ожидание.

АРТЮР ОЛО

Из книги «Противостояния»

■

Вступление и перевод с французского
НАТАЛЬИ СТРИЖЕВСКОЙ

Поэзия Артюра Оло́ стоит несколько особняком в современной франкоязычной поэзии. Его голос столь же неповторим, сколь уникальна его биография. Артюр Оло́ (род. в 1913 г.) — один из старейших бельгийских поэтов, принадлежит к поколению, вынесшему на своих плечах всю тяжесть второй мировой войны. К моменту оккупации Бельгии в мирной жизни у него остались первые и уже замеченные сборники стихов, известное журналистское имя. С первых дней оккупации Артюр Оло становится одним из организаторов Сопротивления, членом бюро подпольной социалистической партии. 22 декабря 1941 года он был схвачен гестапо, 10 июля 1942 года попал в Маутхаузен, откуда 8 ноября того же года переправлен в Дахау, где и пробыл до конца войны, почти три года. В Дахау Артюр Оло — член подпольного интернационального комитета Сопротивления — и после освобождения отказывается покинуть Дахау до полной эвакуации и берет на себя внутреннее командование лагерем. Все эти годы он вел дневник, изданный потом под названием «Я хотел жить»,— это один из самых безыскусных и обжигающих документов нашего столетия. И все написанное Артюром Оло с тех пор — а ныне он один из самых известных бельгийских поэтов, крупный литературный и общественный деятель — продолжение того дневника.

В отличие от большинства современных французских поэтов Артюр Оло провозглашает себя приверженцем открытого поэтического высказывания, «старого доброго лиризма», непрерывности традиции классической французской поэзии. Для него поэзия — это прежде всего концентрация душевного опыта, средство общения, внутренний диалог. Она исполнена спокойной печали и просветленного трагизма, сочетающего в себе мудрость и мужество стоицизма с влюбленностью во все многоцветие бытия, нежностью ко всему живому. Поэзия Оло — это непрерывный поединок с памятью, с познанным ужасом XX века, перед которым бессильно слово, и потому обрекающим на немоту. Не разделенное с другими знание о мире для Оло не имеет цены. В этом поединке может победить только «голое слово» — голос нагой человеческой души, лишенной всех покровов и иллюзий, утратившей все, кроме силы духа, и черпающей стойкость только в себе самой, ввергнутой в ад и свершающей свой последний выбор. Для Артюра Оло немоту побеждает только «нагая речь», лишенная всего наносного, всякой фальши и суесловия, слова только главные и о главном.

«Я надеюсь,— пишет он в предисловии к своему лагерному дневнику,— что мне больше не доведется переживать такое испытание на честность, на безнадежную твердость самостояния. Но в нем источник той ясности духа, в которой я пребываю с тех пор. Никогда — я клянусь самым дорогим, что у меня есть,— никогда после Дахау, я не написал ни слова, которое не шло бы из глубины души, из моей плоти и крови. Конечно, я не был столь безумен, чтобы каждую минуту говорить то, что я думаю! Невозможно жить на этом абсурдном, бессмысленном уровне правдивости. Но тем не менее я могу сказать, что ни одна ложь не осквернила мой рот, даже и прежде всего тогда, когда так хотелось схитрить. Это очень просто понять: после того как ты отказался лгать, чтобы выжить, для тебя неприемлема и в мирной жизни хоть малая толика лицемерия... С той ночи в сентябре 43-го, что я провел с глазу на глаз с моей смертью, я затвердил навсегда, записал огненными буквами в каждой клетке моего мозга, в каждой капле моей крови: каждая минута всегда может стать последней. И нужно ее прожить так высоко, так страстно, так глубоко, как ни одну другую. И если б я не был на это способен, я предал бы неповторимость и единственность жизни». Быть может, поэтому можно сказать о стихах Артюра Оло, что в них еще одно житие и свидетельство нашего страшного века.

© Éditions Saint-Germain-des-Prés, 1988

Из цикла «Нагая речь»

I
Как ясно родство проступает
в детских затылках слов
встающих в ряды моих строк?
Что скажу я мужчине
иль женщине
чьих не знаю ни цвета души
ни голоса кожи?

На еле слышный зов
слепо бреду
внимая всем телом дрожи безмолвия

Антеннами трав
ловлю песню сонных звезд
ночных сторожих вселенной
Пробую на зуб на вкус речь моих предков
она отдает похлебкой осенних распутиц
стынью мерзлой земли перед нашествием зимы
истошной капелью весен крикливых сосулек разноголосицей

И мирной неторопливостью лета
со зноем и крепышом-криком младенца
и жаром клятв и проклятий
Я погружаю руки
в морок чернейших ночей
шарю в потемках и не отпряну и не отдерну ладонь
Я знаю на краю света в конце кровавой были
трепещет слово любви как сердце в груди окоема
свеча в сплетенных пальцах стеблей
след босой жизни на глади моря.

II

Нужно сцепиться насмерть в рукопашной схватке со словом
лупцевать твердолобый булыжник
брать за горло ленивую глину
бить коленом под дых
впечатывать кулаки в лица волшебных вальяжных глаголов
и выкручивать руки нежным тщедушным предлогам
и в пересохшем колодце найти родниковую воду
отмыть оттереть свою речь
отдраить дочиста душу
спесь отскоблить и коросту химер
ниц простереться нагим перед тайной бытия.

III

Сгребай в охапку лови стрелы солнца!
Радуга радости рвется
у тебя из груди
с ликующей песней твоей
взмыл жаворонок в поднебесье
Нужно нырнуть на дно окровавленной ночи
и перевалить на плечи богов свою ношу
тяжесть тысяч и тысяч смертей
И если ты вернешься назад

твой голос обретет чистоту горных озер
звонкость артезианских ключей
и весомость первого слова Книги Бытия.

IV

Где слово, что в силах
сказать о вселенной? Какой слог может
стать символом Бога?
Опираясь только на посох речи,
где искать тебе точку опоры
в зыбучих песках предложений, чтоб вопрошать мироздание?

Каждый миг продолжается эта вечная битва.
Заговор тишины, безмолвие подстерегает в тебе и вокруг тебя,
оно в крови твоих предков. И ничем не разбить
казематы молчанья.
Все лучшие сказки мира сложены на один лад,
все
начинаются утром девичьей песней
и кончаются
с наступлением ночи предсмертным хрипом убитых героев.
Жалкие крохи прозрений.
Ты считал, что вцепился в полу горизонта. Но у тебя в кулаке
остались лишь пряди ветра.
На дне стакана осела только
терпкая горечь.

Но плещется море в оборках холодной пены,
твое усталое сердце забылось в улыбке.
Все, даже смерть, предстоит начинать сначала.

V

Снова начать со Смерти.
Я буду ждать спокойно. Мы с ней почти породнились.
Она мне явилась однажды летним баварским днем
в короне колючей проволоки.

Я провел свою последнюю ночь с тобою лицом к лицу.
У тебя был мой голос уже моя кровь
струилась по твоим жилам.
И мы заключили мир. Мы вместе ждали рассвета.
И рассвело. Мне был дарован весь белый свет
Бог весть почему ни за что ни про что.
Все небо весь день и весь вздох
глубокий как море. И ты ушла
потихоньку на цыпочках. Я ждал твоего возвращения.
Мое тело свыклось с новыми очертаниями
мой пульс отсчитывал новый такт.

Спасибо тебе за каждый
миг прожитый с этой встречи.
Наверное ты тоже любишь музыку Слова...

VIII

Тень пеликана медлит на пене прибоя.
По ступицу вязнут в песках лагуны
триумфальные колесницы прилива.

День легок как трепет крыльев прозрачных ночниц
неловко высвобождающихся из коконов небытия.
Ты рождаешься для незамутненной правды.

XIII

Мы рядом нагие. Я нас сочиняю.
Сотворение географии.
Я поправляю, чиркаю и подчищаю
Богом забытые тропы,
хребты и отроги, тяжелую влажность
болот и завалы лавы и пепла,
безлунные джунгли, барханы пустынь,
горные гряды и хороводы
вечерних и утренних зорь,
буруны разбойных бурь
и лиманы в брызгах соленого света,
и глаз тайфуна, слепящий
исступленьем безумья
и бессмысленной злобой,
я воссоздаю
даль за далью,
песчинку за песчинкой,
жемчужину за жемчужиной
ослепительную наготу Бога
в первый день творения.

XIV
Лицо с профилем счастья
Глаз не могу оторвать от линий твоей судьбы

Рисую тебя на тумане
птичьим пером в поднебесье

Твои ресницы дрожат в лад песне моря
Мой стих попадает в такт

Твое загорелое тело непостижимо реально
юность и жизнь тихонько спят у меня на плече

Ладони раскрыты навстречу празднику
С тобою рядом покой и радость.

XV

Я все ждал знака.
Ни звука лишь горстку песка
взметнул порыв ветра.
В глубинах души тяжело и громоздко
коробится прошлое как окаменевшая лава.
Вся ясность неба и моря не в силах
стереть из памяти страх.
Мир вам мои мертвые.
Я выношу вас на солнышко
я с вами делю свой хлеб
я вам даю свою кровь.
Но где тот пророк что придет нам на смену
кто нам наконец напророчит надежду?
Земля кругла.
Только это мы усвоили твердо.

XVI

День с поднятым забралом,
щиты богов сияют блеском полдня.
Ни пенных гряд
ни чайки на море.
Волна баюкает молчанье
в утре трепещет как стрела
ребячий чистый крик.
Я воплощаюсь
в себя.

XVII

Ты нынче в ладу с небесами?
В родовых схватках гор
из ребра ледника
явилось на свет это утро
и душу умыло снегом
Согласно округлы галька и солнце
купол небес и полет альбатроса
луна прибитая к берегу бурей
Забытый платан шелестит за углом
а память все никак не развеет
по ветру золу заката
Давно под дождем осенним не бродят
тени богов и убитых героев
Уже смотрит в щелку стыдливая радость
лицо с прелестным прищуром улыбки
вот-вот просияет над морем в зените
и земля под ногами качнется
Ты остаешься жить здесь
квартирантом счастья
настырный ненужный лишний свидетель
А у порога подстерегает упрямая память
Грядущие годы готовы сорваться с цепи молчанья
И ты берешь на руки голый глагол
рожденный в твоей груди — положи его к ногам жизни.

Полдень распят на кресте дорог.

Из цикла «Псалом искупления»

IV

Доколь смерть за смертью переживать в этой бухте скалистой?
Всей глади морской не скрыть от тебя
лесов онемевших от ужаса
Солнечный луч не распутает путы памяти
не развяжет узлы десятилетий.

Ряскою смерти подернулись реки
в прошлое тянет омут глухих полночных времен
Легенды в пышных розах созвездий
чахнут чернеют под гиблым ветром воспоминаний.

Нужно подслушать легкий говорок асфоделей
Смотреть на свет звезд сквозь прозрачные зонтики одуванчиков
хмелеть от нагого ночного запаха папоротника
чтоб вытравить в сердце горечь.

Вдруг золотое сеченье рассвета
божественный самородок созвучья
иль трепет крыльев утра
даст тебе ключ к пространству
И ты благодарно склонишься
пред матерью-жизнью
пред мудростью крови
неутомимо бегущей по жилам
странницей вечной с котомкой былого
в поисках долгих
дороги в грядущее.

VI

Там ты был один на один с истиной.
Никого, кто бы вытер испарину бреда,
никого, кто бы вырвал тебя из лап страха,
никого, кто бы выпустил в небо
из твоей груди птицу памяти.
Но и никого, о милость Господня!
кто б помешал тебе молча беззвучно
плести слово за словом нитку строки —
тонкий лучик свободы.
У тебя ушло почти полстолетия на то,
чтоб совсем одному шаг за шагом перейти пустыню безмолвия
и вновь ощутить во рту сладостно-горький вкус речи.

VII

Мы видели время праведников.
То был священный миг когда никакая ложь
не могла уцелеть на ложе пыток
где была распростерта нагая душа человеческая
не прикрытая рваным тряпьем сарказма
раздетая догола до срама страха.
О только бы мне не знавать больше брат мой
этот ужас беспомощной плоти бьющейся словно птенец
выпавший из гнезда.
Я больше не вспомню не вспомню надеюсь мерзких трусливых
судорог внутренностей
и этот крик в ночи Маутхаузена
я с ним оставался один на один
из ночи в ночь слепой и глухой
от молота крови бьющего в уши.
То было время праведников
без ненависти и без жалости
с неотвратимостью созвездий
свершавших свой скорбный путь
сквозь неискупаемый и неподкупный
мир где не было Слов.
Мы видели время прозрения
что не знавать бы вовеки
но вся глубина отчаяний
но вся тьма безысходности
но вся бездна бед ничто
пред столбняком немоты что с моря приносит тебе
соленый бриз воскрешения.

К читателям «ИЛ»

Блеск и нищета поэзии

Сегодняшней Бельгии довелось стать свидетельницей парадоксального положения.

Может быть, никогда еще объединенные усилия людей в защиту поэзии не были столь серьезны.

Непрестанное развитие деятельности «Журналь де поэт» — единственного альманаха, вот уже шестьдесят лет рассказывающего о достижениях мировой поэзии,— лишь один из многих факторов.

Нужно также отметить прекрасную затею «Полдней поэзии», открытие в нескольких городах Домов поэзии, успех Международного дня детской поэзии, Льежских биеннале и, наконец,— нашего Международного Дома поэзии, на который мы возлагаем громадные надежды.

Однако сейчас пропасть между поэзией и слушателем велика, как никогда.

Чтобы не сбивать с толку читающих эти строки, скажем сразу: именно охлаждение интереса оправдывает эти усилия.

Постылая поэзия

Не всегда поэзию принижали, как теперь.

Мы в юности изучали в школе крупнейшие произведения наших великих поэтов — Метерлинка, Верхарна, Ван Лерберга; те занимали особое место в литературе по отношению к французским и зарубежным собратьям.

В годы войны поэзия была подлинным национальным достоянием: в гнетущей атмосфере нацистской оккупации к ней обращалось множество людей.

И первые послевоенные годы отмечены взлетом поэтических голосов Сопротивления, гневными стихами Элюара, Арагона, других авторов...

А что же сегодня?

На самом деле в течение примерно сорока лет интерес к поэзии все угасает.

Поэзия и общение

По всей очевидности, мы подошли к такому моменту, когда поэзия сделалась бедной родственницей, «Золушкой изящных искусств».

Стоит только осознать, какое место уделяют средства массовой информации иным видам искусства по сравнению с поэзией.

Музыка, танец, живопись, театр удостаиваются потрясающих празднеств, на которые идут огромные ассигнования.

Публика, затаив дыхание, следит за фестивалями в Канне и Венеции, Зальцбурге и Сан-Паулу, Эдинбурге и Экс-ан-Провансе.

Романисты пользуются постоянной поддержкой средств информации.

Литературные премии по-прежнему возбуждают у публики широкий интерес к роману.

Бестселлеры действительно продаются по всем правилам маркетинга.

Что касается поэзии... она остается лишь на второстепенных ролях, особенно если ее с оттенком иронии величают игрою для интеллектуальной элиты, духовной пищей для узкого круга избранных.

Издатели стихов кое-что об этом знают. Книги самых знаменитых — и не обязательно самых известных! — наших поэтов публикуются в нескольких сотнях экземпляров. Расходится тираж по весьма специфическим читательским кругам.

Пресса скупится на отклики. Из ста книжечек и сборников скольким суждена высокая честь — попасть на рецензию?

Педагоги в школе уделяют слишком мало внимания современной поэзии или вовсе забывают о ней.

Еще читают Превера, цитируют Рене Шара и Мориса Карема; упомянут иногда Мишо, Нóржа и Марселя Тири.

А остальные, все остальные? Их будто бы не существует.

Положение дел, как мы уже говорили, к несчастью, не ново.

Оно ведомо нам уже сорок лет.

В 1951 году мы организовали в Бельгии первую «Европейскую встречу поэтов», главным образом чтобы определить место поэзии в послевоенном обществе. Было сделано то же заключение о равнодушии читателей и великих бедствиях поэзии.

Впрочем, в противовес этому положению дел мы — то есть коллеги из «Журналь де поэт» со мною вместе — осуществили ряд замыслов.

Защита поэзии

С 1952-го мы в Бельгии раз в два года собираем множество поэтов со всех концов земли. Это дает возможность обсуждать интересующие всех вопросы. Кроме того и по преимуществу, это — возможность установить прямые дружеские контакты между поэтами.

Результатом стали многочисленные публикации, визиты, переводы и новые встречи — в Струге, на Тайване... Еще один результат, о котором нельзя не сказать,— широкий отклик прессы, радио и телевидения на биеннале. Таким образом поэзия снова видима и слышна огромному количеству людей.

Она выходит из заключения и на несколько дней собирает совершенно иную аудиторию.

Во время этих биеннале мы, впрочем, стараемся расширить границы общения поэтов. Они встречаются с представителями других областей искусства и знания, работают в рамках общей темы.

Так, с нашей трибуны выступали мастера театра, музыканты, мыслители, философы, видные ученые, исследователи космоса.

Однако мы еще очень далеки от эры при-

© Arthur Haulot, 1990

Эссе А. Оло написано по просьбе редакции. *(Прим. ред.)*

мирения поэзии и публики, во всяком случае — публики и настоящих поэтов, не на уровне шансонье.

Виновные

Кто в ответе за потерю заинтересованности в поэзии?

Разумеется, это долгий разговор.

Но вместо того чтобы обвинять других, поэтам следует прежде упрекнуть самих себя.

Отказ в поэзии от традиционной лирической речи, замена ее более или менее осознанными эзотерическими изысками довольно быстро оттолкнули читателей, вовсе не желавших копаться в этих сложностях: им скорее хотелось видеть в стихотворении выражение человеческих чувств, чем изделие некоей языковой лаборатории.

Поэзия погрузилась в атмосферу таинств, что вершатся в литературных кружках. И ей не удастся одновременно привлечь публику, ибо та ощущает презрение к себе.

Да не поймут нас превратно: мы отнюдь не стремимся, со своей стороны, зачеркнуть всю эту область современной поэзии. Дерзкие эксперименты сохраняют свою ценность, на какой бы почве их ни проводили.

Но нельзя приносить эмоциональность в жертву интеллектуальному терроризму во имя эксперимента.

Как и в других областях жизни, правда здесь складывается из взаимопонимания, терпимости и многообразия типов.

Те, кто хочет, подобно нам, вернуть поэзию в круг сегодняшнего человеческого бытия, должны сделать все, чтобы рядом с неестественностью нашлось место чувствам души, сердца — вечным субстанциям, которых даже окарикатуривание не лишает истинности.

Нет, это ничуть не единственный залог успеха.

Зато — самый необходимый из всех.

Перевод с французского И. ИСТРАТОВОЙ

Из классики XX века

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

О фонтанах

(Вглубь одного стихотворения)

С немецкого

Человек во вселенной

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Михаил Лермонтов

Einsam tret ich auf den Weg, den leeren,
der durch Nebel leise schimmernd bricht;
seh die Leere still mit Gott verkehren
und wie jeder Stern mit Sternen spricht.

Перевод с русского — Райнера Марии Рильке

Мы часто говорим о творчестве того или иного поэта как об особом мире (или «вселенной»), употребляя эти слова в самом общем смысле (как и в выражениях «мир души» или «внутренний мир») и отнюдь не подразумевая обязательных структурных соответствий с теми реальными миром и вселенной, в которых мы живем. Строение нашей вселенной описывает астрономия; из нее мы узнаем о взаимном расположении нашей Земли и других небесных тел — звезд и планет — в системе космоса. Звезд, конечно, немало и в поэтических мирах. Но когда поэты говорят о звездах, на них взирают или к ним взывают, они чаще всего выражают эмоцию, душевное настроение, а не «архитектурное», мировоссоздающее намерение; их слова — зов изнутри, а не зодчество вовне

Поэтическая вселенная Рильке строится — возводится с помощью слов сознательно и целеустремленно. Земля и небо в ней — не только знаки душевных состояний, но и пространственные координаты. Как всякое пространство, этот мир должен быть объемным — и словами поэта нам снова и снова внушается представление о линиях, незримо, но и нерушимо соединяющих высь с юдолью, близь с далью. Вот одна из бесчисленных формул — в пастернаковском переводе: человек у окна читает книгу (пространство предельно узкое, «сжатое») — а потом поднимает глаза:

И я увижу, что земле мала
околица, она переросла
себя и стала больше небосвода,
и крайняя звезда в конце села —
как свет в последнем домике прихода.

Портрет Р. М. Рильке на фоне Кремля, написанный Леонидом Пастернаком.

Здесь явственно прочерчивается линия, ведущая сначала горизонтально от поэта к околице и затем вдруг взмывающая ввысь, к первой зажегшейся в небе звезде. Согласно этому чертежу, мир един, и околица села непосредственно переходит в окоем и космос.

Чертеж, сочетание и скрещение линий — Figur, Bezug — эти понятия постоянно всплывают в поэзии Рильке. И постоянен в ней образ зодчего, строителя. Из раннего сборника «Часослов»:

Любой из нас — подручный, мастер, зодчий,
мы все Тебя возводим, о Собор...

Здесь линия ведет сразу ввысь, вертикально — и снова сводит нас с небом:

Взбираемся все выше, неустанно,
леса так шатки, молот так тяжел,—
и вдруг чело целует осиянный
и вещий час, что от Тебя нежданно,
как ветер с моря, к нам пришел.
(Перевод мой.— А. К.)

Так материализуется в слове, в стихе вознесение духа, его выход за земные пределы. Столь излюбленная в германском любомудрии трансценденция здесь не только рефлектируется и декларируется, но и встраивается в мироздание как кровля, как его зримый, рукотворный венец.

Все это необходимо иметь в виду, вступая в поэтическую вселенную Рильке. Сегодня журнал предлагает читателям одно из самых известных стихотворений поэта, созданное в начале и его творческого пути, и нашего века — в ноябре 1900 г. Уже здесь нам дается стройный чертеж того мирозданья, каким станет потом вся поэзия Рильке в ее совокупности. И читатель может еще и проследить за тем, как эту модель стремятся перенести — перевести — на русскую почву наши отечественные мастера-строители.

Как повсюду у раннего Рильке, его лирический герой — человек, вдруг обнаруживающий, что он живет не в доме, не в «здании», а в мироздании; не просто на земле, а перед ликом небес. Поначалу он вглядывается в самые ближние, чувственно воспринимаемые вещи — но вещи вдруг, как сказано, «перерастают себя», и пространство расширяется из ядра единичной, ограниченной ситуации до беспредельности космоса.

«Мне вдруг многое открылось в фонтанах — этих непостижимых деревьях из стекла» — таков буквальный смысл начальных двух строк стихотворения. В этом энергичном зачине мысль о познании мира, идея сама по себе отвлеченная, оформляется четко и зримо, пластически — наше внимание «останавливается» на ней в самом буквальном смысле слова: ведь фонтан — текучая, движущаяся стихия — сравнивается со стеклом — застывшей, неподвижной массой; как в остановленном кинокадре. Образ дерева вроде бы тоже укрепляет это ощущение запечатленности — хотя он одновременно таит в себе и идею развития, роста, возвышения (много позже Рильке этим же образом откроет цикл «Сонетов к Орфею» — с возносящимся ввысь древом он отождествит там орфический гимн, песнь, поэзию).

Внезапно познанная героем суть фонтанов, казавшихся до этого застывшей загадкой,— это их сходство с его собственными слезами, которые он в прежние годы, «охваченный титаническими грезами, однажды рассыпал (буквально — расточил, vergeudete) и потом забыл». Нас снова возвращают к стихии влаги, но существующей уже в особом, человеческом измерении; эти слезы, соотносимые с образом фонтанов,— символ взлета и падения человеческих мечтаний.

Первая строфа — логическая и поэтическая посылка, сочетающая в себе три основных мотива, которым предстоит развитие в последующих строфах: влага, древо, человек. Сочетание щедро инструментовано россыпью созвучий: строгие конечные рифмы (Fontänen —

Tränen) сменяются менее привычными для русского слуха корневыми (vergeudete — vergaß), но и для корневых, если вслушаться, найдется строгое полное созвучие внутри стиха (Träumen — Bäumen). И перекликаются, заметим, самые ключевые слова: фонтаны, деревья, слезы, мечты. То и дело возникающие частные звуковые повторы — аллитерации и ассонансы — довершают поразительное впечатление, что слушаешь оркестровую пьесу. Это тоже Рильке — воистину не просто стихотворец, а певец, музыкант.

Но он, не забудем, еще и зодчий. Первая строфа не только сюита, но и чертеж — скрепленный, как мы видели, вертикальными линиями, пронизанный силовым напряжением между сферами верха и низа. Здесь оно еще скрыто, не выражено прямо, лишь подразумеваемо (мы знаем, что фонтаны ведь всегда взмывают и ниспадают, что юношеские грезы всегда «воспаряют», возносятся ввысь) — но во второй строфе эта динамика материализуется, передается в слове и образе.

«Разве я забыл,— спрашивает поэт,— что небеса простирают руки ко всем земным вещам, в их толчею?» Человек тут утешает себя, напоминает себе, что земная юдоль все-таки не оставлена небесами,— мастер приступает к воплощению прежде только мысливщейся идеи (верх — низ) в зримую форму: сфера верха обретает более конкретный образ — это небеса, и они, оказывается, на взлет фонтанов и грез отвечают встречным движением книзу; между Небом и Землей, Небом и Человеком существует немой диалог.

Так устанавливается главная ось, вертикальный стержень возводимой конструкции; и, обретя такую опору, Человек, дитя Земли, как бы вновь оживает, и грезы его снова воспаряют ввысь — остановленный было фонтан приходит в движение. Подъем, взлет (Aufstieg) — ключевое слово второй строфы, вектор ее энергии. В череде сменяющих друг друга образов вершится это непрерывное, торжествующее, поддерживаемое строчными переносами (анжамбеманами) вознесение: вздымаются «пред полными ожидания вечерами» старинные парки, взмывают ввысь и «переливаются через края мелодий» (снова фонтан!) напевы незнакомых девушек. Идея «вознесения» не просто оживает в воображении поэта — она, духовная, бесплотная по сути своей, еще и жаждет овеществиться в зримом образе, и этот образ абстрактной идеи у грани материализации — один из самых впечатляющих у Рильке: напевы эти, говорит поэт, становятся настолько реальными, что они будто вот-вот отразятся в «раскрывшихся им навстречу прудах».

Но «закон» фонтана еще и в том, что его струи неминуемо должны вернуться на землю. Ниспадение (Niederfall) — ключевое слово третьей строфы, и оно полно тяжести (Last). Сила этой тяжести сгибает и направляет книзу каждый взлет, и это происходит тоже на наших глазах — все образы предшествовавшей строфы один за другим получают теперь противонаправленное движение: там вздымались парки — здесь ветви «обратились книзу», поникли; там вздымались напевы — здесь голоса «горят слабым пламенем», как свечи, что вот-вот угаснут; там пруды готовы были отразить напевы, взмывшие в небо,— здесь они «убого и размыто» отражают только кромку берега, землю. И оборвался контакт, диалог Земли и Небес: там они тянулись навстречу друг другу, там земные вечера были «полны ожиданий» — здесь ожидания обмануты, здесь небеса «отчужденно отступают» от вечерних лесов, «как будто это не тот мир, что они подразумевали».

Так подступает новый прилив отчаяния. Если вторая строфа открывалась как бы поэтической формулой закона взаимного тяготения Земли и Небес, то зачин последней строфы — в явственной перекличке со второй («Разве я забыл...») — поистине формулирует закон всемирного отчуждения. Миры окаменели, замкнулись друг перед дру-

гом, и звезда с звездою не говорит; если они и различают еще друг друга издали, то лишь туманно, размыто — «лишь как сквозь слезы» (вот где отозвались слезы, пролитые поэтом в первой строфе,— теперь уже плачут миры!).

Но хотя мировая скорбь часто навещала Рильке, она никогда не становилась его последним словом. Так и здесь — за космическим отчаянием следует поразительный перелом мысли, настроения, темы: если наша земля, рассуждает поэт, лишь один из таких окаменелых миров, заброшенных в пустыню космоса, то ведь это означает, что для кого-то — для «других существ», для жителей других планет — мы тоже, в свою очередь, находимся н а в е р х у, служим звездой и небом?

Рильке предпринимает здесь отчаянную, дерзновенную попытку сохранить ощущение верха, взлета, неба: теперь уже мы — небеса! Правда, «другие существа» испытывают тогда ту же муку тщетного вопрошания высей; и снова повторяется череда вертикалей, устремляющихся снизу вверх: теперь они, те люди, «вечерами поднимают к нам взоры», «поют нам хвалу», «возносят к нам молитвы и проклятья», «ищут Бога на наших высотах» — и поднимают лампы, чтоб было видней, и свет этих ламп, падая на наши лица, открывает в них — хоть и «беглый», хоть и «смутный» (flüchtig und verweht) — образ Бога!

Поворот то ли гегелевский («отрицание отрицания»), то ли архимедовский («дайте мне точку опоры, и я переверну землю»). Но результат его надо осознать в полную меру и во всей весомости: оплакав заброшенность человека и безмолвие космоса, поэт не хочет ставить на этом точку; отчаянным усилием перевернув мирозданье, он все же возвращает нашим лицам отсвет божественного огня.

Передать эту возвышенную поэтическую космогонию средствами другого языка, конечно, нелегко. Не менее трудная задача — одновременно воссоздать и богатейшую музыкальную фактуру стиха Рильке. Но русские переводчики не раз предпринимали это дерзание. Думаю, что не ошибусь, сказав, что трудно найти у нас переводчика с немецкого, который бы в тот или иной момент своей биографии не поддался искушению воссоздать э т о т Собор. Поэзия Рильке — могучий магнит и неодолимая магия.

Нашу подборку мы открываем одним из первых опубликованных у нас переводов стихотворения «О фонтанах», принадлежащим перу К. Богатырева [1]. Остальные переводы сделаны специально для данной публикации.

Один из этих переводов, очевидно, требует комментария. М. Л. Гаспаров, известный теоретик стиха, сознательно жертвует такими важными элементами поэтической структуры, как метр и рифма, в целях более точной передачи смысла стихотворения [2]; установка, на мой взгляд, спорная, но и продиктованная глубоким уважением к поэтическому высказыванию — что в любом случае достойней, чем жертвовать смыслом ради рифмы. Но несомненно, что и другие приводимые здесь переводы — плоды не тщеславной жажды самовыражения, а той бескорыстной любви, которая давно уже, со времен Пастернака и Цветаевой, сопутствует русским судьбам этого поэта.

А. КАРЕЛЬСКИЙ

---

[1] См. Р. М. Р и л ь к е. Избранная лирика. М., «Молодая гвардия», 1974, с. 33. Другие переводы этого стихотворения см.: Р. М. Р и л ь к е. Лирика. Перевод с нем. Т. Сильман. М.—Л., «Худож. литература», 1965, с. 104; Р. М. Р и л ь к е. Новые стихотворения. М., «Наука», 1977, с. 268 (перевод А. Карельского); Золотое сечение. Австрийская поэзия XIX—XX веков в русских переводах. М., «Радуга», 1988, с. 583 (перевод В. Леванского).

[2] Более развернутую аргументацию этой переводческой установки см. в выступлении М. Л. Гаспарова в дискуссии «Поэзия и перевод», «ИЛ», 1972, № 2.

Von den Fontänen

Auf einmal weiß ich viel von den Fontänen,
den unbegreiflichen Bäumen aus Glas.
Ich könnte reden wie von eignen Tränen,
die ich, ergriffen von sehr großen Träumen,
einmal vergeudete und dann vergaß.

Vergaß ich denn, daß Himmel Hände reichen
zu vielen Dingen und in das Gedränge?
Sah ich nicht immer Großheit ohnegleichen
im Aufstieg alter Parke, vor den weichen
erwartungsvollen Abenden, — in bleichen
aus fremden Mädchen steigenden Gesängen,
die überfließen aus der Melodie
und wirklich werden und als müßten sie
sich spiegeln in den aufgetanen Teichen?

Ich muß mich nur erinnern an das Alles,
was an Fontänen und an mir geschah, —
dann fühl ich auch die Last des Niederfalles,
in welcher ich die Wasser wiedersah:
Und weiß von Zweigen, die sich abwärts wandten,
von Stimmen, die mit kleiner Flamme brannten,
von Teichen, welche nur die Uferkanten
schwachsinnig und verschoben wiederholten,
von Abendhimmeln, welche von verkohlten
westlichen Wäldern ganz entfremdet traten,
sich anders wölbten, dunkelten und taten
als wär das nicht die Welt, die sie gemeint ...

Vergaß ich denn, daß Stern bei Stern versteint
und sich verschließt gegen die Nachbargloben?
Daß sich die Welten nur noch wie verweint
im Raum erkennen? — Vielleicht sind wir *oben*,
in Himmel andrer Wesen eingewoben,
die zu uns aufschaun abends. Vielleicht loben
uns ihre Dichter. Vielleicht beten viele
zu uns empor. Vielleicht sind wir die Ziele
von fremden Flüchen, die uns nie erreichen,
Nachbaren eines Gottes, den sie meinen
in unsrer Höhe, wenn sie einsam weinen,
an den sie glauben und den sie verlieren,
und dessen Bildnis, wie ein Schein aus ihren
suchenden Lampen, flüchtig und verweht,
über unsere zerstreuten Gesichter geht...

О фонтанах

Я вглядываюсь пристально в рисунок
фонтанов, как в деревья из стекла.
Я собственные слезы узнаю в них,
когда-то, в пору сновидений юных,
рассыпанные мною без числа.

О, как я мог не вспомнить ощущенья
небесных рук в вещах и обиходе,
не замечать величья вне сравненья
старинных парков над вечерней тенью,
не слышать всплесков девичьего пенья,
пробившегося за края мелодий,
чтоб явью стать,— как будто бы оно,
поднявшись ввысь, немедленно должно
в прудах отверстых жаждать отраженья?

Теперь, когда запомнил навсегда я
все, что стряслось с фонтанами и мной,
я тяжесть низверженья осязаю
в миг соприкосновения с водой.
Я знаю о ветвях, склонивших плечи,
о голосах, мерцающих, как свечи,
о тех прудах, что берегам навстречу
бегут, их повторяя неумело,
о небесах, ступающих несмело
к лесам, обуглившимся на закате
и мрачных оттого, что их некстати
забросило неведомо куда...

Но я забыл, что каждая звезда
уединенья ищет в мирозданье,
что звезды редко плачут, но всегда
при встречах... И, возможно, их сиянье —
свидетельство о нашем пребыванье
в других мирах? Возможно, мы признанье
поэтов их снискали и сумели
их вдохновить? А может быть, на деле —
мы для чужих проклятий лишь мишени?
А вдруг мы только близкие соседи
их Бога, о котором в дни трагедий
они с надеждой вспоминают, плача,
и чье изображенье в передаче
на ищущих лучах их фонарей
вдоль наших лиц скользит игрой теней?..

Перевод К. БОГАТЫРЕВА

О фонтанах

Вдруг
я познал вас, о водометы,
непостижно стеклянные деревья.
Они были — как будто мои слезы,
в исполинских снах
некогда пролитые и потом забытые.

Так забыть ли мне,
как небесные тянутся ладони
в гущу стольких теснящихся вещей?
Я ль не видел безмерного величия
старых парков, вставших навстречу нежным,
полным ожидания вечерам,
или бледных песен, вставших из уст
дальних дев, и перелившихся через
край напева, и ставших явью,
словно чтобы отразиться в открытом
зеркале прудов?

Но лишь вспомню я обо всем,
что постигло фонтаны и меня,—
и я чувствую в струях вновь и вновь
тяготу паденья.
Я вас знаю, ветки в отклоне,
голоса-огоньки,
и пруды, повторявшие лишь берег
сдвинуто и бледно,
и вечерние небеса, которые
отшатнулись, выгнувшись и темнея,
от обугленных закатом лесов,
словно не об этом мире они мечтали...

Так забыть ли, что звезда звезде, как камень,
каждая замкнувшись от ближних
сфер? Что все миры лишь сквозь плач
узнают друг друга? Быть может,
для кого-то мы сами — в небесах,
и они на нас смотрят вечерами,
и поэты их поют нас. Быть может,
к нам несутся мольбы или проклятья,
но не долетают до нас,
ближних Бога, мнимого в наших высях,
в ком их вера, в ком их потеря,
о котором их одинокий плач
и чей образ, как отблеск ищущих
их лампад, мимолетным веет светом
по разрозненным нашим лицам...

Перевод М. Л. ГАСПАРОВА

О фонтанах

О, как я сразу вас постиг, фонтаны,
Вас, дивные деревья из стекла...
Как будто слезы лил я неустанно,
Мечтаньями объятый, и я нежданно
Забыл о них, их память — отошла.

Забыл ли я, что небо руки тянет
К вещам, соприкасается с толпой?
Забыл ли я, каким величьем манит
Старинный парк, и ожиданьем занят
Наставший вечер,— в бледной песне той,
Что запевают девушки чужие?
А музыка все льется через край
И жизнью хочет стать, покуда май
Сиять в зеркальных водах не устанет.

Теперь я должен вспоминать о многом,
Что сталось и с фонтаном, и со мной,
И чувствовать напор в паденье строгом,
Когда вода низвергнется струей,
И знать, что отвернулась ветвь живая,
А голос, бледным пламенем мерцая,
Еще живет, и что береговая
Черта дрожит, упав в безвольный пруд,
И на закате догорает тут
Огонь весь мир отринувших небес,
Покинувших закатный черный лес.
У темноты как бы — иная мера,
И у самих небес — иная сфера,
Переменило все свою чреду.

Забыл ли я, что, повстречав звезду,
Звезда окаменеет и замкнется
И что миры друг с другом не в ладу
В пространстве сфер? Быть может, нам придется
На небе жить? И, как со дна колодца,
Восходит взор иных существ, и льется
Гимн их певцов во славу нам, и вслед
Творят молитву. Может, мы — предмет
Чужих проклятий, только их не слышим
В соседстве с Богом? Может, это значит,
Что кто-то лишь его клянет и плачет
В сиротстве, верит — и не верит вновь
В него, и свет, алеющий, как кровь,
Лампадок тех, что Бога не находят,
По безучастным нашим лицам бродит...

Перевод Г. РАТГАУЗА

О фонтанах

Немало тайн поведал мне стеклянный
Чудесный сад, чей так причудлив вид,
Еще когда я утопал в фонтанах
Своих же слез в начале дней туманных;
Все слезы высохли — и сад забыт.

Так я забыл, что горний свет небесный
Всему земному верен без изъятья?
И старый парк, звучавший дивной песней,
Что звал проникнуть в сумрак бестелесный
Своих глубин таинственных? И тесный
Круг незнакомок, где мерцают платья
И все поет, и голос молодой
Стремится к небу, чтобы стать звездой
И глянуть в воду с высоты отвесной?

В фонтанах я увидел отраженье
Своей судьбы — и наяву постиг
Судьбу воды, то бремя низверженья
В заглохший пруд. И я узнал в тот миг
Судьбу ветвей, свисающих в овраги,
И голосов, мерцающих во мраке,
И той податливой и глупой влаги,
Что повторяет берегов изгибы,
И тех небес, нависших жаркой глыбой
Над лесом, погруженным в темноту,
Как будто солнце подвело черту
И медленно уходит в мир иной...

Так я забыл той тверди ледяной,
Тех горних сфер молчанье гробовое?
Зеницы звезд, пронзая мрак ночной,
Полуослепли... Млечной той рекою
И мы плывем над чьей-то головою.
Так, может быть, обращены с мольбою
К нам тоже чьи-то лица? Может статься,
Мы — цель проклятий или святотатства,
Святых молитв, что глохнут безответно?
Мы — свита Бога, символ силы светлой
Для тех, кто верит, к нам взывая тщетно,
И жжет свечу, и плачет обреченно
О Том, чей нимб во мраке ночи черной
Так неотчетлив, словно с тех божниц
Роняет свет на россыпь наших лиц...

Перевод И. БЕЛАВИНА

О фонтанах

Вдруг вспомнил все, что знаю о фонтанах —
загадочных деревьях из стекла.
Я мог бы говорить, как в дни туманных
мечтаний слезы лил и как обман их
со временем душа забыть смогла.

Но как забыть, что небо шлет веленья,
к вещам и далям руки простирая?
И разве я не видел дерзновенья
в громаде старых парков в час смиренья
закатов, полных ожиданья,— в пенье
чужих подруг, когда, перерастая
мелодию, взвивается оно,
как будто, очевидным став, должно
в прудах свое увидеть отраженье?

Пускай подскажет мне воспоминанье,
что связано с фонтанами и мной,
и даст поверить в тяжесть ниспаданья
воды, что спорит со своей судьбой.
Я помню ветви, сникшие в печали,
и голоса, что свечками мерцали,
пруды, что безотчетно повторяли
изгибы берегов в бездонных лонах,
и небеса, что от лесов, спаленных
закатом, отступали, выгибая
свод по-другому, как бы намекая,
что занесло их вовсе не туда...

Забыл ли я, что со звездой звезда
не могут встретиться, миры — с мирами?
И что в слезах падучих звезд всегда
мы узнаем себя? Быть может, сами
мы *наверху* и стали небесами
других, кто к нам взывает вечерами
с молитвой. Чьи поэты нас воспели.
А может, мы — чужих проклятий цели,
но их не слышим из-за расстоянья?
Для них мы высоко, в соседстве с Богом,
кто в одиноком плаче их убогом,
в их вере — и кого они теряют,
и образ чей, колеблемый, сияет,
как ищущее пламя их лампад,
скользя по нашим лицам невпопад...

Перевод ВЛ. ЛЕТУЧЕГО

Писатель и массовая культура

ТОМАС ИНДЖ

ФОЛКНЕРОВСКИЙ ФОЛЬКЛОР: ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПЛЕТНИ, АНЕКДОТЫ И ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ

Уильям Фолкнер редко обращался непосредственно к массовой культуре (если не считать его попыток писать кино- и телесценарии и детективы), однако сознавал, что ею пронизана вся социальная и культурная среда, в которой он жил и работал. Хотя развитие современной массовой культуры начинается с изобретения печатного станка, лишь в XX столетии появилась возможность охватить ею миллионы людей; ни один уголок нашего континента не остался в стороне — даже отдаленные сельские районы Юга или, скажем, город Оксфорд, штат Миссисипи. Художественный мир Фолкнера вобрал в себя различные формы и способы развлечений и получения информации, распространенные в нашем веке.

В творчестве Фолкнера мы то и дело встречаем брошенные мимоходом высказывания о тех или иных явлениях массовой культуры, характерных для времени действия его романов. Так, доктор Пибоди из «Сарториса» постоянно читает «пятицентовые детективы в бумажных обложках», дамы часто просматривают журналы, а мисс Дженни предпочитает им непристойные бульварные газеты, заполненные «отчетами об отравлениях, убийствах, насилиях и прелюбодеяниях». В романе «Шум и ярость» не только упоминаются цирк и кока-кола, Бейб Рут и бейсбол, но и появляется (среди второстепенных персонажей) женщина, библиотекарь из Йокнапатофы, которая старается спрятать подальше от школьников всех возрастов наиболее пикантные и откровенные книги того времени — «В янтаре навечно» Кэтлин Винзор, «Юрген» Джеймса Бранча Кейбелла и романы о Топпере Торна Смита. Именно эта дама показывает Джейсону и Дилси вырезанную из журнала фотографию своей одноклассницы Кэдди, рядом с нацистским офицером, где-то в Европе. Таким образом, через посредство массовой культуры мы в последний раз узнаем о судьбе Кэдди Компсон.

В романе «Свет в августе» есть запоминающаяся сцена: Джо Кристмас заставляет себя читать от корки до корки журнал для мужчин, прежде чем очутиться наконец в спальне Джоанны Берден с бритвой в руке. Журнал, замечает Фолкнер, «из тех, где на обложке бывают изображены либо молодые женщины в одном белье, либо мужчины, стреляющие друг в друга из пистолета»,— другими словами, из тех, что потчуют читателей рассказами о детективах и убийствах, смакуя мазохизм и насилие. Так или иначе, Кристмас получает, читая его, соответствующий визуальный и эмоциональный заряд для кровавого преступления, которое он готовится совершить.

Боксер Джон Л. Салливан, кинофильмы, театральная инсценировка «Бен Гура» — вот источники сравнений и метафор в романе «Авессалом! Авессалом!»; университетский футбол важен для сюжета «Деревушки», а один из тем «Похитителей» — воздействие автомобиля на жизнь Юга: после его появления привычкам и нравам замкнутой сельской общины уже не бывать прежними. При помощи автомобиля совершается последнее грехопадение человека в саду Эдема — он губит Джефферсон, ибо приближает его к Мемфису. Именно на автомобиле Темпл Дрейк привезли на позор и растление — в романе «Святилище», отсылающем читателя к модам 20-х годов, к массовым иллюстрированным журналам, к каталогам магазинов, торгующих по почте (они валяются в бутлегерском притоне), и к киноактеру Джону Гилберту (он иронически противопоставляется столь неромантичному, неблагородному и подлому Лупоглазому). Само имя героя-злодея из «Святилища» словно сошло со страниц комиксов; впрочем, как я отмечал, у Фолкнера можно найти и другие заимствования имен из комиксов или ссылки на них.

Уже из этих нескольких примеров видно, что Фолкнер использовал элементы массовой культуры, чтобы дать дополнительную характеристику персонажам, населяющим его художественный мир, и выявить непрямые, но важные значения их символических функций.

Фолкнер всегда говорил, что презирает внимание публики, однако любопытно, что сам он — желая того или нет — также вошел в массовую культуру, хотя и занял в ней не столь значительное место, как, скажем, Фицджеральд или Хемингуэй: первый стал одиозной фигурой, неизменно олицетворяющей век джаза; второй же снискал такую популярность у торговцев одеждой, продуктами, рыболовными снастями и охотничьими ружьями, что семейство Хемингуэев заключило контракт на право использования его имени в коммерческих целях. Что касается Фолкнера, я видел лишь одну поздравительную открытку с использованием его имени. На внешней ее стороне напечатано: «Я знаю, о чем ты думаешь... Если Уильям Фолкнер смог написать двадцать три романа, семьдесят два рассказа, сто девять эссе и шесть пьес (цифры, разумеется, вымышленные), то и я мог бы написать хотя бы одно письмишко. Хочу тебе сообщить, что...» Текст завершается на внутренней стороне открытки словами: «Куда мне до Фолкнера».

Время от времени имя Фолкнера мелькает в рекламе. Например, отдел спроса и предложения в одной из газет, напоминая читателям, что «Уильям Фолкнер тоже помещал объявления в газете», приводит одно, напечатанное в оксфордском «Орле». Компания «Девей», выполняющая переплетные работы, занимает целую страницу рекламой своих услуг: жирным красным шрифтом набрано «Сохранится на века», ниже красуется фотография Фолкнера в костюме для верховой езды и текст, где его называют «словоохотливым литературным проводником в современный стиль жизни американского Юга», чьи взгляды, подобно продукции фирмы «Девей»,— «были прямыми, надежными, жесткими и справедливыми».

Американское почтовое ведомство, приглашая к себе на службу, однажды использовало имя Фолкнера на соответствующем плакате, забыв, очевидно, о том, что писатель в бытность почтмейстером в Оксфорде получил выговор за скверную работу и посему вряд ли может служить подходящим примером для новичков. Правда, Фолкнеру, кажется, все простили — судя по специальной марке с его портретом, выпущенной в августе 1987 года. Когда-то Фолкнер заявлял, что не желает быть на побегушках у всякого сукина сына, который наскреб два цента на марку; теперь же его может облизать любой, кто заплатит за марку (учитывая инфляцию) уже двадцать пять центов.

Один литературный обозреватель, сославшись на знаменитое высказывание Фолкнера о том, что с точки зрения вечности «Ода греческой вазе» Китса стоит любого количества старых дам (включая его собственную мать, которую он бы ограбил ради искусства), предложил принять за единицу измерения достоинства книги одну старушку. Замечу, что максимальная оценка по этой шкале равна четырем старушкам.

Три года назад один нью-йоркский театр поставил пьесу Хетера Маклоналда «Велосипед Фолкнера», где Фолкнер, в исполнении Алдисона Пауэлла, разъезжает по ночному Оксфорду на велосипеде, насвистывая «ту-ту-Тутси, прощай!», и, перебрав виски, то и дело падает в пруд. В этой пьесе нет ничего от реальной биографии Фолкнера, однако его эксцентричность здесь — своего рода эталон для трех эксцентричных особ, вокруг которых разворачивается действие.

Один из наиболее, я бы сказал, симпатичных примеров, подтверждающих присутствие в массовой культуре Фолкнера или, вернее, его героя Квентина Компсона,— медная табличка на мосту Андерсон через реку Чарльз в Гарвардском университете; она гласит: «Квентин Компсон III. 10 июня 1910 года. Утонул в аромате жимолости». Табличку тайком повесили в 1965 году студенты — почитатели Фолкнера, которым Квентин был близок своей бесприютностью и трагическим идеализмом. Затем, когда в 1983 году табличку случайно уничтожили, ее сменила другая. Вот уже более двух десятилетий горячие поклонники Фолкнера тайком приходят сюда в тот день, когда Квентин покончил с собой, спрыгнув с моста. Мало кто из литературных героев настолько поразил умы и воображение читателей, что удостоился подобных почестей.

Основная цель данного эссе не в том, чтобы исследовать проблему массовой культуры в творчестве Фолкнера или место, которое он сам в ней занял и продолжает занимать после смерти,— хотя обе эти темы заслуживают внимания. Скорее, я хочу проследить, как Фолкнер сознательно использовал доступные ему средства информации, чтобы создать тщательно продуманный собственный имидж и произвести необходимое впечатление. Фолкнер часто выдумывал, подтверждал или просто отказывался отрицать всякого рода скандальные истории о самом себе. Хотя эти сплетни, анекдоты или откровенная ложь часто кажутся плодом его нежелания демонстрировать миру свою частную жизнь, они были призваны создать некий образ, способный по-своему конкурировать с имиджами Хемингуэя, Фицджеральда и других писателей, использовавших средства информации для саморекламы.

Писатель, прибегающий к саморекламе, создающий собственный имидж, чтобы привлечь к себе внимание средств информации и распродать свои книги,— фигура традиционная для Америки, по крайней мере со времени Уолта Уитмена. В начале карьеры Уитмен сам напечатал свой первый поэтический сборник «Листья травы»; сам поместил в газете анонимную рецензию на него и шокировал публику стихами, где представил себя сенсуалистом и вольнодумцем. Он пошел даже на то, что, отбросив щепетильность, привел отрывок из частного письма Ральфа Уолдо Эмерсона на обложке следующего издания «Листьев травы». Уолт Уитмен, привлекший внимание читателей «Листьев травы», был, несомненно, лишь литературным героем, порождением фантазии реального Уолта Уитмена, который всесторонне обдумал план рекламной кампании,— она оказалась столь успешной, что и по сей день нам трудно отделить героя от его создателя. Марк Твен также понял, какую выгоду приносит саморекламa. Как напомнил нам в своей отличной монографии Луи Балд, одним из самых лучших творений Сэмюэля Клеменса был образ Марка Твена, человека в белом костюме, ставшего выразителем американского

сознания. Единственный современный писатель, столь же гениальный в этом отношении, как Уитмен и Твен,— это Трумэн Капоте; он появляется на мировой сцене в роли бесстыдника, чья интимная жизнь так же двусмысленна, как и Уитмена, и стремится использовать дурную славу для лучшего сбыта своих книг (впрочем, смею добавить, книг очень хороших). Капоте перенял фокусы и у других виртуозов саморекламы — у Фицджеральда, с его диковинными вечеринками и трагической позой в Голливуде, у Хемингуэя, с его сафари и замашками «настоящего мужчины», или у Нормана Мейлера, с его публичными скандалами и притязаниями на лавры чемпиона среди писателей. Может показаться, что робость и скрытность Фолкнера сближают его скорее с Сэлинджером, чем с этими писателями, однако Сэлинджер, видимо, действительно не смог приспособиться к нормальным социальным отношениям. Фолкнер же, если он того хотел, становился человеком общественным и общительным, и поэтому его стремление к уединению представляется лишь маневром, к которому он прибегал ради собственной пользы,— утверждая право на затворничество, он привлекал к себе внимание, ибо ничто не делает информацию более привлекательной для журналиста и критика, чем ее труднодоступность.

Еще ребенком Билли Фолкнер умел манипулировать правдой в своих целях. Один из его родственников вспоминает: «Когда Билли что-нибудь рассказывал, никто не знал, правда это или он все придумал». В зрелые годы, когда слава уже стучалась в двери его дома, принимая облик докучливых журналистов и студентов, желавших получить интервью, он убедил своего брата Джона дать странное обещание. Вот что рассказывает об этом сам Джон:

«Тогда Билл установил одно Правило. Он сказал, что нам лучше всего сразу договориться: мы никогда не станем вмешиваться в писательские дела друг друга и нам не следует даже говорить о них с посторонними...

При его жизни мы оба соблюдали это соглашение. Мне предлагали хорошие деньги за рецензии на его книги, но я всегда отказывался. Уверен, что и он получал подобные предложения, но отвергал их. Множество людей пытались расспрашивать о Билле членов нашей семьи, особенно мать и меня. Я держал слово, и мать тоже молчала.

Она необыкновенно гордилась им, и ее можно понять, но при этом и уважала его желание. Обет молчания мы нарушали лишь для того, чтобы подтвердить некоторые слухи, которые он сам о себе распространял. Втроем мы всучили публике много таких историй, и я встречал их потом в так называемых критических исследованиях».

Когда я читаю это, меня не перестает удивлять легковерие Джона и хитроумие Уильяма Фолкнера. Кому могла прийти в голову мысль попросить Уильяма что-то написать о Джоне или его романах? Боюсь, Джон сильно прогадал на этой сделке и, соблюдая ее условия, потерял больше, чем мог предположить. В этом эпизоде Фолкнер-манипулятор предстает перед нами во всей красе — ведь он смог не только поставить под контроль все, что говорил или писал его брат, но и убедить его подтверждать всяческие легенды о себе, вроде той, например, что его самолет был сбит над Францией во время первой мировой войны и с тех пор у него в голове стальная пластина.

О семье Фолкнеров, с ее склонностью к театральным и романтическим жестам — от дуэлей и насильственной смерти полковника Уильяма Кларка Фолкнера и до ранней гибели Дина Фолкнера в авиакатастрофе,— один из их оксфордских соседей заметил: «Фолкнеры мужчины — всегда герои, а женщины — героини своих же собственных историй». Придумывая легенду о себе, Фолкнер сказал однажды, что хотел бы стать кем-то другим. Об этом вспоминает редактор Ленор Маршалл, открывшая «Шум и ярость» и подготовившая роман к печати:

«В то утро в моей гостиной он, спокойный и отрешенный, размышлял, как хорошо было бы сменить свое «я», исчезнуть, поселиться где-нибудь в пустыне... «В пустыне легче всего затеряться»,— говорил он своим низким голосом, словно бы доносившимся из какого-то подземного космоса».

Роберт Коглан, отказавшийся выполнить настойчивое требование Фолкнера не касаться его частной жизни на страницах журнала «Лайф» и не собирать материал о нем у его семьи и друзей, писал: «Он предпочитает оставаться загадкой, и можно быть уверенным, что он ею останется для самого себя, поскольку его непоследовательность нельзя объяснить его артистической натурой. Фолкнер — личность не раздвоенная, а, скорее, расколотая». Другими словами, вполне вероятно, что многое в поведении Фолкнера было рассчитано на создание образа эксцентричного, грубого и вместе с тем чрезвычайно застенчивого человека, смущенного неожиданно обрушившейся славой. Это отнюдь не означает, что скрытность не была чертой его характера — просто он демонстрировал ее, чтобы привлечь к себе внимание. Джон Б. Каллен, вместе с которым Фолкнер часто охотился, описывал его характер следующим образом:

«Когда Фолкнер надевает старую, потрепанную одежду, роет ямы на дороге, ведущей к его дому, или бродит по улицам с безучастным взглядом, он использует тот же психологический прием, что и Диоген, который средь бела дня ходил по улице с зажженным фонарем, делая вид, что ищет честного человека. Это был один из величайших рекламных трюков в истории. Фолкнер знает, когда промолчать, а когда дать интервью или написать письмо редактору на острую тему. Его мнение никогда не совпадает с общепринятым. Он индивидуалист, свой собственный отличный рекламный агент и гений».

То, что сказал сосед о семействе Фолкнеров, возможно, справедливо и для Уильяма, создавшего некий персонаж — главное действующее лицо истории собственной жизни.

Если верить апокрифическим, часто основанным на сомнительных воспоминаниях рассказам, которые распространяет журналистская братия, вьющаяся вокруг фолкнеровской легенды, у писателя всегда было наготове какое-нибудь словцо, пригодное для анекдота или газетной заметки. Две подобные истории приводит в мемуарах о Фолк-

нере Роберт Н. Линскотт, редактор издательства «Рэндом хаус»:

«Когда мы с Биллом гуляли по Пятой авеню и глазели на витрины, к нам подбежала какая-то женщина с криком: «Ах, я вас узнала! Вы — Уильям Фолкнер. Вы совсем такой же, как на фотографиях». На что Билли ответил холодно, но вежливо: «Мадам, вы ошибаетесь, я не Уильям Фолкнер, хотя мне и раньше говорили, что я на него похож».

Для него это характерно: он испытывал глубокое отвращение к популярности. Однажды, после вручения ему ежегодной премии книготорговцев, когда его обступила толпа людей, желавших пожать ему руку,— он подозвал меня, и мы вместе ретировались. В гардеробе он положил только что полученный большой почетный знак на барьер. «О, вы получили награду,— вскрикнула девушка за барьером.— Значит, вы и есть мистер Фолкнер!» — «Нет, мэм,— ответил Билл.— Никакой я не мистер Фолкнер. Просто я увидал эту штуковину на столе и прихватил ее с собой».— «Какой ужас! — воскликнула девушка.— Я немедленно вызову охрану». Тогда мы с Биллом выскочили через боковую дверь и сели в такси».

Несколько подобных историй приводит и Роберт Коглан в книге, написанной на основе своих статей для журнала «Лайф»:

«После успеха «Святилища» Фолкнер получил несколько приглашений из Голливуда. Рассказывают, что одна из студий решила сыграть на его южном рыцарстве, использовав в качестве приманки актрису Таллулу Банкхед... Мисс Банкхед выразила свое восхищение его книгами и пригласила в Голливуд, попросив написать сценарий специально для нее. Фолкнер ответил: «Что ж, я бы рад помочь девушке-южанке подняться на вершину, но вы слишком хорошенькая и славная, чтобы играть в фильме по моему сценарию. Нет, нет, я не хочу вас погубить!»

«Однажды известный издатель появился на литературном приеме, куда заманили и Фолкнера. Когда их представили друг другу, издатель пустился в пространные излияния по поводу того, как он восхищен творчеством Фолкнера. У него даже есть собрание его книг, он захватил их с собой и почтет за честь получить автографы автора. Фолкнер безучастно слушал, попыхивая трубкой, а когда издатель закончил, ответил резко: «Я подписываю книги только своим друзьям».

Иногда его остроумные реплики граничили с оскорблением. Однажды советская прима-балерина, гастролировавшая с балетной труппой в Оксфорде, попросила устроить ей встречу с Фолкнером. Когда Фолкнеру передали эту просьбу, он сказал: «Дайте знать даме, что я сожалею. Я уже принял приглашение поохотиться на енота». Широко известна и другая дерзкая реплика Фолкнера. На вопрос журнала «Ньюсуик», почему он в 1962 году отклонил приглашение президента Кеннеди отобедать в Белом доме вместе с пятьюдесятью другими американскими лауреатами Нобелевской премии, Фолкнер ответил: «Я слишком стар, чтобы ехать в такую даль обедать с незнакомцами». Это был поистине подарок для газетчиков.

Возможно, одна из странностей Фолкнера состояла в том, что он позволял людям считать себя алкоголиком, а свое творчество — продуктом винных паров и пьяного умопомрачения. Как-то его родственница Салли Марри Уильямс спросила его: «Билл, ты пьешь, когда пишешь?» — и получила ответ: «Не всегда». Джон Фолкнер в книге «Мой брат Билл» вспоминает: «Он пил меньше, чем принято думать. Он никогда не пытался это скрыть, хотя пил чаще всего дома. Какие бы слухи ни распускали о его пьянстве, он их никогда не опровергал. Просто не обращал на них внимания». Да, Фолкнер, конечно, был склонен к пьянству, которое, как ни странно, превращал в потеху,— именно юмор, по-видимому, и не давал ему окончательно спиться. Среди неотесанных обитателей глухой провинции пьянство всегда считалось занятием настоящих мужчин. Однако, мне кажется, что слова Гамильтона Бассо, сказанные после смерти писателя, справедливы и по сей день: «Фолкнер пил. Мы уже слышали об этом много историй и скоро услышим немало новых. Я хотел бы только заметить, что столь многочисленные произведения, отличающиеся бесконечным разнообразием и сложностью, никогда не смог бы написать горький пьяница...»

Конечно, в настойчивости, с которой Фолкнер, завоевав известность и деньги, повторял, что он лишь простой фермер, в свободное время сочиняющий книги, есть большая доля сознательной иронии. «Я не писатель,— твердил он,— я всего лишь фермер, который любит рассказывать всякие байки». «Я не писатель в обычном смысле этого слова,— заявил Фолкнер в одном интервью.— Жизнь моя сложилась еще до того, как я стал писать. Я деревенский житель. Моя жизнь — ферма, лошади, зерно и корма». Наверное, он сильно преуменьшал значение любимой работы, когда уверял: «Сочинять книги — мое хобби... все равно что собирать марки». Пожалуй, это единственный вымысел Фолкнера, который ему не удалось выдать за правду; поверить в него можно, только забыв о его мировой славе. Полагаю, что мы скорее поймем истинные взгляды писателя на собственное творчество, если вспомним, что он говорил Роберту Н. Линскотту. Будучи у него в Беркшире, Фолкнер увидел в его библиотеке полку со своими книгами, провел по ней пальцем и обронил: «Неплохо оставить после себя такой памятник».

В мои намерения не входит выяснять, верно ли, что Фолкнер испытывал сильную потребность в затворничестве или по-настоящему верил, что его частная жизнь неприкосновенна и никто в мире не имеет права на нее посягать. Когда на одном приеме он сказал, что чувствует себя здесь пугливой дворнягой, выглядывающей из-под телеги, думаю, он выразил именно то, что в тот момент ощущал. И он искренне негодовал, когда чрезмерно усердные читатели и критики выспрашивали его о работе.

Однако я также считаю, что он прекрасно знал, что делает, создавая имидж, не похожий ни на кого из американских писателей. Вместо того чтобы добиваться похвал, он презирал их. Вместо того чтобы признать себя писателем, он притворялся крестьянином, этакой солью земли. Вместо того что-

бы рассуждать о тяжком труде творчества, он изображал его неожиданной удачей или грубой поделкой дедушки Моисея с Миссисипи. Он достаточно хорошо знал американскую прессу и американцев, чтобы предвидеть, что избранная им роль приведет нас в еще больший восторг, и угождал нашему пристрастию к парадоксальному и странному. А мы, сначала покупавшие его книги из любопытства, в конце концов оказывались во власти его воображения и стилистического мастерства. Фолкнер знал массовую культуру лучше многих, знал, как использовать ее для своего искусства и той уникальной роли, которую он для себя избрал в литературном мире.

Перевод с английского Г. ЛАПИНОЙ

А. ДОЛИНИН

ПРИЧУДЫ ГЕНИЯ

По статье Томаса Инджа вполне можно составить представление о том, чем сегодня занимаются американские исследователи творчества Фолкнера и чем их рядовые работы отличаются от рядовых же работ советских коллег. Если у нас до сих пор принято относиться к Фолкнеру как к объекту эссеистической критики, пытающейся разъяснить, что, собственно говоря, хотел сказать писатель, то для американского фолкнероведения он давно перешел в разряд классиков, изученных вдоль и поперек — после выхода нескольких подробнейших жизнеописаний и целого ряда капитальных трудов, в которых фолкнеровское наследие было подвергнуто концептуальному истолкованию с разных позиций, оно занялось преимущественно решением частных вопросов и сбором второстепенных фактов, не попавших в поле зрения биографов и интерпретаторов. Такого рода малоизвестными, весьма любопытными фактами, связанными не только с жизнью и творчеством Фолкнера, но и с их восприятием в американской культуре, наполнена статья Томаса Инджа. Рекламные трюки компаний и ведомств, пользующихся именем прославленного соотечественника; мемориальная доска на месте гибели героя «Шума и ярости», установленная его поклонниками и поклонницами; грубоватые эскапады «странного гения», запечатленные в анекдотах и воспоминаниях о нем; его запои, его лукавство, его маска угрюмого нелюдима — весь этот разнородный материал, входящий в легенду о Фолкнере, сложившуюся не без его непосредственного участия, несомненно, вызовет живой интерес у читателей, поскольку он приоткрывает плотную завесу, которая отделяет нас от загадочной личности «единственного владельца Йокнапатофы», и кое-что проясняет в прижизненной и посмертной судьбе его книг.

Однако даже самые выразительные литературные сплетни и анекдоты — все-таки не цель, а средство исследования; они могут приблизить нас к разгадке тайн творческой личности Фолкнера только в том случае, если в них удастся выявить скрытый, глубинный смысл, связи с важнейшими для писателя проблемами, с сущностными особенностями его художественного мышления и литературного поведения.

С точки зрения Инджа, весь собранный им материал имеет непосредственное отношение к проблеме: «Фолкнер и массовая культура», причем эту последнюю он понимает чрезвычайно широко — как совокупность общедоступных текстов, изображений, артефактов, ритуальных действ, подвергающихся многократному репродуцированию и тиражированию. На страницах фолкнеровских книг Индж ищет и без труда находит целый ряд отсылок к подобным явлениям (персонажи Фолкнера читают романы и журналы, ходят в кино, слушают музыку, интересуются спортом), делая на этом основании вывод, что писатель всецело осознавал роль и значение массовой культуры в современном мире. Увы, дальше этого исследователь не идет, хотя даже краткий перечень фолкнеровских аллюзий и реминисценций, приведенный в статье, требует осмысления.

В том, что у Фолкнера легко можно отыскать упоминания о популярных книгах, кинофильмах, спектаклях или о героях газетно-журнальной хроники, нет ровным счетом ничего удивительного — ведь человек живет в «знаковой вселенной», и любой писатель, строя образ мира из материала «первой реальности», обязательно включает в кругозор некое множество чужих текстов, будь то произведения его великих предшественников или отчет о поединке боксеров-тяжеловесов. Другое дело, *как и для чего* он это делает, в какой контекст у него попадают аллюзии, какие функции выполняют. Название известной книги или знаменитое имя в устах персонажа может в одних случаях служить опознавательным знаком эпохи, элементом местного или исторического колорита, в других — определять социокультурное положение действующих лиц, в третьих — выявлять психологическое состояние. Так, скажем, по наблюдению Инджа, в «Шуме и ярости» встречается упоминание о лучшем американском бейсболисте 20-х годов Бейбе Руте, но оно важно там не само по себе, а как дополнительная характеристика самого жестокого и злобного фолкнеровского персонажа — Джейсона Компсона. Несправедливо — вопреки очевидности — ругая «лбину Рута» и его великолепную команду, Джейсон в очередной раз демонстрирует главный изъян своего одномерного сознания: неспособность понять и принять сложность мира, в котором он видит лишь помеху собственному злому своеволию, всеобщий заговор, направленный против него. Любопытное совпадение — о Бейбе Руте читает в американских газетах и раненый Фредерик Генри, герой романа Хемингуэя «Прощай, оружие!»: «Бейб Рут играл теперь за Бостон. Газеты были скучные, новости были затх-

лые и узко местные, известия с фронта устарелые. ... Кроме спортивных известий, я ничего не мог читать, да и это читал без малейшего интереса». Очевидно, что здесь — в ином контексте, в иной психологической ситуации — сходная аллюзия приобретает совершенно другой смысл: равнодушие потрясенного ужасом войны героя к сенсационной спортивной новости подчеркивает всю степень его отчуждения от мирного, домашнего быта, от утраченного рая детства и юности.

Сам выбор того или иного источника для аллюзии или реминисценции из необъятной «знаковой вселенной», способы его обработки и введения в текст, явно или неявно выраженное отношение автора к нему, часто могут больше сказать о творческих принципах художника, нежели прямые декларации и манифесты. Особенно важное значение «чужое слово» или «чужое имя» приобретают тогда, когда становятся одной из ведущих тем самого текста. Дон Кихот и рыцарские романы, Эмма Бовари и романтический вымысел, Том Сойер и авантюрная беллетристика — вот всего лишь несколько хрестоматийных примеров того, как писатель полемически пародирует и дискредитирует враждебные ему жанровые и стилистические разновидности популярной литературы, демонстрируя их пагубное влияние на сознание персонажа. Для Фолкнера эта проблема тоже существовала — и он вел литературную войну с ложными, по его убеждению, моделями мира, с «книжными» представлениями о реальности, с искусственными, «романтическими» программами поведения, имплицитно противопоставляя им собственную художественную систему, понятую как «реализм», который, говоря словами Достоевского, «реальнее ихнего». В его романах и рассказах не столь уж редко появляются жертвы донкихотской болезни — персонажи, поверившие в истинность популярного мифа и безуспешно пытающиеся привести свою жизнь в соответствие с ним. В этом смысле чрезвычайно показателен один из лучших романов Фолкнера «Дикие пальмы», о котором Индж почему-то так и не вспомнил, хотя он имеет к теме статьи самое непосредственное отношение.

В этой книге две самостоятельные истории, два параллельно развивающихся сюжета со своими наборами действующих лиц — они не имеют никаких фабульных точек пересечения. Главы, в которых рассказывается о несчастных романтических любовниках Гарри и Шарлотте, предпринявших отчаянную, гибельную попытку пожертвовать всем ради любви, перемежаются главами, где другой герой — безымянный Каторжник — во время наводнения ведет борьбу с разбушевавшейся стихией, спасая себя, казенное имущество и оказавшуюся с ним в одной лодке беременную женщину. С помощью единой системы сквозных лейтмотивов-символов и ряда «ситуационных рифм» между двумя историями устанавливаются отношения контрастного параллелизма: комическая эпопея Каторжника, возлюбившего тюрьму, иронически пародирует трагедию Гарри и Шарлотты, взыскующих свободы, а та, в свою очередь, вполне по Юрию Тынянову, становится серьезной «пародией» комедии.

Среди тематических перекличек, связывающих обе части повествования, обращает на себя внимание общий для них мотив «книжной болезни», представленной здесь в двух вариантах — «низком» и «высоком», бульварно-беллетристическом и интеллектуально-богемном. Все главные герои романа пытаются жить придуманной, заимствованной у литературных персонажей жизнью — ее Фолкнер подвергает испытанию собственной «реальностью». Уже само преступление Каторжника было донкихотской попыткой подражания сюжетам бульварного гангстерского романа — подражания «всяким Даймондам Дикам, Джесси Джеймсам и им подобным, которые, как он считал, и привели его в тюрьму...». Точно такими же мучениками и жертвами литературных мифов оказываются в «Диких пальмах» Шарлотта и Гарри (сами, кстати, поставщики текстов и изображений для массового потребления): подобно киплинговскому Томлинсону, они поклоняются «Богу, вычитанному из книг»,— Богу романтической любви, требующему активного служения и полного разрыва всех связей с миром и людьми. «Когда я увидела тебя во второй раз, я поняла то, о чем читала в книгах, но во что раньше не верила: любовь и страдание — одно и то же, ценность любви определяется тем, сколько ты за нее заплатил...» — говорит Шарлотта своему любовнику и превращает вполне заурядный адюльтер в грандиозный спектакль, в театральное действо по образцам высокой трагедии, опомнившись лишь на самом пороге спровоцированной ею, отнюдь не литературной и отнюдь не изящной смерти.

Хотя Фолкнер, в отличие от Флобера, не называет книг, погубивших его героиню — современную американскую Эмму Бовари,— главный объект его полемики в романе очевиден. Это Хемингуэй, постоянный литературный антагонист и оппонент Фолкнера, скрытую тяжбу с которым он вел на протяжении 30—40-х годов. Как давно установили американские исследователи, в любовном сюжете «Диких пальм» явственно слышны пародийные отголоски дуэта лейтенанта Генри и прекрасной Кэтрин Баркли из «Прощай, оружие!», а в чикагских сценах романа хемингуэевский «подтекст» выходит уже на поверхность повествования, окрашивая стиль диалогов и описаний. Даже сама фамилия «Хемингуэй» обыгрывается здесь в каламбуре, восходящем, в свою очередь, к каламбуру из «Снегов Килиманджаро». Отказываясь от семьи, от детей, от работы, от постоянного жилья, выводя себя за пределы быта и простых житейских забот, принимая роль вечных изгнанников, находящихся в непримиримом конфликте с враждебным обществом, Гарри и Шарлотта стремятся жить «по Хемингуэю» — только в настоящем, без прошлого. Привлекательная хемингуэевская программа «правильного» поведения не выдерживает испытания созданной Фолкнером «реальностью»: на поверку она оказывается столь же ложной, как и обманувшие легковерного Каторжника рецепты ограблений в дешевых боевиках.

Очень жаль, что Индж совершенно упустил из вида полемику Фолкнера с теми разновидностями популярной литературы — от приключенческих гангстерских романов до Хемингуэя (Набоков недаром назвал его современным заместителем Майн Рида),—

которые предлагают читателю заманчивые сценарии для жизнетворчества; жаль, потому что без учета этой полемики едва ли возможно верно понять и оценить тот существующий в читательском сознании фолкнеровский «имидж», а ему, по большей части, и посвящена статья. Приводя ряд ценных свидетельств людей, достаточно близко знавших Фолкнера, Индж приходит к справедливому заключению, что распространенная легенда о писателе, рисующая его этаким фермером-отшельником, неотесанным сельским мужланом, который пописывает книги в свободное от работы в поле время, презирает славу и не терпит постороннего вмешательства в частную жизнь, была не чем иным, как его художественным созданием, имеющим мало общего с «реальным Фолкнером». Однако объяснение, которое исследователь дает этому не столь уж редкому в истории литературы феномену, нельзя признать убедительным: как полагает Индж, и Фолкнер, и другие американские писатели, занимавшиеся созданием собственных «имиджей», пусть даже противоположных по содержанию (Уитмен, Марк Твен, Фицджеральд, Хемингуэй, Капоте), всегда сознательно манипулировали средствами массовой информации, дабы привлечь к себе и к своим книгам внимание читателей и, заинтриговав их, возбудить коммерческий интерес. Иначе говоря, построение писательского образа для Инджа — это вид рекламы, преследующей исключительно меркантильные цели.

Разумеется, писатели — тоже люди, и ничто человеческое, в том числе сугубо материальный расчет, им не чуждо (хотя справедливости ради нужно заметить, что все приведенные Инджем сплетни и анекдоты относятся к тому времени, когда Фолкнер уже обрел мировую славу и ни в какой дополнительной саморекламе не нуждался). Но рассматривать любое построение образа автора в жизни как рекламное, коммерческое предприятие — значит предельно упрощать сложнейшую эстетическую проблему, ибо каждый подобный «имидж» прежде всего есть особая форма выявления авторского сознания, авторской концепции человека и мира, искусства и реальности.

История литературы знает немало случаев, когда размываются границы между творчеством и жизнью и сама писательская биография начинает превращаться в некое подобие художественного текста. Это, по выражению Пастернака, «зрелищное понимание биографии» особенно характерно для так называемых «вторичных стилей» (романтизм, символизм), которые побуждают автора к активному жизнетворчеству. Именно в них возникает двуплановый лирический герой — возникает тогда, «когда читатель, воспринимая лирическую личность, одновременно постулировал в самой жизни бытие ее двойников. Речь здесь идет не о читательском произволе, но о двойном восприятии, заложенном в художественной системе данного поэта. Притом этот лирический двойник, эта живая личность поэта, отнюдь не является эмпирической, биографической личностью, взятой во всей противоречивой полноте и хаотичности своих проявлений. Нет, реальная личность является в то же время «идеальной» личностью, идеальным содержанием, отвлеченным от пестрого и смутного многообразия житейского опыта. Это демонический лик Лермонтова, это таинственный Блок 1907 года в хороводе снежных масок» [1].

Стремясь к отождествлению со своим «идеальным двойником», художники такого склада часто сами начинают стилизовать и театрализовать собственную биографию: они подгоняют внешний облик под избранную роль, совершают и делают достоянием публики приличествующие «образу» поступки и, напротив, старательно скрывают не укладывающиеся в роль биографические факты — одним словом, всячески поддерживают легенду, приписывающую им свойства их же лирических героев. Немало подобных жизнетворцев было и среди американских романтиков. Байроническая таинственность, которой окутывал себя Эдгар По, эффектные уходы Генри Торо, распахнутые рубахи на фотографиях Уитмена и его авторецензии, в которых он живописует себя как идеальное воплощение американского национального характера,— все это литературные факты одного порядка, обратные проекции литературных образов в реальную жизнь.

В американской литературе первой трети нашего века двуплановый лирический герой появляется уже и у романистов, прежде всего у Хемингуэя. Начиная с Ника Адамса, которому писатель придал черты своего «двойника», главные герои всех его книг — это различные варианты одной и той же лирической личности, причем читатель легко отождествляет ее со знаменитым «реальным Хемингуэем» — ветераном войны, испытавшим почти смертельное ранение, стоиком, спортсменом, забиякой, любителем выпивки и женщин, а сам писатель делает все возможное, чтобы превратить свою биографию в увлекательное зрелище. Подобно тому как Байрон, по остроумному замечанию Лидии Гинзбург, был одним из колоссальнейших «байронических героев», Хемингуэй сделал из себя великолепного героя хемингуэевского, символ целого поколения, и так и не смог выйти из этой роли, оторвать застывшую маску от лица, до последнего вздоха.

Фолкнер, начинавший свой путь в литературе с эпигонских подражаний французским символистам и с лирической прозы, тоже не избежал искушения «зрелищным пониманием биографии». В его ранних стихах, новеллах и романах довольно отчетливо проступают вторичные, лишенные оригинальности черты лирической личности, конструируемой по модным образцам, и столь же вторичной, эклектичной оказывается маска эстета, в которой он щеголяет перед изумленными земляками-провинциалами: демонстративная эксцентричность поведения, напускная мечтательность, костюм лондонского денди. Позднее, перебравшись в Нью-Орлеан и совершив обязательное паломничество в Европу, он даже придумал себе героическую легенду военного летчика, тяжело раненного в бою (явный плагиат у Хемингуэя), и, кстати, произвел ею такое сильное впечатление на Шервуда Андерсона, что тот описал юного «героя» в рассказе «Встреча на Юге».

---

[1] Л. Гинзбург. О лирике. Л., 1974, с. 160—161.

Однако с изменением (или, вернее, с формированием) художественной системы Фолкнера, с переходом его на позиции объективного эпического повествователя, резко меняется его подход и к образу автора. Исчезновение лирического героя неминуемо влечет за собой исчезновение его двойника в реальной жизни. На смену романтическим представлениям о художнике-демиурге, отождествляющим биографию и творчество, приходит осознание их несовпадения, их автономности. Подобно многим другим художникам этого типа, Фолкнер начинает ощущать разрыв между своей частной личностью и тем, что выходит из-под его пера,— разрыв, о котором писал Пушкин в «Поэте». Для самого себя он — «реальный Фолкнер» — один из ничтожнейших детей мира, его «я», его частная жизнь — ничто по сравнению с его произведениями, которые кажутся ему чужими, словно бы продиктованными свыше. «Не знаю, откуда все это ко мне пришло. Не знаю, почему Бог, боги или кто там еще избрал именно меня. Поверь мне, это не самоуничижение, не ложная скромность, а просто глубокое удивление. Интересно, думала ли ты когда-нибудь о моих книгах — и сельском жителе по имени Билл Фолкнер: кажется, между ними так мало общего» [2],— признавался он в позднем интимном письме, и у нас нет оснований не верить в его искренность. Такой взгляд на себя и свое творчество присущ — в большей или меньшей степени — всякому, по терминологии Шиллера, «наивному» художнику, а создатель «саги Йокнапатофы» был именно «наивным» художником, в отличие, например, от «сентиментального» Хемингуэя.

Неудивительно поэтому, что как раз в 30—40-е годы, когда Фолкнер больше всего нуждался в рекламе, он ничего не предпринимал для создания и укрепления своего «имиджа». Напротив, он неизменно оставался в тени даже в Голливуде, предоставлявшем великолепные возможности для распространения биографических легенд,— избегал интервьюеров, тщательно скрывал любовные связи, ограничивал общение узким кругом близких друзей, при малейшей возможности удирал в Оксфорд... К удивлению Малколма Каули, работавшего над предисловием к составленному им сборнику избранных сочинений Фолкнера (с него-то и начинается восхождение писателя к славе), он решительно отказывается сообщить ему какие-либо подробные сведения о себе. «Очень надеюсь, что в нем (предисловии.— А. Д.) не будет ни моей биографии, ни вообще каких бы то ни было сведений о моей личной жизни» [3],— пишет он критику. И лишь после того, как Фолкнер, получив Нобелевскую премию, становится мировой знаменитостью, он снова начинает игру со своим «имиджем», но на этот раз строит его как «минус-образ», стремясь доказать, что там, где публика жаждет видеть лицо, на самом деле зияет пустота, едва прикрытая грубой маской «сельского парня».

Нет, не природной застенчивостью, не какими-то психологическими комплексами и уж, конечно, не намерением таким парадоксальным способом увеличить свою популярность следует объяснять все выходки и самоуничижительные заявления Фолкнера, запечатленные в приведенных Инджем сплетнях и анекдотах. Скорее, это была намеренно избранная линия литературного поведения, прямо вытекающая из взглядов Фолкнера на соотношение жизни и творчества, из его представлений о писателе как наивном оракуле, чьими устами говорит Бог, из всей его художественной системы. В конечном счете причуды гения не менее значимые литературные факты, чем его книги; иначе разговор о них теряет смысл.

---

[2] У Фолкнер. Статьи, речи, интервью, письма. М., 1985, с. 434.

[3] Там же, с. 422.

Публицистика

ЭМИГРАЦИЯ: «КАПЛЯ КРОВИ, ВЗЯТАЯ НА АНАЛИЗ»?

Беседа в редакции с авторами и издателями журналов русского зарубежья

Участники: А. ГЛЕЗЕР (издатель альманаха «Стрелец»), Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ (писатель), А. ЛАТЫНИНА (критик), Г. ПОМЕРАНЦ (публицист), М. РОЗАНОВА (издатель журнала «Синтаксис»), Б. САРНОВ (критик), Л. ТИМОФЕЕВ (публицист)

Ведущий — Н. АНАСТАСЬЕВ (первый зам. главного редактора «ИЛ»)

Н. АНАСТАСЬЕВ. Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас в нашем доме. Как вы, может быть, заметили, опыт общения с русской культурой в диаспоре у редакции «Иностранной литературы» уже есть, хоть и скромный. Год назад мы опубликовали отклики на журнальную анкету, разосланную писателям-соотечественникам, живущим ныне в США, Франции, ФРГ. Нынешнюю встречу рассматриваем как естественное продолжение начавшегося диалога.

Естественное продолжение — печально, что это все еще приходится подчеркивать. Как видите, нас за этим столом меньше, чем предполагалось. Некоторым не удалось приехать из-за редакционных дел. Жаль, но что поделаешь: как журнальный работник вполне представляю себе ситуацию, когда и на два-три дня не вырвешься. Однако мотивировка одного из отказов принять участие в общем разговоре меня не только огорчила, но, говоря откровенно, вызвала сильный внутренний протест. Я имею в виду письмо, полученное мною от Владимира Максимова, главного редактора журнала «Континент». Ни за что в жизни — даже во времена оглушительной гласности — я не стал бы говорить об этом публично, если бы автор сам не поторопился выставить нашу переписку на всеобщее обозрение, опубликовав ее на страницах своего журнала. На мой взгляд, это плохо согласуется с нормами этики — следовало бы заручиться согласием адресата. Впрочем, оставим сантименты. Пропустим также крепкие выражения по адресу коллег — редакторов журналов русского зарубежья: у меня нет никакого морального права вторгаться в отношения, сложившиеся в среде литературной эмиграции. Но я никоим образом не могу принять упрека — а это и есть главный пункт письма В. Максимова,— будто вся наша встреча затеяна в сомнительных пропагандистских целях.

Раздирать на груди рубаху не собираюсь — занятие малодостойное, да и не думаю, что заверения в лояльности нужны присутствующим. Однако собрались мы не просто для того, чтобы обменяться мнениями в профессиональном кругу и разойтись. Стенограмма будет опубликована, надеюсь, привлечет внимание, и потому я все же считаю необходимым с самого начала рассеять любые возможные подозрения (а убедительнее всего их рассеет, уверен, сама публикация): организуя этот «круглый стол», редакция менее всего руководствовалась соображениями идеологической корысти. Мы обсуждаем проблемы мировой культуры и хотим представить предельно широкий круг мнений.

Теперь два слова о возможном содержании разговора.

Во-первых, хотелось, чтобы редакторы и авторы журналов русского зарубежья представили свои издания. Думаю, это будет нелишне, ибо пока, к сожалению, они в метрополии не распространяются. Надеюсь, в обозримом будущем ситуация переменится. К слову, хочу верить, что и наша встреча будет способствовать этому.

В то же время чисто информационными сообщениями ограничиваться не хотелось бы.

Эмиграция как духовный опыт, воздействие эмиграции на самосознание литературы и писателя — вот что, по-моему, заслуживает серьезного осмысления.

Недавно мне попалась на эту тему статья в «Молодой гвардии». Ее автор, поэт и редактор журнала «Наш современник», Станислав Куняев решает вопрос с неправдоподобной легкостью. Оказывается, литераторы, музыканты, художники, артисты покидали дом оттого, что здесь не могли оплатить их труд адекватным количеством денежных знаков. А «там», естественно, сразу открылись счета в швейцарском и иных банках. Нетрудно догадаться, что судит

С. Куняев своих недостойных вчерашних сограждан от имени самого народа, а также тех деятелей культуры, которые в трудные минуты его не оставили.

Затрудняюсь даже сказать, чего тут больше — вульгарной, на низменный инстинкт рассчитанной демагогии? Недостойной озлобленности? Поразительной душевной глухоты? Высокомерного благополучия, неспособного ощутить чужую боль?

Ну а помимо всего — удручающий примитив мысли. Есть личные судьбы, и от них, конечно, невозможно отмахнуться. Но есть и крупное явление, которое имеет мировые традиции, которое оказало и продолжает оказывать значительное влияние на пути художественной культуры. Об этой стороне дела автор молодогвардейской статьи, кажется, даже не подозревает; между тем именно тут, с моей точки зрения, заключена суть проблемы.

Разумеется, потребна величайшая деликатность. Это я не вам, понятно, это я себе говорю. За проблемами, повторяю, стоят личные драмы, стоит такой опыт, о котором, не пережив, можно только догадываться. Так что вполне допускаю, что людям, чьи жизненные или хотя бы только литературные судьбы сложились иначе, вопрос в моей постановке покажется холодно-академическим.

И все-таки рискну — иначе зачем, в самом деле, было устраивать п у б л и ч н о е обсуждение?

Для литератора эмиграция — беда и несчастье. Утрачивается контакт со средой, понятие обратной связи приобретает эфемерный характер.

Для литератора беда и несчастье — а для литературы?

Позволю себе предположить — для литературы это если и не благо, то плодотворное критическое испытание. Поясню свою мысль.

Художественное зарубежье с ходом времени становится порубежьем. Писатель, как правило (знающее, впрочем, исключения), отправляется или выталкивается в эмиграцию не налегке: с ним уже написанные книги, с ним его опыт, национальные традиции, в данном случае русские. С другой стороны, он попадает в иную — не чужую, но иную — культурную атмосферу и не может не испытывать ее воздействия.

Таким образом, писатель-эмигрант оказывается в точке пересечения различных художественных потоков, различных традиций, и творчество изгибается дугой, соединяющей материки культуры. Это не моя метафора — заимствована у Владимира Набокова, чьи книги стали местом свидания России, Европы, Америки.

Такую же роль — как организаторы литературной жизни — играют, с моей точки зрения, и журналы, выходящие за рубежом. И старые, вроде «Современных записок», и новые, возникшие на третьей волне эмиграции.

Таковы, мне кажется, некоторые опорные пункты сегодняшнего разговора. Начать его согласился Бенедикт Сарнов.

Б. САРНОВ. Конечно, эмиграция — это несчастье. Для любого человека. А для писателя в особенности. Писатель, оказавшийся в эмиграции, лишен возможности прямо обращаться к своему читателю. Книги его приходят к читателю в лучшем случае с большим опозданием, окольным путем, а сплошь и рядом вовсе не доходят. Однако специфика художественного творчества, как, впрочем, всякой интеллектуальной деятельности, состоит в том, что настоящий писатель из несчастья, из беды, из личных своих человеческих невзгод извлекает некую духовную прибыль. Так, например, Солженицын и Синявский — оба они не раз так прямо об этом и говорили — бесконечно много извлекли из своего лагерного опыта.

Я думаю, что наша литературная эмиграция из своего печального эмигрантского опыта извлекла много ценного. Много такого, на чем нам, людям, работавшим все эти годы у себя дома, стоило бы поучиться.

В сравнительно недавние времена, которые мы теперь деликатно именуем периодом застоя, у меня лично — не знаю, как у других, говорю только о себе — была такая полоса в жизни, когда я просто не мог читать наши журналы. Они казались мне мертвыми. А каждый дошедший до меня случайно номер журнала «Время и мы», или «Континент», или «Синтаксис», или «Вестник РХД» был как глоток свежего воздуха. Именно тогда впервые возникло у меня ощущение, что русская литературная мысль т а м, за рубежом, проделала огромный путь, что мы, люди, работающие здесь, сплошь и рядом — даже сегодня — изобретаем велосипеды, уже давно изобретенные. Быть может, даже изобретаем велосипеды давным-давно устаревших моделей.

Вот, например, я только что прочел в «Новом мире» статью Аллы Латыниной о Солженицыне. А полгода назад, когда я был в Мюнхене, прочитал статью (в «Континенте») Льва Лосева на ту же тему. Я не стану вдаваться в полемику, тем более что это не относится к предмету сегодняшней нашей беседы. Скажу коротко: я не согласен с Латыниной, мне бесконечно чуждо и даже враждебно ее отношение к тем главам «Августа четырнадцатого», о которых идет речь в ее статье. Во многом не согласен я и с Лосевым (у него речь идет о тех же главах). Но в статье Лосева меня совершенно покорило одно ее качество, почти утраченное нашей литературной критикой.

Алла Латынина высказывает свои идеи, и хотя эти идеи, как я уже сказал, мне не близки, я готов не только вникнуть в ход ее рассуждений, но даже и пересмотреть свои взгляды, если она сумеет переубедить меня. Я жду аргументов, доказательств. Но их — нет. Она просто высказывает свое мнение, не давая себе труда подтвердить его анализом текста. А ведь именно в этом, простите, и состоит профессия литературного критика.

Лосев, высказывая свои соображения, анализирует текст. И делает это, надо сказать, блистательно. Это — тончайшая, ювелирная работа. Как бы ни относился я к его выводам, я вижу, что он пришел к ним в результате серьезного, углубленного исследования текста романа. Что же касается Латыниной, то она с текстом обращается так небрежно, что сплошь и рядом огромную главу, даже ч а с т ь романа Солженицына «Август четырнадцатого», о которой идет речь, называет с ц е н о й. Тут уж пря-

мое неуважение не только к оппоненту, с которым она полемизирует, но и к самому роману, и его автору.

Мы должны вернуть нашей критике почти совсем утраченную ею культуру анализа художественного текста, забытое, утерянное стремление и уменье скрупулезным, доказательным анализом подтверждать свои идеи.

И еще одно соображение, порожденное сравнением наших литераторов с литераторами русского зарубежья.

Казалось бы, более чем естественно обнаружить в сочинениях литераторов-эмигрантов злое, обидно несправедливое отношение к тем или иным явлениям советской литературы. Злость в этом случае была бы даже извинительна. Человек, выброшенный за борт, имеет право быть злым и несправедливым даже по отношению к пассажирам третьего класса, не говоря уже о тех, кто сохранил свои привилегированные места в комфортабельной каюте. Но, как ни странно, в сочинениях многих литераторов-эмигрантов я часто обнаруживаю более внимательное и даже более доброжелательное отношение к драмам и трагедиям наших писателей, чем в сочинениях литераторов, которые жили и работали здесь и которые, казалось бы, эти драмы и трагедии должны чувствовать собственной шкурой.

Вот, скажем, в книге Н. Берберовой «Курсив мой» я читаю об Олеше, об Эренбурге. Чего только не пишут у нас об этих писателях. В особенности об Эренбурге. Каких только собак на него не вешают, в чем только его не обвиняют. И в каком презрительно-пренебрежительном тоне все это говорится. А Берберова... Она беспощадна к Эренбургу. Она судит его сурово и неприязненно. Но какое глубокое понимание драмы писателя, тупиковой, трагической ситуации, в которой он оказался, она при этом обнаруживает.

Нашим бы «судьям» хоть малую толику такого понимания. Даже не понимания — ж е л а н и я понять.

Пусть простит меня Алла Николаевна Латынина, невольно получается так, что все примеры негативного свойства я беру из ее сочинений. Но, ей-богу, это не потому, что я сознательно решил именно ее выбрать в качестве «мальчика для битья». Просто так уж вышло, что и на сей раз одна ее реплика особенно больно меня задела. В статье, опубликованной в недавно вышедшем альманахе «Московский вестник», она пишет о Василии Гроссмане, будто он начал свой литературный путь «как верный сын эпохи», но был отторгнут ею, «после того как стал сверять перо с совестью художника, а не с генеральной линией».

Здесь все неверно. И начинал свой путь Гроссман не как «верный сын эпохи» (в том смысле, какой придает этой формуле Латынина). Достаточно перечитать сегодня два ранних рассказа Гроссмана — «В городе Бердичеве» и «Четыре дня»,— чтобы убедиться, что «верные сыны эпохи» уже тогда ужасали этого художника своей прямолинейной грубостью, бесчеловечностью, тупым и жестоким фанатизмом. Но дело даже не в этом. Быть может, Алла Николаевна этих рассказов не знает, не помнит (хотя критику, оценивающему весь путь художника, это непростительно). Суть дела в том, что Гроссман НИКОГДА не «сверял свое перо с генеральной линией». Вот чего не было, того не было. У него были иллюзии, он заблуждался. Изживал эти иллюзии, преодолевал эти заблуждения. Он прошел трудный, сложный, трагический путь. Если бы Алла Николаевна внимательно перечитала сейчас старые книги Гроссмана, скажем, роман «Степан Кольчугин», в котором он отдал самую большую дань заблуждениям своего времени, то даже и там, в этом незавершенном (не случайно незавершенном) романе, она легко обнаружила бы зерна, из которых выросли потом многие идеи и образы романа «Жизнь и судьба» (Крымов, Мостовской), которые, по мысли Аллы Николаевны, могли родиться в душе художника лишь в последние годы его жизни, когда он «стал сверять свое перо» уже не с «генеральной линией», а со своей совестью.

Мне кажется в высшей степени неплодотворной и даже опасной эта снисходительная небрежность, какой часто грешат сегодняшние наши литераторы, вдруг получившие возможность на страницах «Правды» или других вполне официозных изданий так и сыпать «откровениями», доставшимися им в готовом виде. С этим, видно, уже ничего не поделаешь. Но хорошо бы при этом помнить, что эти их сегодняшние «откровения» добывались мучительно и трудно. За них платили жизнью, опасностью, риском, годами, проведенными в лагерях. И платили, между прочим, те самые люди, которых сегодня попрекают тем, что они будто бы «сверяли свое перо с генеральной линией».

М. РОЗАНОВА. Ах, люблю я журнал «Синтаксис». Какой же это замечательный журнал! Слушаю я Бена Сарнова и закладочки могу раскладывать. Вот на эту фразу «Синтаксис» здесь ответил, а эти слова «Синтаксис» вот здесь расписал, а вот это пожелание уже было выполнено тогда-то. И что ни возьми, про все уже написано. Про то, какая эмиграция замечательная, написано. Про то, какая это беда — эмиграция,— тоже написано.

Но при всем при том должна сказать, что Бен Сарнов все-таки нас идеализирует — эмиграцию. Мы далеко не так прекрасны, как выглядим в его выступлении. Мы намного хуже. И намного хуже не только мы, третья эмиграция. Проблемы, которые одолевают нас, одолевали и первую эмиграцию, потому что это проблемы всех 70 эмигрантских лет. Тут Сарнов говорил о критике... Лосев — человек исключительный в эмиграции. Это не правило. И мы страдаем от отсутствия критики, может быть, гораздо больше, чем вы, потому что в отечестве критиков наскрести еще можно, и хороших критиков. А в эмиграции их почти нет. И это беда не только, скажем, журнала «Синтаксис» — я все время прошу: «Критику мне, критику... мне литературную критику надо. Где она?» Но это мучает не только меня. Может быть, критики не было потому, что она свидетель и участник живого, бурного литературного процесса, движения, а такого процесса не было в эмиграции, несмотря на наличие больших творческих индивидуальностей. Или, быть может, отсутствие критики связано с отсутствием читателей, на

что не раз жаловались писатели-эмигранты. Ведь критика — это посредник между читателем и писателем. А с кем же посредничать, если читателей нет? Сошлюсь в этой связи на статью Георгия Иванова 1931 года под названием «Без читателя». Хотя в ней говорится о первой эмиграции, она и для нас актуальна, поскольку рисует среду, в которую, в сущности, и мы попали, переехав на Запад, и статья эта может нам служить довольно неприятным предостережением. По словам Георгия Иванова, есть писатели, но нет читателей, потому что читательская масса окрашена в один цвет «безразличной усталости», и «в литературе она ищет развлечения и успокоения». И вот в итоге писатель становится конформистом по отношению к этой среде. «Нет удушливей атмосферы — чем атмосфера благосклонного безразличия, почтенной умеренности. В такой атмосфере и сам, кто бы то ни был, становишься благосклонно-почтенным, становишься понемногу, незаметно для себя, и чем более незаметно, тем более безнадежно... Сама собой установила и забирает всё большие права строжайшая самоцензура, направленная неумолимо на все, что выбивается из-под формулы «писатель пописывает, читатель почитывает», тщательно обрезающая все космы, хоть и вяло пытающиеся из-под нее выбиться. Кто же установил эту цензуру? В том-то и ужас, что «никто» — сама собой установилась... Никакие бенкендорфы и никакие победоносцевы не могли, как ни старались, низвести русскую литературу до желанного уровня «семейного чтения» — а сколько было приложено старанья и какие испытанные применялись средства. Душили, но, и полузадушенная, она твердила все то же преступное: «Хочу перевернуть мир». Теперь, в условиях почти абстрактной свободы,— сознательно, добровольно, «полным голосом» она говорит: «Хочу быть приложением к «Ниве». «...В поразительном оскудении, к которому пришла русская эмигрантская литература, переставшая совершенно очевидно (незаметно для себя, мягко, «на тормозах») быть сколько-нибудь «на уровне» России в ее мировом значении, одной из причин, может быть основной, была та, что она старалась и старается быть похожей на «дорогого покойника» — эмигрантского читателя.

И вот — посмотрим правде в глаза — где она, эта русская культура? В чем она? В незыблемости буквы «ять»? В том, что любую книгу, изданную в эмиграции, «можно дать в руки» подростку, а если нельзя дать, то само собой следует, что эта книга позорна. Что, с другой стороны, все подымающееся над уровнем «художественного чтения» в область духовных, религиозных, общественных исканий... осуждается как вредная и ненужная «декадентщина». Представим для примера появление в этом нашем «удушливом дыму» хотя бы Чаадаева, с его «особым мнением» о России. Николая I нет, нет и Бенкендорфа, но они бы могли быть спокойны. Можно ли сомневаться, что вся «русская культура за рубежом», как один человек, не объявила бы Чаадаева заново сумасшедшим? Нельзя сомневаться. И, объявив, была бы по-своему права, по своей логике и логике своего читателя, на которого она изо всех сил старается походить. Но скажем откровенно — где тут Россия, хотя бы Россия Николая I, в которой мог все-таки появиться Чаадаев?»

А. ГЛЕЗЕР. Я согласен, что эмигрантская среда ужасна, но не буду сегодня углубляться в эту больную для меня тему. Не только Георгий Иванов, но и Ходасевич в 1932 году писал о том, что писателям становится все труднее и труднее, потому что читатель в основном читает только календари и сонники, которые издаются в Риге.

Тем не менее говорить о том, что читателя вообще никакого нет, неверно. Он есть правда, его мало, но он есть, хотя основной читатель, конечно, здесь, в России.

И утверждение, что литературы в эмиграции нет, мне тоже кажется несправедливым, ведь помимо давно известных России имен, скажем, таких как Василий Аксенов, который продолжает писать, издает все новые и новые книги, я назову еще несколько писательских имен очень интересных, по-моему, и еще не оцененных здесь, в метрополии. Это Сергей Юрьенен, Борис Фальков, Юрий Мамлеев. С поэтами дела обстоят лучше, и эмигрантских поэтов здесь сейчас печатают более широко.

Ну а что касается критики, то я с вами согласен, хотя у меня в этом смысле есть претензии к Андрею Донатовичу Синявскому, потому что он, являясь лучшим критиком и литературоведом эмиграции, к сожалению, о произведениях писателей-эмигрантов ничего не пишет, хотя в свое время я наслаждался его статьей, по-моему последней, по поводу «Верного Руслана».

Прежде чем говорить об альманахе «Стрелец», я хотел бы сказать несколько слов об альманахе литературы и искусства «Третья волна», который издательство «Третья волна», основанное мной в 1976 году, выпускало до 1984 года. Он выходил не регулярно (вопрос финансов), иногда четыре, иногда три раза в год, а порой и два. В нем печатались произведения как авторов, живущих в метрополии, так и эмигрантов. Чуть ли не треть журнала в силу специфики моих занятий, то есть наличия двух музеев современного русского искусства (Париж и Нью-Йорк), занимал отдел изобразительного искусства.

Почему же мы решили издавать ежемесячный журнал «Стрелец»? Дело в том, что к 1984 году застой в нашей стране принял такие размеры, что все больше и больше писателей отправлялось в эмиграцию, а многие талантливые произведения, написанные в стране, не могли быть напечатаны на страницах журналов метрополии. Иными словами, журналы русского зарубежья получали множество интересных рукописей и многие из них не могли опубликовать просто в силу отсутствия места. Тем более что все эти журналы, в сущности, являлись как бы альманахами, то есть выходили четыре раза в год. Кроме того, многие талантливые произведения, создававшиеся как на Западе, так и в СССР, не публиковались этими журналами из-за того, что не подходили им по эстетическим причинам. К примеру, почти не публиковались произведения Юрия Мамлеева, Сергея Юрьенена, Дмитрия Савицкого (чьи книги выходили на французском и английском языках). В этих усло-

виях я и решил приступить к изданию ежемесячного журнала литературы, искусства и общественно-политической мысли. Название «Стрелец» появилось неожиданно. Мы возвращались осенью 1983 года из Милана, где проходила конференция, организованная журналом «Континент», в Париж, и по дороге я предложил присутствующим придумать название журнала. Предлагалось многое, а приглянулся мне «Стрелец» по целому ряду причин. Во-первых, до революции выходил литературный журнал «Стрелец», который одновременно печатал, скажем, футуристов и символистов, то есть тот «Стрелец» был изданием плюралистическим, а мне хотелось создать именно такой журнал. Во-вторых, была книга Бенедикта Лифшица «Полутораглазый стрелец». И в-третьих, наконец, до Петра I существовало русское воинство — стрельцы. Так вот и появился на свет и выходил с 1984-го до 1989 года ежемесячник «Стрелец». В нем были такие разделы: «Проза», «Поэзия», «Воспоминания», «Литературный архив», «Наше интервью», «Память», «Изобразительное искусство», «Публицистика». На страницах «Стрельца» за пять лет его существования выступали писатели и поэты русского зарубежья и метрополии, причем писатели самых разных направлений: Владимир Войнович и Георгий Владимов, Василий Аксенов и Юрий Мамлеев, Владимир Максимов и Сергей Юрьенен, Юрий Милославский и Дмитрий Савицкий, Юрий Кублановский и Генрих Сапгир, Виктор Кривулин, Вадим Крейд, Белла Ахмадулина и многие другие. Мы перепечатали из западных изданий интервью с Александром Солженицыным и Александром Зиновьевым.

Большой популярностью у читателей в России пользовался раздел «Литературный архив», в котором публиковались неизвестные или забытые произведения Владимира Набокова, Гайто Газданова, Анатолия Мариенгофа, Андрея Платонова, Георгия Иванова, Зинаиды Гиппиус, Николая Гумилева, Константина Бальмонта и многих других замечательных русских прозаиков и поэтов. Раздел «Изобразительное искусство» оперативно откликался на выставки русских художников, проходящих на Западе, в нем также печатались искусствоведческие статьи, посвященные, например, творчеству москвичей Владимира Немухина, Вячеслава Калинина, ленинградца Владимира Овчинникова и других самобытных русских художников.

В 1989 году ежемесячник «Стрелец» превратился в толстый альманах «Стрелец». Это объясняется многими причинами, но главные две: первая — из-за моих разъездов между Европой и США часто приходилось выпускать три-четыре номера «Стрельца» вперед, а при этом оперативность информации исчезала, второе — мы печатали многие романы и повести с продолжением и получали из России письма, в которых читатели жаловались на то, что «Стрелец» поступает в метрополию нерегулярно и из-за этого они не имеют возможности читать полностью те или иные произведения. Так вот, с 1989 года стал выходить альманах «Стрелец», сохранивший все рубрики журнала. При новом «Стрельце» была создана редколлегия, в которую вошли Василий Аксенов, Дмитрий Бобышев, Георгий Владимов, французский славист профессор Рене Герра, Вадим Крейд, Юрий Кублановский и Сергей Юрьенен. В конце прошлого года к ним присоединились поэты Владимир Алейников, Виктор Кривулин, Генрих Сапгир, а с четвертого номера «Стрельца» в редколлегию также вошли москвичи Виктор Ерофеев, Алла Латынина и редактор ежемесячника «Человек и природа» Николай Филипповский. В трех первых номерах альманах наряду с художественными и публицистическими произведениями опубликовал также материалы двух международных конференций, проведенных в литературных русских центрах «Стрелец» в Нью-Йорке и Париже. Обе они были посвящены творчеству великих русских писателей: первая — Александру Солженицыну, вторая — Владимиру Набокову. К слову сказать, в четвертом номере альманаха будут напечатаны материалы симпозиума «Новая литература — новая эстетика», который состоялся в Парижском литературном русском центре «Стрелец» и в котором участвовали москвичи Виктор Ерофеев, Алла Латынина, Леонид Латынин, Алексей Парщиков, Генрих Сапгир и Николай Филипповский, редактор рижского журнала «Родник» Андрей Левкин, парижанин Юрий Мамлеев и ваш покорный слуга.

Трудно сказать, как русские журналы, выходящие на Западе, повлияли на вхождение русской литературы в мировой литературный процесс. Думаю, что не очень повлияли. Но во всяком случае наши публикации и не оставались незамеченными. О «Стрельце» писали американские и европейские слависты. Статьи о журнале, а потом об альманахе появлялись в западной прессе по обе стороны океана.

А. ААТЫНИНА. Раз уж зашла речь о письме Владимира Максимова, то и начну с него. Я его читала, и оно меня очень огорчило. Я привыкла уважать позицию Владимира Максимова. Я и сейчас не могу не уважать ее. Но у меня вызывает сожаление не столько сам тон отказа здесь присутствовать, не форма отказа, а миропонимание, скрывающееся за ним.

Я согласна с Николаем Аркадьевичем Анастасьевым, что мы заслужили подозрительность. Мы — я говорю очень широко, мы — метрополия. Мы не раз давали повод упрекнуть нас в политических играх. Можно понять нежелание писателя участвовать в том, что видится ему политической игрой. Но есть другая сторона проблемы.

Тут говорилось о возможности диалога. С диалогом у нас вообще очень сложно, мы не умеем вести его в пределах одной страны, и, как я убедилась, эмиграция тоже не слишком умеет вести его между собой.

Возможность диалога между метрополией и эмиграцией, однако, затруднена еще одним обстоятельством: позицией извне, которую занимает эмиграция по отношению к стране, и позицией изнутри. Я ни на секунду не забываю, что политическая эмиграция имеет право предъявлять самый суровый счет к режиму, который вытолкнул ее из страны.

И вот этот режим, отрекшийся от некоторых моментов истории, но не отрекшийся от главного — от своих идей, призывает

поверить, что он стал другим. Эмиграция видит в этом очередной политический трюк лицемерного режима и отказывается.

- Я столкнулась, к примеру, с тем, что автор книги, ставшей уже классикой политологии, отказался печатать ее в СССР, потому что сам факт публикации ее здесь означал бы, с его стороны, признание, что режим изменился. Можно уважать столь твердую позицию. Но когда ты внутри этой страны, такая позиция вызывает недоумение. Потому что отсюда ты не можешь не видеть, что сам факт публикации подобных книг делает все более необратимым процесс демонтажа идеологии.

- Нам, находящимся здесь, внутри, хочется, чтобы этот демонтаж прошел возможно более бескровно и безболезненно. Слово историка, политолога, их книги — участвуют в этом процессе.

- Им, находящимся там, хочется, чтобы идеократия рухнула полностью и окончательно, а вот тогда можно и диалог начать. Тут разница исходных позиций, разница точек зрения.

Одни находятся на арене цирка, где идет действие, другие смотрят на него из лож амфитеатра. Даже если это зрители из тех, кто сами побывали в пасти льва и с трудом унесли ноги, они смотрят на события иными глазами.

- Тут был поставлен очень интересный вопрос: эмиграция для культуры вообще благо или зло, умножение ее или распыление. У нас долгое время писали и так умело подбирали цитаты из Бунина и Куприна, что получалось: страшное несчастье, отрыв от родины, иссушение таланта. Вот и Георгий Иванов туда же. Но это — их точка зрения, изнутри.

А теперь уже мы можем взглянуть извне.

- Сегодня стало ясно, что именно первая эмиграция унесла с собой русскую культуру и сохранила ее. Третья волна — я имею в виду эмиграцию политическую, конечно, а не экономическую, тех, кто был вытеснен режимом,— в конечном счете тоже была потерей для метрополии, но скорее удачей для культуры в целом. Возникли новые журналы, появилась возможность неподцензурных дискуссий, самиздат шестидесятых превратился в тамиздат. Все это активизировало свободную мысль и в метрополии. Есть такой прием в агротехнике: например, когда выращиваешь георгины, нужно отщипнуть верхушку, и тогда из ствола вырастает много новых побегов, а куст дает гораздо больше цветов, чем если бы не применять к стволу этой операции. Эмиграция — болезненная операция над культурой, срез ствола. Но куст цветет в итоге пышнее.

Однако я бы поостереглась сказать, как тут уже звучало, что мы сейчас просто-напросто повторяем то, что сделано в эмиграции, открываем велосипеды и что все там уже сказано, открыто, а мы вот даже литературное произведение анализировать не умеем. На мой взгляд, именно аналитической критики эмигрантским журналам не хватало и именно анализировать текст мы научились в брежневские годы неплохо. Этим можно было заниматься довольно безболезненно. Но там было иное. К примеру, там не было «новояза» — это единственное общее, что объединяет разные эмигрантские журналы, бывшие для нас и в самом деле глотком свободы. Даже враждующие меж собой. Там не могли употребить выражения «культ личности» или «нарушение социалистической законности», которыми наша «прогрессивная» критика так охотно оперировала, словно не чувствуя их принадлежности к новоязу. Чему мы действительно учились у эмигрантских изданий — это языку. Что повторяем сейчас — это ожесточенность споров по ключевым вопросам истории, судьбам страны, но повторяем на совсем ином витке.

Сейчас многие эмигрантские издания стали в большей степени «работать» на метрополию, печатать статьи не просто о литературе — о литературной жизни сегодня. Меняется их функция. Но будет обидно, если потеряется лицо. Возможность печататься «здесь» и «там» очень интересна, но печататься там интересно именно потому, что есть ощущение большей свободы, большей раскованности и иной аудитории. Хочется попробовать себя в ней. Будет обидно, если «Континент», к примеру, перестанет выходить или превратится в еще один журнал, дополнительно к тем, что у нас существуют.

Г. ПОМЕРАНЦ. Я принадлежу к небольшой группе, которая не выехала в эмиграцию физически, но выезжала литературно. Все эти годы я печатался в «Синтаксисе», а затем в «Стране и мире».

- Недавно, по мере возвращения на отечественную полосу, в смысле полосы журнальной, я попытался осовременить и пустить в ход одну мою статью, напечатанную раньше в «Стране и мире». Она вышла во втором номере журнала «Искусство кино», называется «Диаспора и Абрашка Терц». На что я обратил свое внимание при редактировании?

Несколько фраз мне пришлось выбросить. Все-таки советская бумага до сих пор некоторых фраз не терпит. Я сейчас не помню точно, но они совершенно второстепенные. Например, о диаспоре: у меня было там приблизительно такое, что вообще диаспоры живучее земли, и когда-нибудь, когда установится мировой коммунизм, где-то в нью-йоркской внутрянке русский эмигрант закричит: «Слушай, Россия, одна есть истина — Русская православная церковь!» У меня что-то в этом роде, понимаете? Вот эту шутку мне пришлось опустить.

Привычка писать в самиздат или тамиздат очень хорошая. Привыкаешь держаться только в рамках Уголовного кодекса, да и то на самой грани — до предупреждения по статье 190, часть первая, без ареста. Примерно на этой грани я жил. И это очень хорошо действует на стиль. Какие-то стереотипы сами по себе отпадают. И хотя, допустим, перестраивая статью, я из нее дветри фразы выпустил, но тон остался, тот свободный и естественный тон, которым разговаривает человек, который не имеет дела с редактором.

Кстати, должен сказать, что в то время, когда я здесь печатался (в научных изданиях), то, как правило, имел дело с очень хорошими людьми, и со многими редакторами я потом подружился. Но над млад-

шим редактором стоит еще следующий и следующий. Эта пирамида давит, и поэтому на родной земле возникает какой-то недостаточно свободный тон и стиль. И в этом смысле свободная циркуляция русской периодики, так сказать, с выходом и на Западе очень обогатила бы нас стилистически. Она дает несколько другую интонацию, которая, правда, сейчас постепенно утверждается и у нас, но все-таки это было бы дополнительным толчком.

Я, может быть, бессистемно буду говорить... Вот, любопытный пример перекличка «здесь» и «там» получился совсем недавно. Началось со спора моей супруги Зинаиды Александровны Миркиной с моим соседом Юрой Карабчиевским по поводу фильма «Покаяние». Это было в прошлогоднем четвертом номере «Искусства кино». Номер попал на Запад, и Борис Хазанов, то есть Гена Файбысович, ответил нам письмом. Мы, в свою очередь, ему ответили. В ходе этой переписки возникла очень интересная тема, пожалуй, более значительная, по крайней мере политически и жизненно, чем фильм «Покаяние», при всем моем прекрасном отношении к этому фильму. Это проблема культурных сдвигов, создающих благоприятную обстановку для фашизма.

Позиция Бориса Хазанова состояла в том, что в фильме благодаря его своеобразной структуре — он берет явления вне времени — не показано, как это все получается. Опираясь на очень хорошо им изученный немецкий опыт, он сжато описал, как Снегурочка становится Бабой Ягой — это его собственное выражение,— как любование национальными прелестями постепенно становится чудовищным оскалом. Вроде того как это показано в фильме «Кабаре», когда прелестный мальчик поет, и постепенно начинается фашистский гимн: «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир». И кончилось это дело тем, что я рекомендовал его письмо в «Искусство кино». Сейчас он написал для них специальную статью о культурологическом генезисе фашизма. Такая перекличка, при открывшейся возможности переписываться, вероятно, обогащает обе стороны.

Вместе с тем очень интересны сдвиги, которые происходят при переезде через границу. По моим наблюдениям очень характерное и болезненное явление — это психология человека в бракоразводном процессе. То есть некоторые отъезжающие, в процессе подготовки к отъезду, начинают вести себя в духе Овидия (как бороться с любовью? Надо вспоминать недостатки любимой). И очень сгущенно акцентируют недостатки. На книгах Хазанова (он блестящий эссеист, один из лучших современных эссеистов) я увидел, что книга, написанная здесь, запальчиво полемична по отношению к России. Потом полемика снимается, тамошние книги написаны более взвешенно. Когда развод совершен, начинаешь вспоминать достоинства оставленной. Это любопытная психологическая черта.

Всякая позиция небезразлична к тому, что человек пишет. Человек пишущий выкладывает всегда себя самого, брюхом на страницу — и именно то, что в данный момент чувствует, поэтому факт трансплантации части русской культуры за границей и ее возвращение обратно создает некий культурный плюрализм, кажущийся мне очень интересным. Надо только, конечно, быть терпимым к тем завихрениям, которые образуются в человеке при таких переходах. Ведь сплошь и рядом реактивное мышление отвечает по принципу «сам дурак» и создает напряженность. Тогда как некоторая позиция понимания-ожесточения, понимания-раздражения, понимания-гнева, возникающих у человека в известной тяжелой жизненной ситуации, поможет вырваться из конфликта. На этом основана моя проповедь, что стиль полемики важнее предмета полемики и что утвердить тот стиль полемики, при которой крайности снимаются, важнее, чем доказать какую-либо истину.

М. Розанова. Можно маленькую реплику? Меня очень огорчило выступление Григория Померанца первыми же его словами. Когда я услышала, что человек сам собственной рукой отсекал какие-то фразы, поскольку начал представлять их на советской бумаге и в советском журнале, то есть, простите, совершил акт самоцензуры. И вот мой почтенный автор, который являлся славой и гордостью журнала «Синтаксис», на моих глазах ножницами стрижет собственное произведение.

Г. Померанц. Стрижешь, потому что видишь другую публику.

М. Розанова. Конечно, здесь вы видите другую публику, а там вы вообще не видите публики.

Г. Померанц. Понимаете, Мария Васильевна, там разговариваешь как у себя дома, а здесь видишь публику. И понятие «публика» расширилось, очень расширилось. В него вошла даже часть администрации. Раньше я стоял ко всякой администрации спиной, а сейчас — вполоборота. В 1987 году, когда гласность еще не совсем разгулялась, один редактор сказал мне: «Надеюсь, вы не снимете меня с работы». И я помню об этом.

М. Розанова. Мне это выступление по тону напоминало имевшее место в эмиграции лет 8—9 тому назад трехдневное совещание в Вашингтоне о цензуре. Тогда только что выехал за границу Борис Закс — ответственный секретарь журнала «Новый мир». Был приглашен Синявский выступить, был Войнович, были американские советологи, политологи, которые три дня говорили об ужасах советской цензуры. Все было очень правильно, благородно и высоко, но для меня это действо началось с того, что в кулуарах, минут за пятнадцать до начала первого заседания, Борис Закс — ответственный секретарь журнала «Новый мир» — встретился с автором «Нового мира» Андреем Синявским. После первых объятий и поцелуев Борис Закс говорит Синявскому: «Андрей Донатович, ведь я до сих пор помню, как вы ко мне приходили, и говорили, и даже ручки вот так складывали молитвенно при этом: «Борис Германович, не вырезайте из меня эту фразу». А я говорил: «Все равно вырежу, Андрей Донатович, иначе цензура снимет».

А до отъезда на Запад я иногда писала для журнала «Декоративное искусство» и

хорошо помню аналогичную сцену между мной и моими редакторами, когда мне говорили, что все равно цензура вырежет, и однажды это говорилось накануне того дня, когда редактор должен был уехать в отпуск на месяц. И как-то так случилось, что у меня оказалось два экземпляра гранок. Один был уже подписан редактором в печать. А дальше шли исправления. Причем исправления, на мой взгляд, чудовищные, ибо я позволяла себе писать немножечко поперечным языком, а вся редакторская правка была чисто стилистическая, что давало абсолютно нелепое сочетание моей вольной фразы с редакторскими канцеляризмами.

Надо сказать, что так как я всегда была отрицательной героиней и часто совершала дурные поступки, то, узнав об отъезде редактора в отпуск, я пришла к техреду и сказала ему чистую правду, будто я вспомнила еще про несколько опечаток, и дайте мне мою статью на минуточку. Хорошо, говорит, сядьте за тот стол и исправьте. Я сделала вид, что что-то исправляю, а сама взяла первую страницу с редакторской визой, приклеила к тому экземпляру, где исправлены только опечатки, и через пятнадцать минут вернула техреду восстановленный таким образом первоначальный вариант статьи. И должна сказать, что я была права. Цензура не вырезала ни одной строки.

И вот, когда все три дня заседания благополучно прошли, советскую власть осудили, советскую цензуру заклеймили, я не выдержала, выступила и подкинула «ежа», рассказав почтенному собранию о редакторской и авторской самоцензуре, которая бывает страшнее цензуры официальной. Меня хвалили потом в кулуарах, но организаторы остались недовольны.

А. Глезер. Я хочу защитить не моего автора, а автора журнала «Синтаксис» вот в каком смысле. Дело в том, что такой самоцензурой в настоящее время занимаются не только авторы, живущие в метрополии. Совсем недавно я разговаривал с живущим в Париже писателем Юрием Мамлеевым, который в декабре побывал в Москве, где у него журналы взяли несколько рассказов. Он мне сказал, что сам вырезал такие-то и такие-то места. А так как на Западе печатаю его книги только я и все эти рассказы знаю, то я, естественно, его спросил, зачем он это сделал? Он мне ответил: «Хотя бы в таком виде, но они дойдут до русского читателя».

Должен покаяться и я сам, так как только вчера, разговаривая с издателями нового «Метрополя», согласился изменить одно слово в своем «Венке сонетов», который они печатают. В послании Генриху Сапгиру из Парижа говорится, что он должен писать не о Таньке, Катьке и Райке... Их испугало почему-то не то, что я называю «кремлевские стылые звезды» и т. д., а их испугало слово «Райка», и они попросили его заменить. Я заменил его на «Майку», потому что мне все-таки хочется, чтобы это читали в России.

Г. Померанц. Чтобы не забыть. Я сейчас подумал вот о чем. Писательская цель статьи попытаться понять обе полемизирующие стороны. Вот произошла чудовищная, с моей точки зрения, вещь. Прекрасное литературное произведение стало объектом травли. Причем травят не мерзавцы, а травят люди, искренне убежденные, что они защищают святое и правое дело. Я пытаюсь это понять и надеюсь, что кто-то из оппонентов, может быть, меня поймет. И здесь один из мотивов снятия резкости, снятия какой-то фразы, которая явно вызовет раздражение. Я могу привести один биографический факт.

Прежде чем окончательно пустить в ход мою работу «Сон о справедливом возмездии», где я критиковал взгляды Солженицына, я зашел к моему соседу, покойному Эрику Руденко, который был без ума от Солженицына и пылинке не давал на него упасть, и попросил его прочесть и обратить внимание на то, что он считает абсолютно недопустимым. Я его очень внимательно выслушал. Это был напряженный разговор, но мы сохраняли друг к другу уважение, и во всех тех местах, где он чувствовал себя возмущенным, я менял выражение просто с тем, чтобы исключить эффект реакции на отдельную фразу мимо общего смысла. У нас страшно много того, что можно назвать «эффектом России-суки». То есть реакция на отдельную фразу. Я антигерой «Образованщины», «Русофобии» и нескольких других произведений в основном потому, что пишу слишком свободно и открыто и мои фразы уязвимы. Но в какой-то степени я иногда стараюсь это снять, чтобы общий смысл дошел, чтобы не было придирки к отдельному выражению.

Все это очень существенная сторона при той ярости схваток, которая у нас царит.

Н. Анастасьев. А как же в связи с тем, что вы только что сказали, понять ваше утверждение, будто стиль полемики важнее ее предмета?

Г. Померанц. Стиль действительно важнее. Стиль, но не отдельная фраза. Я с самого начала вел, скажем, с Солженицыным полемику с полным пониманием его величия. Тем не менее я допускал, что будут отдельные перехлесты. Поэтому, повторяю, я специально зашел к соседу-«солженицыну», чтобы снять какие-то фразы, которые могли вызвать частное раздражение. Полемика — страшно опасное дело. Полемика полна искушений. Возникает потребность «врезать», так сказать. Вот это надо снимать.

И, я еще раз повторяю, просматривая статью для «Искусства кино», я подумал, что одна фраза может вызвать лишнее раздражение, и я ее снял.

Б. Сарнов. Вопрос, затронутый Г. Померанцем, один из самых важных для понимания условий, в которых работает человек, не связанный ни цензурой, ни даже самоцензурой. Григорий Соломонович начал фразой, замечательно характеризующей его как человека прекрасной души, почти ангела. Он сказал: «Прекрасное литературное произведение стало объектом травли. Причем травят не мерзавцы, а травят люди, искренне убежденные, что они защищают святое и правое дело». Мне такая высота души недоступна. Я считаю, что травить могут только мерзавцы. Кто способен на трав-

лю, тот уже мерзавец. Как иначе назвать тех, кто сейчас гнусно травит Синявского?

Г. Померанц. Я не могу назвать мерзавцем Солженицына, хотя полемизирую с ним уже 20 лет.

Б. Сарнов. Солженицын — человек очень страстный, запальчивый. Кроме того, он был задет лично. Это случай особый. Но и Солженицын не может быть защищен своим именем, своим огромным моральным авторитетом от критики, от полемики, иногда очень резкой. Несчастье Солженицына в том, что он — а уж тем более его многочисленные почитатели — любую критику в свой адрес воспринимает как травлю.

Страсти, давно разгоревшиеся вокруг Солженицына в русской зарубежной печати и только-только разгорающиеся сейчас у нас,— это, если угодно, стержневой вопрос, стержневая проблема.

Солженицын сейчас приходит к нам своими книгами, давно уже опубликованными на Западе. Приходит с огромным опозданием. И это событие, сам факт его возвращения на родину, естественно, встречается возгласами восторга. Но беда в том, что восторг,— повторяю, естественный и закономерный,— относящийся к самому факту возвращения Солженицына, возвращения его книг, насильственно отторгнутых от родной литературы, автоматически переносится на сами эти книги. И тут выходит, что мы снова плетемся в хвосте событий, боимся сказать вслух то, о чем давно уже в полный голос говорят писатели русского зарубежья. Я не хочу сейчас вдаваться в идеологические споры, тем более что Александр Исаевич и сам, как выяснилось, не хочет публиковать сейчас здесь, у нас, свои политические заявления и выступления. Скажу о другом. Об оскудении его художественного дара. Об этом у нас даже заикнуться боятся. Единственный человек, который позволил себе хоть как-то высказаться на эту тему,— Георгий Гачев. (В статье, опубликованной в том же «Московском вестнике», что и упоминавшаяся мною статья Латыниной.) О романе Солженицына «Март Семнадцатого» Гачев там говорит: «При изобилии материала — какая монотонность стиля, интонации. Становится уныло, убого и скучно, как при чтении горьковского «Клима Самгина»».

Соглашаясь с Гачевым, я вынужден сделать одну оговорку. Он, по-моему, несправедливо обидел Горького. «Клим Самгин», быть может, неудачный роман. Во всяком случае, это безусловно не лучшая из горьковских книг. Но эта книга истинного художника, поразительно знающего Россию. Книга, населенная живыми людьми. О «Марте Семнадцатого», да и других романах, входящих в «Красное колесо» Солженицына, этого не скажешь. Если у Горького в «Климе» — живые люди, живые фигуры, то у Солженицына вся его гигантская конструкция — это некая партитура, где разнообразные идеи — философские, историософские, идеологические, политические — разложены «на голоса». И искусственные, неживые персонажи обмениваются этими идеями. Причем обмен этот происходит иногда в самых неподходящих для этого обстоятельствах: например, между мужчиной и женщиной в постели.

Наши критики, никогда худого слова не сказавшие о романах Стаднюка или Чаковского, дружно обрушились на роман Рыбакова «Дети Арбата». Именно тут у них вдруг резко повысились их художественные критерии. Я тоже не в восторге от этого романа. И даже лучшее в нем — попытка воссоздать «поток сознания» Сталина — не кажется мне вполне художественно убедительной. Но вот я только что перечитал (в «Новом мире») читанные когда-то главы о Сталине из романа Солженицына «В круге первом» и подумал: интересно, а хватит ли у кого-нибудь из наших критиков смелости сказать вслух, что попытка изобразить внутренний мир Сталина у Солженицына художественно еще менее убедительна, чем у Рыбакова?

Мария Васильевна тут упрекнула меня в том, что я будто бы склонен идеализировать эмиграцию. Ей-богу, я далек от этого. Я верю Марии Васильевне, когда она говорит, что эмигрантская литературная среда ужасна. Но ведь и наша литературная среда не лучше.

Мы живем в уродливом, ненормальном, искаженном мире. Человека искажает ситуация крайней несвободы. Но точно так же искажает и ситуация чрезмерной, беспредельной свободы. Надо противостоять этому искажению, пытаться в любой из этих искажающих ситуаций оставаться самим собой.

Г. Померанц. Интерпретируйте понятие «чрезмерная свобода».

Б. Сарнов. Чрезмерная свобода — это опьяненность возможностью говорить все что заблагорассудится, упиваться ниспровержением вчерашних кумиров. Очень часто в разговорах с умными, образованными, искренне уважаемыми мною людьми я слышу: «Горький? Да ведь это же не писатель! Стоит ли всерьез говорить о нем как о крупном художественном явлении?», «А. Н. Толстой? Да ведь это пошляк. Продавшийся, рептильный литератор, не имеющий никакого отношения к настоящей, подлинной русской литературе!» А когда я пытаюсь возразить, что Горький написал не только роман «Мать», когда я напоминаю, что А. Н. Толстой автор не только «Хлеба» и бездарных «Рассказов Ивана Сударева», но и таких изумительных вещей, как «Ибикус» или «Детство Никиты», на меня глядят как на умственно отсталого.

Вот, скажем, книга о Маяковском присутствующего здесь Юрия Карабчиевского. Она пользуется огромным успехом. И успех этот не случаен. Но вот это и есть — то, что я называю искаженностью чрезмерной, беспредельной свободой.

Я признаю за Карабчиевским право выплеснуть в самой резкой, даже грубой, обидной форме все, что у него там накипело против Маяковского. Так же как я признаю за Синявским право на эту злополучную фразу «Россия — сука!». В этой несчастной фразе, тенденциозно вырываемой из контекста, я слышу гораздо больше истинной любви к России, искренней боли за Россию, чем во множестве сладкоречивых заклинаний о своей преданности обоготворяемому отечеству. Вообще должен сказать, что недорого стоит любовь, которая вменяется тебе в обязанность, когда ты дол-

жен на каждом шагу декларировать эту свою любовь, делать всякого рода словесные заверения: «Я, мол, люблю папочку и мамочку, но в данном случае, папенька, извини, ты не прав. В данном случае, маменька, прости, но я с тобой не согласен». Это уже не подлинная сыновняя любовь, а чистейшей воды лицемерие.

Так вот, я признаю право художника на любое самовыражение, на любой выплеск чувств, если они подлинные, искренние. Синявский в своих «Прогулках с Пушкиным» самовыражается как художник. И это его право. И Карабчиевский в своей книге самовыражается как художник. И тут совершенно не важно, в какой форме осуществляется это самовыражение — в форме лирического стихотворения, в форме романа или в форме квазилитературоведческого сочинения.

Но одно дело — художественное самовыражение, и совсем другое — попытка установить некую реальную шкалу ценностей.

Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ. Так случилось, что в последние пятнадцать лет я печатался едва ли не во всех эмигрантских журналах, кроме тех, что представлены здесь сегодня своими главными редакторами, то есть кроме «Синтаксиса» и «Стрельца». Не печатался, впрочем, и в «Континенте», журнале полярном или даже враждебном «Синтаксису». Все это не намеренно, не по выбору, просто так складывалось само собой. «Вестник РХД», «Время и мы», «22», «Грани», «Страна и мир»... И поскольку мы здесь, в этом разговоре, обращаемся не только друг к другу, но и к читателям «Иностранной литературы», я попробую сказать хотя бы несколько слов о каждом из этих изданий. Я скажу именно об этих пяти, чьи редакторы к нам, к сожалению, не приехали, не сочли нужным или возможным.

«Вестник русского христианского движения» издается в Париже. Название говорит само за себя. Хотя должен сказать, что тематика журнала шире его названия, по крайней мере так было в 70-е годы. У меня, например, в «Вестнике РХД» напечатано эссе о Мандельштаме, чисто литературное, где о христианстве и вообще о религии нет, по-моему, ни единого слова. Это, кстати, и была моя первая публикация в зарубежном издании — лет шестнадцать назад... главный редактор Никита Струве.

«Грани» — ФРГ, Франкфурт-на-Майне. Главными редакторами были: Наталья Тарасова, Георгий Владимов (недолгое время), затем — Екатерина Самсонова-Брейтбарт. Журнал издательства «Посев» — суховатый, жестковатый, не чуждый прямолинейной антипропаганды, но вместе с тем печатавший много хорошей прозы и публицистики. Здесь, в частности, впервые была напечатана повесть Георгия Владимова «Верный Руслан».

«Время и мы» — Нью-Йорк, Иерусалим, Париж. С 1976 года издавался в Иерусалиме, с 1980-го — в Нью-Йорке. Главный редактор — Виктор Перельман. Журнал широкого охвата, свободной тематики, один из самых «емких» эмигрантских журналов. По емкости и многообразию рубрик похож на «Континент», но при этом лишен континентовской жесткости и мрачноватости — веселей, свободней.

«22» — общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СССР в Израиле. Действительно, вполне интеллигентное издание. Публикует самых различных авторов из России, Европы, Америки, но имеется некоторый, вполне естественный, уклон в сторону израильской и еврейской тематики. Напоминает наши лучшие республиканские русские журналы: «Даугаву», «Литературную Грузию», «Литературную Армению». Хотя переводов все-таки меньше, больше оригинальных русских произведений.

Используя наши привычные термины, можно сказать, что все эти журналы — литературно-художественные и общественно-политические — вроде «Нового мира» и «Октября», хотя все они объемом значительно меньше, а размером похожи, не к ночи будь сказано, на «Молодую гвардию». В этом ряду «Страна и мир» стоит особо. Это журнал общественно-политический, беллетристики он не печатает, и это никак не его недостаток, а даже скорее, быть может, достоинство. Очень разносторонний и вместе с тем очень цельный, сильный, умный журнал. Я бы не хотел обидеть никого из редакторов, ни присутствующих, ни отсутствующих, но, по-моему, сегодня «Страна и мир» — самый интересный из всех зарубежных журналов. Он как будто заранее был рассчитан на сегодняшний особый интерес к публицистике, эссеистике, критике и своей оперативностью и объективностью, да просто уровнем разговора выгодно выделяется и ничуть не забивается бесконечным потоком публицистики советских изданий. Редакторы — Кронид Любарский и Борис Хазанов.

Я согласен с Марией Васильевной Розановой, что близкий по духу к «Стране и миру» «Синтаксис» — очень хороший и даже прекрасный журнал. Но он все же как-то скромнее, домашней, что ли. Это тоже не недостаток, а быть может, достоинство, во всяком случае, вполне положительное качество. «Страна и мир» — мощнее, шире, значительней.

Вот в этих журналах я в основном печатался, так же, допустим, как Григорий Померанц; жил здесь, а печатался там. Я думаю, в жизни не только моей, но и всей российской интеллигенции эти журналы сыграли особую роль. Здесь Анастасьев заметил, что эмиграция для литератора — это, видимо, большая беда. Во все времена, когда я примерял на себя эмиграцию — а кто из нас ее не примерял хоть раз? — я именно как беду ее и рассматривал. Но поскольку я все-таки этой беды для себя избежал, то осталось и утвердилось у меня к эмиграции, а вернее сказать, к русской диаспоре, отношение благодарное и даже какое-то, я сказал бы, возвышенно-сентиментальное. И это главным образом из-за книг и журналов, из-за поразительной, согласитесь, возможности: все что хочешь по-русски читать и что хочешь печатать.

И вот я думаю, что какой бы бедой ни была эмиграция для отдельных людей, в том числе — и особенно — для литераторов, для России в целом она явилась большой удачей, исключительной возможностью сказать и услышать свободное слово. Страшно подумать, что этого могло и не быть!

Традиционно-российское выражение «пи-

шет в стол» стало звучать слегка насмешливо. Стал как бы сам собой подразумеваться вопрос: почему же в стол, а не в «Синтаксис», не во «Время и мы»? То есть ясно, конечно, почему — потому что страшно и никто этот страх осудить не смеет, но в этом страхе уже не было безвыходности, тупиковости выражения «в стол». Страшно — но в принципе возможно, и даже нестрашно...

Постепенно втягивались, привыкали. Напечатал — и ничего, и жив, и цел. И опять напечатал — и снова жив, и еще, и еще. Вызвали, строго поговорили — напугали до смерти. Но какой выход? Ведь точно известно, что самое опасное в отношениях с н и м и — соглашаться и слушаться. Значит, остается писать дальше и снова печатать. Вот так и жили...

Надо сказать, что каждый раз, когда я вспоминаю о тех временах, и особенно о собственных бедах и тяготах, я всегда опасливо оглядываюсь: нет ли рядом кого-либо из тех, кто прошел весь путь до конца. А тут оказывается, что как раз сегодня я сижу между двумя сразу. Справа от меня давний зек Григорий Померанц, слева — недавний, уже «перестроечный», Лев Тимофеев. И это, конечно, приводит меня в смущение. Испытываешь определенный комплекс вины оттого, что они прошли через самое страшное, а ты вроде бы тоже должен был, а не попал...

Б. Сарнов. Ну, это недосмотр, это вас не касается... (С м е х.)

Ю. Карабчиевский. Как знать, как знать... Но конечно, эта незримая, хрупкая нить: здешнее, тайное, урывками, писание — пересылка рукописи — тамошний журнал — пересылка журнала — здешние читатели, среди которых, ты это знал заранее, едва ли не первым будет гебешный следователь,— все это создавало особую напряженность жизни, каждого ее момента. И поэтому сам процесс чтения был чем-то тоже особым, важным, значительным. Ведь мы, по сути, многие годы читали только эту литературу, только эти журналы. И если договаривались по телефону: «Принеси мне, допустим, «Новый мир» — то это означало: принеси «Синтаксис»...

М. Розанова. А когда вы говорили «принеси мне «Наш современник» — это что означало?

Ю. Карабчиевский. Означало — «Континент»... Я, конечно, сейчас придумал... Это могло означать что угодно, соответствие было не обязательным и даже скорее наоборот. Хотя, например, тонкий журнал «Посев» — орган Народно-трудового союза, достаточно скучный, примитивно-партийный,— проходил под именем «Огонек», так его назвала Наталья Кузнецова, жена Георгия Владимова... Ну, а «Континент», невзирая на все претензии, все-таки далеко не «Наш современник».

Я, кстати, долго не мог привыкнуть к этой журнальной поляризации и даже, как оказалось, вражде. С нетерпением ждал любых изданий оттуда и даже почти не различал названий. Привезли «Синтаксис» — замечательно, «Время и мы», «Грани» — прекрасно! Все мы с ходу хватали и залпом проглатывали от первой и до последней страницы. Все казалось монолитным, объединенным идеей свободы. И таким же монолитным казался читатель, здешний и тамошний... Открывшаяся нам со временем вражда направлений внутри эмигрантской литературы и даже, как оказалось, непримиримая, личная вражда литераторов была для нас большим огорчением и большим разочарованием. Ведь даже слова такого «эмигрантские» не принято было произносить. О журналах говорили «западные» и «свободные»...

Теперь несколько слов о их содержании. Здесь Мария Васильевна говорила о слабости или даже отсутствии эмигрантской критики. Я скорее согласен с Бенедиктом Михайловичем: критика, по-моему, очень неслабая и вполне выдерживает сравнение с нашей. А слабее, ниже по уровню как раз беллетристика, проза. Здесь, по-моему, происходит некоторая путаница, часто путают книги, написанные т а м, с книгами, написанными з д е с ь и изданными т а м. То, что сейчас публикуют в советских журналах под рубрикой «Литература русского зарубежья»,— это по преимуществу все же книги, написанные в России и изданные на Западе. Весь Синявский... Ну, не весь, но главные его вещи, вокруг которых идут сегодня шумные споры, все лучшее, на мой взгляд, из того, что он написал: «В тени Гоголя», «Прогулки с Пушкиным»...

С места. «Спокойной ночи» — последняя, очень хорошая!

Ю. Карабчиевский. Я не читал, прошу извинить. Хорошо, допустим, лучшее из того, что я знаю. Ну, с Синявским — вообще чудеса. Он мало того, что замечательные книги, на мой взгляд, все-таки лучшие, написал в России — он написал их в лагере! Это просто фантастика, и об этом, читая, невозможно забыть. Я знаю лишь один такой же пример, тоже продукт шестилетней отсидки: «Место и время» Михаила Хейфеца. Но и у других писателей русской диаспоры я не могу назвать ни одной книги, которую бы я любил и которая была бы написана вне России. Это, кстати, относится только к третьей, вот этой, теперешней, эмиграции. Прозаики первой, послереволюционной, волны как раз на Западе написали прекрасные, быть может, лучшие свои произведения. Можно порассуждать на эту тему, подумать, в чем здесь причина. Отчасти, наверное, в том, что те писатели знали Европу, бывали в ней прежде, живали подолгу; да и уезжали они из страны, еще недавно, что ни говори, свободной — свободной для выезда, и для торговли, и от цензуры... Так что переход в другую жизнь не был для них таким резким, таким оглушительным, как для наших теперешних семидесятников, вырвавшихся из нашей Большой Зоны в большую, чужую и как бы пустую Свободу...

Напрашивается вполне тривиальный вывод, что сегодняшнему русскому писателю т а м жить невозможно; то есть можно жить (даже очень можно!), но нельзя писать. Я этот вывод не тороплюсь обобщать, распространять на любого пишущего, но всегда для самого себя имею в виду... Что же касается критики, то здесь, повторяю, есть, на мой взгляд, работы очень и очень хорошие.

В подтверждение тезиса о слабости эмигрантской критики Мария Васильевна цитировала статью Георгия Иванова. Ну а сам Георгий Иванов? А Владислав Ходасевич? О таком уровне критики только мечтать. Критик — посредник между читателем и писателем? Не думаю. Во-первых — какой серьезный писатель, да и какой серьезный читатель нуждается в посреднике? Нет, настоящая критика — род литературы, и это тем справедливей, чем она талантливей. Серьезный критик, так же как беллетрист, обращается к провиденциальному собеседнику в не меньшей, а, может быть, в большей мере, чем к собеседнику конкретному, сегодняшнему. Но поскольку его материал уже опосредован, не связан впрямую с окружающей его реальностью, то и все исходные его впечатления с этой реальностью связаны мало, и именно это обстоятельство позволяет критику работать в гораздо меньшей зависимости от места жительства. Ломка жизни для него менее существенна, так мне кажется. Так что здесь, я думаю, все чуть-чуть наоборот... И в сегодняшней эмигрантской критике есть, на мой взгляд, имена замечательные.

М. Розанова. А кто ваш любимый критик в эмиграции?

Ю. Карабчиевский. Прежде всего — Вайль и Генис. По-моему, просто блестящие авторы, умные головы, легкие перья... Я не люблю, когда пишут скучно, пусть даже умно. А они пишут умно — и весело. Есть и еще... Тут я должен сказать, что не очень хорошо разбираюсь в жанрах и, кстати, читая Григория Соломоновича, которого высоко ценю, часто путаюсь: что̀ есть критическая статья, что̀ эссе, а что́ — философский, допустим, очерк...

Г. Померанц. А я и сам не знаю.

Ю. Карабчиевский. Но если обозвать словом «критика» все, что не есть беллетристика, то обнаружится достаточно много авторов, работающих на самом высоком уровне. Здесь уже упоминали Бориса Парамонова и Льва Лосева. Добавим сюда Наталью Рубинштейн, Игоря Померанцева, Майю Каганскую, Бориса Хазанова, Иосифа Бродского наконец... И тех, кого я наверняка пропустил и кто, надеюсь, меня простит. Так что с критикой, мне кажется, в эмиграции все в порядке, уж во всяком случае не хуже, чем здесь, у нас. С беллетристикой — хуже. Хотя, безусловно, что и в те времена мы воспринимали все там напечатанное как именно идущее оттуда, с Запада, даже если написано было в России. И коль скоро нас сюда пригласили в качестве авторов тамиздата, то, быть может, стоит несколько слов сказать об авторских своих ощущениях.

Что значило: жить здесь, а печататься там? Ну, во-первых, конечно — поразительное чувство свободы. Это ведь была не та свобода, которая естественна и органична для любого западного писателя, будь он русский или европейский, не важно. Нет, тут важен был как раз градиент, полная внутренняя свобода (так, во всяком случае, казалось, что полная) среди почти полной внешней зажатости. Этот отрыв придавал всей жизни какую-то праздничность и приподнятость, и работа была удивительно радостной; особое, тонкое наслаждение! Но были в этой свободе и свои опасности. Нет, я сейчас имею в виду только творческую, литературную сторону. Григорий Соломонович сказал между прочим, что в статью, напечатанную в «Стране и мире», то есть в зарубежном, свободном издании, ему пришлось внести изменения для публикации в советском журнале... Я тоже столкнулся с такой необходимостью. Это, конечно же, не случайно, и дело здесь не только в цензуре. Существует, как оказалось, принципиальная разница в самом звучании слова в пространстве: в пространстве замкнутом, ограниченном — и в пространстве свободном, разомкнутом. Причем ограниченным для русского текста оказывается как раз свободный мир, а разомкнутым — читательская наша Россия.

Г. Померанц. Очень правильно. Ведь начинали мы оба с вами с самиздата, то есть мы писали друзьям, это была почти домашняя литература, в ней была уверенность, что тебя неправильно не поймут. А потом из меня тоже столько «сук» надергали, что я стал немножко осторожней.

Ю. Карабчиевский. Я, пожалуй, сказал бы об этом чуть-чуть по-другому. Для меня лично дело даже не в том, что читатель истолкует мое слово неверно потому, что он от меня далек, иначе думает и изъясняется. Я всегда обращался только к близкому, своему читателю и надеюсь, так оно будет и дальше, независимо от размеров аудитории. Я просто не умею общаться с чужими. Но в том-то и фокус, что это понятие «близкий читатель» — здесь, в России, обретает иное наполнение, становится разнообразным, порой бесконечным. И когда ты это осознаешь, ты начинаешь гораздо острее чувствовать все несовершенство собственного текста, любая неточность вопиет со страницы. Здесь просто совсем другая мера ответственности. И вот оказывается, что простая схема: печатался там — значит, был правдив и свободен, печатался здесь — значит, был зажат и неискренен,— эта схема далеко не всегда работает и уж точно не исчерпывает вопроса. Для начала я должен решительно заступиться, как бы сам перед собой, за тех писателей, которые публиковались в России. Не за всех, конечно, упаси Бог, но за некоторых — безусловно. За тех, которые не только не врали читателю, но и полностью, мне кажется, выражали себя, не выходя при этом за пределы позволенного. Вот Владимир Маканин — безусловно хороший писатель, но никогда я не чувствовал в его повестях никакого стремления выйти за рамки, сказать больше, чем сказано. Это ведь чувствуется обычно, а здесь — не было. Но не было, думаю, и самоограничения, просто человек так бы̀ет устроен, что в любой предложенный ему объем может уместиться весь без остатка. Такова, скажем, его судьба, таков изначальный настрой души. А другой чувствует, что нет, не может, что, ограничив себя, непременно соврет, и даже не оттого, что есть необходимость перейти границу, а уже от одного ощущения, что она существует. Это — другой настрой души, другая судьба. И может быть, я идеализирую, быть может, во мне говорит ностальгия, но кажется мне, что в те времена мы уживались достато-

но мирно, во взаимном сочувствии. Я не помню в себе какой-либо зависти к тем, кто публиковался здесь многосоттысячными тиражами, в то время как я мог рассчитывать в лучшем случае на несколько десятков тайком провезенных журналов, да еще, быть может, на несколько тысяч радиослушателей, интерес которых к литературе оказался бы сильнее глушилок. Для меня советских редакций и советских издательств просто не существовало в природе, я о них и не думал. Другие же в этом и этим жили, и были среди них — не много, нет, но все-таки были — уважаемые и даже любимые мною авторы. И если по каким-то своим убеждениям и, конечно же, по образу жизни мы с ними расходились, то гораздо важнее, выражаясь словами А. Д. Сахарова, было то, что нас тогда объединяло. Например, глубокий подпольщик Юз Алешковский, чьи «рòманы», как он их называл, даже в самиздате ходили без имени автора, мог сказать о только что вышедшей в советском издательстве новой книге Фазиля Искандера: «Молодец Фазиль, рад за него, славную накатал книжицу!» Это было нормально, это было в порядке вещей. (У того же Искандера «Сандро из Чегема» был наполовину урезан цензурой и полностью вышел только на Западе, но это — детали...)

А с другой стороны, те, кто публиковался т а м, проходили особое испытание — испытание свободой. Есть такие замечательные стихи у Дмитрия Пригова, написанные еще в 80-м году: «Нам всем грозит свобода, свобода без конца, без выхода, без входа, без матери-отца, посередине Руси, за весь прошедший век — и я ее страшуся, как честный человек».

Здесь, конечно, имелась в виду свобода в стране, но в такой же мере этот «страх свободы» был оправдан и по отношению к литературному процессу. В тамиздате появлялось множество произведений халтурных, расхлябанных, где единственным достоинством было нарушение привычных запретов, причем не обязательно даже политических или эстетических, но запретов нравственных и лексических. Как раз та самая «чрезмерная свобода», о которой говорил здесь Бенедикт Сарнов... Тут, впрочем, надо бы определиться. Сейчас много спорят — и читатели, и критики, и оказавшиеся в трудном положении редакторы (как раз в связи с публикациями тамиздатских авторов, а также некоторых переводов) — о том, можно ли использовать мат в русском литературном тексте. Я вырос, что называется, в низах городского общества, полжизни прожил среди работяг, в устной речи в ответ на крепкое слово не дергаюсь, да и сам не гнушаюсь, если приходится к мéсту. И однако же, я глубоко убежден, что традиционное целомудрие русского литературного языка происходит не от косности его и отсталости или от какого-то особого ханжества, но является его органическим, необходимым качеством. Тут, конечно, сразу готово возражение, список замечательных русских писателей, все-таки позволявших себе н а р у ш а т ь — от протопопа Аввакума до Венедикта Ерофеева. Я думаю, на это нетрудно ответить: есть мат — и мат. Есть ругательства, присказки, без которых — как же в России? Но эти, так называемые «крепкие выражения» давно утратили первоначальный, буквальный смысл, его в них могут увидеть только иностранцы, недостаточно свободно владеющие языком, или прямолинейные каламбуристы. Это стопроцентные идиомы, и выражают они лишь словесную энергию, несут только безличную эмоциональную нагрузку. Есть еще матерные эвфемизмы — чисто русское, по-видимому, явление, когда из трех-четырех корней с помощью различных приставок и суффиксов формируется чуть ли не весь насущный слозарь. И то, и другое в литературу войдет и уже входит. Хотя, конечно, уместность и частота использования остаются для автора вопросом вкуса и чувства меры... Но есть и другое: прямое обозначение — я бы сказал, прямое обругивание,— буквальное называние или, точней, обзывание — конкретно существующих предметов и действий. Слова, призванные быть ругательствами, таковыми и бывшие на протяжении многих столетий, предлагаются читателю в качестве терминов и вместо традиционных иносказаний, тех, что также на протяжении многих лет добросовестно и вполне исчерпывающе означали то, что им полагалось. Вот этого, как хотите, я принять не могу. И конечно же, литературный язык — организм живой и самостоятельный, он не спрашивает нашего согласия на нововведения, что-то принимает, что-то отвергает, исходя из внутренних своих законов; но думаю и, честно говоря, надеюсь, что э т о г о он тоже не примет, а если примет, то уж точно себе не на пользу... Оставим в стороне вопросы нравственности, будем рассуждать лишь с точки зрения технологии творчества. Грязное ругательство — именно так, я подчеркиваю, г р я з н о е, этого языкового урку, вора в законе,— предлагается амнистировать, реабилитировать и ввести равноправным членом в нормальное общество. В информирующую, членораздельную речь. В повествовательное предложение... Я могу сказать только одно: язык, использующий матерные — нет, не ругательства и не фольклорные эвфемизмы,— язык, использующий матерные т е р м и н ы, обречен на утрату иерархии слова, на потерю нюансов, на провал выразительности. Убежден: это губительный путь. Бог даст, пронесет... И здесь есть обнадеживающие признаки: те, наиболее известные наши эмигрантские авторы, которые преуспели в данной области, упившись свободой на всю катушку, насытившись вдоволь и насладившись, теперь, сколько я могу судить, отказываются от мата как термина, да и проходные выражения матерные начинают использовать куда как экономней, далеко не с той, прежней безоглядной щедростью. Вообще любопытно: главную беду литературы мы видели даже не в цензуре, но в редактуре. В этом, кстати, был пафос «Метрòполя»: избежать редактуры, обойти посредников, каждый как написал, так напечатал, не изменяя ни слова... Я-то, собственно, так всегда и работал и очень был этим горд и доволен. И вот лишь теперь, когда стали возможны публикации здесь, я понял, как неоднозначна и эта свобода — свобода от редактора. Я увидел, какая замечательная вещь — доброжелательный редактор. Мне казалось, что чувство профессионализма, чувство ответст-

венности перед читателем, перед словом, наконец перед самим собой — верная гарантия от всякой халтуры. Оказалось — нет, далеко не всегда. Оказалось, необходимо и собственное новое прочтение, и сверх того, взгляд со стороны, острый и опытный.

Но конечно, я сейчас говорю о человеке, редакторе, который может быть плохим и вредным, а может быть хорошим и нужным, а не о советской системе редактуры вообще. О ней я тоже за эти два года успел получить представление, и это лишь укрепило меня в чувстве благодарности эмигрантским журналам, с которыми мне пришлось... или, лучше сказать, посчастливилось сотрудничать — за их демократичность, за их широту, за безоговорочно уважительное отношение к автору.

Я благодарен и редакции «Иностранной литературы», пригласившей нас всех за этот стол, потому что, каковы бы ни были намерения и каков бы ни был результат разговора...

Н. Анастасьев. Насчет результата не знаю, а намерения были хорошие.

Ю. Карабчиевский. Да нет, я не подвергаю сомнению чистоту намерений, я говорю об их, так сказать, содержании, то есть о том, что̀ именно вы хотели извлечь из этой встречи — для нас, для себя, для читателей. Так вот, каков бы ни был результат разговора, в любом случае хорошо, что он состоялся. Это наша посильная дань тамиздату, всему тому, чем мы жили и чем дышали. Мы ведь не надеялись на то, что положение изменится, да еще настолько быстро и настолько круто. Мы были уверены, что так и помрем авторами самиздата и тамиздата. Оно изменилось, и слава Богу, но что же дальше? Все советские журналы, все огромные их тиражи держатся сегодня только на том, что перепечатывают, порой без ссылок и уж почти никогда — с благодарностью, из журналов русского зарубежья. Больно думать, что эти журналы, которым мы стольким обязаны и как авторы, и как читатели, сейчас в упадке и могут не выдержать конкуренции многотиражных советских изданий. Мне кажется, мы должны бы что-то сделать для них, как-то им помочь, как-то их поддержать, небескорыстно, быть может. У них ведь тоже кое-что есть: опыт свободной издательской деятельности, прекрасная типографская техника — и сколько угодно белой и гладкой бумаги...

Л. ТИМОФЕЕВ. Я, признаться, шел сюда как слушатель, потому что, видимо, не вполне правильно понял тему нашей сегодняшней беседы. Мне сказали, что речь пойдет о значении зарубежных русскоязычных журналов в контексте мировой культуры. И меня эта тема несколько удивила. Я бы ничего не мог сказать о значении зарубежных русскоязычных журналов в контексте мировой культуры и пришел послушать, что же скажут другие. Но никто об этом ничего не говорит. Может быть, такого значения и нет, а может быть, оно и есть, но для нас не важно, потому что, конечно же, нам-то важнее значение русского слова здесь, в нашей стране. И вот о таком значении, я думаю, можно бы и нужно говорить.

Я вообще готов взглянуть с трех различных точек зрения на эту тему, которая нас сегодня интересует.

Во-первых, я — читатель эмигрантской литературы. Причем как читатель очень хорошо был замечен органами Госбезопасности. И в протоколах, и в обвинительном приговоре часто повторяется такой штамп: под влиянием чтения западной литературы и прослушивания радиопередач он (она) совершил(а) то-то, то-то и то-то.

Я один из тех, кто совершил нечто именно под влиянием чтения вышедших на Западе книг и журналов. Вот в этом качестве мне было бы интересно задаться вопросами, потому что ответы на них для меня совсем не однозначны. Может быть, эти вопросы будут интересны и другим.

Во-вторых, я тоже, как и мои коллеги, сидящие здесь, печатался на Западе. Может быть, у меня не было такого стажа, как у Померанца и Карабчиевского, но начиная с 80-го года я опубликовал на Западе несколько статей...

И наконец, в-третьих,— я редактор. Причем редактор журнала, который выходит здесь, в Советском Союзе, и смею думать, журнала столь же независимого, как и те, которые издаются на Западе. Я издаю журнал «Референдум». Тираж «Референдума» даже в том качестве, в том виде, в котором мы его публиковали до недавнего времени — с помощью ксероксов,— уже был вдвое, а иногда и более чем вдвое, выше тиражей некоторых западных изданий. И здесь, пожалуй, уместно сказать об одной ошибке организаторов сегодняшнего собеседования. Если публиковать разговор с Александром Глезером или Марией Розановой, я думаю, начать надо было с того, чтобы познакомить читателя с журналами этих издателей. Ну, скажем, взять и представить «Синтаксис», опубликовав ряд статей из него, рассказав об истории его издания, и т. д. Или рассказать о «Стрельце», или о «Континенте» Максимова, и тогда читателям было бы понятно, о чем, собственно, здесь мы говорим.

Возвращаясь к своему опыту в качестве читателя, автора и издателя, хочу согласиться с Юрием Карабчиевским, который резонно заметил, что теперь стал меньше читать западные издания. Я тоже вижу, что и я вот стал меньше читать эмигрантские издания, хотя доступ к ним у меня есть и я регулярно ставлю их на полку... И знаю, что многие стали меньше читать. Понятно почему. Потому что и в советских изданиях появилось много публикаций авторов, живущих на Западе, и некоторый флёр потаенности, который всегда был на литературе, изданной там, теперь как-то снимается, и идет уже соревнование по прямому счету — соревнование качеством материалов.

Но конечно, границы еще не совсем открыты для свободного движения интеллектуальных ценностей, да и просто для обмена информацией. И об этом надо говорить.

Почему до сих пор существуют какие-то препятствия, которые мешают т а м изданные журналы свободно распространять з д е с ь? Что за совершенно непонятная, средневековая какая-то ситуация? Если уж мы так часто вспоминаем теперь о право-

вом государстве, то начать-то разговор о западных изданиях надо было, видимо, именно с того, чтобы допустить их на советский рынок, дать их советскому читателю и подписчику.

Я думаю, что эта нелитературная проблема сегодня первоочередная. Если «Стрелец», «Синтаксис», «Русская мысль», «Континент» станут здесь издаваться, то тогда я вообще не понимаю, какая разница будет между тамошними и здесь издающимися журналами. Вопрос только чисто технический остается — где печатать? Там действительно проще и легче,

Но тогда вы будете покупать бумагу за валюту и прочие расходы оплачивать тоже твердой валютой. А здесь продавать журналы — за рубли. Как не прогореть?.. Тут есть над чем поразмышлять...

Меняются взаимоотношения между журналом и публикой, возникают новые издательские проблемы. Нельзя забывать, что издательское дело — это производство. Надо понять, какая же разница между журналом, который издается здесь, и журналом, который издается там.

Вот на эти темы мне было бы очень интересно послушать мнение уважаемых издателей и извлечь какой-то опыт для себя. Что же касается комплиментов тамошним издателям, то они уже все сказаны. Я могу к ним только присоединиться. Я хорошо помню и свой очень личный, очень интимный опыт освобождения письменной речи. И произошло это освобождение только благодаря чтению таких авторов, как Солженицын, Синявский, Амальрик и ряда других. Нам, людям, выросшим, воспитанным в понимании, что разрешено только то, что в пределах очерченного круга, который одни воспринимали как все мироздание, а другие как лагерную зону — они раскрыли все богатство возможностей современного литературного слова. Это несомненно.

Сегодня же мне просто хочется понять, как нам жить, сосуществовать, сотрудничать и дальше издательское дело развивать. Я думаю, что без решения многих не вполне литературных, а иногда вовсе не литературных проблем наш литературный разговор останется несколько оторванным от жизни.

А. Глезер. Я сначала отвечу вам: что будет с журналом, если он будет выходить здесь.

Скажем, четвертый номер «Стрельца», очевидно, выйдет в Грузии стотысячным тиражом. Не в Москве, потому что по чисто эстетическим причинам — из-за Ю. Мамлеева — здесь он не может быть напечатан. А в Грузии еще и потому, что одна треть журнала посвящена грузинской литературе, искусству и публицистике лидеров национально-освободительного движения Грузии. А с пятого номера журнал будет печататься в Москве.

Но вообще я сегодня не собирался говорить на ту тему, на которую сейчас буду говорить. Так как речь коснулась больной лично для меня темы, даже очень больной, а именно великого нашего писателя и гуманиста Александра Исаевича Солженицына, я промолчать просто не могу. Накануне моего нынешнего отъезда из Парижа у меня был разговор с одним из наших писателей, который мне сказал, что, на его взгляд, Солженицын ошибся, разрешив печатать в Советском Союзе свои произведения. Конечно, они дойдут до России, до русского народа, но зато он подставил себя под удары, которые ему готовы здесь нанести. Причем было названо несколько имен, и в том числе ваше имя, Бенедикт Михайлович, я как-то не очень поверил в это, но теперь вижу, что мой собеседник оказался прав.

В течение 15 лет Солженицына травит не только наша эмигрантская пресса, но и французская и западногерманская. Ничего подобного не писалось про Солженицына даже в застойные времена в прессе брежневского периода.

На страницах «Синтаксиса» и других эмигрантских изданий Солженицына как только не называли: и великим инквизитором, и змеей, которая уползла из России, оставив в ней свой хвост, и пятой колонной советской пропаганды... Я могу привести еще очень много примеров, потому что выступал на международной конференции, посвященной Солженицыну, которую литературный русский центр «Стрелец» провел к 70-летию Солженицына, Хочу обратить внимание на поздравление Александру Солженицыну: «Участники международной конференции, посвященной Вашей жизни и Вашему творчеству, поздравляют Вас с семидесятилетием и желают Вам неиссякаемой духовной мощи, света и творческой воли на благо великой культуры русской и всех нас. Как не стоит ни село, ни город, ни вся земля наша без праведника, так немыслима преображенная Россия без своей совести, без Писателя, без Вас. Многие лета». Но обратите внимание на подписи — где же наши известные писатели?

Скажем, Георгий Владимов четко и неадусмысленно принял приглашение, но потом передумал, так как Солженицын не ответил на одно его письмо. Я спросил его: «А на сколько ответил?» — «На восемь». Вы знаете, это очень странная причина.

Кто читал или слышал о последнем романе Войновича, понимает, что Войнович не мог принять участие в конференции, хотя его и приглашали. Максимов также отказался приехать. Более того, «Континент» — это главный с точки зрения объема и важности журнал за исключением одной статьи, и статьи хорошей, Лосева об «Августе четырнадцатого», ничего о «Красном колесе» не написал. А ведь опубликованы и «Октябрь Шестнадцатого» и «Март Семнадцатого», то есть уже три тома. Я считаю, что книга, написанная об истории России, не может не вызвать отклик на страницах основного русского журнала.

Правда, вы можете задать мне вопрос: а может быть, оппоненты Солженицына действительно не думают, как они говорят? Осмелюсь заявить, что нет. Потому что оппоненты Солженицына пользуются давно известными приемами: или вырывается у Солженицына фраза и ей придается прямо противоположный смысл, или цитируется некто Шиманов, который называется учеником Солженицына, а потом это уже преподносится как текст самого Солженицына.

Я неоднократно предлагал оппонентам Солженицына снять зал, то есть я сниму зал, пригласим западных журналистов и проведем открытую полемику. Никто на это не откликнулся.

Я предлагал всем этим людям такую встречу, когда можно схватить за руку при неправильном цитировании, а не так, что кто-то напечатает, а потом где-то ответят. Ведь «Фигаро» читают одни читатели, а «Монд» — другие, и они даже не могут обменяться мыслями, потому что это разные газеты и разные точки зрения. Так, скажем, «Синтаксис» читают одни читатели, а «Континент» — другие, и они тоже не обмениваются точками зрения.

Мало кто знает, что на самом деле делает Солженицын. Я думаю, что никто здесь не знает о том, что Солженицын — я и сам это узнал случайно от водителя лимузина, который у меня, между прочим, работает заместителем редактора (я никак не оскорбляю ни сторожей, ни лифтеров, ни лимузинщиков),— он привозил просто продукты в школу для детей неимущих, которую Солженицын открыл недалеко от Вермонта. Большинство учеников составляют евреи, и мало того, что евреи, но евреи с Брайтон-Бич, так что старший сын Солженицына, преподавая в этой школе, говорит сейчас с небольшим одесским акцентом. Стал бы антисемит, в чем его обвиняют все эти граждане, подобным заниматься? Нет.

Бывшая корректор журнала «Стрелец» сейчас переехала по состоянию здоровью в Вермонт, ей дает работу Солженицын. Какая это работа? Когда он начал писать свое «Красное колесо», то обратился к эмиграции, к первой эмиграции в частности, с просьбой присылать ему письма и рукописи для более полного знакомства с атмосферой тех лет. Ну, конечно, большинство из них просто не подходило, присланы тысячи рукописей. Солженицын предложил моей бывшей сотруднице перепечатывать эти рукописи, потом они переплетаются, ставятся в отдельную комнату и предназначаются для библиотеки будущей свободной России. Между прочим, никто этого в эмиграции не только не делает, но если бы еще и делал, растрезвонил бы по всем эмигрантским газетам для саморекламы.

Когда я выпускал книгу Доры Штурман «Городу и миру» о публицистике Солженицына, у меня возникло сомнение насчет обложки, которую готовил художник, и портрета, который он предложил. Я думал встретиться с женой Солженицына в церкви, которую она посещает, и через своего корректора попросил ее об этом. И Наталья Солженицына ответила, что мы вам доверяем, но не нужно, ради бога, этой встречи, потому что если нас увидят вместе, то решат, что Солженицын финансирует эту книгу.

Представляете, до какого состояния нужно довести человека, чтобы бояться такой встречи? А между прочим, в последнем своем интервью издателю «Штерна» он трижды заметил: обо мне лгут, как о мертвом.

Понимаете, я не призываю ни к какому культу Солженицына. В своей книжке Дора Штурман за многое его критикует, но она развенчивает те мифы, те антисолженицынские легенды, которые были созданы за 15 лет эмиграцией.

Я не призываю петь кому-либо «аллилуйю», но не могу не сказать о том, что Солженицын с огромным опозданием только сейчас пришел в Россию и очень многое может дать русскому, да и не только русскому народу. Поэтому, мне кажется, говорить о том, что начинается обожествление Солженицына, что воздвигается пьедестал для него,— это неправильно. Есть достаточно сил, противящихся публикации Солженицына. Более того, мы знаем, что год назад была запрещена публикация Солженицына, и смешно думать, что эти люди исчезли. Они сохраняются, и, по-моему, не надо давать им оружия в руки. Извините за эмоциональность.

Л. Тимофеев. Я хочу вернуться назад, но не к Солженицыну, а к методологической ситуации, которая у нас возникла. Сарнов совершенно прав: сейчас появляется возможность новых литературных оценок. Эта возможность появляется благодаря тому, что публикуется и будет, видимо, публиковаться практически все, что было написано на русском языке за последние годы и что не было знакомо русскому читателю.

Сам факт, что здешняя литература и здешний читатель были оторваны от очень сильного, значительного пласта русской литературы, публиковавшейся на Западе,— этот факт дал совершенно иные критерии для оценок. Возник целый ряд авторитетов, которые сильно пострадают при сравнении с серьезной, большой общерусской литературой. Произойдет естественный процесс снижения оценок многих повестей и романов при сравнении с прозой Солженицына или произведениями Синявского — если брать совершенно противоположные стилистические школы.

Этот процесс мне кажется очень важным, и в контексте этого процесса, конечно, очень важна и очень интересна будет точная оценка любого литературного произведения, включая произведения Солженицына, как и всякого другого автора,— оценка с серьезной, обоснованной, фундаментальной литературоведческой позиции.

Мне кажется, что наша современная литературная критика страдает отсутствием литературоведческой подоплеки. Появляется легкая возможность, исходя из некоторой заранее как бы подразумеваемой идеологической позиции — той или другой — я не хочу сказать, что обязательно она односторонняя,— не дать себе труда анализировать литературное произведение именно литературоведчески.

Новая ситуация требует от критиков нового подхода. Все, что наработано и западными журналами с их литературной критикой, и то лучшее, что было наработано здешними публицистами литературно-критического толка, публиковавшимися там, скажем, Ю. Карабчиевским, у которого кроме книги о Маяковском, широко известной, есть совершенно блестящее эссе о «Пушкинском доме» Битова,— я думаю, что эта школа сегодня в литературной критике наиболее конструктивна и наиболее перспективна.

Б. Сарнов. Я думаю, не случайно в этой нашей беседе снова возникла тема Солженицына. Не хотелось бы, конечно, чтобы эта тема заслонила все прочие, не менее важные проблемы. Однако возникла она не случайно не только потому, что фигура Солженицына и все, что с ним связано, пред-

ставляет огромный самостоятельный интерес. Как я уже говорил, на этой теме очень хорошо просматриваются и проверяются все те проблемы, которых мы так или иначе касались в своих выступлениях: соотношение двух литератур и двух литературных критик, кто кого обогнал в осмыслении литературного процесса, скованность, заткнутый рот у нас и полная свобода выражения там... Все эти темы, хотим мы этого или не хотим, как лучи к центру, сходятся к фигуре Солженицына.

Государственная травля, которой Солженицын подвергался долгие годы, исключала возможность для каждого из нас, для каждого мало-мальски порядочного человека, живущего в СССР и пытающегося говорить о литературе, полностью исключала возможность даже самой мягкой полемики с Солженицыным, выражения малейшего несогласия с ним по какому-либо даже частному вопросу, потому что такая полемика, естественно, была бы воспринята читателем как присоединение к травле. В этом смысле у нас были связаны руки. Теперь они развязаны. И вот выясняется, что их пытаются связать снова, мотивируя это на сей раз уже другой, мифической травлей Солженицына, которую якобы ведут писатели русского зарубежья. Возникает привычная, хорошо нам знакомая уродливая ситуация. Раньше Горький носил титул «генералиссимуса всея литературы», сейчас этим титулом хотят увенчать Солженицына. Буквально те же формулировки, те же привычные словесные клише: «великий писатель», «великий гуманист».

Когда говорят, что самые мрачные силы нашей литературы пытаются забрать Солженицына себе, использовать его имя в своих целях, можно услышать в ответ: «Не надо отдавать!» Это, конечно, верно. Но прежде всего ему самому не следовало бы им «отдаваться». В той общественной и политической ситуации, которую мы сейчас переживаем, в ситуации, когда со страниц «Нашего современника» постоянно раздаются призывы откровенно расистского толка, когда дошло до того, что ведутся разговоры о чистоте расы, когда детей смешанных браков там сравнивают о мулами, которые, будучи «помесью кобылы с ослом», «изворотливы, хитры и коварны», вот в такой ситуации Вадим Борисов, доверенное лицо Солженицына, передает «Нашему современнику» роман своего доверителя, увеличивая тем самым тираж этого, мягко говоря, одиозного издания. Скажут: «При чем тут Солженицын! Не может ведь он отвечать за поступки Борисова!» Но я думаю, что писатель с таким огромным авторитетом не имеет права сидеть там, на своем вермонтском Олимпе и делать вид, что он понятия не имеет о том, что тут у нас происходит. На одном литературном вечере, где отмечалось 70-летие Солженицына, кто-то сказал: «Здесь, в президиуме, сидят самые близкие Александру Исаевичу люди. И они могут подтвердить, что с обществом «Память» у него нет решительно ничего общего!» На что сидящий в президиуме И. Шафаревич мгновенно отреагировал: «Что касается меня, то я не могу это подтвердить».

Я тоже хочу думать, что с обществом «Память» у Александра Исаевича нет ничего общего. Но я считаю, что ему давно следовало бы публично отмежеваться от таких своих друзей, как И. Шафаревич — автор позорной книги «Русофобия».

Теперь несколько слов о том, что тут говорил Юрий Карабчиевский. Одна высказанная им мысль мне особенно по душе. Мне вообще по душе, когда человек, оказавшийся в одной ситуации, обнаруживает готовность и способность понять тех, кто жил и работал в другой ситуации. Но мне кажется, что им здесь была проявлена чрезмерная терпимость. У него получилось так, что писатели, поставившие перед собою цель во что бы то ни стало, любой ценой публиковаться на родине, как бы выстроили себя, свой внутренний мир, все свои творческие устремления определенным образом. И им это удалось. И они при этом как-то даже преуспели. Мне кажется, что это было невозможно. Если эти писатели в чем и преуспели, так разве только в виртуозной технике самокастрации. Писатели, пытавшиеся работать честно, хотя бы даже и оставаясь в рамках официальной идеологии, преуспеть в этом так и не смогли. Не смог, например, Александр Бек, роман которого «Новое назначение» был опубликован на Западе и только недавно вернулся к нам о т т у д а. А уж о таких писателях, как Василий Гроссман или Юрий Домбровский, и говорить нечего. Ситуация складывалась такая, что все честные и талантливые писатели постепенно вытеснялись из официальной литературы. Одни вынуждены были уехать (Бродский, Коржавин, Войнович, Аксенов, Владимов). Другие, работая здесь, вынуждены были печататься там (Искандер, Битов). Третьи писали «в стол», и их книги только сейчас пришли к читателю.

Когда-то, давным-давно, я сформулировал это для себя так: «Писатель, которому в наших условиях удается напечатать все, что он написал,— НЕ ПИСАТЕЛЬ». Это, конечно, не значит, что для каждого настоящего писателя в те годы была обязательна установка на то, чтобы писать «в стол». Пишешь, надеясь напечатать. Но если попытка удалась, да еще удалась без потерь, значит — дело плохо. Значит, самокастрация удалась.

Тут, правда, необходима оговорка. Самокастрацией я называю любую попытку художника калечить, уродовать свой замысел в с а м о м п р о ц е с с е т в о р ч е с т в а. Любую попытку, как говорил Маяковский, наступать на горло собственной песне. В процессе творчества художник должен быть раскрепощен, внутренне свободен. Но потом... Когда начинаются взаимоотношения писателя с редактором, тут возможен компромисс. И я никогда не кину камень в тех, кто вынужден был печатать свои книги с купюрами, искажениями... Это приходилось делать и Искандеру, и Битову.

Когда я говорил о некоторых преимуществах эмигрантского существования, я имел в виду именно это: то, что в эмиграции писателю легче отстоять свою внутреннюю свободу. Лично я всерьез об эмиграции никогда не помышлял. Но были минуты, когда я почти презирал себя за это. Во всяком случае, я никогда не считал, что нежелание или неспособность уехать как-то меня украшают. Наоборот. Я думал, что не уезжаю только потому, что какая-то инерция жиз-

ни, быт, привязанности, ностальгические чувства, наконец, просто боязнь решительного поступка, боязнь перемен,— все это оказалось для меня существеннее, чем главное дело моей жизни. Что ни говори, все эти годы я работал далеко не с полной отдачей. Что-то я в себе искусственно погасил. Работал не так, как мог бы, если бы был вполне свободен.

Л. Тимофеев. А почему нельзя было вполне реализоваться, оставаясь здесь?

Б. Сарнов. Я вам отвечу, исходя из своего личного опыта. Уже довольно давно, больше двадцати лет назад, я разделил свою жизнь как бы вертикальной чертой. По одну сторону этой черты было все, что я писал, не рассчитывая на публикацию, потому что даже слабая надежда на это уже влекла бы за собой ту внутреннюю подстройку к ситуации, которую я для себя отверг. А по другую сторону черты была та часть моей литературной работы, которую я делал для печати. Разумеется, стараясь не кривить душой, но все-таки внутренне применяясь к обстоятельствам, считаясь с ними. Так вот, эта, вторая часть моей работы сперва занимала половину моей жизни, половину моего рабочего времени. Потом стала занимать две трети... Кончилось тем, что с в о е, предназначенное не для печати, я стал писать урывками. И это, естественно, очень мешало мне реализовать мои возможности в той мере, в какой я мог бы сделать это в других обстоятельствах.

Л. Тимофеев. Возможность жить здесь, а публиковаться там, она была, и многие этой возможностью пользовались.

Б. Сарнов. Я говорю сейчас не о возможности публиковаться, а о возможности реализовать себя. Прежде чем решить для себя вопрос — публиковать или не публиковать свои вещи на Западе,— надо было их н а п и с а т ь. Для меня главная трудность была именно в этом. Как я уже сказал, приходилось писать урывками, потому что я вынужден был тратить время и силы на другое. Не только на статьи, предназначавшиеся для печати, или на сочинение радиопьес, но даже на переводы с кумыкского. Надо было ведь жить, кормить семью. Ну а кроме того, чтобы решиться публиковать свои книги на Западе, помимо смелости, которой, быть может, мне не хватило, нужна была еще и известная гордыня. Нужна уверенность, что твои сочинения с т о я т того, чтобы ради них «идти на костер».

Г. Померанц. Я хотел бы пару возражений по существу. Мне кажется, что в 70-е годы шло изменение забора табу. Кое-что в семидесятые годы было разгорожено. Это было связано с дальним политическим расчетом, который обнаруживается сегодня. Выдвинулась когорта писателей, связанных с деревней и достаточно консервативных по своим убеждениям, и в определенных рамках табу было разгорожено. Это можно проследить, если читать, например, ранние повести Астафьева.

Чтобы пробиться в литературу, в первой повести он вводит собаку под именем Архимандрит, самый отвратительный герой там называется Исусик и т. д., а положительный герой несет в кармане кандидатскую карточку члена компартии. Через некоторое время ему разрешили напечатать другую повесть, где положительный герой уже сын раскулаченного, то есть написано то, что Астафьев действительно думает. То есть где-то табу подвинулось и была дозволена в довольно значительной степени правда. В этом огороженном углу, например, развернулся весь Распутин.

И вообще нельзя сказать, что система табу оставалась без изменения. Уже в период застоя происходили все-таки постепенные сдвиги, отрицать этого нельзя.

Теперь второе, что очень интересно, раз уж я заговорил о табу.

Сейчас привычка к табу осталась, но возникла тенденция переменить табу, табуировать несколько другие слова и понятия. Если раньше табу были Маркс, Энгельс, Ленин и связанные с ними понятия, то сейчас табу становится Родина, Россия и т. д.

Вместо того чтобы перейти к плюрализму, делается попытка привести нас к такой же структуре, но в которой табуированы другие слова, другие понятия. Эта перестройка системы табу вместо отмены табу — очень тревожное явление, и основные литературные бои, если хотите, сейчас идут именно здесь. И тут дело не в том, что такое Солженицын. Вдруг Солженицына разрешили, и немедленно Солженицын становится тоже табу. Он годится, он достаточно авторитарен. Напротив, Синявский никуда не годится, потому что Синявский прирожденный нарушитель табу. Он даже испытывает несколько сладострастное чувство, когда нарушает табу, он несколько склонен к кощунству. Я не утверждаю, что это всегда хорошо, но в наших условиях его систематическое нарушение табу, с моей точки зрения, прогрессивно. И для нас огромное значение имело бы, если бы основные сочинения Синявского, не в виде нескольких страниц, вырванных из контекста, которые можно немедленно атаковать, не понимая целого,— если бы Синявский в целом, как стилистическое явление, очень сложное, требующее вдумывания, стал бы доступен читателям. Ибо это действительно явление свободной культуры, не связанной ни с какими табу.

Позвольте вам напомнить. Я когда-то в молодости читал роман Ричарда Олдингтона «Смерть героя», роман, который не вызвал, по-моему, никакого скандала. Там есть такое место: «Дивная старая Англия, да поразит тебя сифилис, старая сука...»

Почему-то в Англии, где все достаточно любят свою родину, но где нет традиции слова и дела государева, это скандала не вызвало. К сожалению, у нас есть традиция, что если кто-то святой, то за прикосновение к нему надо руку отрубить. Вот от этой традиции надо отступить. Я не за кощунство само по себе, и я, может быть, иначе бы выразился в соответствующем случае, но в принципе нельзя отрицать у возмущенного человека права выругаться. Начиная с Пушкина: «черт догадал меня родиться в России...»

Значит, чрезвычайно важно перейти от системы табу, которая просто меняет область охраны, к действительно плюралистической культуре, в которой разные кружки постепенно разомкнут свои рамки и сольют-

ся в единое общество, в общество личностей, где каждый думает сам, не оглядываясь на соседа.

У нас, да и за рубежом, в течение ряда лет были разные кружки и в каждом кружке создавали свое замкнутое миросозерцание, не соприкасавшееся с другими. И от многократного повторения одних и тех же слов все в конце концов убеждались в истинности того, что в этом кружке. Сейчас, благодаря тому, что все начинает печататься, одна кружковая истина сталкивается с другой, возникает повышенная напряженность, отчасти объективно неизбежная, и очень важно поэтому утвердить тот стиль полемики, к которому я стремлюсь, хотя я вовсе не ангел и не всегда могу этого стиля достичь.

Кстати, редакторами для меня всегда являлись близкие. Я всегда считался с реакцией жены, близких. Кое-какие резкости вычеркивать я начинал уже дома, потому что я сам тоже по темпераменту полемист.

Сегодня я получил любопытный подарок, хотя он, собственно, относится не ко мне, вернее ко мне, только как к члену семьи. Алла Николаевна Латынина сказала, что просит передать привет Зинаиде Александровне Миркиной, написавшей против Латыниной статью. Я немножко удивился, но Алла Николаевна сказала, что это единственная статья, которая ее не оскорбила, над которой она подумала и нашла, что там много такого, с чем она может согласиться. Это лучшее доказательство, что какая-то интонация спора по сути, без стремления «врезать», чрезвычайно важна в сложившейся обстановке. Потому что мы никак не можем избежать конфликтов — ни национальных, ни внутрирусских. Скажем, внутри русской культуры опять западники и почвенники. Никуда от этого уйти нельзя. Это тянется 150 лет и, вероятно, будет тянуться еще. Существуют бесконечные другие конфликты. Но важно выработать цивилизованный стиль полемики.

М. Розанова. И в выступлении Карабчиевского. и в выступлении Льва Тимофеева прозвучала ностальгическая нота по прекрасным временам самиздата, когда авторы писали здесь, посылали туда на Запад — и вообще все было так хорошо. Говорилось, что сейчас они гораздо меньше читают тамиздат, и прозвучало некоторое сомнение — жизнеспособна ли в сегодняшних условиях эмигрантская пресса. Позволю себе высказать по этому поводу следующие соображения.

У каждого редактора, у каждого издателя есть какие-то моменты, которыми он профессионально гордится. Так вот, если говорить о журнале «Синтаксис», я профессионально горжусь тем, что в самых первых номерах журнала, а первый и второй номера вышли в 1978 году, я напечатала статью о проблемах, которые до чрезвычайности актуальны сегодня, которые сегодня грозят обернуться драмой, в том числе и кровавой драмой.

В «Синтаксисе» было напечатано интервью с известным московским антисемитом, которое взял один наш корреспондент, и комментарий к этому интервью Андрея Синявского.

Я знаю, кто этот антисемит, и думаю, что литераторы тоже его узнают по каким-то деталям, но раз имя не названо, то и мы не будем его сейчас называть. До сих пор этот материал не может быть напечатан в стране. На Западе совершенно иная журнальная традиция. На Западе в принципе нет толстого литературного журнала нашего русского типа. Западные журналы, как правило, развернуты вокруг хроники, публицистики, эссеистики — вот из чего в основном состоит журнал. И они отвечают самому понятию «журнал» — это дневник сегодняшнего дня, они работают с актуальным материалом. Но всего больше ценятся открытые темы, то есть материал, который не теряет своей остроты и через много лет, так вот, одна из заслуг «Синтаксиса» — это начатый 12 лет назад разговор о русском национализме. Когда мы печатали этот материал, на нас смотрели как на сумасшедших и говорили, что этого не может быть, что только в парадоксальном мозгу Синявского могло родиться такое чудовищное, кощунственное словосочетание — «православный фашизм». Речь шла о призраке фашизма под православными хоругвями. Сегодня мы имеем «Память», сегодня мы имеем пленум правления СП РСФСР, сегодня мы имеем «Русофобию» Шафаревича. Тем не менее до сих пор эта тема закрыта и для эмигрантской прессы, и для прессы советской, несмотря на весь разгул гласности.

А в последнем номере журнала «Синтаксис» напечатана статья Голомштока о Шафаревиче. Мне представляется публикация «Русофобии» Шифаревича в Советском Союзе чрезвычайным происшествием, и меня удивляет, что я до сих пор не видела высокого интеллигентного отпора. Если и высказываются какие-то «фэ», то это как-то между прочим. Меня даже покоробил «круглый стол» в газете «Московские новости», которую я очень ценю и где вдруг нашелся общий язык у Карпинского и Шафаревича...

Г. Померанц. Кстати, Шафаревич говорил, что Солженицын придерживается тех же взглядов. Номер 51 «Московских новостей» за прошлый год. Я жду опровержения от Солженицына.

М. Розанова. Здесь не только отпора нет, но даже вот такие «круглые столы» проходят с попыткой сгладить все углы, взять «дядю» Шафаревича в нашу большую, российскую культуру. А ведь Шафаревич не городской сумасшедший, это не «памятник», это не мальчишки, которые пришли и набузотерили. Но под этих мальчишек подводится хорошая, солидная идеологическая платформа. А за Шафаревичем стоит могучая фигура, и про это тоже не надо забывать.

Кстати, я про Солженицына сегодня еще не говорила. Этот образ витает сегодня над вами гораздо больше, чем над нами — эмигрантами. Мы через все это уже прошли. Мы это все уже знаем. Но мне кажется, что именно в вашем журнале могла бы появиться рубрика, которая бы называлась «Глазами иностранца». Вот Глезер здесь говорил: «Русские, эмиграция объявили Солженицыну войну, устроили травлю», то-се. Давайте посмотрим, что пишут о Солженицыне, о его произведениях на страницах

французских, немецких, английских газет. Ведь ваш читатель ничего не знает. И кто вам позволит перепечатать статью Хорста Бинека о романе «Октябрь Шестнадцатого», которая называется «Катастрофа»?

Н. Анастасьев. А я иначе построю этот вопрос: а кто нам не позволит?

М. Розанова. Это я просто так. Хорст Бинек, немецкий литературный критик и писатель, много лет поклонялся Солженицыну. Солженицын был одним из любимейших его русских авторов. Больше того, когда Солженицын переходил в Германии из одного издательства в другое, именно Хорст Бинек перетащил Солженицына к Пиперу, и вдруг — «Октябрь Шестнадцатого». Для него эта статья — боль души, это покаяние, это взрыв! Так что это больная проблема.

Далее, кто-то здесь говорил о том, что не понимает, почему мы в эмиграции так ссоримся, почему мы не в едином строю и т. д.

В свое время я придумала про эмиграцию две формулы.

Одна из них звучит так: эмиграция — это капля крови нации, взятая на анализ.

Вторая формула: эмиграция и метрополия — это всегда сообщающиеся сосуды.

И простите, все то, что происходит у вас, было у нас: у вас журналы поделились на какие-то группы, и у нас журналы поделились на такие же группы, абсолютно с теми же проблемами, которые у вас имеются сегодня, только произошло это у нас где-то в 1975—1980 годах, то есть мы это все уже прошли. Вам же это сейчас только предстоит. И предстоит в очень жестком и жестоком виде, потому что вас ожидает солженизация всей страны. И как вы с этим справитесь, вы, все вместе взятые, вы, тело, от которого мы чуть-чуть отделились, мы не знаем. И мы возвращаемся к этим сюжетам, потому что ваша будущая боль — это наша вчерашняя боль; мы это все уже пережили.

И еще. Я пришла на это заседание, простите меня, с рулончиком туалетной бумаги. На этой туалетной бумаге напечатана стофранковая бумажка. Теперь представьте себе на минуточку, что выпустили бы туалетную бумагу, на которой были бы напечатаны 3 рубля, что поднялось бы вокруг? Сколько бы мы выслушали разговоров о кощунстве, о том, что как же так, какое неуважение к трудовому рублю, снимите Ленина с денег и т. д. А на этой стофранковой бумажке изображен Делакруа и «Свобода на баррикадах».

Почему я об этом говорю? Во всех разговорах, которые идут на страницах советской прессы и также части эмигрантской прессы, меня удручает их натужливая серьезность. Пока мы не расслабимся, пока мы не научимся шутить, пока мы не научимся спокойно говорить о самых разных вещах, у нас ничего не выйдет. Давайте думать спокойнее о том, что происходит, и тогда, может быть, мы найдем какие-то положительные решения.

Ю. Карабчиевский. Я хотел бы в нескольких словах ответить Бенедикту Михайловичу по поводу здешней литературы, тех произведений и тех авторов, которые печатались в подцензурных изданиях. Ну конечно, в том, что я сказал, есть некоторое добавочное усилие. Я просто не позволил себе говорить о другой стороне вопроса, о той губительной самоцензуре, на которую добровольно себя обрекли почти все писатели метрополии. Но во-первых, эта самоцензура, по-моему, уже для всех очевидна и о ней говорить как бы нет необходимости. Во-вторых, я как-то не чувствую права обвинять или даже хотя бы уличать тех, кто пассивно вписался в систему. Подлостей не делал — и то хорошо, и на том спасибо. Я, допустим, выбрал другой путь, но потом, после, когда он был выбран, у меня уже не было вариантов, от меня уже мало что зависело. Это ведь — как загадка рождения: я бы мог оказаться на его месте, а он на моем... Просто так вышло, такая судьба. В этом есть даже некоторая неловкость, вон как удачно все получилось, как удобно устроился: тогда писал все, что хотел, теперь все, что писал, публикует... В общем, я бы не спешил никого обличать, кроме явных лакеев и активных лжецов. Это одна сторона вопроса. Но есть и другая. Все-таки были и есть писатели из тех, что печатались только здесь, которых мне упрекнуть не в чем. Они-то как раз в систему не вписывались и не работали «в рамках идеологии», они идеологию и систему просто игнорировали в своем творчестве, выбирая для себя такой ареал, где ни то ни другое впрямую никак не присутствовало. Можно возразить, что в этом выборе уже была принужденность и несвобода. Но это не так, во всяком случае, далеко не всегда. Возможно такое счастливое совпадение, когда выбор соответствует душевным свойствам писателя, складу характера, кругу его интересов. Самый яркий пример для меня — Андрей Битов, которого я вообще считаю первым прозаиком послевоенного времени. Он, конечно, работал на пределе возможного, упираясь плечом в цензурную стену, и даже иногда сдвигал ее на полсантиметра, но есть у меня такое чувство, что пробивать эту стену у него необходимости не было. Он-то сам, вероятно, думал иначе и однажды все-таки пробил своим «Пушкинским домом», но лично я при всем уважении к этой книге, при всем понимании особого ее значения, л ю б л ю больше другие произведения Битова, те, что с первого раза были опубликованы в советской печати. Есть писатели, такие, как, например, Войнович, которые по типу ума, по свойствам личности никак не могут обойти социальных сторон жизни, а если обходят, то лишь совершая над собой насилие. Для таких выбор судьбы один: или вранье, или эмиграция в любой ее форме. Но есть и те, для кого интерес к миру, то есть активный, творческий интерес, сосредоточен в достаточно узком, локальном пространстве. И это вовсе не означает ограниченности в негативном смысле этого слова. Есть такая повесть у Станислава Лема «Формула Лимфатера». Там биологическая машина познает весь бесконечный мир через те предметы, которые непосредственно ее окружают и из которых она сама состоит. Пути художественного познания могут быть различными. Вот ведь есть у нас, слава Богу, Булат Окуджава, чьи песни никогда не выходят за рамки дозволенного, а верней — никогда не внедряются в область запретов. И все-таки правду, которую он нам и о нас ска-

зал, не сказал никто из свободных тамиздатских авторов. Они сказали другую, но эту — нет! Так что все здесь не так просто, не так однозначно и не так легко поддается классификации.

И второе. Мария Васильевна Розанова затронула безумно важную тему, для сегодняшней России, быть может, самую важную. Да, это очень верно сказано: публикация «Русофобии» Шафаревича исключительное, исключительно страшное событие, страшнее которого — только отсутствие должной реакции. Да, это даже, пожалуй, странно, что и мы тоже — все о другом, о другом, в то время как Россия, русская культура стоит на пороге национального позора и, можно сказать, что одной ногой уже за этот порог ступила. И если советский период истории был как бы неожиданным для всех несчастьем, был нашей болезнью, нашей бедой — то этот, готовящийся, послесоветский, будет нашей виной, прямым результатом нашей постыдной, ничем на земле не оправданной трусости. Именно трусости, а не глупости, потому что кто же сегодня не видит, что происходит? Кто не знает, что такое настоящий нацизм, кто не замечает прямой параллели между Германией тридцатых и Россией девяностых? И конечно, все приводные ремни — и от безумных истеричек в Останкине, и от изнемогающих в жарком патриотизме народных писателей,— все ремни и все нити по-прежнему сходятся к Старой площади и Лубянке. Но самое большое чувство опасности и самое большое чувство печали связано у меня совсем с другой стороной, с той, что призвана — и взялась, и как бы пытается — противостоять этой черной чуме. Что ведь главное в нацизме? Принцип селекции, разделение людей на высших и низших, на своих — чужих, на чистых — нечистых — по крови, по рождению, по окрасу, породе, по всяким внешним, внеличностным признакам. Так вот, этот принцип уже победил — и не в «Нашем современнике», там он не нужен, там все свои, чужих не бывает,— он победил во всех либеральных изданиях, тех самых, что вроде бы с этим принципом борются. Во всех демократических наших журналах, самых гласных и перестроечных, идет лихорадочная работа: там считают евреев. Считают авторов, считают героев, выверяют число упоминаний, расстановку акцентов. Не перебрать бы, не раздражить бы, не дать бы повода для упреков! Прямо так и говорят: «Не надо дразнить «Молодую гвардию»! И это ведь уже не по приказу начальства, но из собственного благородного страха! Вот это и есть начало конца... Когда года два-три назад мне забрезжила возможность публикации здесь, я решил, что самые большие трудности будут связаны с остросоциальными вещами, с теми, где есть публицистика, где есть политика. На деле оказалось, что эти вещи как раз публикуются легче всего. А трудно или даже почти невозможно напечатать такие произведения, где так или иначе затронута еврейская тема. Причем слова «еврейская тема» могут относиться к чему угодно: к разговору об антисемитизме, к герою-еврею, к простому упоминанию слова «еврей».

Н. Анастасьев. Просто, видимо, машина не берет этих слов?

Ю. Карабчиевский. Не берет, выплевывает. В нашем либерально-демократическом лагере идет игра в поддавки с фашистами, и я думаю, не надо большого воображения, чтобы видеть, чем она может окончиться. Они-то, при всей темноте и безграмотности, люди серьезные, шутить не любят... Представим себе на миг, что «Наш современник», «Молодая гвардия» и «Москва» — это и есть в с е наши журналы. (Я сейчас даже не говорю о программе, я только об уровне.) Страшно? Страшно! А как еще стыдно, а как унизительно... А ведь это уже почти так, наполовину так.

Нет, пожалуй, права Мария Васильевна, пожалуй, рано жалеть об упадке и ненужности эмигрантских журналов. Я ведь и сам продолжаю в них сейчас печататься, и также Григорий Померанц, и многие другие. Тут ведь не только свобода слова, тут еще и простота отношений с редактором: написал, передал — и в ближайшем номере жди публикации... Так что, исполненный благодарности и ностальгической нежности к эмигрантским изданиям, я желаю им процветания при любой погоде, но боюсь, что это мое пожелание, как в истории с обезьяньей лапой, сбудется самым неожиданным образом. Что именно на них, на эти издания, снова ляжет своей основной тяжестью миссия сохранения и продолжения независимой русской литературы.

Л. Тимофеев. Я хочу теперь подвести под естественную тревогу в связи с опасностью антисемитизма несколько иную, идеологическую, что ли, или социально-историческую основу и попытаться подвергнуть сомнению некоторые соображения Григория Померанца и Марии Розановой.

Дело в том, что мы за 4 или 5 часов нашего разговора как-то ни разу не вспомнили, что мы живем в коммунистическом государстве, в государстве, созданном коммунистической идеологией. То есть мы, может быть, все это имели в виду, но, напрямую говоря об опасностях социальных, нельзя так же напрямую не вспомнить и об этом... Я позволю себе усомниться, скажем, в соображениях Померанца о чьих-то далеко идущих планах выделить специально какую-то группу писателей или специально разрешенный круг тем. Каждый мыслитель склонен исходить из собственных методологических предпосылок, но вот эти мне решительно не близки...

Я полагаю, что процессы у нас в стране происходили несколько иначе. Я хорошо помню, что понятие «народ» в коммунистической идеологии было понятием весьма важным, понятием чуть ли не системообразующим, и поэтому то нагромождение лжи, которое было в коммунистической пропаганде связано с понятием «народ» и с понятиями «русская деревня», «русский крестьянин», было настолько городообразно, что никакое движение общества вперед без освобождения от этой лжи просто невозможно. И если взять в толк, что все 70 лет коммунистического насилия над российским обществом не прекращалась ни на минуту борьба здравого смысла с самой доктриной насилия, борьба, которая выражалась не только в вербальных формах — в высказываниях тех или иных писателей,—

а и на поведенческом уровне, в жизни русского, да и всякого другого народа, если все это взять в толк, то говорить о возникновении течения писателей-деревенщиков как о чем-то инспирированном в связи с далеко идущими планами было бы совершенно неправильно.

Творчество писателей-деревенщиков — это и было начало именно той вербализации общественного протеста, который 4 февраля вылился в полумиллионную демонстрацию в Москве со всем множеством и разнообразием ее лозунгов... Другой разговор, каково мировоззрение тех или иных писателей или просто какова их писательская даровитость...

В этой связи я хочу напомнить, что Солженицын-то для нас всех — прежде всего человек, выступивший со всей мощью своего художественного дарования именно против коммунистической идеологии. И «Архипелаг ГУЛАГ» — это книга, которая перевернула общественное понимание и общественное отношение к этой идеологии во всем мире и во многом опередила и определила те самые процессы, которые происходят сегодня... И здесь мы говорим как раз уже о прямом воздействии на мировую общественную культуру российских средств массовой информации за рубежом.

Дело в том, что эпоха 60—80-х годов создала особенный механизм распространения общественного мнения. Отсюда, из нашей страны, люди здравого смысла, казалось, безнадежно придавленные и лишенные слова, с помощью этого механизма обращались к мировому общественному мнению и уже через мировое общественное мнение и демократические институты во всем мире, воздействуя на правительства тех стран, оказывали влияние на здешнее правительство.

Уверен, что не без гарвардской речи Солженицына сформировалось и отношение Рейгана к режиму в нашей стране — отношение, которое, на мой взгляд, имело решающее значение для перемен в нашем государстве.

Теперь что касается современного антисемитизма. Почему-то опять-таки упускается из виду, что антисемитизм сегодня взят на вооружение именно охранительными силами. И если вы прочтете избирательную программу, опубликованную в № 52 «Литературной России» за 1989 год, то увидите замечательную попытку заменить миф чисто социальный, коммунистический — впрочем, не только не отвергая, но сохраняя структуры, которые этот миф создал,— заменить мифом национал-социальным. То есть, заменить идею коммунистического насилия идеей фашистского насилия. Вот ведь какова логика!

Я бы поостерегся ставить Солженицына в один ряд с людьми, стремящимися сохранить коммунистические структуры. И при этом я бы поостерегся вообще так, как это смело делает М. В. Розанова, говорить о пагубности «солженизации» страны без анализа текстов Солженицына. Давайте анализировать тексты и спорить по поводу текстов, не забывая и о пафосе такой грандиозной вещи, как политико-историческая эпопея «Красное колесо». Не вырывая из нее одно событие — дело Богрова или еще какое-то,— а глядя на все произведение в целом. Я думаю, что такой анализ не может не представить нам Солженицына как художника, решительно противостоящего всякой идее насилия, и идее коммунистического насилия прежде всего...

Г. Померанц. Я боюсь, что вы меня неправильно поняли, я не имел в виду, что Распутин и Астафьев придуманы в кабинете Суслова. Речь идет о совершенно другом. О том, что до известного времени деревенская проза пробивалась с таким же мучительным трудом, как всякая другая. Затем где-то около 1972 года была сделана ставка на то, чтобы готовить черносотенного союзника. Против этого пытался восстать Александр Николаевич Яковлев и тут же был отправлен послом в Канаду. Это исторический факт. «Новый мир», где Твардовский собирал деревенщиков, прикрыли (это тоже факт). И дальше деревенских писателей начали собирать в «Нашем современнике» под эгидой таких прекрасных воспитателей, как В. Кожинов и т. д. И играли на том, что давали там Белову и другим известную волю, потихоньку направляя их к шовинизму. Сами по себе они люди талантливые и искренние.

Я вспомнил еще одну вещь, которую не учел. Что сейчас происходит? Все хотят отойти от этих 70 лет, как от помойки, и эти 70 лет на кого-то свалить. И в ряде республик валят на русских. В России русским не на кого валить. Поэтому есть некая необходимость валить на евреев, психологическая необходимость. Я стараюсь понять эту психологию. Конечно, лучше быть мужественным, как Г. П. Федотов, и принимать все на себя. Но я понимаю слабость многих людей, которым очень трудно взять на свои плечи такой большой груз. Их надо понимать, хотя бы для того, чтобы вести с ними диалог.

Б. Сарнов. Я хотел бы возразить Льву Тимофееву. Нельзя все грехи и преступления сталинско-брежневского государства списывать на коммунистическую идеологию. Коммунистическая идеология тут вообще давно уже ни при чем. Государство, о котором мы говорим, не имеет с этой идеологией ничего общего. Оно лишь пользуется этой фразеологией для маскировки. Так, например, наших ребят, воевавших в Афганистане, назвали «воинами-интернационалистами», что дало повод Алле Латыниной прийти к выводу, будто война в Афганистане велась во имя торжества идей III Интернационала, и обвинить Павла Когана и других поэтов его поколения в том, что на них лежит кровь русских мальчиков, павших в этой войне. Недавно в этот вопрос внес полную ясность Владимир Бушин, напечатавший в «Военно-историческом журнале» статью, в которой он прямо заявляет: «Афганистан всегда был сферой государственных интересов России». Иными словами, он признает откровенно имперский характер этой войны. Я думаю, что прав тут Бушин, а не Латынина.

Александр Исаевич, конечно, не коммунист. Ему коммунистическая идеология чужда и даже враждебна. И он этого не скрывает. Однако это не мешало ему пытаться найти общий язык с Брежневым и его кликой («Письмо вождям»). Попытка,

конечно, была обречена на провал. Но в основе ее лежало правильное понимание имперского характера брежневской политики. Солженицын — государственник, озабоченный русской национальной идеей. И он надеялся, что эта идея не вовсе чужда Брежневу и Суслову. (Кстати, в книге «Бодался теленок с дубом» Солженицын рассказывает о том, как у него впервые мелькнула мысль обратиться к вождям — совсем по другому, более частному поводу. И говорит: «А — к о м у послать, колебания не было: Суслову!» И дальше подробно объясняет, почему именно ему. Были у него, оказывается, какие-то иллюзии насчет Суслова. Было даже подозрение, не тайный ли он свободолюбец в Политбюро.)

И последнее, о чем мне хотелось бы сказать. О джентльменском, парламентском стиле полемики, к которому призывает нас Григорий Соломонович.

Конечно, джентльменский стиль полемики предпочтительнее. Но я не способен в джентльменском, парламентском стиле полемизировать, скажем, с тем же Шафаревичем. Я не могу считать Шафаревича интеллигентом только потому, что он хорошо разбирается в алгебре. Книжка его «Русофобия» — лживая, жульническая. И полемизировать с ней в парламентском тоне я бы счел для себя недостойным. Я не могу полемизировать в академическом стиле с идеями, из-за которых зверски убили моего деда и бабку. (По свидетельству очевидцев, над телами убитых в том месте, где это произошло, несколько дней ш е в е л и л а с ь з е м л я.)

Я не хочу и не могу пользоваться в этих случаях всякого рода эвфемизмами. Идеи, проповедуемые Шафаревичем и его единомышленниками,— это о б ы к н о в е н н ы й ф а ш и з м. И не надо закрывать на это глаза.

А. Латынина. Если слова об опасности солженизации страны или о том, что Солженицын договорится с представителями регрессивных сил, пытающихся сохранить обветшавшую идеологию — поскольку, дескать, он пытался найти уже язык с вождями Советского Союза, направив им письма,— если это все произносится из политических соображений, то это недостойно. Если всерьез — то это более чем печально.

Не знаю, стоит ли повторять, что «Письмо вождям Советского Союза» — не лишенная утопизма попытка склонить вождей к отказу от идеологии, которая для Солженицына есть главное препятствие для свободного и нестесненного развития страны. И при том, что некоторые предсказания Солженицына (возможность войны с Китаем) не оправдались, а некоторые соображения — допускаю, спорны, главная идея — что отказ от идеологии приведет к свободной колосьбе мыслей, к перерождению общества — блестяще подтвердилась. Чуть только ослабили идеологическое давление — и при прежней административной структуре мы оказались в другой стране, чуть перестали пригребать державною рукой соседей, как советовал Солженицын,— и карта Европы изменилась.

Те, кого Солженицын называет «компатриотами», беспощадно высмеивая их, тем не менее претендуют на Солженицына. Они утаивают главное: непримиримость Солженицына по отношению к коммунистической идеологии, которую сами они хотят поставить на службу российскому национализму. Но для Солженицына нестесненное национальное развитие и коммунистическая доктрина — противоположны, они находятся в противофазе.

Нет спору, националистическая идеология, которая формируется сегодня, пытаясь объединить представителей всех регрессивных сил, чрезвычайно опасна. Но у нас сейчас принято проводить водораздел между воюющими сторонами, на мой взгляд, совсем не по той линии, где он в действительности лежит. «Компатриоты» навязали нам этот расклад, провозгласив, что «народная» интеллигенция сражается с «беспочвенной» (как выражается критик Бондаренко). Причем в представителях народной интеллигенции оказываются и те, кто мыслит национальное строительство на основе культуры, уничтоженной в 1917 году, кто мыслит страну — страной свободных людей, не стесненных ни политически, ни экономически (таков Солженицын); так и те, кто не хотят отказываться от коммунистических принципов. Образовался чудовищный сплав несоединимых идей. Как относиться к этому сплаву?

В эмиграции, кстати, об этом уже спорили и было предложено несколько моделей. Сегодня мы действительно повторяем эти споры.

Согласно одной концепции, все ингредиенты, вошедшие в чудовищную гремучую смесь национал-большевизма, скомпрометированы самим соседством. А. Д. Синявский в статье «Русский национализм» («Синтаксис» № 26) замечает, что русский национализм сегодня легко объединяется с реакционным крылом советского общества и «противостоит не коммунизму, а демократии и Западу».

Возникает вопрос: снято ли ныне противостояние коммунизма и мировой демократии? Если снято, то тогда получится, что интернационалистская Куба (о кубинском национализме слышать не приходилось) ничем не отличается от своего демократического соседа.

Я думаю, что существует противоречие между коммунизмом и демократией и противоречие между идеей национального бытия и коммунизмом.

Национальное строительство может привлечь на свою сторону идеи демократические, может осуществляться на основе либерализации экономики, восстановления культурных ценностей, целью его может быть создание свободного, правового государства с цветущей культурой и естественным укладом жизни. И националистическими идеями можно оправдывать существование тоталитарного государства и самый жесткий контроль над жизнью и свободой мысли.

Когда сегодня представители антидемократических сил пытаются оседлать националистические инстинкты людей и выдвигают тезис, что главная линия идейной борьбы — это борьба между патриотами и непатриотами, между почвенной интеллигенцией, народной, и беспочвенной — это, в конце концов, их дело. Но когда представители сил демократических повторяют эти

утверждения, лишь поменяв знаки, когда они готовы отказаться и от национальной культуры, от идей культурного возрождения, поскольку на них претендуют другие,— то они закрепляют нелепое разделение.

Линия раздела проходит в другом месте. Быть ли стране государством, где свободу и гражданское достоинство человека защищают законы, или быть тоталитарной страной, где все огосударствлено от собственности до свободного мнения?

Если страна станет демократической, то в ней найдут место, условно говоря, идеи Солженицына и идеи Сахарова, ибо в главном они не противоречат друг другу. Солженицын — это прекрасно видно из всей его публицистики — не противник демократии, но лишь критик ее слабости.

Я думаю, что не стоит нам повторять ошибок, возникших в литературных полемиках эмиграции и закрепившихся частично в западной прессе. Приговор Солженицыну как ретрограду и националисту, вынесенный частью эмиграции, слишком несправедлив, чтобы не быть обжалованным. Возвращение Солженицына в нашу страну — и есть обжалование этого приговора. Несмотря на то что националистические круги стараются опереться на его авторитет, это у них не очень получается, ибо они вынуждены скрывать главное о Солженицыне — его категорическое отрицание коммунистической доктрины, его доверие к личной и экономической свободе, его призыв к национальному раскаянию — противоположный призыву к поискам врага.

И я думаю, те, кто называет себя демократами, не должны действовать сообща с регрессивными силами. А попытки одних притащить Солженицына к себе и попытки других — спихнуть, отпихнуть от себя — являются действиями в одном направлении, действиями, уменьшающими шанс демократических сил.

Н. АНАСТАСЬЕВ.
Заключительное слово, которого не было

Разумеется, что не дело — особенно со стороны хозяина — включать в стенограмму непроизнесенный текст. Получается так, что ставишь себя по отношению к другим участникам встречи в позицию куда более благоприятную. И если меня что и извиняет, так это почти полное молчание во время самой дискуссии.

Вообще, если судить по обычным меркам, с ролью ведущего я справился явно не лучшим образом — разве что не мешал говорить. Но это достоинство невеликое — в конце концов, его, ведущего, функция вряд ли сводится к предоставлению слова очередному выступающему.

Для себя объясню столь пассивное поведение тем, что, обладая немалым опытом проведения такого рода бесед, впервые оказался в кругу людей, чей жизненный и литературный опыт, за единственным исключением (имею в виду Аллу Николаевну Латынину), столь принципиально отличается от моего собственного. Потому не только не мог, но и не считал себя вправе вмешиваться в полемику или даже направлять ее по определенному руслу.

Не собираюсь это делать и теперь, задним числом, прочитав стенограмму «круглого стола». Хоть и есть у меня некоторое представление о литературной жизни русской эмиграции и, соответственно, есть суждение о ней. Продолжаю надеяться на то, что в непродолжительном времени журналы, о которых шла речь, станут достоянием и нашей публики, и тогда читатель сам решит, кто прав в споре, сам выработает взгляд и на состояние художественной литературы, и на состояние критики. Хотя, думаю, все равно этот взгляд лишен будет объективности. Кто-то из участников верно сказал: слишком различная оптика, одно дело — судить литературу и писателей извне, другое — изнутри.

Воспользуясь, однако же, привилегией, которую сам себе предоставил, и скажу несколько слов по существу тех проблем, которые не замыкаются тем опытом, которого у меня, повторяю, нет.

Как нетрудно заметить, первоначальный замысел редакции блистательно провалился. Мы рассчитывали, что речь пойдет о журналах русского зарубежья в контексте современной культуры, но как раз эта тема оказалась в густой тени.

Значит ли это, что порочна была сама идея, что сам вопрос поставлен некорректно? Я так не думаю, хотя именно такая точка зрения в одном из выступлений и прозвучала достаточно категорически. Я по-прежнему считаю, что литература эмиграции — это не только струя единой национальной традиции, она особенно чувствительна как раз к национальным воздействиям. И в этом смысле становится источником формирования той самой мировой литературы, о которой уже давным-давно говорил мудрый Гёте. Мне кажется, допустим, что «Темные аллеи» Бунина, сохраняя кровную связь с русской почвой, несут отчетливые следы влияния художественного языка французской литературы. Не говоря уж о Набокове.

Готов, впрочем, считать эту точку зрения — и в конкретном, и в принципиальном смысле — дискуссионной. Но для того, чтобы выяснить правоту или заблуждение мысли, для того, чтобы решить, подтверждает ее или опровергает опыт последней волны эмиграции, надо знать ее реальную литературу. Ибо одно дело — место, где книга сочинялась, другое — где публиковалась. На это здесь справедливо обращалось внимание.

Скажу откровенно: мне жаль, что разговор на эту тему не получился. Впрочем, винить в этом должны, скорее всего, самих себя: планируя встречи, явно недооценили то, что называется человеческим элементом. Бушуют страсти, вступают в борьбу литературные партии и, естественно, журналы — словом, все как дома. Об этом, по-моему, определеннее других сказала Мария Васильевна Розанова, чьи слова мы и вынесли в название к дискуссии, ценность которой состоит, по-моему, в том, что она разрушает многие мифы об эмиграции, дает ясное представление об атмосфере русской литературной жизни за рубежом и самочувствии художника, оторванного от родины. Ну а дальше начинаются те проблемы, о которых я говорил, или другие — думаю, нам выпадет еще случай поговорить о них в той или иной форме. Встреча ведь далеко не последняя.

Готовя стенограмму к печати, мы постарались сохранить ощущение живой, а ча-

сто нервной беседы. Несогласий — такое у меня во всяком случае ощущение — было больше, чем согласий, хотя на личности, что по нашим временам большая редкость, никто не переходил. Читатель опять-таки сам решит, к кому присоединиться; я же, со своей стороны, хочу выделить только две проблемы, которые законно привлекли особое внимание.

Зашел спор о коммунистической идее. Л. Тимофеев высказал мысль, что всеми бедами ей именно, ее осуществлению мы как раз обязаны. Б. Сарнов возразил: «Нельзя все грехи и преступления сталинско-брежневского государства списывать на коммунистическую идеологию». Я с ним совершенно согласен. Мне кажется, методологически неверно уравнивать идею и тот тип режима, который ее узурпирует. Ведь если стать на такую точку зрения, то за цыточные камеры инквизиции должен нести ответственность непосредственно Иисус Христос. Иное дело, что никто еще не знает, как осуществлять коммунистическую идею истинно гуманными способами...

И наконец, о том, что волнует всех,— о Солженицыне. Фигура эта и проблемы, за ней встающие, слишком велики, чтобы я мог позволить себе говорить о них походя. Потому поделюсь лишь одним впечатлением от услышанного. Мне показалось (а сейчас, перечитав стенограмму, убедился в том, что слух меня не подвел), что оппоненты, увлекшись обсуждением мировоззренческих позиций Солженицына, почти вовсе упустили из виду его как художника. Наверное, и это объясняется тем, что слишком накалена атмосфера, слишком часто этим большим именем спекулируют люди, стоящие — или поставившие себя — вне культуры.

Хочу верить, что настанет пора и мы сможем поговорить об этом, как об иных предметах, спокойнее.

P. S. Два письма

Париж, 8.12.89.

Уважаемый Николай Аркадьевич!

К сожалению, я вынужден отказаться от Вашего любезного приглашения участвовать в «круглом столе» «Иностранной литературы». Я, простите за нескромность, считаю себя главным образом писателем. И поэтому хотел бы обсуждать со своими коллегами прежде всего проблемы отечественной литературы. Но среди нынешних редакторов русскоязычных журналов нашего зарубежья (за исключением разве лишь Н. Струве из «Вестника РСХД») я не вижу себе собеседников. Один из них — несостоявшийся астрофизик, другой — бывший газетчик средней руки, третий (кстати, моя родная сестра) — неудачливый математик, четвертый — школьный учитель, пятый — писательская жена, домашняя хозяйка, на досуге пробавляющаяся окололитературными скандалами, шестой — вчерашний дантист. Участвовать в этой непотребной коммунальной кухне у меня нет никакого желания. Вольно вашей пропаганде использовать в своих целях эту окололитературную и околополитическую публику, но меня от этой сомнительной чести увольте.

Тем не менее для отдельного диалога с вашим журналом я всегда открыт. Прилагаю к этому письму небольшое досье, из которого, надеюсь, вы сможете уяснить себе, что стоит за журналом «Континент» и кто есть кто в зарубежной русской периодике.

С уважением В. Максимов.

Мюнхен, 1.2.90.

Уважаемый Чингиз Торекулович!

Хочу еще раз поблагодарить за приглашение принять участие в «круглом столе». Мне очень хотелось приехать, но «проблема визы» оказалась, видимо, слишком сложной. Более ходить и унижаться я не в состоянии. Я очень ценю усилия Ваши и Ваших коллег и ни в коей мере не переношу на Вас те чувства, которые приходится испытывать в разговорах с здешними нелюбезными соотечественниками. Еще раз спасибо за все, что Вы делаете, и за идею «стола» отдельно.

Я думаю, проблему надо решать более широко. В конце концов, это возмутительно, что приходится просить визу в свою собственную страну. «Лишение гражданства» никакой юридической силы не имеет и должно быть аннулировано. Прилагаемое письмо я посылаю Вам как народному депутату и надеюсь, что Вы сможете поднять этот вопрос.

Рассматривайте это как несостоявшееся выступление на «круглом столе». Буду рад, если Вы сможете этот текст опубликовать.

С глубоким уважением К. Любарский.

Уважаемый Чингиз Торекулович!

Накануне нового, 1990 года Совет национального спасения Румынии обнародовал декрет, согласно которому эмигранты, лишенные в свое время румынского гражданства, «могут вернуться на родину без страха за свою судьбу». Через несколько дней чехословацкое правительство также обратилось к своим эмигрантам с призывом забыть обиды и допущенные по отношению к ним несправедливости. Оно попросило их вернуться и «помочь обновлению страны своим опытом и средствами».

Со времени «нежной революции» в Праге до опубликования этих призывов прошло несколько недель, после трагического румынского народного восстания — несколько дней. С начала «революционной перестройки» в Советском Союзе прошло несколько лет, но советское правительство и законодательные органы не предприняли ничего даже отдаленно напоминающего шаги румынского и чехословацкого правительств.

В Президиуме Верховного Совета СССР 10 ноября 1989 года был поднят вопрос о лицах, несправедливо лишенных «во времена застоя» советского гражданства. К сожалению, это не повлекло за собою принятия каких-либо законодательных актов. К тому же речь вообще шла только об отдельных личностях, лишенных гражданства специальными указами ПВС СССР (таких, как М. Ростропович, А. Солженицын, В. Войнович и др.). Трудно избавиться от впечатления, что законодателем двигало не

стремление исправить совершенную государством несправедливость, а желание вернуть домой своих знаменитых бывших сограждан, чье длящееся изгнание наносит ущерб престижу страны.

Разумеется, постыдные указы такого рода должны быть отменены, и надеюсь, что скоро это будет сделано. Но я хочу обратить Ваше внимание на гораздо более серьезное беззаконие, касающееся не отдельных лиц, а целой категории граждан нашей страны, численность которой составляет сотни тысяч человек (по разным оценкам — от 200 до 400 тысяч, точные цифры пока не обнародованы).

Речь идет о лишении советского гражданства лиц, выехавших из Советского Союза «на постоянное жительство в государство Израиль».

Все лица этой категории были лишены советского гражданства, хотя ни одного указа ПВС СССР о таком лишении издано не было. Более того, ни одному из лишенных гражданства не было выдано какого-либо документа, удостоверяющего его новый гражданский статус. Некоторым о лишении гражданства было объявлено устно в ОВИРе, другим же даже и объявить не потрудились, как, например, мне и моей семье.

Нас, как и всех других, лишь просили заплатить пошлину таинственного назначения в размере 500 р., которая, как выяснилось из расспросов позднее, была «пошлиной за отказ от гражданства» (для сравнения: депутатам интересно будет узнать, что пошлина за вступление в советское гражданство составляет 50 копеек — так государство ценит «высокое звание советского гражданина»; в ФРГ, например, вступление в гражданство стоит около 1000 немецких марок — в зависимости от величины дохода претендента).

Никто из «лишенных» не обращался с просьбой о лишении его гражданства — ни устно, ни письменно. Я могу утверждать это с полной определенностью, по крайней мере в отношении тех лиц, для которых выезд «по израильскому каналу» был лишь трагической необходимостью.

Я полагаю, ни для кого не секрет, что «израильский канал» действовал не только для евреев, стремившихся вернуться на свою историческую родину, но и для тех, кто не имел ничего общего с сионизмом, более того — и для лиц нееврейской национальности (русских, украинцев и др.), от которых государство хотело избавиться. В их числе — бывшие политзаключенные, диссиденты, просто неугодные лица. Известно, что большинство выехавших «по израильскому каналу» избрало местом жительства не Израиль, а другие страны. Но советское государство хотело создать впечатление, что у нас нет политической эмиграции — одно лишь «воссоединение семей» в соответствии с Хельсинкскими соглашениями.

В качестве одного из многих примеров могу привести свою собственную судьбу и судьбу моей семьи. И я сам, и моя жена — русские во многих поколениях. Мы никогда не имели ни малейшего намерения покинуть свою родину. Однако в 1972—1977 годах я отбыл 5-летнее заключение по действовавшей тогда (и ныне, к счастью, радикально измененной) ст. 70 УК РСФСР — за «самиздат». Поскольку я и после освобождения не прекратил своей общественной деятельности (став, в частности, одним из распорядителей Фонда помощи политзаключенным), я продолжал вызывать большое недовольство КГБ. В силу известных только этой организации причин было решено избавиться от меня путем выталкивания в эмиграцию. Чтобы побудить меня к этому, были продемонстрированы «материалы» для возбуждения против меня сразу трех «уголовных» дел. При желании можно, конечно, назвать решение об отъезде, принятое под угрозой нового, теперь уже 10-летнего заключения,— добровольным.

Когда в этих условиях мы решились на выезд в США, мне в КГБ было сказано, что США — «слишком роскошная страна» и что я могу выехать только в Израиль. «Виза выездная обыкновенная на постоянное жительство в государство Израиль» была нам выдана без промедления, хотя в Израиле у нас никогда не было даже самых дальних родственников. Как и многие другие с подобной судьбой, мы воспользовались этой «визой» лишь формально и, в силу случайных обстоятельств, осели в ФРГ, где нам было предоставлено политическое убежище.

Статус беженцев мы сохраняем и до сих пор, хотя по местным законам давно имеем право претендовать на немецкое гражданство. Просто мы не чувствуем себя немецкими гражданами.

Каковы же юридические основания для лишения гражданства сразу огромной группы советских граждан? Оказывается, такие «основания» есть. В 1967 году ПВС СССР издал секретный указ об автоматическом лишении гражданства лиц, выезжающих на постоянное жительство в Израиль, ЮАР и еще одно государство, название которого мне пока, к сожалению, установить не удалось (гласность пока до этого не дошла: возможно, Южная Корея?). Указ этот никогда не публиковался, и лишь в 1989 году в некоторых выступлениях представителей ОВИРа в печати появились глухие упоминания о нем. Надеюсь, народный депутат СССР может затребовать и получить полный текст этого указа.

Поскольку мощного потока советских граждан, уезжающих в Южную Африку, как известно, не наблюдалось, направленность указа сомнений не вызывает. На советских немцев, выезжавших в ФРГ, на армян, выезжавших в США, указ не распространен — они едут на постоянное жительство в эти страны, сохраняя советские паспорта. Мотивируется такая избирательность указа тем, что СССР не имеет с Израилем (и ЮАР) дипломатических отношений и поэтому не может осуществить консульскую защиту прав своих граждан.

Мотивировка более чем странная. Если последовательно проводить этот принцип, то Президиуму Верховного Совета СССР следовало бы лишить советского гражданства все население своей страны, поскольку с достаточной ясностью продемонстрировано, что в течение 70 лет государство не смогло не только обеспечить защиту конституционных прав граждан на своей собственной территории, но даже обеспе-

чить им мало-мальски пристойный уровень существования.

Незаконность этого указа совершенно очевидна, ибо неспособность правительства выполнять свои обязательства перед гражданином не фигурирует среди перечисленных в законе оснований для лишения гражданства. Напомню, что в соответствии с Законом о гражданстве (ст. 18) «лишение гражданства СССР может иметь место в исключительном случае по решению Президиума Верховного Совета СССР, если лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР».

Оставим в стороне расплывчатость (полагаю, намеренную) этой формулировки: например, порочит ли «высокое звание гражданина СССР» убийство, совершенное с особой жестокостью, или участие в коллективном изнасиловании? Опорочили ли «высокое звание» Чурбанов и Адылов? Судя по реакции ПВС СССР — нет. Оставим в стороне и то, что этой статьей Закона о гражданстве Президиуму Верховного Совета передоверяются несвойственные ему функции суда. Здесь важно другое: принцип коллективной вины и коллективной ответственности, недавно единодушно осужденный ВС СССР в отношении высланных народов, в Законе о гражданстве все же не содержится. Указ 1967 года этот принцип возродил.

Здесь я уже не говорю о противоречии самого Закона о гражданстве статье 15 п. 2. Всеобщей декларации прав человека: «Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства». До уважительного отношения к Декларации нам предстоит пройти еще долгий путь. Сейчас добиться хотя бы уважения собственных законов.

Беззаконный указ 1967 года продолжает действовать и сейчас. Я прошу Вас как народного депутата СССР проявить законодательную инициативу и потребовать незамедлительной отмены антиконституционного указа 1967 года — более того, объявления его недействительным с самого начала с полным аннулированием всех принятых на его основе конкретных решений.

Разумеется, далеко не все лишенные советского гражданства по этому указу в случае его отмены поспешат получить назад свои советские паспорта. Их можно понять: за 10—20 лет, проведенных за пределами СССР, большинство пустило корни в других странах. Вторично ломать свою жизнь на склоне лет нелегко. Но восстановление законности и справедливости не должно ни в малейшей мере зависеть от того, захочет ли жертва беззакония и несправедливости этим воспользоваться. Более того, факт возвращения гражданства и выбор гражданином места жительства — вещи, вовсе не связанные между собой. На сей счет существует ст. 13 Международного пакта о гражданских и политических правах, провозглашающая право человека покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в нее. Пакт этот имеет на территории СССР силу закона.

Зато Вы можете быть уверены, что те, кто на самом деле воспользуется восстановленным правом на возвращение в свою страну, сменив спокойную и обеспеченную жизнь на жестокую реальность Советского Союза 1990 года, окажутся в числе самых активных и самоотверженных участников демократических преобразований в нашей стране (я полагаю, Вы согласны с тем, что такие люди сейчас необходимы).

Хочу обратить Ваше внимание и на то, что нынешние политические эмигранты — люди уникального опыта. Они соединяют в себе понимание проблем и реалий нашей страны и опыт жизни в демократических странах, опыт, по общему признанию, крайне важный для поисков выхода из кризиса, в котором сейчас находится наше общество. Если бы, говоря словами чехословацкого правительства, они согласились «забыть обиды и допущенные по отношению к ним несправедливости» и вернуться, отвергнуть их помощь было бы не по-хозяйски.

Впрочем, все это лишь побочные соображения. Вне всякой зависимости от них, если общество действительно стало на путь построения правового государства, беззаконие должно быть исправлено, и чем скорее — тем лучше.

С уважением
Кронид Любарский,
кандидат физ.-мат. наук,
редактор журнала
«Страна и мир» и
бюллетеня «Вести из СССР»

ГОРДОН БРУК-ШЕПЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

Перевод с английского ИОСИФА КОСИНСКОГО и ЛЮДМИЛЫ СКОРОПИСЦЕВОЙ

Только спустя три месяца после разговора с военным атташе Агабеков почувствовал какой-то интерес к себе со стороны англичан. Его попросили написать автобиографию и привести в ней свой послужной список, вплоть до последней должности — главы нелегальной сети ОГПУ, оперирующей на Ближнем Востоке. Подготовив такой документ, Агабеков в конце приписал:

«По причинам личного характера я не намерен возвращаться в Россию. Обращаясь к вам, я снова подтверждаю, что готов выехать в Лондон или в любое другое место, которое вы установите, для окончательных переговоров. Если же в конечном счете выяснится, что вы не заинтересованы в моих услугах, я буду просить только оплатить мне расходы по переезду. Остаюсь в ожидании ответа

Н. Овсепян».

Однако ответа опять не последовало. Англичанам все еще было неясно, действительно ли они имеют дело с агентом высокого класса, который решил сменить хозяина и рассказать все, что ему известно, или же перед ними — провокатор, которого русские хотят внедрить в систему британской разведки. Или более того — это просто авантюрист, рассчитывающий на простаков. Хотя Агабеков в своем письме даже не упомянул имени Изабел Стритер, англичане узнали об этой связи и сделали поверхностный, а значит, ложный вывод. Исключая заранее всякую возможность действительной любви, они решили, что Агабеков ухаживает за Изабел лишь для того, чтобы получить доступ к секретным документам, с которыми она и ее сестра ежедневно имели дело в английском посольстве.

Миновали зима и весна, наступило лето. Лондон не проявлял к Агабекову ни малейшего интереса, и тот оказался в весьма затруднительном положении. Задуманный влюбленными план явно шел насмарку. Едва ли Агабеков мог начать новую жизнь с Изабел, если его самого Англия не принимала всерьез. Что до самой Изабел, то семья начала охранять ее с той тщательностью, с какой могли охраняться лишь драгоценности короны. Ее даже запирали иногда в квартире, никуда не выпускали — вообще делалось все, чтобы разрушить эту странную связь. Пока что Изабел держалась стойко, но можно ли было положиться на молодую неопытную девушку? Можно ли было рассчитывать, что она выдержит все это и впредь? В отчаянии Агабеков решил попытаться бежать не на Запад, а .. на Дальний Восток. Он задумал отправиться в это опасное путешествие с фальшивым персидским паспортом, прихватив с собой свою возлюбленную.

Однако семья Стритеров опередила его. Родители Изабел, полагая, что роман прервется сам собой, если услать дочь куда-нибудь подальше, решили отправить ее к старшей сестре, во Францию. Джойс была замужем за неким Чарльзом Ли, жила в Сен-Жермене под Парижем и была рада помочь в разрешении семейного кризиса. Младшую сестру ожидали в Париже в воскресенье 22 июня 1930 года.

Но родители недооценили чувства, связывающие их дочь и Агабекова. Они и понятия не имели, что влюбленным удавалось поддерживать связь друг с другом, несмотря на строжайшие меры предосторожности, принятые семьей Стритеров. Как только Изабел сообщила Агабекову о своем вынужденном отъезде во Францию, он тотчас перестроил и свои планы. Он, собственно, давно мечтал побывать в Париже и встретиться со своим бывшим коллегой Беседовским, побег которого на Запад вызвал около года назад такой шум. Теперь Агабеков готов был поселиться там навсегда и начать новую жизнь с Изабел во Франции. А там пусть англичане хоть навсегда забудут о нем!

В вагоне восточного экспресса Изабел Стритер тайно увозила с собой в Париж рукопись мемуаров Агабекова, которые он рассчитывал там опубликовать. Он снабдил ее также приличной суммой денег — 200 фунтов стерлингов, вырученных, по его словам, от продажи велосипедов и пишущих машинок. Сам Агабеков отбыл из Стамбула морем в тот же день, когда Изабел уехала поездом. Он прибыл в Париж — через Марсель — спустя четыре дня после нее и немедленно направился в дом ее сестры на улице Лорен в Сен-Жерменском предместье.

Продолжение. Начало см. в № 6.

Мистер Ли в прошлом работал в представительстве Лиги Наций в Стамбуле (где, по-видимому, и встретил свою будущую жену). Но у него имелся не только этот, как бы дипломатический, опыт. Чарльз Ли был еще и лейтенантом английской армии, но, конечно, при всем этом он не мог противостоять Агабекову, который уже в двадцать шесть лет возглавлял акцию по уничтожению вооруженного отряда самого Энвер-паши в горах и пустынях советской Средней Азии.

Агабеков раскрыл Чарльзу Ли свое настоящее имя и рассказал, кем он является в действительности. Однако эффект оказался противоположным ожидаемому. Узнав, что перед ним крупный деятель ОГПУ, мистер Ли стал искать официальной поддержки. Он позвонил сначала мсье Фо-Па-Биде, руководителю политического отдела французской контрразведки, затем в консульский отдел британского посольства в Париже, который, как он полагал, связан с «Интеллидженс сервис».

Агабеков парировал эти «происки», нанеся семейству Ли очередной визит в сопровождении французского детектива. Он сказал, что французские власти проявили к нему должное внимание как к крупному политическому деятелю, попросившему убежище, и вот теперь, как видите, обеспечивают даже личной охраной.

Продемонстрировав, таким образом, свою политическую благонадежность, Агабеков попытался заинтересовать Чарльза Ли деловым предложением. Не захочет ли мистер Ли заняться его рукописью, которую Изабел привезла в Париж, и начать переговоры относительно ее публикации в Лондоне? В таком случае доля мистера Ли составит тысячу фунтов стерлингов — двадцать процентов комиссионных от 5 тысяч фунтов. Этой суммой Агабеков оценил свои мемуары, и эту сумму он хотел бы получить по возможности безотлагательно.

Чарльз Ли с негодованием отверг это предложение. Он вообще не хотел иметь дела с этим подозрительным субъектом. Только накануне он заставил Изабел забрать из банка 150 фунтов стерлингов, которые Агабеков положил на ее счет, и отдал эти деньги Агабекову в ее присутствии. Придя к выводу, что подкупить парижских родственников Изабел невозможно, Агабеков в тяжелом настроении удалился. Но он отнюдь не собирался оставить их в покое и предупредил, что еще вернется.

В течение июля борьба между семьей, окопавшейся на улице Лорен, и Агабековым, поселившимся неподалеку, в отеле «Англетер», велась на расстоянии. К концу месяца стало ясно, что на этом этапе семья Изабел вроде бы выиграла баталию. Протестующую и измученную Изабел отправили обратно в Стамбул, в родительскую клетку — ей еще не исполнился двадцать один год, и по тем временам она считалась несовершеннолетней.

Затем, в начале августа 1930 года, Агабеков был выслан из Франции в Бельгию. Ему пришлось поселиться в Брюсселе, так что расстояние между влюбленными еще более увеличилось. Возможно, Агабеков был выслан потому, что французская контрразведка, начавшая было допрашивать его, обнаружила, что он не особенно склонен к сотрудничеству. (В дальнейшем французы поделились этим впечатлением со своими английскими коллегами.)

Кроме того, присутствие Агабекова во Франции было сочтено нежелательным по причинам чисто политического порядка. Вскоре после приезда в Париж он встретился, как и намечал, со своим старым другом Беседовским, и тот, основываясь на собственном опыте, подсказал, что нужно немедленно предпринимать, очутившись в положении политического беженца. Для начала Агабеков поместил в эмигрантской газете «Последние новости» ядовитую антисоветскую статью. Французскому правительству вряд ли улыбалась перспектива надолго заполучить еще одного крупного советского перебежчика, который станет неистово поносить большевиков в парижской прессе.

Но все-таки главной причиной, побудившей французские власти выслать Агабекова, было давление со стороны семьи Стритеров. В официальном французском сообщении, направленном в Лондон 18 августа, было так и сказано, что Агабеков выслан «в основном по требованию английского генерального консула в Париже, который вмешался в это дело по просьбе матери мисс Стритер».

Однако британское правительство вскоре резко изменило отношение к Агабекову, и дело приняло совершенно другой оборот.

26 августа в интервью, данном парижскому бюро газеты «Чикаго трибюн», Агабеков подробно рассказал о себе и обрисовал свое положение бездомного скитальца, бежавшего от большевизма, не принятого Англией, высланного из Франции и имеющего лишь трехмесячную визу на пребывание в Бельгии. Такое отношение, говорил Агабеков, только отпугивает других крупных агентов ОГПУ, которые могли бы последовать его примеру и дезертировать, прихватив с собой секретную информацию. Он заявил, что ему известны по меньшей мере три агента, которые хотели бы переметнуться на Запад при условии, что они найдут здесь моральную поддержку.

На следующий же день заявление Агабекова было подхвачено английской прессой и дошло до Уайтхолла. Расчет оправдался: всего сутки спустя Лондон предпринял первые шаги для организации обстоятельного допроса перебежчика. Долгожданная встреча состоялась 17 сентября в здании бельгийской секретной службы в Брюсселе. Она не разочаровала ни ту, ни другую сторону.

Англичане полагали, что взамен раскрываемых секретов Агабеков потребует денег, и притом, конечно же, крупную сумму. Соответственно и английский офицер, который был назначен для ведения переговоров и представился по-французски «капитан Дени», сразу же перешел к делу: «Сколько?»

Ответ Агабекова поразил его. Оказывается, Агабеков ничего не станет делать за деньги, независимо от предложенной суммы. Даже 100 тысяч фунтов стерлингов не изменят его позиции. Он готов рассказать англичанам все, что знает, а также кон-

сультировать их в будущем, но при единственном условии: они должны помочь ему соединить свою судьбу с Изабел Стритер.

Сотрудники «Интеллидженс сервис», собравшись с мыслями, принялись обсуждать эту возможность. Агабекову заявили, что они попытаются убедить бельгийские власти разрешить ему постоянное проживание в Бельгии и выдать визу мисс Стритер, чтобы она могла сюда приехать и выйти за него замуж.

Хотя Агабеков и отверг предложение оплатить его информацию, англичане настаивали на том, что такое вознаграждение само собой будет ему выплачено[1]. С другой стороны, если он откажется сотрудничать — на всякий случай намекнули ему,— то его вышлют из Бельгии, а мисс Стритер будет отказано в визе. Агабеков решительно отмел эти угрозы и вновь повторил, что деньги для него ничего не значат. Перспектива быть высланным из Бельгии, пока он один, мало его беспокоила. Что касается Изабел, то бельгийская виза и для нее мало что решала. Главная сложность заключалась в другом: как ее вызволить из Турции, и в этом смысле, безусловно, могло бы оказаться полезным вмешательство британского консула в Стамбуле. Пусть он убедит ее отца вернуть ей паспорт либо выдаст ей новый. Агабеков пустил в ход еще один аргумент. Изабел Стритер только что исполнился двадцать один год, и семья уже более не имела права держать ее под домашним арестом.

«Капитан Дени», видимо, был настоящим профессионалом, он вскоре выработал весьма эффективный план действий. Он решил, что следует установить тщательное негласное наблюдение за всеми передвижениями мисс Стритер, с одной стороны, и тактично нажать на британское посольство в Стамбуле — с другой. Дени даже чувствовал, что необходимо немедленно подготовить подробный вопросник, чтобы начать допрос Агабекова сразу же, как только мисс Стритер покинет Стамбул, и закончить его, прежде чем она появится в Брюсселе. Все еще находясь под впечатлением бурной страсти, переживаемой Агабековым, он отчетливо понимал, что Агабеков, возможно, будет потерян как информатор с того момента, когда снова встретится с Изабел.

Наконец Агабекова удалось убедить, что дело немедленно передается на рассмотрение в самые высокие инстанции, и в ответ бывший советский агент письменно сформулировал условия договора о сотрудничестве. Этот «договор», датированный сентябрем 1930 года, является, должно быть, самым странным из всех документов, когда-либо появлявшихся в мире шпионажа.

Вот что там было сказано:

«Настоящим я, Г. Агабеков-Арутюнов обязуюсь, если моя невеста выедет из Стамбула в Брюссель до 1 октября 1930 года, раскрыть предъявителю этого документа следующее:

1. Каким образом, где и через кого большевики получают документы Форин оффиса (сообщу все подробности, а в случае необходимости окажу личную помощь).

2. Обязуюсь ответить на все вопросы, которые мне будут заданы и в которых я считаю себя компетентным».

Уязвимым пунктом этого документа было назначение столь жесткого срока. До 1 октября оставалось всего десять дней, и за это время англичане должны были сломать решетку семейной клетки в Стамбуле и обеспечить Изабел безопасный проезд в Брюссель. Сотрудник «Интеллидженс сервис» допустил здесь явный промах. Будь он чуть большим бюрократом, ему было бы ясно, что такая сложная и деликатная операция, особенно при отсутствии прецедента, священного в подобных случаях для британского правительства, займет гораздо больше времени, чем несколько дней. Так и произошло. Октябрь начался, а Изабел все еще вынуждена была оставаться в Стамбуле.

2 октября «капитан Дени» прибыл в Брюссель, чтобы попросить у Агабекова отсрочки и уговорить его набраться терпения. Это оказалось нелегкой задачей. Как только бывший советский агент появился в комнате, отведенной для них в здании бельгийской контрразведки, англичанин заметил, что за прошедшие две недели тот еще больше похудел и был на пределе сил из-за постоянного напряжения и неуверенности. Почти как врач, увещевающий больного, офицер «Интеллидженс сервис» заверил безутешного Агабекова, что дело движется, что высшие инстанции предпринимают все возможное, чтобы воссоединить влюбленных, «не нарушая при этом законодательства Британской империи». Увы, первые попытки оказались безуспешными, но «нужно надеяться, что рано или поздно будет принято благоприятное решение».

Агабеков был признателен за участие, но сказал, что он лично теряет всякую надежду. Его отчаяние усугубляется совершенно безумными посланиями, приходящими от Изабел. Впервые вера в лучшее будущее начала покидать ее, она помышляет о самоубийстве. По-видимому, для него нет другого выхода, кроме как самому вернуться в Стамбул и попытаться каким-то образом вырвать ее из рук семьи. Он отчетливо представляет все трудности и опасности, подстерегающие его при этом. У него почти нет денег, нет легального паспорта, он едва ли может рассчитывать на сочувствие турецкой полиции, не говоря уже о семье Стритеров. Вдобавок Турция находится рядом с Советским Союзом, что еще более увеличивает опасность такого предприятия. Но ничего другого ему не остается. Смогут ли англичане по крайней мере помочь ему с проездом на каком-нибудь из английских судов и обеспечить, насколько это возможно, его безопасность в дороге?

Чтобы отговорить Агабекова от такой безумной затеи, на помощь был призван барон Ферхюльст, глава бельгийской контрразведки. К этому моменту барон и сам уже был заинтересован в услугах бывшего советского агента, которые тот мо-

[1] Британское правительство было особенно заинтересовано в том, чтобы Агабеков выдал имя советского агента, известного только как «Б-3», действовавшего в английском министерстве иностранных дел.

жет оказать Западу, и потому пришел на помощь своему английскому коллеге. Переговоры кончились тем, что Агабеков согласился подождать еще две недели и ничего не предпринимать на свой страх и риск до 15 октября, заручившись обещанием, что его партнеры по переговорам сделают все возможное, чтобы Изабел как можно скорее выехала в Брюссель. Его также заверили, что, если ему срочно понадобятся деньги, он может без всяких колебаний получить их через бельгийскую службу контрразведки.

Однако и новый срок, согласованный с Агабековым в Брюсселе, прошел, а дело, похоже, не сдвинулось с места. Агабеков дал англичанам еще неделю, но когда и эта отсрочка не принесла ничего путного, он начал осуществлять собственный, давно выношенный им план спасения Изабел. Это предприятие еще раз продемонстрировало чисто профессиональную хватку бывшего агента. Подтвердилось также, что Агабеков, по внешности далеко не Ромео, обладал даром воздействовать на женщин, особенно когда речь шла о столь романтической истории. Он убедил свою квартирную хозяйку мадам Банкен и ее приемную дочь Сильвию принять участие в спасении Изабел. В случае провала им грозило тюремное заключение, чего они, быть может, и не сознавали. С другой стороны, надежду на успех внушало то обстоятельство, что Сильвия и Изабел были несколько похожи внешне и одного возраста.

23 октября мадам Банкен с дочерью выехали в Стамбул. Надо полагать, их путешествие было оплачено Агабековым. Замысел был таков: по прибытии на место связаться с Изабел и вручить ей паспорт Сильвии. Изабел отправится в Брюссель под именем мадемуазель Банкен, в сопровождении своей «приемной матери», в то время как Сильвия, задержавшись в Стамбуле, заявит, что она потеряла паспорт, ей выдадут новый в бельгийском консульстве, и она тоже вернется назад.

Прибыв 27 октября в Стамбул, заговорщицы, однако, поняли, что едва ли им удастся даже повидать Изабел. Больше того, они сами тут же попали под надзор турецкой полиции. Мистер Стритер был не менее упрям, чем его дочь, он сообщил турецкой полиции, что Изабел, возможно, была завербована Советами. Поэтому всякий, кто пытался с ней связаться, тут же удостаивался внимания турецких органов безопасности. Нервы мадам Банкен вскоре сдали (возможно, у нее неожиданно быстро кончились деньги, или же обе причины «сработали» одновременно), и после двух суток пребывания в Стамбуле она отправилась домой. Сильвия упорно продолжала крутиться поблизости от дома Стритеров, надеясь, что в крайнем случае сможет без труда выпутаться из этой авантюры. К тому же подобных романтических приключений в ее жизни еще не бывало. Будет что вспомнить!

Тем временем зашевелились и британские власти, стараясь «вызволить» Изабел — по своему обыкновению — деликатно, не поднимая шума. Пока мадам Банкен и ее дочь размышляли, как им поступить, Агабекова, оставшегося в Брюсселе, неожиданно известили, что британский генеральный консул в Стамбуле получил официальное распоряжение либо отобрать паспорт мисс Стритер у ее отца, либо выдать ей новый.

2 ноября 1930 года Агабеков наконец получил долгожданную телеграмму, текст которой был предельно простым: «Все хорошо. Счастлива. Изабел». В тот же день по настоянию британских и бельгийских властей он отозвал упрямую Сильвию из Стамбула. (Хотя молодая бельгийка и была рада благополучному исходу, ее явно огорчало, что все произошло помимо ее прямого участия.)

Неизвестно, присутствовали ли при встрече влюбленных «капитан Дени» и барон Ферхюльст. Разумеется, никаких сведений об этом не сохранилось в архивах, не вспоминает о них и Агабеков. То же относится и к свадьбе, которая последовала вскоре после приезда Изабел. Достоверно известно лишь, что на этой церемонии присутствовали мадам Банкен и ее приемная дочь и, конечно же, отсутствовали мистер и миссис Стритер. Их дочь как бы перестала для них существовать на долгие годы — точно так же, как ее муж перестал существовать для своей страны, по-видимому навсегда. Родители Изабел считали, что ее покарают небеса. Хозяева Агабекова в Москве вынашивали в отношении «предателя» куда более зловещие планы.

На таком мрачном фоне мсье и мадам Арутюновы начали новую жизнь в Брюсселе, на Гранд Рю-о-Буа, 188. Вскоре, увы, суждено было сбыться самым дурным предвидениям.

Глава шестая

Дело «Филомены»

Что же получили британские и бельгийские власти за все свои хлопоты? Насколько полезным оказался для них Агабеков, когда он наконец начал выдавать информацию? Оправдал ли их ожидания?

В целом оправдал. То, что он им сообщил, можно более или менее условно подразделить на информацию общего характера, касающуюся советской политики, и специфическую информацию о текущих подрывных операциях, нелегально осуществляемых Советским Союзом.

Подобно тому как двумя годами ранее это сделал в Париже Борис Бажанов, Агабеков нарисовал впечатляющую картину организации и деятельности зарубежной агентуры ОГПУ. Но в то время как Бажанов характеризовал ОГПУ с точки зрения скорее общеполитической, Агабеков поставлял конкретную информацию непосредственно о работе этого ведомства, притом информацию, что называется, из первых рук: занимая в ОГПУ высокий пост, он наблюдал за всем этим механизмом в действии. В общем, Бажанов и Агабеков как информаторы хорошо дополняли друг друга и в целом дали необыкновенно яркую картину.

Бажанов рассказал о гигантской программе ОГПУ: проникнуть во все страны Ближнего Востока для постепенного захвата той территории, которая помогала Анг-

лии удерживать в своем подчинении Индию. Агабеков дополнил эти сведения, сообщив, в частности, как он лично, выполняя задание ОГПУ в Афганистане, сотрудничал в Кабуле с некоторыми из тридцати тысяч беженцев из Советской Бухары, устремившимися сюда через афганскую границу. Всего в нескольких милях от Кабула размещался весь двор бухарского эмира, также оказавшийся на положении беженцев.

Вначале Агабеков работал под прикрытием дипломатической должности, представляясь приближенным эмира как «атташе турецкой миссии» (он владел турецким языком). Завоевав доверие в кругах, близких к эмиру, он в один прекрасный день заявил, что является одним из этих ненавистных им большевиков. Играя на чувстве ностальгии, охватившем беженцев, Агабеков убедил их вернуться домой. От имени Кремля он обещал им амнистию, возврат собственности и полную компенсацию всего нанесенного им ущерба.

Однако вместо обещанного теплого приема почти всех ждали арест и ссылка. Прекрасно задуманный план провалился то ли по глупости, то ли из-за предательства. Впрочем, не исключено, что именно таков был замысел Москвы с самого начала: заманить злосчастных беженцев обратно и втихомолку расправиться с ними. Те, кому удалось бежать, вернулись обратно в Афганистан, и их рассказы, естественно, положили конец всякой репатриации.

Агабеков играл на тоске по родине — столь сильной среди эмигрантов — и в следующем году, когда, возглавив сеть ОГПУ в Персии, завербовал в качестве тайных агентов русских белоэмигрантов, включая одного бывшего генерала и бывшего полковника царской армии. Эта операция тоже была направлена в конечном счете против Британии.

Кремль исходил тогда из возможности близкой войны с Англией, особенно после возврата к власти консервативной партии. Отношения между Москвой и Лондоном заметно ухудшились почти сразу после победы консерваторов на выборах в 1926 году.

Агабеков получил также задание организовать восстание на индийской границе, которое должно было перебросить непосредственно на территорию Индии, в область, населенную белуджами. Были подкуплены вожди белуджских племен и подброшено достаточное количество вооружения, чтобы по сигналу Кремля в любой момент могли начаться вооруженные выступления.

Год спустя Агабеков получил задание провести подобную же операцию среди курдов — народа, чья территория была поделена между Турцией, Ираком, Персией и Советским Союзом. На этот раз советские планы были еще более амбициозными: намечалось создание «независимой курдской республики» на базе той части Курдистана, которая находилась в пределах территории Советского Союза. И снова Кремль исходил из перспективы предполагавшейся войны с Англией. Советы надеялись бросить курдские племена на захват английских аэродромов на территории Персии. Англичане и без Агабекова, конечно, знали, что главной целью Москвы было изгнать их с территорий у подножия Гималаев. Однако благодаря Агабекову они узнали о том, как конкретно задумывался и осуществлялся первый этап этой обширной операции.

Очень ценной оказалась также информация Агабекова о системе перехвата британской дипломатической почты. Выяснилось, что в свое время он лично организовал перехват официальной корреспонденции между Англией и ее дипломатическими представительствами на Ближнем Востоке, подкупив местных почтовых чиновников. Особенно успешно действовала эта система в Мешхеде — городе, который сыграл такую важную роль в истории побега Бажанова. Начиная с 1926 года ОГПУ регулярно имело в своем распоряжении все сообщения из Англии, а также и другую дипломатическую корреспонденцию, направляемую в Тегеран из Мешхеда, и большую часть информации, поступавшей из Индии.

Когда эта система начала действовать, Агабеков с подчиненной ему бригадой гепеушников прочитывали в среднем свыше пятисот писем в месяц. Почтовые чиновники получали по два доллара за каждое британское или персидское письмо и один доллар — за любое другое.

Для бельгийцев, как и для англичан, разумеется, было очень важно получить подробную информацию. Она позволяла принять контрмеры. Но больше всего западные секретные службы интересовались именами советских агентов, их легальным прикрытием, их конкретными заданиями на территории Западной Европы. Бажанов смог указать только одного крупного агента, да и то в Персии (министра шахского двора Теймурташа). Беседовский мог разве что подтвердить, что разведывательные операции осуществляются с территории советского посольства в Париже. Агабеков же был чекистом с 1920 года (с двадцати четырех лет) и своими показаниями нанес удар не только по всей зарубежной сети ОГПУ, но и по официальным представительствам СССР в Европе и на Востоке.

Советы, как мы знаем, перехватывали дипломатическую почту западных стран, но и те тоже были не лыком шиты. Поэтому им очень скоро стало известно, какой силы удар был нанесен Агабековым своему ведомству. 2 июля 1930 года — спустя восемь дней после измены Агабекова — из Москвы в советское посольство в Берлине (административный центр сети ОГПУ, оперировавшей в Европе) поступила шифрованная телеграмма на имя сотрудника посольства Вересаева. В телеграмме сообщалось, что вследствие предательства Агабекова «возникла серьезная опасность... Особенно опасная ситуация создалась в отношении тех товарищей, которые находились в контакте с нашим представительством в Стамбуле вплоть до 24 июня 1930».

Далее следовал перечень — фамилии десятка агентов, которых следовало без промедления отозвать в Москву. Трое других получили приказ сменить местонахождение и временно затаиться, прекратив всякую деятельность.

Эта телеграмма, как и ряд других сообщений из Москвы, свидетельствовала также и об опасности, которой подвергался отныне сам Агабеков. Подобно Беседовскому, он немедленно обратился к содействию русской эмигрантской печати, полагая, что гласность принесет ему хоть какую-то защиту.

Однако действия ОГПУ в отношении Агабекова были несколько иными, чем предпринятые годом раньше против Беседовского. Тогда Кремль в последний момент отозвал подосланных убийц, придя к выводу, что убийство дипломата может принести больше вреда, чем пользы.

Агабеков был первым, кто дезертировал непосредственно из ОГПУ, причем с высокого поста. Его начальство наверняка горело желанием лично отомстить ему, но не менее важным было и такое государственное соображение: если ему удастся остаться невредимым, трудно даже представить себе, сколько еще агентов захотят последовать его примеру.

Когда Сталин распорядился об убийстве Бажанова, им владело в первую очередь желание отомстить своему бывшему секретарю за его вероломство. Ликвидация же Агабекова была необходима для того, чтобы не обрушить сваи, на которых держалось все здание советской разведки. Поэтому операция по ликвидации Агабекова не должна была свестись к «рядовому случаю», то есть нельзя было просто пристрелить его на улице какой-нибудь из европейских столиц. Ему уготовили расправу, достойную организации, которую он предал. Заманчивая возможность расправы представилась почти сразу же, как только супруги «Арутюнофф» поселились в своей квартире в Брюсселе. Это основательно спланированное мероприятие вошло в историю под звучным названием «Дело «Филомены».

Оно представляет собой операцию, классическую по замыслу, и выглядит как поучительный пример из истории шпионажа всей сталинской эпохи — с точки зрения сложности задуманного плана, стоимости операции и ее длительности. Диктатор готов был идти на все, лишь бы — по любимому сталинскому выражению — н а к а з а т ь человека, который его предал.

Тогда, в 1932 году, отголоски этой истории попали на страницы всей мировой прессы — от Брюсселя до Стамбула. Однако, насколько известно автору этих строк, здесь она впервые излагается полностью и впервые основывается на официальных документах, сохранившихся в архивах нескольких европейских государств, замешанных в это дело.

История эта началась в Париже с появлением некоего Александра Огюста Лекока, который в начале 1930 года жил на улице Ришелье в отеле «Бретань», принадлежавшем его теще. Лекок, французский гражданин, был якобы инженером. По существу же представлял собой довольно распространенный тип международного авантюриста, готового пойти на любое рискованное предприятие, лишь бы на нем можно было заработать.

Должно быть, именно поэтому к нему и обратился некто Нестор Филия, российский эмигрант, проживавший во французской столице. Филию волновала судьба его близких, застрявших в Советской России. Его жена Евдокия с дочерью Анной — в городе Николаеве и тщетно пытались получить разрешение на выезд. Все попытки получить выездные документы до сих пор кончались неудачей. Еще до революции супруга господина Филия положила в швейцарский банк целое состояние — сто миллионов швейцарских франков. И счет в женевском банке был открыт только на ее имя. Если бы Лекок помог ей вырваться из СССР, он мог быть уверен, что получит большие комиссионные, как только она сможет реально распоряжаться своим состоянием.

Позднее Лекок утверждал, что для начала он испробовал легальный путь, то есть обратился во французское министерство иностранных дел, надеясь, что можно чего-то добиться путем дипломатических переговоров. Вскоре, поняв, что это безнадежно, он пошел по другому пути. В мае 1931 года он познакомил с этой историей Жана Паниотиса, греческого гражданина, также обитавшего тогда в Париже. Паниотис, уроженец Одессы, хотя и поменял подданство, тем не менее сохранил преданность России. Неизвестно, впрочем, знал ли Лекок, обращаясь к Паниотису, что тот является агентом ОГПУ.

Паниотис, в свою очередь, обсудил это предложение с другим нелегальным агентом ОГПУ из парижской агентурной сети, Сергеем Минцем, и оба решили прежде всего проверить, существует ли в действительности сногсшибательное состояние мадам Филия. Через своего связного в Женеве они установили, что да, существует, и сообщили Лекоку, что готовы участвовать в его предприятии.

25 мая 1931 года Паниотис отправился в СССР, остановился в Одессе, позвонил оттуда госпоже Филия в Николаев, а затем провел несколько дней в Москве. По всей видимости, ОГПУ с самого начала было в курсе этого сомнительного предприятия.

В августе Паниотис вернулся в Париж и сообщил Лекоку поразительные вещи. Советские власти согласились разрешить мадам Филия и ее дочери выехать из СССР, но при условии, что Лекок, в свою очередь, поможет ОГПУ расправиться с Агабековым. Сознавая всю опасность такого поворота дел, Лекок в то же время понимал, что в дополнение к комиссионным из Женевы он теперь может рассчитывать на особое вознаграждение от ОГПУ, и решил согласиться.

План расправы с Агабековым, разработанный в Москве, в общих чертах выглядел так. Агабекова следовало посвятить в семейную драму Филия и предложить ему как бывшему опытному агенту ОГПУ устроить побег двух женщин из СССР — разумеется, за приличную сумму.

Сама по себе операция должна была представляться столь классному агенту вполне осуществимой. Так как дело не упиралось в деньги, проще всего было переправить обеих женщин из Советской России морем. Можно было даже зафрахтовать какое-нибудь иностранное судно с единственной целью — доставить госпожу

Филия и ее дочь в ближайший иностранный порт, например в болгарскую Варну. Это вряд ли представляло трудность для такого человека, как Агабеков,— ведь он, должно быть, сохранил немало связей на Черном море еще с тех времен, когда был шефом разведки в Стамбуле.

Проблема, однако, заключалась в том, как преподнести этот вариант столь искушенному профессионалу! Надо, чтобы, прельстившись деньгами, он в то же время ни в коем случае не заподозрил ловушку. Не важно, доставит ли пароход женщин в Варну или нет, основной задачей было заманить Агабекова на борт и затем вернуться с ним — предпочтительно живым — в Одессу...

В этот момент на сцене появляется крайне загадочная личность — семидесятилетний англичанин Альберт Стопфорд, живущий в Париже на улице Валуа, 31. Он был высокого роста, очень представителен, состоятелен и определенно с широкими связями. Был ли Стопфорд британским агентом, советским агентом, агентом-двойником или даже вовсе никаким не агентом — не важно, ибо это не сыграло в последующих событиях ни малейшей роли. Существенно другое: он был гомосексуалистом. Позднее Паниотис признал, что состоял с ним в связи. В отношении другого агента ОГПУ, Сергея Минца, подобной ясности нет. Но, как указывается в одном из полицейских документов, появившихся в ходе расследования «Дела «Филомены», он служил «секретарем» у Стопфорда.

Так или иначе, Стопфорду отводилась определенная и немаловажная роль. Можно было надеяться, что его внешность и социальный статус «английского джентльмена со средствами» произведут на Агабекова должное впечатление.

Следующий этап лучше всего представил сам Агабеков в своем сообщении, адресованном бельгийским властям. Находясь в Берлине и ведя переговоры о публикации там своих мемуаров, он получил 23 сентября телеграмму от жены, остававшейся в Брюсселе. Она просила срочно вернуться в Брюссель. Оказывается, к ним заходил Альберт Стопфорд и был огорчен, застав дома одну Изабел. Стопфорд и попросил ее по возможности без промедления вызвать мужа, так как его ждет некое важное и прибыльное дело.

Встреча Агабекова со Стопфордом состоялась спустя двое суток. Она оставила у Агабекова чувство какой-то странной недоговоренности. Однако подозрения Агабекова несколько рассеялись, когда он узнал о довольно безобидной проблеме семьи Филия. Тем более что для начала Стопфорд хотел только попросить совета, и притом готов был за него заплатить. От денег Агабеков отказался, но дал несколько советов: как раздобыть заграничные паспорта в Москве при условии, что просителю удастся разыскать нужных людей, и он готов будет заплатить соответствующую сумму. Англичанин удалился, рассыпаясь в благодарностях. Начало знакомству было положено.

Прошло несколько дней, и Агабеков получил от Стопфорда письмо, где он писал, что госпожа Филия не решается больше хлопотать сама и не рискует предложить в Москве взятку. Однако она готова «пойти на любые жертвы», чтобы только вырваться из Советской России, и надеется, что ей «помогут обойтись без официального разрешения». Не сможет ли Агабеков лично устроить ей выезд, разумеется за соответствующее вознаграждение? Если переправить обеих женщин хотя бы в Болгарию, то оттуда они могли бы легко добраться до Парижа...

Хотя Агабекову не понравилось упоминание Болгарии, мысль о получении крупной суммы денег его явно подбадривала, и он согласился встретиться со Стопфордом, чтобы обсудить, как быть дальше.

Встреча состоялась в середине октября в брюссельском «Гранд-отеле», где Стопфорд снимал роскошные апартаменты. На этот раз англичанина сопровождал человек, который подтвердил существование счета госпожи Филия и размер капитала. Позднее выяснилось, что это был один из агентов ОГПУ, действующих в Швейцарии. Агабекову он представился как Отто Йегер и продемонстрировал свой швейцарский паспорт. Он сказал, что его задача как банкира ограничивается финансовой стороной дела, и предложил весьма соблазнительные условия. Агабеков должен был получить десять тысяч франков до отъезда из Брюсселя и такую же сумму по прибытии в Болгарию. Но это лишь деньги на расходы по предстоящему делу. Если он благополучно доставит мать и дочь Филия в Болгарию, ему выплатят две тысячи фунтов стерлингов. По тому времени это была более чем солидная сумма. Достаточно сказать, что на эти деньги супруги «Арутюноff» могли бы с комфортом прожить не менее четырех-пяти лет. В общем, Агабеков согласился участвовать в рискованном предприятии, полагая, что профессиональные навыки позволят ему избежать возможных опасностей.

Месяц спустя он выехал в Болгарию, располагая там единственной явкой: Варна, ул. Нишка, 20. По этому адресу проживал некий Дмитров. ОГПУ тем временем исправно доставило госпожу Филия и ее дочь в Одессу, и Стопфорд, узнав их новый адрес, тотчас сообщил его Агабекову.

Первый этап путешествия не обошелся без приключений. В Вене Агабекову пришлось задержаться на целых десять дней: австрийская полиция пыталась выудить у него определенную информацию, прежде чем разрешить ему следовать дальше [1].

До Варны Агабеков так и не добрался. На третий день пребывания в Софии его вызвал шеф болгарской полиции Прелявв-

[1] Незадолго до этого в Вене произошло убийство видного австрийского коммунистического деятеля по фамилии Земмельман, который одновременно являлся агентом советской секретной службы. Австрийские органы безопасности арестовали убийцу и теперь пытались дознаться, кто он такой. Сам он утверждал, что его фамилия Пиркович и что он югослав. Но Агабеков сразу же опознал в нем своего бывшего коллегу по ОГПУ Шульмана. Шульман возглавлял в Москве так называемый «черный кабинет», занимавшийся изготовлением фальшивых документов, и в свое время лично приготовил для Агабекова фальшивый персидский паспорт, с которым тот появился в Стамбуле

ский и заявил, что в интересах самого же Агабекова — немедленно покинуть Болгарию, не заезжая в Варну. Хотя виза была выдана ему на целый месяц, он понимал, что настаивать бесполезно, да и небезопасно. На следующий день он отправился обратно тем же маршрутом, каким приехал, и вернулся в Брюссель усталый, раздраженный своим бесплодным путешествием и изрядно обескураженный [1].

Всем, начиная с ОГПУ, пришлось разрабатывать новый план. Появилась идея: заменить Варну румынским портом Констанца, куда, разумеется, тоже вполне может прийти пароход из Одессы.

Агабеков сказал, что ему надо подумать. Он решил поставить в известность об этом предприятии своих влиятельных патронов — барона Ферхюльста и «Капитана Дени». 13 декабря 1931 года он представил им письменное изложение событий, начиная с первого визита Стопфорда к его жене и кончая последним предложением переключиться на румынский порт. Агабеков подчеркивал в этом письме свои вполне обоснованные опасения; любопытно вместе с тем, что он не попросил профессиональной помощи, в частности проверки личности Альберта Стопфорда. Однако он приложил к своему сообщению копии всех писем, которые получил от англичанина. Письма производили впечатление льстивых и елейных, рассчитанных на приманку какого-то простака. Впрочем, может быть, Агабеков полагал, что такой стиль принят у воспитанных англичан?

В этот момент заговорщикам понадобилось ввести в игру еще одно лицо, и притом обязательно представить его Агабекову. Причина выяснилась позже, после скандального финала и расследования, проведенного полицией более чем полудюжины стран. Причина эта была очень проста. В агентурной сети ОГПУ в Варне, где вначале предполагалось захватить Агабекова, нашлись агенты, знавшие его в лицо. Когда же операция была переключена на Констанцу, возникла необходимость, чтобы кто-то из «своих людей» сопровождал Агабекова, был в курсе всех его передвижений и указал на него тем, кому поручалось его убить или похитить. Выбор пал на Лекока.

Итак, когда Стопфорд снова прибыл в «Гранд-отель», чтобы окончательно договориться с Агабековым о «румынском варианте», его сопровождал «французский бизнесмен», который, по словам Стопфорда, помогал в осуществлении операции и оказался сейчас в Брюсселе по делам. Грек Паниотис также прибыл в Брюссель с этой парой, но на глаза Агабекову не показывался.

После короткого обсуждения, каким образом лучше всего зафрахтовать судно, был разработан подробный план действий каждого. Агабеков и Лекок должны были выехать в один и тот же день — 23 декабря, но порознь, и 26-го утром встретиться в бухарестской гостинице «Афинский дворец». Таким образом, супруги «Арутюнофф» лишались возможности провести вдвоем первый в их совместной жизни праздник Рождества. Несчастная Изабел снова оставалась в Брюсселе в полном одиночестве.

В конце декабря ОГПУ подыскало торговое судно, давшее кодовое название всей этой афере. Это была греческая посудина «Елена Филомена». Судно было зафрахтовано Совторгфлотом, когда оно находилось в Марселе. Команда состояла из двадцати греков, капитаном был тоже грек — Спиро Катаподис. Семеро членов команды, впрочем, сразу же были заменены агентами ОГПУ, и судно вышло из марсельского порта, держа курс на Стамбул.

Румынская сигуранца (служба безопасности) установила тщательное наблюдение за достаточно известным ей Агабековым и его компаньоном, как только они пересекли границу. Эта неусыпная слежка сыграла решающую роль в разыгравшейся позже драме. Но тогда румынским органам безопасности еще не были известны ни масштаб операции, ни ее конечная цель.

29 декабря, в тот же день, когда Лекок своей телеграммой окончательно переключил операцию на Румынию, пришел и ответ из Парижа, предписывающий немедленно выезжать в Констанцу. Там Лекок поселился в самом роскошном отеле. Агабеков из осторожности, ссылаясь на необходимость экономить средства, выбрал более дешевую гостиницу — «Централь».

Стопфорд между тем известил Лекока, что в Констанцу направляется человек, который «окажет необходимую помощь на месте». А пока единственное, что требуется,— это оставаться на месте и следить, чтобы Агабеков никуда не исчез.

Тем временем Агабеков испытывал все возрастающее беспокойство. Он приходил к выводу, что дело явно нечисто. Его подозрения перешли в уверенность, когда утром 7 января Лекок познакомил его с новым участником «ожидания женщин из Одессы», который только что прибыл из Варны. Агабеков пожал руку энергичному широкоплечему болгарину лет тридцати по фамилии Цончев, и профессиональное чутье сразу же подсказало ему, что это агент ОГПУ. Когда же выяснилось, что Цончев на самом деле приехал вовсе не из Варны, а из Стамбула и вообще ничего не знал о подготовке операции в Варне, Агабеков сказал себе: это не просто «человек ОГПУ», он, по всей вероятности, намечен исполнителем «приговора», то есть убийцей его, Агабекова.

Но он оказался прав только наполовину. Цончев (именно о нем сообщал Стопфорд в своей телеграмме) действительно был теперешним руководителем сети ОГПУ в Турции. Но в этой операции его роль состояла только в том, чтобы в подходящий момент навести на Агабекова действительных убийц. Реальный исполнитель прибыл в Констанцу 9 января на борту «Филомены». Чтобы усыпить любые подозрения и ублажить скрягу капитана, судно было зафрахтовано на шесть месяцев, хотя ему предстояло лишь единожды пересечь Черное море.

Вновь прибывший участник заговора, сопровождаемый целой компанией агентов

[1] Похоже, что болгарские власти догадывались по каким-то признакам о заговоре с целью «ликвидировать» Агабекова на их территории и, настаивая на его немедленном отъезде, надеялись таким путем избежать международного скандала.

ОГПУ, поднялся на борт «Филомены» в Стамбуле. Это был, если судить по его документам, тоже коренной болгарин. В действительности его звали Григорий Алексеев. Родился он в России и был большевиком, по крайней мере с того момента, как дезертировал из царской армии в 1917 году. Похоже, что «болгарским подданным» он сделался исключительно ради задуманной операции, поскольку не далее как в 1930 году еще активно действовал в Советской России в профсоюзе трамвайщиков. Его кличка была «Гриша», так мы и условимся его называть впредь.

Переход от трамвайного профсоюза к новому заданию партии был головокружительно внезапным. По прибытии в Стамбул Грише объявили, что ему как преданному партийцу поручается дело, касающееся предателя Агабекова-Арутюнова. В Константе предателя уговорят подняться на борт «Филомены». Если же по пути из Константцы в Одессу понадобятся дополнительные «меры убеждения», то Грише надлежит безо всяких колебаний применить хлороформ, полученный им для этого случая. По прибытии в Одессу Гриша должен лично доставить предателя в горисполком, где его уже будут ждать.

Если же предатель заупрямится и не пожелает подняться на борт «Филомены» в Константе, тогда его следует тут же хладнокровно застрелить. Гришу снабдили необходимой суммой в долларах для покупки оружия на месте. Как только дело будет сделано, он должен объявиться на «Филомене» — это была как бы плавучая база ОГПУ. Достоинство плана состояло в том, что никто из основных участников заговора не выглядел связанным с Советской Россией. В частности, непосредственно в операции не участвовал никто из агентов постоянной сети ОГПУ в Турции, Болгарии или Румынии. Сам Гриша, чтобы до поры до времени никому не мозолить глаза, провел ночь в публичном доме.

В день прибытия «Филомены» все шло гладко. Агабеков, словно забыв о всякой предосторожности, завел обычай изо дня в день обедать—в одиночку или в обществе Лекока — в ресторане «Юбилей». В конце недели к ним присоединился Цончев, указавший издали Грише на будущую жертву. Однако Агабеков ни под каким предлогом не желал даже издали взглянуть на судно, которое уже стояло на якоре в Константе.

Уже на другой день после прихода «Филомены» заговорщикам стало ясно, что без применения оружия не обойтись, и чем скорее это произойдет, тем лучше.

Вечером 10 января Лекок и Цончев сделали первую попытку завлечь Агабекова в ловушку. В отеле «Регина» на этот вечер был назначен бал. Почему бы им всем троим не пойти развлечься и забыть на время о госпоже Филия? Агабекова это предложение насторожило: обычно изнуренный ожиданием Лекок не позже десяти укладывался спать. Ясно, решил Агабеков, они рассчитывают меня споить или подсыпать в пищу снотворного, а затем за спинами веселящейся толпы либо затащить на судно, либо всадить нож в спину. Он притворился, что готов пойти на бал, но когда наступил вечер, заперся у себя в номере. Около полуночи заговорщики, не дождавшись его на балу, постучали к нему и спросили, что случилось. Он объяснил, что лег вздремнуть, проспал и теперь очень сожалеет, что не пошел развлечься.

Именно в этот момент, стоя у двери гостиничного номера, Лекок вдруг объявил, что ему больше нет необходимости задерживаться в Константе и нужно срочно вернуться в Париж. Цончев сказал, что он, со своей стороны, тоже собирается в Бухарест, но, возможно, «всего на полдня». На рассвете Агабеков появился на железнодорожном вокзале, чтобы убедиться, что Лекок действительно уезжает. Лекок пришел вдвоем с Цончевым, но уехал один. Остальную часть дня Агабеков с болгарином провели вместе и договорились поужинать в «Юбилее» в восемь вечера.

Что произошло дальше, мы знаем со слов самого Агабекова. Вот что он сообщает в одном из своих письменных показаний:

«К восьми вечера я был в ресторане. Я сел за столик у окна, выходившего на узкий двор. Окно было закрыто тонкой кружевной занавеской, от него дуло, и я решил пересесть так, чтобы сидеть к окну лицом. Через несколько минут появился Цончев. Мы заказали водку и ужин. Цончев заказал совсем мало, притом исключительно готовые блюда. Он сказал мне, что, возможно, уедет в Бухарест ночным поездом, но до этого еще должен кое с кем встретиться тут, в Константе. Я молча пил водку и наблюдал за ним. Минут через пятнадцать он расплатился и встал, не закончив ужина. «Вернусь через полчасика...» Я ответил, что в отеле скучно, так что я скорее всего останусь в ресторане и мы увидимся здесь.

После ухода Цончева я курил в ожидании, когда подадут кофе. Вдруг снаружи на занавеску упала тень. Подняв глаза, я увидел за окном фигуру, глядевшую прямо на меня. Правая рука этой фигуры с каким-то зажатым в ней предметом медленно поднималась. Прежде чем я успел сообразить, что мне делать, снаружи появились другие тени и послышались громкие голоса. Я выскочил в ближайшую дверь и увидел, что несколько человек держат одного. Тот был уже в наручниках. Я сразу же понял, что произошло».

В последний момент покушавшийся был схвачен людьми из румынской полиции. В тот же вечер, как оказалось, был арестован и Цончев, направлявшийся на пароход. Лекока задержали на венгерской границе, в вагоне «Восточного экспресса», и доставили на допрос в Бухарест. Были арестованы также капитан «Филомены» и его подруга-немка.

«Тень за занавеской» оказалась неудачливым убийцей Гришей, который ради такого случая был одет в новый костюм, без сомнения купленный на доллары ОГПУ. На допросах в сигуранце он некоторое время утверждал, что его фамилия Стоянов, однако быстро «раскололся» и подробно рассказал, как планировалось убийство. В ходе следствия он назвал ряд агентов ОГПУ,

оперировавших в Бухаресте и Стамбуле. Это было особенно кстати, так как стамбульская сеть только-только начала оправляться от удара, который ей нанес своим побегом Агабеков.

Даже если бы Гриша сумел вернуться на «Филомену», выполнив порученное задание, это бы его не спасло. Судно было сразу же конфисковано румынскими властями, и все находившиеся на его борту арестованы. Один за другим давали показания все участники этой интернациональной банды: француз, грек, так называемый болгарин... Элегантный Стопфорд, отбудь он из Парижа на сутки раньше, тоже оказался бы в ловушке. Но получилось так, что англичанин оказался единственным, кому удалось избежать ареста.

Хуже всего, что скандал длился не какие-то дни и недели, а целых два года и сопровождался оглашением фамилий целого ряда советских агентов. Причем именно «Филомена», давшая свое имя всей этой авантюре, доставила Москве уйму неприятностей и в дальнейшем.

В этом можно при желании усмотреть некий перст судьбы. Греческий капитан Катаподис оказался самым стойким из всех арестованных. Он держался до последнего — до тех пор, пока ему не предъявили компрометирующие его показания всех остальных участников заговора. Но спустя много времени стало ясно, что не меньшее упрямство он проявил и в отношении своих советских работодателей. Они втравили его в эту авантюру, гарантируя выгодный фрахт на полгода, и теперь он был полон решимости рано или поздно содрать с них эти деньги.

Случай представился в начале 1934 года. Катаподис вез лесоматериалы из СССР в Египет. Прибыв в феврале в Александрию, он, вместо того чтобы сдать груз местным заказчикам — фирме «Бассили и К°», объявил о своем намерении продать лес с аукциона. Он заявил, что два года назад Советы обещали ему 8 тысяч фунтов стерлингов за участие в попытке похитить их бывшего агента, но он не получил ничего. Напротив, в течение шести месяцев его держали в Румынии под арестом, и таким образом он потерял значительный заработок. Теперешний советский груз, стоимость которого составляла приблизительно три тысячи фунтов стерлингов, мог частично окупить его потери.

Советскому правительству не оставалось ничего иного, как нанять лучших в Египте адвокатов и обратиться в суд. Это громкое дело разбиралось в суде несколько недель, и вновь трясли грязное советское белье, и вновь всплыли скандальные детали, связанные с событиями 1932 года...

ОГПУ пришлось на время оставить Агабекова в покое. Он, в свою очередь, после всего, что случилось, испытывал понятное уважение к румынской сигуранце и рад был оказаться полезным ей в качестве консультанта. Агабеков быстро завоевал доверие шефа румынской политической полиции Ветилла Ионеску и его ближайших сотрудников. Правда, предложение поступить на службу в сигуранцу он отверг, однако сохранил с румынами наилучшие отношения. Они дали друг другу слово поддерживать связь.

Но «Дело «Филомены» имело и неприятные для Агабекова последствия. Вскоре после возвращения в Брюссель полиция известила его, что располагает информацией о попытке похитить двух гражданок Советского Союза и об участии Агабекова в этом сомнительном предприятии. Участие в такого рода действиях идет вразрез со статусом, на основании которого ему было предоставлено временное убежище в Бельгии. Таким образом, ему придется немедленно покинуть страну. Впрочем, в дальнейшем это решение может быть пересмотрено и жене его в ожидании пересмотра разрешено остаться жить в Бельгии.

Барон Ферхюльст сделал все от него зависящее, чтобы высылка Агабекова была отменена, но его вмешательство не имело успеха. Итак, несчастной Изабел уже не в первый раз предстояло переживать разлуку с мужем.

Но сам Агабеков не унывал. Ему удалось обзавестись кое-какими знакомствами в Германии, пока он вел там переговоры относительно издания своих мемуаров. Теперь он решил временно переселиться в Берлин.

Но на кого он станет там работать? И на какие средства будет жить Изабел? «Капитан Дени» — или кто-то из его коллег-англичан — в этот трудный момент снова пришел на помощь Агабекову. На встрече, которую Ферхюльст организовал накануне его отъезда, было достигнуто соглашение, которое фактически делало Агабекова агентом британской секретной службы.

В Германии он мог вести работу в двух направлениях: во-первых, у него были друзья в организации «Рейхсбаннер», которая пыталась вести подрывную деятельность против Французской республики и в то же время боролась с коммунизмом; во-вторых, на территории Германии действовало в те времена около тысячи советских агентов, и грешно было бы не сделать попытку перевербовать хотя бы нескольких из них.

В последующие годы Агабеков так и не продвинулся по службе. Причины этого неясны и до сих пор. Спустя год он предложил отправиться в Курдистан и завербовать там для работы на англичан нескольких советских агентов. Для финансирования операции он запросил довольно существенную сумму — десять тысяч фунтов стерлингов. Похоже, что эта операция вовсе не состоялась.

Изабел, не в силах более выносить такую жизнь, в апреле 1936 года разошлась с Агабековым и уехала в Англию. В знак того, что ее решение бесповоротно, она вернула себе девичью фамилию. Окончив в Лондоне шестимесячные курсы секретарш, двадцатисемилетняя Изабел начала жизнь сначала.

Агабеков в этот период уже отчаянно нуждался в деньгах. Теперь, когда он не нес ответственности за Изабел, его планы раздобыть денег и снова «выйти в люди» становились все более рискованными. Словом, складывалась как раз та ситуация, какой терпеливо дожидалось ОГПУ. В 1937 году была подготовлена вторая попытка разделаться с Агабековым.

В Испании уже бушевала гражданская

война. Оказывая поддержку республиканцам, Сталин считал, что их надо заставить хоть как-то оплатить «братскую помощь». Наиболее блестящая авантюра Кремля — присвоение золотого запаса Испании — связана с историей другого советского перебежчика Александра Орлова. Операция, в которую дал себя вовлечь Агабеков, была более скромной, однако тоже весьма выгодной. Речь шла о похищении сокровищ испанского искусства. Советы помогли организовать такую систему: как только республиканские части захватывали очередную церковь, монастырь, дворец или замок — все картины, статуи и драгоценности, которые могли найти покупателя на международном рынке, вывозились и затем продавались перекупщикам в Париже, Брюсселе и других местах. Агент ОГПУ Зелинский руководил этой акцией в Бельгии, и в начале 1937 года ему пришло в голову (возможно, по подсказке из Москвы), что выгодная коммерция вполне может сочетаться с давно задуманной местью.

Агабекову через посредников предложили принять участие в так называемом «Брюссельском синдикате» и гарантировали определенную часть прибыли. Понимая всю опасность этого предложения, он поставил условие: он не должен ни при каких обстоятельствах пересекать испанскую границу (республиканская Испания в те годы кишела агентами ОГПУ). Однако он согласился следить за перемещением награбленных ценностей по эту сторону границы, то есть на французской территории. Ему обещали десять тысяч франков ежемесячно и заплатили за несколько месяцев вперед. В начале июля 1937 года, добыв фальшивый французский паспорт, он прибыл к испанской границе.

Согласно одной из версий, ему дважды позволили остаться на французской стороне границы и получить свою долю за сравнительно простую и безопасную работу: он отправлял отсюда грузы в Париж и другие перевалочные центры. Но на третий раз то ли его подозрительность притупилась, то ли взяла верх тяга к деньгам, но так или иначе он, чтобы передать товар, отправился в горы сам. Здесь в дикой местности, где линия границы условна, то есть, возможно, уже на территории Испании, на него напали «разбойники» — люди, специально подобранные для этой цели,— которые растерзали его и останки сбросили в пропасть.

Согласно другой версии, осторожность никогда не изменяла Агабекову. С самого начала подозревая ловушку и считая, что ему дадут возможность сделать только один рейс (который послужит приманкой), а во второй — прикончат, он решил оставить всех в дураках. Его план был прост: выбрать одну действительно стоящую картину и тут же исчезнуть с нею, чтобы начать жизнь сначала где-нибудь в Южной Америке.

В конце августа, по этой версии, он был убит где-то неподалеку от границы советскими агентами. Убийство было обставлено как часть кампании против дезертиров, на которых республиканцы регулярно устраивали свирепые облавы. Тело убитого полиции опознать не удалось, поскольку документы были фальшивыми. Какая из этих версий верна, неизвестно. Но точно известно, что Агабеков погиб где-то в Пиренеях.

Жизнь Изабел, насколько можно судить, продолжала оставаться унылой. Спустя пять лет, проведенных в Англии, она восстановила британское гражданство. Почти сразу же после этого — шла уже вторая мировая война — Изабел вступила в женский вспомогательный корпус Военно-воздушных сил и окончила войну в звании капрала. После войны она работала в ООН в Комиссии по расследованию нацистских преступлений. Наконец, в 1949 году колесо ее жизни сделало полный оборот: Изабел вернулась на ту должность, с которой ушла двадцать лет назад из-за встречи с Агабековым,— должность секретаря в министерстве иностранных дел.

В 50-е годы она работала стенографисткой то в парламенте, то в британских посольствах за границей — в Лиссабоне, Сайгоне, Мехико, Токио, достигнув в какой-то момент положения личного секретаря посла. Ее ценили как добросовестного и умелого сотрудника, но с годами она становилась все более замкнутой, все больше уходила в себя.

Друзья по дипломатической работе отмечали одну ее странность. Куда бы ее ни назначали, она отправлялась в путь с единственным небольшим чемоданом, где умещалось все ее имущество — одежда и личные вещи. Она отказывала себе в приобретении каких бы то ни было предметов искусства или хотя бы сувениров в странах, где ей случалось работать. Когда ее спрашивали об этом, она обычно пожимала плечами и отвечала, что не хочет таскать с собой все это барахло.

Эта ее черта была столь же необычной, сколь и знаменательной. Она вышла из своей пресной английской среды в экзотический иностранный мир единственный раз в жизни — и это кончилось катастрофой. Изабел никогда не упоминала об этом эпизоде своей молодости, никогда не высказывала своего мнения о конфликте между Западом и Востоком, который, безусловно, чувствовался в каждом посольстве, где ей приходилось работать. Она как бы отгородилась от внешнего мира и его проблем.

Вдова Георгия Агабекова умерла в возрасте шестидесяти двух лет. Смерть настигла ее 29 ноября 1971 года в Нью-Йорке, где она служила в английской миссии ООН.

Глава седьмая

Вальтер Кривицкий и Игнатий Рейсс

Если попытаться составить график побегов высокопоставленных лиц из сталинской России по годам, то выявится довольно четкая закономерность. Первая группа перебежчиков относится к 1928—1930 годам и охватывает, если учитывать бежавших в Европу,— примерно полдюжины случаев.

Нетрудно догадаться, что именно послужило причиной этих побегов — окончательная победа Сталина над Троцким. Бежали те, кто разочаровался в советском строе и к тому же опасался, что былые троцкистские связи могут стать причиной

крупных неприятностей. Примешивались и соображения сугубо личные, которые, конечно, у всех были разные.

Вторая группа перебежчиков появилась на Западе почти десятилетие спустя — главным образом в период с 1936 по 1938 год, когда Сталин сместил Ягоду с поста наркома внутренних дел (и одновременно шефа тайной полиции) и назначил на его место Ежова. На этот раз причиной побегов была сталинская тотальная чистка, погубившая всех его реальных, потенциальных и даже воображаемых соперников. Чистка обрушилась на «старую гвардию» большевистской партии, на армию и даже на тайную полицию. Неудивительно, что в своем большинстве перебежчиками оказались именно сотрудники НКВД (бывшего ОГПУ). Все они — за единственным исключением — бежали, в прямом смысле спасая свою жизнь. Исключением явился Игнатий Рейсс — агент, работавший в Западной Европе. С него, по сути, все и началось. Его исчезновение 17 июля 1937 года принято объяснять желанием сохранить хотя бы некое подобие чувства собственного достоинства.

По-видимому, отказавшийся вернуться Игнатий Рейсс руководствовался прежде всего опасениями за свою жизнь. Тем не менее один из его бывших подчиненных, живущий ныне в США (и, к слову сказать, вполне здесь преуспевший), заверяет, что у Рейсса были более возвышенные причины для бегства. Мне стало известно об этом со слов г-жи Массинг [1].

В 30-е годы Гедда Массинг была жизнерадостной и обаятельной молодой женщиной. Она родилась в Вене и, выйдя замуж за американца немецкого происхождения по имени Пол (Пауль), присоединилась к коммунистическому движению — главным образом потому, что коммунисты были наиболее влиятельной силой среди всех подпольных антифашистских группировок.

Ко времени, когда президент Рузвельт установил с СССР дипломатические отношения, Гедда Массинг успела уже не только выполнить ряд заданий Рейсса в Европе, но и чисто по-человечески к нему привязаться.

Между тем Сталин готовился под прикрытием дипломатической деятельности развернуть в США свою сеть разведок. И Гедду Массинг с мужем тут же перебросили в Соединенные Штаты, где она принялась за создание новой шпионской сети: подбирала курьеров, связных, безопасные явки, каналы, финансирование и тому подобное. Словом, супруги Массинг представляли собой как бы форпост будущей советской разведки в Америке. Когда все было готово, планировалось, что Рейсс пересечет океан и возглавит эту операцию как резидент НКВД. Его назначение на этот ключевой пост свидетельствует о полном доверии к нему со стороны партийного руководства НКВД. Однако сам Рейсс уже давно потерял веру не только в партийное руководство, но и вообще разочаровался в системе, на которую работал.

Гедда Массинг рассказывает о нем как об очень культурном, тонком и гуманном человеке, который во всех отношениях соответствовал ее идеалу, выраженному типично немецкой характеристикой: «истинно благородная душа...». Поэтому неудивительно, что такая возвышенная натура все более разочаровывалась в советской действительности по мере того, как в Москве разыгрывалась комедия показательных процессов. Тем не менее письмо, отправленное Рейссом из Парижа в Нью-Йорк в июле 1937 года, было для нее полной неожиданностью. Ее шеф прислал ей копию своего обращения к генсеку, то есть к Сталину. Это обращение выражало мысли и чувства многих тысяч старых большевиков-идеалистов.

В том же конверте Гедда нашла письмо, адресованное лично ей и ее мужу: «Дорогим друзьям, которые, как я убежден, согласятся со мной».

«Я знаю,— заключал он,— что вы оба присоединитесь ко мне, как только сможете». Так и произошло, хотя Рейссу не суждено было узнать об этом.

Даже спустя сорок лет после этих событий Гедда Массинг не может сдержать волнения, вспоминая, какое впечатление произвело письмо Рейсса на нее и ее мужа. «Мы испытали ошеломляющее чувство радости и облегчения. Слезы катились у нас по щекам, и, не сговариваясь, мы бросились друг другу в объятия. Будто тяжкий груз свалился с плеч, и мы тоже почувствовали себя наконец свободными!» [1]

Гедда Массинг убеждена, что поступок Рейсса не был продиктован стремлением спастись. «Напротив, он полностью отдавал себе отчет в том, что, действуя таким образом, он подписывал собственный смертный приговор...»

Исполнение этого приговора не заставило себя ждать, 4 сентября 1937 года тело Рейсса, изрешеченное пулями, было найдено вблизи швейцарской границы, прямо на шоссе, ведущем из Шамбланда в Лозанну. Из головы убитого было извлечено пять пуль, из тела — еще семь. Его пальцы сжимали прядь русых волос — это была единственная нить, позволившая швейцарской полиции напасть на след убийц.

Совершив этот образцовый с точки зрения Москвы акт мести, убийцы исчезли. Предполагалось, что судьба Рейсса приостановит распространение «заразы», которая завелась в заграничных резидентурах НКВД. Но на то, чтобы выследить и убить Рейсса, понадобилось как-никак семь недель, за это время «зараза» не могла не распространиться, по крайней мере среди сотрудников за-

[1] Далее приводится изложение беседы автора этих строк с г-жой Массинг в декабре 1976 г. в Нью-Йорке.

[1] Гедде Массинг удалось уцелеть при таких обстоятельствах. Как ближайшая сотрудница Рейсса она была вытребована в Москву для допроса. Рассчитывая, что ее защитит ее американский паспорт, она решилась поехать. В качестве дополнительной предосторожности Гедда дала знать о себе большой группе иностранных журналистов, которые, по счастью, жили в той же московской гостинице, где она остановилась. После подробного допроса, занявшего несколько недель, ей было разрешено вернуться в Соединенные Штаты. Начиная с этого времени она постепенно отходила от сотрудничества с НКВД, хотя окончательно порвать с этим ведомством ей удалось только после второй мировой войны.

рубежных миссий, для кого убежище было маняще-близко.

Так что вряд ли было простым совпадением то, что через пару дней после побега Рейсса из советского посольства в Афинах, улучив благоприятный момент, бежал Александр Бармин, официально считавшийся дипломатом[1].

Пример Игнатия Рейсса навел на размышления, а то и прямо подтолкнул к бегству также целый ряд сотрудников самого НКВД. Наиболее чувствительным ударом явился «уход» близкого сотрудника Рейсса Вальтера Кривицкого, который координировал шпионскую деятельность советских агентов в полудюжине стран Европы.

В дальнейшем Кривицкий объяснял свое решение тем, что им овладело непреодолимое отвращение к сталинскому режиму. Однако я почти уверен, что действительной причиной побега явился скорее внезапный приступ страха. Драматическое «исчезновение» Рейсса просто не оставляло Кривицкому выбора: ведь он был не только сотрудником, но и старым приятелем Рейсса. Кстати, возникает болезненный вопрос: остался ли Кривицкий на высоте положения там, в Париже, в критические июльские дни 1937 года?

Оба они — и Рейсс и Кривицкий — были евреями, оба происходили из южной части Польши, и не кто иной, как Кривицкий (который был старше и покровительствовал Рейссу), способствовал сначала его вступлению в партию, а в дальнейшем и поступлению на службу в «органы». Они участвовали в одних и тех же тайных операциях в Европе. 29 мая 1937 года, после длительного перерыва, судьба свела их в Гааге. Нервы Кривицкого были тогда на пределе — неудивительно, если учесть, что он только что вернулся из Москвы, а Москва в те дни была местом, откуда удавалось благополучно выбраться лишь немногим ветеранам-чекистам. Сам Кривицкий уже распрощался с мыслью вернуться в Голландию, где он был нелегальным резидентом НКВД: ведь его вызвали в Москву срочно и будто бы на короткое время, но начальство под разными предлогами продержало его там больше двух месяцев. Но наконец ему вернули его фальшивый голландский паспорт и посадили в поезд, направлявшийся к финской границе (ему предстояло вернуться в Гаагу через Швецию).

На самой границе, в Белоострове, Кривицкому пришлось пережить несколько минут смертельного ужаса: в последний момент в купе вагона ворвался командир пограничного подразделения, размахивая какой-то телеграммой. К счастью, выяснилось, что телеграмма предписывала не арестовать и препроводить его обратно в Москву под конвоем, а напротив, «оказать ему всяческое содействие» в дороге.

27 мая Кривицкий благополучно добрался до Голландии. Здесь его ждала семья, и он снова превратился в д-ра Мартина Лесснера[1], австрийского коммерсанта, торгующего предметами искусства и проживающего на Селебес-страат, дом 32 (это был адрес секретной голландской резентуры НКВД).

Двумя днями позже к нему заглянул его старый приятель Рейсс потолковать о наступивших ужасных временах и получить из первых рук информацию о московской заварухе. Кривицкий писал позже, что Рейсс — «идеалист до мозга костей» — был так потрясен массовой чисткой и московскими процессами, взбудоражившими весь Советский Союз, что уже тогда, в мае, принял решение порвать с системой, которая «все более скатывается к фашизму». Но сам Кривицкий, по его словам, все еще «рассчитывал служить советскому правительству» вопреки аргументам, приводимым Рейссом, и всему, что он только что сам видел и пережил в СССР.

Следующее — и последнее — свидание Кривицкого и Рейсса состоялось в Париже вечером того рокового дня — 17 июля 1937 года. После короткой торопливой беседы в кафе Рейсс сказал, что очень хотел бы снова встретиться завтра и поговорить более обстоятельно. Однако больше они не виделись: Рейсс обещал позвонить и договориться о месте встречи, но так и не позвонил. (Не стал ли он опасаться Кривицкого?)

Вместо свидания с Рейссом Кривицкого ожидала совершенно иная встреча. В Париж прибыл заместитель начальника Иностранного управления НКВД Шпигельгляс, чья забавная фамилия никак не соответствовала его зловещей репутации. Он распорядился, чтобы Кривицкий немедленно прибыл на встречу с ним (почему-то она была назначена на территории Всемирной выставки, проходившей тогда в Париже).

Шпигельгляс выглядел страшно возбужденным. Без долгих разговоров он вытащил из кармана два документа, которые, как выяснилось, утром того же дня Рейсс передал в советское торгпредство, чтобы их срочно переслали в Москву. Однако конверт, оставленный Рейссом, был сразу же вскрыт приставленной к торгпредству энкеведешницей. В конверте было обнаружено заявление Рейсса об отставке и ошеломляющее письмо Сталину. По заданию Ежова Шпигельгляс как раз совершал инспекционную поездку по европейским резидентурам НКВД, подыскивая очередных кандидатов для сталинской расправы. Он очутился в Париже как раз в тот момент, когда один из намеченных кандидатов сам себя разоблачил, но одновременно с этим исчез.

В своей книге Кривицкий уверяет, что только теперь, после зловещих намеков Шпигельгляса, требующего, чтобы он «до-

[1] В это время Бармин занимал должность поверенного в делах. Его единственная книга воспоминаний, опубликованная на Западе под названием, способным ввести в заблуждение («Записки советского дипломата»), содержит не так уж много интересной информации. Позднее Бармин был на правительственной службе — после получения им американского гражданства в США, куда он переехал в 1939 г., пробыв перед тем некоторое время во Франции. Так, в годы второй мировой войны он сотрудничал с вооруженными силами США и с Управлением стратегических служб, а впоследствии возглавил русский отдел «Голоса Америки».

[1] Направляясь в Москву, Кривицкий сдавал паспорт Мартина Лесснера в советское посольство в Стокгольме и там же получал его обратно, когда возвращался в Голландию. На пути от Стокгольма до Москвы и от Москвы до Стокгольма он всегда имел при себе другие фальшивые документы — на имя австрийского инженера Эдуарда Миллера.

казал свою преданность» (помогая поймать или уничтожить ренегата), он внезапно понял, что «его пожизненная служба советскому правительству кончалась». По-видимому, он придавал такое значение этому «моменту истины», что даже выделил соответствующую фразу курсивом. Но такое подчеркнутое выделение производит, увы, обратный эффект.

Конечно, Кривицкому была неприятна мысль о том, что его старый товарищ может попасть в лапы Ежова, и он втайне готов был сделать все от него зависящее, чтобы предупредить Рейсса. После полуночи он звонит Рейссу в его тайное убежище (Рейсс оставил Кривицкому номер телефона), чтобы убедиться, что тот услышал звонок, и тотчас положить трубку. В ночь на 18 июля он проделывает это два или три раза, пытаясь сообщить Рейссу, что о его побеге уже известно НКВД и над ним нависла угроза расправы.

Мы не знаем, услышал ли Рейсс эти сигналы бедствия, понял ли их, но так или иначе рано утром он покинул Париж, направляясь в Швейцарию. Его последний перед отъездом поступок был на удивление нелепым для профессионального разведчика: он послал на адрес отеля «Наполеон» письмо, адресованное Кривицкому. Между тем НКВД регулярно использовал именно этот отель для своих целей и, следовательно, имел там своих людей среди служащих. Вдобавок письмо не содержало ничего исключительно важного: помимо прощального привета там снова приводилось объяснение, почему Рейсс почувствовал необходимость порвать со сталинским режимом.

Этот промах опытного разведчика можно объяснить лишь эмоциональным потрясением. То же состояние передалось, вероятно, и Кривицкому, который почему-то не уничтожил письма и не доложил о нем начальству. Это сделал за него портье отеля. В три часа ночи Кривицкий был поднят с постели и поспешно доставлен к Шпигельглясу, который негодующе набросился на него, желая «знать все» о письме Рейсса.

Если двумя днями ранее, во время свидания со Шпигельглясом, положение Кривицкого было отчаянным, то теперь оно стало фактически безнадежным. Только что Кривицкий был видным сотрудником НКВД, которому доверяли настолько, что позволили вернуться на свой пост за границей,— но не прошло и сорока восьми часов, как он превратился в давнего покровителя и даже, кажется, в укрывателя и сообщника предателя! Так что, как бы Кривицкий ни выделял в своей книге нравственные мотивы своего решения, не приходится сомневаться, что он сделал окончательный выбор именно в этот день, 19 июля, придя к выводу, что над ним нависла угроза смертного приговора.

Вдобавок он оказался в страшном цейтноте, у него уже не было — чисто физически — времени, чтобы разработать план бегства. Оставалось лишь по мере возможности оттягивать неизбежное возвращение в Москву и усыплять подозрения бдительного Шпигельгляса. Был только один способ разом достичь и той и другой цели. И хотя нет явных доказательств того, что, оставаясь в Париже, Кривицкий действительно помог навести убийц на след Рейсса (эту версию отстаивала, в частности, Гедда Массинг), ясно, что по крайней мере он был обязан обсуждать с людьми Шпигельгляса все планы его уничтожения, доказывая свою беззаветную преданность партии.

Между тем Кривицкий втайне продолжал готовиться к побегу. Он вызывает в Париж жену и ребенка, находившихся на отдыхе в деревне, и они поселяются под фамилией Лесснер в пансионате в Пасси, фешенебельном районе Парижа. Сам Кривицкий как ни в чем не бывало исполняет свои чекистские обязанности при все нарастающей отчужденности со стороны коллег. Приближается конец августа, и он послушно завершает все формальности, предшествующие отъезду в Москву. К счастью, в последнюю минуту вызов отменяется. Утром 5 сентября, раскрыв «Пари-матч», Кривицкий прочел сообщение из Лозанны о зверском убийстве «чехословацкого гражданина» Ганса Эбергардта. Кому-кому, а ему-то было хорошо известно, что с паспортом на имя Ганса Эбергардта разъезжал по Европе Игнатий Рейсс. С изменником разделались, и отныне в Кривицком уже не нуждались.

Итак, время, отпущенное ему, почти истекло, но этот сигнал не застал его врасплох.

Правда, Кривицкому и его жене Татьяне требовалась еще по меньшей мере неделя, чтобы подыскать надежное убежище и, если удастся, раздобыть какие-то приличные документы. Помог им друживший с Кривицким писатель Воль, гражданин США, по происхождению российский еврей. Он срочно отправился на юг Франции и снял под Тулоном скромный домик. Чтобы сбить с толку московское начальство, Кривицкий сам попросил разрешения отправиться в Москву: якобы ему требовалось проконсультироваться по некоторым вопросам. Это и дало необходимый выигрыш времени. Тем более что он сообщил о своем намерении отправиться в СССР морским путем, а морское путешествие требовало более длительных приготовлений. В конце концов начальство подобрало ему подходящий теплоход — «Жданов», который должен был отбыть из Гавра 6 октября.

Кривицкий старательно закончил в советском посольстве все формальности, связанные с поездкой, и отправил на железнодорожную станцию багаж, который требовалось доставить на судно. Наступил час отъезда, машина, нанятая энергичным Волем, оставила Аустерлицкий вокзал в стороне и помчалась на юг, по направлению к Тулону. Проезжая парижские предместья, Кривицкий остановился возле какого-то кафе, подошел к телефону и, набрав номер своего бюро, сообщил собственной секретарше, что НКВД теряет еще одного заграничного сотрудника. Ответа он не дождался. Позднее ему сообщили, что бедняжка, сраженная услышанным, тут же, у телефона, упала в обморок.

(Окончание следует)

К нашим иллюстрациям

Сорин Думитреску

Сорин Думитреску родился в марте 1946 г. в Бухаресте. После обучения в Академии Искусств в Бухаресте (мастерская Корниелиу Баба), он начиная с 1969 г. участвует во всех выставках, организованных Союзом скульпторов СРР. В 1975 г. принимает участие в выставке «Искусство и энергия», организованной искусствоведом Даном Хэуликэ, а также в выставке «Этюд» в Тимишоаре, организованной художником Паулом Герасимом. В 1976 г. у Думитреску были персональные выставки в Институте архитектуры имени Иона Минку в Бухаресте. В 1974 г.— выставка в Маастрихте (Голландия), участие в некоторых румынских выставках за рубежом: Сан-Марино — 1972 г., Тулон — 1974 г., Париж — 1975 г., Стокгольм — 1975 г. После окончания в 1971 г. Академии Искусств был удостоен стипендии Союза скульпторов СРР для продолжения занятий живописью, а в 1974 г.— приза «Лучшему молодому художнику». С 1976 г. по 1979 г. он занимается графическим оформлением книг поэта Никиты Стэнеску: книга «Epica magna» получила на выставке «Самой красивой в мире книги» в Лейпциге почетный диплом. Часть прозведений Думитреску приобретена румынскими и зарубежными музеями.

Ниже мы публикуем с небольшими сокращениями статью Дана Хэуликэ из книги-каталога «Сорин Думитреску», изданной в Бухаресте.

При взгляде на картины Сорина Думитреску само собой напрашивается «космическая» гипотеза: построение, чисто физическая организация у них иные, чем у традиционной, привычной «картины». Они не похожи ни на изысканно-канонизированную живопись дальневосточных свитков — скрупулезную, обстоятельную; ни на традиционные cadre-fenetre[1] с их уравнительной условностью, вообще отличающей произведения нашей, европейской культуры. Как-то раз один индиец, обращаясь к Мальро, с иронией заметил: «Ваше абстрактное искусство поставило под сомнение все, кроме квадрата холста». Однако «Гиперзнаки» Сорина Думитреску никоим образом нельзя сводить лишь к абстракционистской программе: напротив, их вертикальное построение словно кричит, выливаясь в ностальгию по напряженной деятельности,— и это несмотря на тиранию традиционной «раскадровки», вопреки неподвижности самого «объекта», зафиксированного в раме и словно задыхающегося в ней. Картины эти — добротные и в то же время подлинно роскошные — могли бы парить над торжественными процессиями, венчая собой, среди всеобщего молчания, обряд испытания огнем; они могли бы обогатить любую постановку «Волшебной флейты», раскрыв ее внутренний, глубинный смысл через восприятие нашего современника.

У посетителей выставки Сорина Думитреску возникает ощущение ее масштабности, человеческая мысль приходит в движение — и не только из-за чисто зрительного эффекта множественности. Те стороны творческой натуры художника, которые некогда казались пригодными лишь для самовыражения через количественность, те его склонности, которые считались чем-то привнесенным извне и лишь порождающим неразбериху в его работах, теперь нельзя рассматривать как таковые — ныне они подчинены строжайшему контролю. Наш художник хорошо усвоил формулу Пикассо, в которой странным образом сочетаются панический страх и душевный подъем: «Наступление — это бегство вперед»; научился он и управлять своим творческим темпераментом, подвергая его все более сложным испытаниям: например, в цикле «Гипервосприятия» вся огромная поверхность каждого холста не заполнена ничем — она отражает пустоту полного отречения, отрешенности; живописи оставлен лишь кусочек в самом центре полотна — подобно тому как в музыке чистота и ясность звучания возможно только в полной тишине. Внутреннее движение в

[1] Картины в раме *(франц.)*.

картине устремлено к ее центру: это необходимо, чтобы зритель полнее ощутил ее воздействие — так мы частенько захватываем острый предмет рукавом, втянув в него руку. Подобно тому как в физике длительность квантового излучения прямо пропорциональна величине заряда, в живописи сам процесс создания произведения может длиться каких-нибудь четверть часа — при условии, что все это время происходит активная реализация свободного, ясного и в то же время полного страсти внутреннего состояния художника: освобожденное от всяческого балласта, оно устремляется к цели, как трепещущая стрела, выпущенная из лука. Если в прошлом Сорин Думитреску упорно стремился воплотить в своих работах различные импульсы и проявления «состояния конфликтности», то теперь, избавившись от экспрессионистского зубоскальства, он настойчиво обращается к теме покоя и безмятежности. Это вовсе не означает, что внутреннее напряжение в его картинах стало слабее — нет, но в одном из его рисунков отражено нынешнее состояние его души: неизменный «перекресток», лежащий в ее глубинах. В работах Сорина Думитреску прямые линии пересекаются и грани стыкуются в соответствии со спецификой геометрических законов сечения; страдание, как спасительный скальпель, несет целительное искупление, отметая все сомнения,— и пафос геометрии становится пафосом ясности. «Что представляет собой этот разрыв, который мы зовем светом?» — вопрошает Никита Стэнеску — поэт, неоднократно черпавший вдохновение в произведениях нашего художника.

«Археологические» работы С. Думитреску свидетельствуют о стремлении к познанию истоков, первичного: поиск архетипов зрительных образов и химеры языка, этимологическое восхищение. Эти исследования, с одной стороны, открывают пологую глубь мифологической обобщенности, с другой — подчеркивают индивидуальный, личностный субъективный характер познания. Обращаясь к названию поэмы Никиты Стэнеску, можно даже сказать, что в них заключено «Молчание по мифу». молчание похищенного Богом мифа: быть может мы бродим среди окружающих нас таинственных явлений и не умея назвать их, выдумываем для них вместо имен фантастические «Гиперзнаки» — эти башни головокружительной высоты. Как бы ни были они сложны или, наоборот, просты в архитектурном отношении, они все равно принадлежат нам — как царство органической материи, как вся природа, но отнюдь не как порождение гордыни, проявившейся через геометрию. Впрочем, предназначение и у башни, и у горы одно: интегрировать созидательную абстракцию в единое и нелелимое целое, в некий итог, в первобытно-глубинный ритм: «Величава гора из тумана и туч /Для дыханья она — и легко там дышать; Величава гора — каменная гора/ Из объятий камней создана — для любви». А теперь перейдем из стихотворного регистра Никиты Стэнеску — поэта, вечно жаждущего отыскать суть явлений, к изобразительным средствам художника: взгляните — на «Космических горах» наслаивается черепица вечности; это и есть процесс творения — величавый и чудесно многообразный. Как в ликовании бесчисленной вереницы «Птиц» и в непрерывной череде «Колонны» Брынкуша, у Думитреску бесчисленные элементы — хрупкие, пластинчатые — то и дело наслаиваются друг на друга и растут вверх, словно испытывая собственную способность к сцеплению, и пространство между двумя бесконечностями искривляется и опрокидывается под натиском витальности двух параллельных прямых.

Все в человеческом обществе и в самом человеке, что ранее порождало в картинах Сорина Думитреску своеобразный эффект «размытости», иногда приписываемый Де Кирико, сегодня, напротив, приводит к отсутствию в них всякого романтизма. Прежде это было связано с пристрастием художника то к суровой сдержанности, то к воспеванию испанской пышности, то к риторической торжественности небытия. Ныне же, часто вопреки темпераменту и творческой подготовке художника, его живопись сама создает многочисленные трудности; но трудности эти происходят оттого, что взгляд его, «взгляд-фикс», как он говорит, устремлен к новым высотам, к полному пониманию мироздания. Несомненно, здесь налицо желание обрести точку опоры, мечта о централизации сути. В пирамидах, наперекор рассудку спорящих с вечностью, он усматривает победу великих цивилизаций архаического типа. Однако, когда Сорин Думитреску возводит свои «Гиперзнаки» или формулирует зрительные архетипы, он ни на миг не представляет себя личностью, способной в одиночку создать что-либо похожее на творения великих цивилизаций прошлого. Ностальгия в смысле архетипа означает желание быть центром мироздания; именно из этого невидимого центра, среди сверкания голубых молний, расходится, по его представлениям, непрерывная система грубчатых коммуникаций, коленчатых сочленений, утопающих в лавине искупительного и объединяющего золота. «Берег и волна» — так называется один из его рисунков: в нем-то и раскрывается строение лабиринта, трактуемого как органический модуль. Та же тема прослеживается и в последнем масштабном произведении художника — в его огромной «Сети»; волны, исходящие от абсолюта, несут искорки звезд и какие-то странные, трехногие предметы — загадочные знаки, выброшенные морем на отмель вулканического пепла, они вот-вот попадут в эту сеть. Художник бродит среди этих непонятных посланий: он слушает рокот неведомых волн. И «Дрожь», которую он пытается передать в серии восхитительных рисунков, имеет, быть может, ту же самую природу. С удивительным упорством художник расставляет на пустых отмелях дерзостную и прочную сеть, крепко-накрепко закрепляя ее золотыми колышками: из далекого и вольного простора доносятся поющие голоса — он преисполнен решимости уловить их и вобрать в себя.

ДАН ХЭУЛИКЭ

Перевод с румынского
И. ПАВЛОВСКОЙ

Австрия

УРОКИ СТРАШНОГО ВРЕМЕНИ

Внимание критиков привлекла повесть молодого австрийского писателя Эриха Хакля «Прощание с Сидонией». Описанные в ней реальные события начались 18 августа 1933 года, когда супруги Ханс и Жозефа Брайратер нашли перед дверями больницы новорожденную девочку-подкидыша. Из приложенной записки можно было узнать только ее имя: Сидония.

Супруги взяли себе маленькую цыганку, выходили и воспитали вместе со своим родным сыном Манфредом. Брайратер — активный социал-демократ, противник режима Дольфуса, ему знакомы политические преследования, допросы, обыски, тюрьмы. Но по-настоящему трагические испытания для семьи начинаются лишь после «аншлюса» Австрии гитлеровцами в 1938 году.

Смуглокожая девочка в небольшом австрийском городке начинает вызывать неприязнь у местных блюстителей расовой чистоты. Соседи, прежде благожелательные, становятся агрессивными: «Пусть черная дрянь убирается отсюда!» Местные власти, в свое время ничего не сделавшие, чтобы найти родителей Сидонии, вдруг их разыскивают и предъявляют Брайратерам требование, чтобы они отдали им девочку. Все эти добропорядочные обыватели действуют как пособники палачей, обрекая Сидонию на неминуемую гибель. Несмотря на отчаянное сопротивление приемных родителей, девочку у них отбирают. Вместе с другими цыганами она находит смерть в Освенциме.

Спустя много лет после войны Брайратеры не могут оправиться от пережитого. А вот другие, виновные в гибели Сидонии, не испытывают ни угрызений совести, ни стыда. Они ведут себя так, будто никакой девочки вообще не было. Понадобилось «писательское расследование», как называет это Эрих Хакль, чтобы восстановить правду о случившемся в его родном городке Штайр.

Автор воздерживается от комментариев и старается не показывать своих чувств. По словам рецензента австрийского журнала «Литературунд критик» Юргена Вальмана, он следует в этом смысле традициям Генриха фон Клейста, который «о самом необычном писал как о заурядным». Тем большее впечатление, пишет критик, производит это «повествование об ужасе, ставшем повседневностью».

Великобритания

ЗНАКОМЬТЕСЬ — ЛЕДИ АНТОНИЯ

«Леди Антония» — так называют журналисты 57-летнюю Антонию Фрейзер, писательницу, историка, общественного деятеля. И она действительно леди, поясняет американский журнал «Тайм»: ее отец — граф в седьмом поколении, потомок династии литераторов и ученых. Исследование британской и ирландской истории стало «семейным делом» этого старинного рода, «ярчайшей звездой» которого журнал считает Антонию Фрейзер.

Свою первую книгу, повествующую о легендарном короле Артуре, выпускница Оксфордского университета опубликовала в возрасте 22 лет. С тех пор ее пишущая машинка не знает отдыха. Итог — 23 книги — впечатляет. А ведь помимо профессиональной деятельности А. Фрейзер вместе со вторым мужем, известным драматургом Г. Пинтером, много времени уделяет борьбе за освобождение писателей, попавших в тюрьмы за свое инакомыслие (среди них был, в частности, Вацлав Гавел). Да и дети — а их у Антонии шестеро — требовали внимания.

Антония Фрейзер.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

Как историк А. Фрейзер всерьез заявила о себе в 1969 году, когда выпустила романизированную биографию Марии Стюарт. Книга сразу стала бестселлером, была переведена на восемь языков. За ней последовали работы о Кромвеле и Карле II. Примечательно, что эти именитые герои трудов А. Фрейзер имели прямое отношение к истории ее рода: от Кромвеля предки Антонии получили земельный надел в Ирландии, а от Карла II даже ведут свою родословную. «Как и многие в Англии,— шутит Антония.— Но, конечно, по внебрачной линии».

Власть имущие интересуют Фрейзер-историка не больше, чем простой люд: о суровой доле женщин XVII века говорится в книге «Немощнейший сосуд», которая также имела успех и была отмечена премией. «Женская» тема легла в основу и одного из последних произведений с красноречивым названием «Воительницы» (1989), где анализируется ха-

рактер и деятельность различных глав государств, начиная с древнейших времен и кончая современницами — Г. Мейир, И. Ганди, М. Тэтчер. Любопытно, что автор находит много общего между «железной леди» и английской королевой Елизаветой I.

Новый творческий замысел А. Фрейзер — создать книгу о шести женах Генриха VIII — вобрал в себя три ее «конька»: британская монархия, власть, женщины. На подобные крупные работы у А. Фрейзер уходит несколько лет; в перерывах же она, «чтобы развеяться», сочиняет неплохие детективы. Жаль, однако, пишет в заключение «Тайм», что «леди Антония» не попробовала пока свои силы в столь популярном ныне жанре автобиографии: «Увлекательный получился бы роман!»

Аннетт Бенинг (маркиза де Мертей) и Колин Ферт (виконт де Вальмон) в фильме Милоша Формана «Вальмон».

(Журнал «Тайм»)

Куба

«ОДИН ИЗ САМЫХ УДАЧНЫХ КУБИНСКИХ ФИЛЬМОВ»

Роман известного кубинского писателя Мигеля Барнета «Песня Ракель» получил новую экранную жизнь в фильме Энрике Пинеды Барнета «Красавица из театра «Аламбра». Кинолента повествует о судьбе популярной эстрадной певицы и танцовщицы. Поклонники любовно называли Ракель «красавицей из Аламбры», и это второе ее имя — оно сопровождало певицу и после ухода со сцены — кинорежиссер вынес в название фильма. В картине, поставленной в жанре музыкальной мелодрамы, проявилась новая грань дарования зрелого мастера, снискавшего широкую известность лентами на историческую тему — «Давид», «Мелья», «Та долгая ночь...»

По мнению рецензента газеты «Хувентуд ребельде», зрителю предстоит увидеть «один из самых удачных кубинских фильмов: он впитал в себя любимые мелодии и танцевальные ритмы нашего народа». На XI фестивале нового латиноамериканского кино ленте был присужден приз «Коралл» — за музыкальность; Беатрис Вальдес, блистательно сыгравшая роль Ракель, удостоена специальной премии. А в Испании М. Барнету была вручена премия Академии кинематографического искусства «Гойя» — за лучший зарубежный испаноязычный фильм.

США

«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» ГЛАЗАМИ МИЛОША ФОРМАНА

XVIII век с его «пряной роскошью и разгулом страстей» определенно привлекает Милоша Формана: едва завершил триумфальное шествие по экранам мира «Амадей», на страницах французских журналов замелькали сообщения о том, что лауреат Гонкуровской премии Жан-Клод Каррьер пишет для американского режиссера сценарий по «Опасным связям» П. Шодерло де Лакло.

Блестящий роман в письмах, где «интрига подчинена строгим законам контрапункта», напоминает французский альманах «Авансен», представляет нам искушенных в наслаждениях повесу виконта де Вальмона и его подругу маркизу де Мертей, которые исповедуют «завет обдуманного зла». Герои Лакло весьма хладнокровно ведут наступление на «благородную даму» и «добродетельную супругу» госпожу де Турвель и на пятнадцатилетнюю Сесиль де Воланж — «еще невинное дитя» (обеим предстоит пасть жертвами домогательства Вальмона).

Говоря о «классической стройности стиля», о «беспощадном анализе чувств» и «гениальной стратегии» персонажей Лакло, Жан Жироду не зря отметил его опыт писателя и военного — «Расина и Вобана в одном лице».

Однако Ж.-К. Каррьер и М. Форман, экранизируя роман, избрали к нему своеобразный подход. «Фильм «Вальмон» получился приглаженным вариантом книги, чему виной не только изысканная, хотя и слегка вялая режиссерская работа Формана, холодно-трезвый пиетет Каррьера по отношению к первоисточнику, но и общее желание создателей картины привести мотивы поведения героев в соответствие с канонами современной психологии»,— замечает рецензент журнала «Тайм» Ричард Шикел. Маркиза де Мертей, оказывается, пребывает «в состоянии временного помешательства», ибо любит юношу, который намерен повести прелестную Сесиль под венец. Страстная, неистовая натура виконта — причина всех бед и также его оправдание, ведь «любовная атака на госпожу де Турвель, по Каррьеру и Форману,— прямое доказательство того, что Вальмон способен на подлинное, глубокое чувство...»

«Разве можно объяснить поведение людей навсегда ушедшей эпохи, давно исчезнувшего класса общества с позиций сегодняшнего здравого смысла? — задается вопросом Р. Шикел.— Фабула потеряет для зрителя свою привлекательность, пропадет и назидательное значение романа — напоминание о том, что безотчетная потребность сеять вокруг зло жила в людях во все времена (истолковать ее не мог даже Фрейд, не говоря уже о кинематографистах-человеколюбцах)».

Франция

«СОЛДАТ БУМАЖНЫЙ» ЛЮБЫ ЮРГЕНСОН

«Многообещающая писательница, на которую следует обратить самое серьезное внимание. Мир литературы (французской, русской ли, в сущности, не важно) должен узнать о существовании этой молодой женщины, чья писательская техника от книги к книге становится все утонченнее», — таково мнение рецензента газеты «Монд» Николь Занд о творчестве тридцатидвухлетней Любы Юргенсон, эмигрантке из СССР, живущей с 1975 года во Франции. За это время в Париже вышли три ее книги, написанные на французском языке, а также ее переводы «Обломова» И. Гончарова и «Черного зла» Н. Берберовой.

Внимание критики особенно привлек последний роман Л. Юргенсон. Его название — «Солдат бумажный» — не случайно отсылает к известной песне Бу-

лата Окуджавы. Настроение грустной иронии пронизывает книгу. Действие ее происходит в Москве, в 70-е годы. Компания друзей — хирург, поэт, художник — собирается, чтобы духовно обогреть друг друга, отвлечься от мысли, что им никогда не дано будет осуществить свои замыслы. Эти люди ищут себе подобных, потерпевших жизненное крушение пассажиров «последнего троллейбуса». «Солдат бумажный» — это не реализовавший себя поэт Рубен, человек, который «случайно распахнул дверь в другой мир, но, ощутив страх, тотчас же ее захлопнул». Он мучительно раздвоен, причиняет страдания себе и другим и в конце концов кончает жизнь самоубийством. Автор, отмечает Н. Занд, стремится сохранить дистанцию между собой и своими персонажами. Не жалея их, Л. Юргенсон, вместе с тем, избегает осуждения.

Находясь в поиске «единственно верного слова», Рубен так и не сможет дописать до конца ни одного стихотворения. Подобная же требовательность к себе свойственна и самой Л. Юргенсон. «Половодью чувств, сомнений, вопросов противостоят строгость, лаконичность, выверенность стиля», — заключает рецензент.

Я НЕ ЛЮБЛЮ СЕБЯ?!

С такого недоуменного восклицания читатель, скорее всего, и начнет знакомство с вышедшим в издательстве «Галлимар» новым романом Натали Саррот «Ты не любишь себя», полагает обозреватель журнала «Кензен литтерер» Морис Надо.

Но писательница вовсе не навязывает вывода, звучащего в названии и повторенного в первых строках книги, а лишь предлагает публике поразмыслить над этим парадоксом, поясняет М. Надо. Этой же цели подчинена своеобразная сюжетно-композиционная основа произведения в виде стенографически точной записи нескольких десятков смешных и трагичных историй, разговоров, «подслушанных» в залах ожидания. Место действия — аэропорты, вокзалы — выбрано не случайно: ведь что и как говорят друг другу, расставаясь, быть может, навсегда, открывает многое.

Парадоксальную мысль о нашей нелюбви Н. Саррот доказывает методом «от противного». Любить себя — значит, прежде всего, видеть свое «я» в истинном свете. Человек же склонен создавать о б р а з себя и видеть именно образ, «выставляя его напоказ, как опознавательный флажок». Следовательно, любит он всего-навсего образ. Однако, рассуждает далее писательница, есть люди, которые действительно любят себя, потому что «способны обернуться и посмотреть на себя с нежностью и обаянием — все зависит от взгляда».

Натали Саррот.

(Журнал «Кензен литтерер»)

Что касается самой Натали Саррот, то, по ироничному замечанию М. Надо, «она, очевидно, не из их числа, о чем, возможно, сожалеет». Но у нее есть другой, поистине волшебный дар — помочь нам сердцем понять то, что понято умом, распознать внутреннее во внешнем. И она мастерски продемонстрировала этот дар в своей «книге об образе», заключает «Кензен литтерер».

ФРАНЦУЗЫ ЧИТАЮТ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО

«Судовым журналом» назвал рецензент «Магазин литтерер» вышедшую в издательстве «Этуаль/Кайе дю синема» автобиографическую книгу «Время за семью печатями» «величайшего режиссера XX века, успевшего сделать — но сделать мастерски — всего семь фильмов» (не считая короткометражной ленты «Каток и скрипка» (1960) — дипломной работы выпускника ВГИКа. — *Прим. ред.*).

Мастерство Тарковского заключается в умении будить мысль, образно говорить языком кино на трудные для понимания, абстрактные темы, продолжает «Магазин литтерер». Примечательно, что он не считал себя художником «интеллектуального» склада, хотя мощь философского фундамента работ А. Тарковского бесспорна. Таков, к примеру, «Сталкер» — «фильм о человеческом достоинстве и страданиях человека, лишенного этого чувства»; такова картина «Жертвоприношение», в которой автор размышляет «о невозможности достичь гармонии, жертвуя, из-за обоюдной зависимости или взаимности в любви... ведь любить, не отдавая всего — значит, не отдавать вовсе». «Сложная, необычная стилистика фильмов, их всепроникающая одухотворенность, почерпнутая из поэтических строк отца, Арсения Тарковского, натолкнулась на неприятие советских чиновников, начиная с первой же киноленты «Иваново детство», — пишет рецензент.

Сегодня, благодаря публикации дневниковых записей режиссера, французские читатели получают возможность мысленно проделать путь нравственных, творческих, религиозных исканий А. Тарковского, познакомиться с его взглядами на проблемы современного кинематографа, в частности советского.

«Время за семью печатями» прекрасно дополняет выпущенная тем же издательством книга «Андрей Тарковский», считает «Магазин литтерер». Автор ее, Антуан де Бэк, четко и лаконично анализирует главные идеи А. Тарковского, «не принося при этом их нераскрытые тайны в жертву своим тщетным толкованиям».

Чехо-Словакия

КУЛЬТУРА НЕДЕЛИМА

Чешская литература, искусственно разделенная на три потока (официальная, самиздатовская и эмигрантская), сегодня наконец сливается в единое русло. Этой теме посвящен целый ряд публикаций в пражской прессе. Так, на страницах газеты «Лидова демократие» Милан Юнгман размышляет о вкладе в отечественную культуру издательства «Сикстн эйт паблишерз», основанного в Торонто чешскими эмигрантами Йозефом и Зденой Шкворецкими. (Примечательна судьба самого М. Юнгмана: один из ведущих национальных критиков, он после ввода в страну в 1968 году «дружественных армий» был на двадцать лет отлучен от подцензурного печатного слова и работал мойщиком окон). Именно в этом издательстве, например, впервые вышли романы Милана Кундеры «Вальс на прощанье», «Жизнь где-то там», «Книга смеха и забвения», «Невыносимая легкость бытия», именно отсюда начали они свое победное шествие по миру, завоевав признание читателей многих стран. Критик отмечает, что в Торонто увидели свет книги не только писателей-эмигрантов, но и тех, кто оставался на родине, но не мог издать свои произведения без купюр и сокращений — в частности, биографическая трилогия Богумила Грабала и воспоминания Ярослава Сейферта.

Прекрасный подарок от издательства «Сикстн эйт паблишерз» получили и дети — красочный томик «Мама, папа, я и Эдука — чешская азбука». Как пишет

М. Юнгман, «в истории отечественной педагогики это единственная и успешная попытка создать букварь и книгу для чтения, предпринятая с поэтической фантазией и на высоком изобразительном уровне». Уже с нового учебного года это произведение Йиржи Груши станет настольной книгой первоклассников в чешских школах.

Критик высоко оценивает и роль самиздатовских выпусков, получивших в Чехословакии широкое хождение. Скажем, роман Павла Когоута «Где зарыта собака» пользуется такой популярностью, что по «тиражу» (количеству копий, изготовленных на машинке и ксероксе), возможно, превышает многие официальные издания.

Значение подобных публикаций М. Юнгман видит в том, что они «помогали сохранить непрерывность и неделимость чешской литературной жизни, служили источником, из которого черпали надежду демократические силы как на родине, так и за рубежом».

Проблеме неделимости культуры посвящено и интервью с поэтом и публицистом Данкэлом Строжем, опубликованное еженедельником «Творба». Д. Строж с 1977 года издает в Мюнхене книжную серию «Поэзия вне дома», где вышло более пятидесяти сборников произведений чешских поэтов — как живущих на родине, так и эмигрантов (среди них работы Кабеша, Шиктанеца, Коларжа, Грабета, Бонди, Кирсуша и других). В Мюнхене были напечатаны и многие прозаические произведения, запрещавшиеся чехословацкой цензурой, например пьесы Вацлава Гавела «Largo desolato», «Искушение», «Ассенизация».

Как сообщает «Творба», в стране создано несколько новых издательств, которые предполагают совместно с зарубежными коллегами активно способствовать знакомству читателей с произведениями чешских авторов, ранее не доступными широкой публике.

Япония

«ПО ДОРОГАМ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Токийское издательство «Иванами» выпустило в свет сборник последних работ крупнейшего японского русиста Хироси Кимура «По дорогам русской литературы».

Литературу и искусство нашей страны автор изучает более сорока лет, многие произведения, составляющие гордость русской культуры, стали известны в Японии именно благодаря ему. В его переводах на японский выходили и Пушкин («Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Повести Белкина»), и Достоевский («Бедные люди», «Белые ночи», «Идиот»), и Лев Толстой («Анна Каренина», «Воскресение»), и все ранние произведения Солженицына.

В годы хрущевской «оттепели» Х. Кимура часто бывал в Москве, однако в 1974 году он начал переводить «Архипелаг ГУЛАГ» и путь ему в нашу страну был закрыт. Разумеется, он мог бы отказаться от «Архипелага» и взяться за что-нибудь другое (ему даже советовали, за что именно). Но ученый слишком серьезно относится к русской литературе, к тому же именно эта литература учила его «жить не по лжи», и он оказался достойным учеником. К счастью, времена меняются, и в 1988 году после долгого перерыва Х. Кимура снова приехал в Москву по приглашению Союза писателей СССР.

«По дорогам русской литературы», несмотря на кажущуюся простоту и непосредственность изложения, книга удивительно серьезная и глубокая. Круг проблем, затрагиваемых в ней, чрезвычайно велик. Автор размышляет об истоках русской культуры, о роли христианства и язычества в формировании национального самосознания, рассматривает эстетические и нравственные традиции русской словесности, говорит об особом месте поэзии в истории русской литературы и об особой роли литературы в жизни общества, рассказывает о судьбах отдельных писателей, об особенностях их творческих методов. Причем литературный процесс интересует его не с точки зрения хронологической последовательности сменявших друг друга течений и направлений, а как нечто целостное, вневременное, подчиненное общим нравственным целям и задачам.

Большой интерес представляет статья, посвященная проблемам эмигрантской литературы. Разумеется, значительное место отводится здесь творчеству и личности А. И. Солженицына. Рассказывая, какие трудности возникали в работе над переводом произведений этого замечательного писателя, Х. Кимура помогает читателям лучше понять временной контекст, объясняет смысл многих реалий, которые не могут быть адекватно переведены на японский язык.

Русская литература для Х. Кимура — не отвлеченный предмет исследований, а нечто близкое, живое, затрагивающее не только ум, но и сердце. Автор говорит, что в работе ему во многом помогло непосредственное общение с людьми — художниками, литераторами, среди которых у него немало друзей. Благодаря такому общению он сумел проникнуть в суть многих явлений русской культуры, открывшееся же ему постарался сделать достоянием культуры японской. И в этом его великая заслуга перед культурами обеих стран.

Швейцария

В Елисейском музее г. Лозанны прошла выставка работ Кшиштофа Прушковского, мастера редкого искусства — фотосинтеза. Особенность этого жанра состоит в наложении, наслаивании портретов для создания единого образа — нечто вроде художественного фоторобота нескольких лиц. В экспозиции, среди прочих, был представлен «коллективный портрет» 15 претенденток на титул «Мисс Вселенная — 1983», 12 героев Анжуйских из собора в Анже, 21 чемпионки из Реймса. «Неясные причудливые фотопортреты К. Прушковского отражают хранящееся в памяти каждого из нас — мешанину бесчисленных лиц, увиденных за день и за всю жизнь», — пишет «Магазин литтерер». Издательство «Паркетт Альтаг» выпустило прекрасно иллюстрированный каталог выставки, вобравшей в себя работы фотохудожника за период с 1975 года.

Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Фотосинтез К. Прушковского (1984).

(Журнал «Магазин литтерер»)

Авторы этого номера

ГЕНРИ МИЛЛЕР (HENRY MILLER; 1891—1980) — американский писатель. Окончил Корнелльский университет. В 30-е годы жил во Франции, где издал около десяти книг. Автор трилогии: «Тропик Рака» («Tropic of Cancer», 1931), «Черная весна» («Black Spring», 1938) и «Тропик Козерога» («Tropic of Capricorn», 1938). Трилогия была запрещена в США за безнравственность. В 1961 г. запрет снят Верховным судом. В 1940 г. Г. Миллер возвратился в США. В числе выпущенных им в последующие годы книг трилогия «Благостное распятие» («Rosy Crucifixion», 1949—1960), путевые заметки о поездке по США «Кондиционированный кошмар» («The Air-Conditioned Nightmare», т. 1—2, 1945—47), сборник эссе «Биг Сур и апельсины Иеронима Босха» («Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch», 1958), работы по эстетике, воспоминания и др.
Роман «Тропик Рака» печатается в русском переводе, опубликованном американским издательством Liberty Publishing House (New York, 1988).

ВАЦЛАВ ГАВЕЛ (VÁCLAV HÁVEL; род. в 1936 г.) — чешский драматург, публицист, философ, лауреат многих международных премий. Автор пьес «Торжество в саду» («Zagradní slavnost», 1963), «Уведомление» («Vyrozumění», 1965), «Аудиенция» («Audience», 1975), «Вернисаж» («Vernisáž», 1975), «Искушение» («Pokoušení», 1985) и др., многих публицистических работ, в том числе «Письма Ольге» («Dopisy Olze», 1983), «В разные стороны» («Do různých stran», 1983—89).
Пьеса «Протест» («Protest») печатается по изданию Dokumentatioszentrum, Schwarzenberg 6, 1978.

АРТЮР ОЛО (ARTHUR HAULOT; род. в 1913 г.) — бельгийский поэт, президент «Международного дома поэзии». Автор многочисленных сборников стихов, среди них «Мы» («Nous», 1933), «Из мира в мир» («D'un monde à l'autre», 1940), «Тяжелый от крови» («Si lourd de sang», 1947), «Отъезды» («Départs», 1963), «Пространства» («Espaces», 1967), «Кровавые стихи» («Poèmes du sang», 1976), «Магия» («Magis», 1980), «Поэма изгнания» («Poème de l'Exil», 1982), «Радость любви» («Plaisirs d'amour», 1987).
Публикуемые стихи взяты из новой книги Артюра Оло «Противостояния» («Présences», Paris, Éditions Saint-Germain-des-Près, 1988).
Статья А. Оло «Блеск и нищета поэзии» получена редакцией от автора в рукописи.

ТОМАС ИНДЖ (THOMAS INGE; род. в 1936 г.) — американский литературовед, профессор гуманитарных наук колледжа «Рэндолф—Мэкон» в штате Виргиния. Автор книг и статей об американской литературе; издает серию «Исследования народной культуры» в издательстве университета штата Миссисипи.
Статья «Фолкнеровский фольклор: литературные сплетни, анекдоты и откровенная ложь» получена редакцией в рукописи.

ДОЛИНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1947 г.) — литературовед, кандидат филологических наук, специалист по американской и английской литературам. Автор книги «История, одетая в роман» (М., Книга, 1988) и ряда статей, посвященных творчеству Фолкнера, Фаулза, Набокова и др.

Переводчики:

НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА — переводчик с чешского. В ее переводе публиковались рассказы Ярослава Гашека, Иржи Магека, стихи Йозефа Горы, публицистика Юлиуса Фучика, эссе Витезслава Незвала и др.

СТРИЖЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ИОСИФОВНА — советский поэт и переводчик французской поэзии. В ее переводе публиковались произведения Ф. Вийона, А. Рембо, Лотреамона, С. Малларме, Ш. Бодлера, Г. Аполлинера, Сен-Жон Перса, а также современных французских поэтов.

◆

К сведению читателей и подписчиков

**В 1991 году
редакция предполагает
опубликовать:**

Художественная проза

ТОМ ВУЛФ. Костры тщеславия

Первый роман лидера школы «нового журнализма», провозгласившей некогда гибель романа как формы; живое, динамичное повествование, представляющее собой срез жизни сегодняшнего Нью-Йорка.

«Это удачная попытка доказать, что хорошее чтение — не исключительная привилегия Хейли или Уоллеса, что и настоящая литература может быть хорошим чтением».

«АТЛАНТИК»

ФРАНСУАЗА САГАН. Рыбья кровь

Роман о любви. Действие происходит в годы второй мировой войны во Франции, оккупированной немецко-фашистской армией.
Одно из новых произведений этого популярного автора.

«С точки зрения писателя-рассказчика, у войны есть масса преимуществ перед мирным временем: трагически складывающиеся судьбы; любящие сердца, которые разлучаются еще до того, как читателю становится скучно; действия героев, поднимаемые до высот греческой трагедии...»

«МОНД»

Э. Л. ДОКТОРОУ. Билли Батгейт

История знаменитого американского гангстера.

Впервые этот автор стал известен советским читателям по нашумевшему роману «Рэгтайм», перевод которого в исполнении Василия Аксенова был опубликован в «Иностранной литературе» в 1978 году.

«Эта сказка о нью-йоркском гангстере эпохи Аль-Капоне столь хороша своим содержанием и столь питательна для ума, что просто обречена оставить свой след в вашем сознании».

«ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ»

УМБЕРТО ЭКО. Маятник Фуко

Как и предыдущий роман этого автора «Имя розы» (в нашем журнале он был опубликован в 1988 году), «Маятник Фуко» значится в списке итальянских книг, имеющих наибольший читательский успех. Его герои — наши современники, одержимые идеями мистических учений, футурологии, переоценки традиционных представлений о физических и духовных возможностях человека.

«Этот роман — игра, которая может плохо кончиться, игра, превращающаяся в западню, план, уничтожающий собственных создателей. Именно здесь находит выход прирожден-

ная страсть Эко к неоднозначности... и его поразительное чувство юмора».

«ЭКСПРЕССО»

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Фердидурка

Возможно, лучшая книга одного из крупнейших польских писателей нашего века. Его произведения, переведенные на многие языки, советскому читателю пока неизвестны.

«Фердидурка» (1938 г.) — это сатирический гротеск, и философская повесть, и литературное эссе; в центре повествования — переживания гимназиста, его первые любовные приключения, столкновение естественной, непосредственной личности с закоснелостью общественных норм.

ДЖЕЙ МАККИНЕРНИ. Яркие огни, большой город

Написанная с мягким юмором повесть о молодом американце, оказавшемся в сложной жизненной ситуации. Фоном служит повседневная жизнь Нью-Йорка. С именем автора читатели «Иностранной литературы» познакомятся впервые.

«Автор книги — один из тех редких литераторов, которым удалось верно уловить настроения, оттенки восприятия и нравы, характерные для молодежной субкультуры. Он пишет с юмором, блеском, мастерством и точностью. Стилист милостью Божьей — подлинное открытие книжного сезона».

ДЖОРДЖ ПЛИМПТОН

«Эта буйная, невероятно смешная повесть бьет прямо в точку — достигает глубин человеческого сердца».

РЕЙМОНД КАРВЕР

МИЛОРАД ПАВИЧ. Хазарский словарь

Книга современного югославского писателя переведена почти на двадцать языков и пользовалась шумным успехом в США, Франции и других странах.

«Книги, подобные «Хазарскому словарю», — писал его западногерманский издатель, — можно считать счастливым событием, они появляются раз в сто лет. Это уже произведение XXI века, хотя действие его начинается в IX веке».

ЛУИ АРАГОН. Гибель всерьез

Роман-исповедь художника, мыслителя, публициста, привлекшего в 60-е годы внимание читателей и критиков оригинальностью формы, лирическим пафосом, смелостью суждений об искусстве, о бурной истории XX века.

ХУАН КАРЛОС ОНЕТТИ. Это было, когда...

Повесть уругвайского писателя, произведения которого печатались в Советском Союзе в серии «Мастера зарубежной прозы». Повесть рас-

сказывает о «падшей женщине» из кабаре, связавшей свою судьбу с авантюристом.

Документальная проза и публицистика

Будет продолжена начатая в этом году рубрика «ВЕРА и МОРАЛЬ», в которой публикуются труды выдающихся проповедников различных религий мира. Мы представим читателю работы КАРОЛЯ ВОЙТЫЛЫ (папа Иоанн-Павел II) и популяризатора дзэн-буддизма ДАЙСЭЦУ СУДЗУКИ. САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайная жизнь Сальвадора Дали, описанная им самим.

«Дали и сам признается в нарциссизме, а его автобиография — настоящий стриптиз в розовом свете рампы. Но как стенограмма фантазий, как свидетельство извращенности побуждений, проявившейся в век засилья машин, эта книга имеет неоспоримую ценность».

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

ХЬЮГО ЯНГ. Одна из нас

Главы из недавно вышедшей в Англии биографии Маргарет Тэтчер.

«Хьюго Янг — лучший из современных политических журналистов в Британии, а книга «Одна из нас», вероятно, надолго останется образцом литературы такого жанра».

«ЛОНДОН РЕВЬЮ ОФ БУКС»

ГАЙ ГУЛЬОТТА, ДЖЭФФ ЛИН. Кокаиновые короли

«Центральная тема «Кокаиновых королей» — рассказ о том, как кокаиновая индустрия превратилась из маленького бизнеса в интернациональный конгломерат Написанная резко, в хорошем темпе, книга читается как детективный роман, показывающий героическую схватку Агентства по борьбе с наркотиками, с мерзавцами из наркомафии».

«НЬЮ-ЙОРК РЕВЬЮ ОФ БУКС»

«Самая страшная из книг, когда-либо написанных о наркобизнесе».

«ПИПЛ»

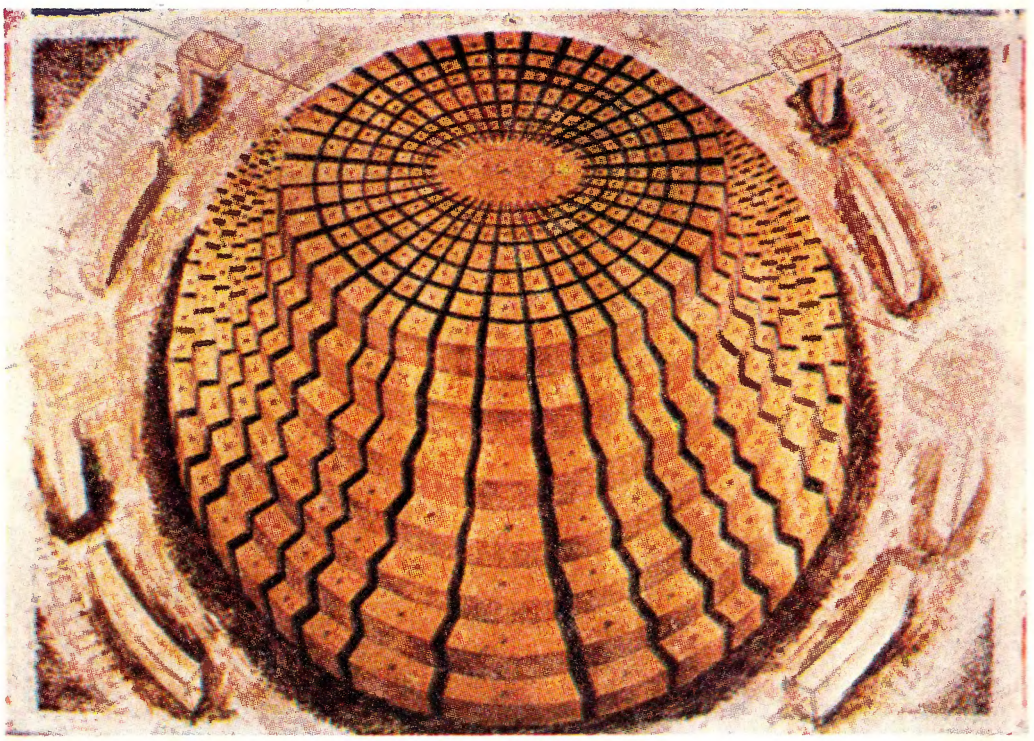
А также проблемные статьи, дискуссии, переводы наиболее значительных публикаций на актуальные темы из зарубежной печати.

■

Короткое эссе о шелесте.

1 р. 80 к.

ИНДЕКС 70394



ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1990, № 7, 1—256